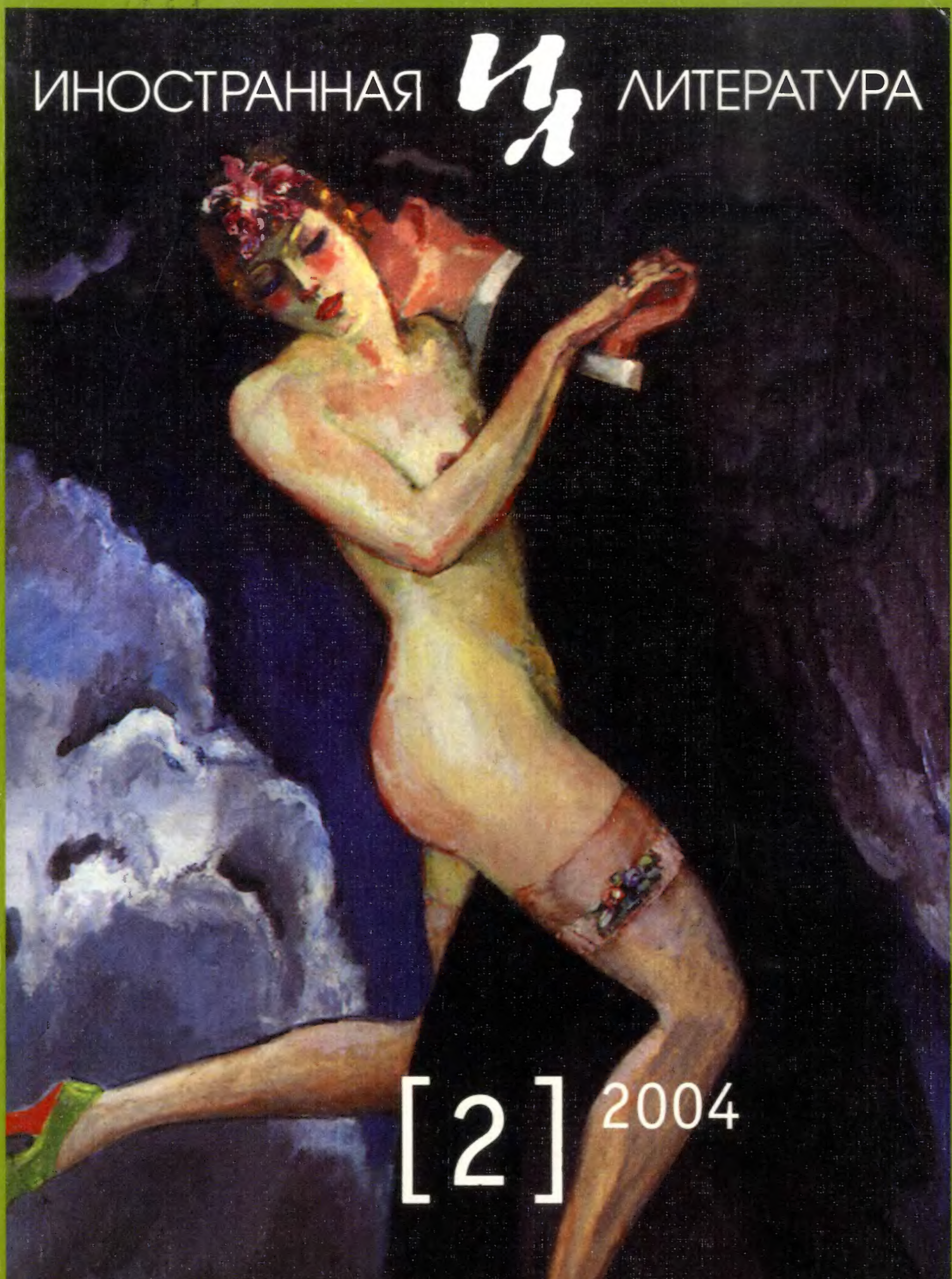
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[2] 2004

РОМАН АРГЕНТИНСКОГО ПИСАТЕЛЯ МАНУЭЛЯ ПУИГА “КРАЩЕНЫЕ ГУБКИ” / СТИХИ АЗИЗА ДЕРАМАНА И ПОЭТОВ-УЧАСТНИКОВ “БИЕННАЛЕ-2003” / ПЬЕСА ЮКИО МИСИМЫ “ЕЕ ВЫСОЧЕСТВО АОИ” / ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ ДОМИНИКА ДЕ ВИЛЬПЕНА “КРИК ГОРГУЛЬИ” / ЖАК ДЮПЕН В ГАЛЕРЕЕ “ИЛ”/ ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ В ГОСТЯХ У ШЕЙМАСА ХИНИ

Основан в 1891 году

Поздравляем!

Рубена Давида Гонсалеса Гальего,
ставшего в 2003 году
лауреатом премии “Букер – Открытая Россия”
за роман *Белое на черном.*
[Фрагменты книги были опубликованы в нашем журнале
в 2002 году, № 1.]

Ксению Старосельскую,
получившую в 2003 году премию польского ПЕН-клуба
за переводы польской прозы – “за безошибочный вкус,
высокий профессионализм, творческий пыл,
с которым она ведет польских писателей
к российскому читателю”.

Асара Эппеля,
награжденного в 2003 году премией польского ПЕН-клуба
за переводы прозы и поэзии – “за жизнеутверждающую
силу русской речи, которую он вдохнул в польские стихи
от Рея до Шимборской и Ружевича,
за изобретательность и точность
перевода фразы Сенкевича и Шульца”.

[2]
2004

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 *Биеннале-2003*. Стихи участников фестиваля. Вступление Евгения Бунимовича

11 Юкио Мисима. *Ее высочество Аои*. Из цикла "Современные пьесы для театра Но". Перевод с японского и вступление Елены Байбиковой

24 Мануэль Пуиг. *Крашеные губки*. Роман. Перевод с испанского А. Казачкова

140 Азиз Дераман. *Четки старого человека*. Стихи. Перевод с малайского и вступление Виктора Погадаева

147 Энтони Бёрджесс. *Железо, ржавое железо*. Роман. [Продолжение.] Перевод с английского А. Пинского и Е. Домбаян

Мнение политика

221 Доминик де Вильпен. *Крик горгульи*. Главы из книги. Перевод с французского Нины Кулиш. Вступление Ю. Рубинского

Галерея "ИЛ"

246 Жак Дюпен. *Пространство другими словами*. Перевод с французского и вступление Бориса Дубина

Наши интервью

262 Григорий Кружков. *Изба-писальня*. В гостях у Шеймаса Хини

БиблиофИЛ

279 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Курьер "ИЛ"

281

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2004

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Биеннале-2003

Стихи участников фестиваля

Осенью 2003 в Москве уже в третий раз прошел международный фестиваль — биеннале поэтов: десятки (если не сотни) акций, вечеров, встреч, презентаций книг, чтений, выступлений, дискуссий, круглых столов и обсуждений с непременной уже водкой "Стихотворной".

Москва — одна из признанных мировых поэтических столиц. Здесь каждый день в каком-нибудь из литературных клубов, центров, салонов непременно и, я бы даже сказал, неизбежно звучат стихи. Поэзия — дело одинокое, и все же поэтам (да и читателям), помимо контакта через публикации в книгах, журналах, альманахах, антологиях, а теперь и в Интернете, необходимо еще и иное, непосредственное общение. Вот эта потребность и собирает на московских международных поэтических фестивалях поэтов из разных стран, говорящих и пишущих на разных языках. Однако простодушные наши средства массовой информации воспринимают и представляют московские фестивали поэтов как некое состязание, турнир, этакий чемпионат мира по стихам. Да какой уж тут чемпионат, если каждый поэт не просто чемпион мира, но и председатель земного шара — по определению.

Сейчас самое глубокое и серьезное отношение к поэзии, наиболее ощутимая сила поэтического слова и реакция на него проявляется в тех языковых пространствах, где существует культурная или иная угроза языку, где национальная языковая группа чувствует необходимость защиты и развития культурного и языкового своеобразия. Тут поэзия социально востребована и воспринимается как эшелонированная оборона национальной самобытности, как гарантия развития живого языка и культуры, и даже далекие от поэзии люди ощущают, что такая защита надежней политических деклараций. Такое восприятие поэзии мы наблюдаем во Фландрии, Квебеке, Каталонии и т. д. Этот поэтический антиглобализм — одна из точек роста и развития современной поэзии. И нынешний фестиваль, прошедший под девизом "Смещение пространства", пригласил именно фламандских, квебекских и других поэтов, находящихся в подобной ситуации.

"Смещение пространства" заметно сегодня и в "поэтической глобализации", явленной нам, например, прилетевшим на фестиваль из Лондона китайским поэтом Ян Лянем, родившимся в Швейцарии гражданином Новой Зеландии, выступившим совместно с Д. А. Приговым в поэтическом перформансе на церемонии открытия Франкфуртской книжной ярмарки 2002 года, когда почетным гостем этой ярмарки была Литва.

Другой вопрос — считываются ли при этом метафизические, а не только социальные (не суть важно — глобалистские или антиглобалистские) смыслы поэтического текста?

Поэзия непереводима. Это тоже — по определению. Но, пожалуй, именно на таких встречах, на международных поэтических фестивалях возникает область подлинного межъязыкового напряжения, взаимного интереса к поэтическим текстам на разных языках и объединенное в диалоге проникновение в них, область интернационального по сути поиска поэзии в поэзии, а не просто особенностей национального языка.

© Е. Бунимович. Вступление, 2004
Редакция благодарит авторов стихов, любезно предоставивших право на безвозмездную публикацию.

Поэзия непереводима. Однако на фестивально-глобалистской волне появляется и поэзия, которая, напротив, абсолютно переводима. Текст может быть написан по-русски, по-чувашски, по-польски или по-монгольски, но он уже сразу написан так, что переводим без видимых потерь на английский, французский, испанский, любой. Это стиховое эсперанто, пребывая в любопытном поиске каких-то базовых, корневых, самых главных слов, все же пугает меня, привыкшего обнаруживать изгибы и извивы именно в своем родном языке.

Впрочем, все это лишь некоторые попутные соображения. Фестиваль завершен, и в то же время не завершен, пока не явлен текст.

Представляем на страницах журнала стихи нескольких участников фестиваля "Биеннале поэтов в Москве — 2003"[1].

Евгений Бунимович

Мириам Ван хее

***

ребра – самая красивая часть
скелета, представляются
крылья или нечто вроде
гармони где жизнь в- и вы-ходит
лучше всего их видно
у изголодавшихся или в общей могиле
это борозды на песке
когда море отступает после прилива
это оставшиеся от деревьев
ломкие ветки когда их
на открытых грузовиках
увозят

Перевод с нидерландского Дмитрия Сильвестрова

1. Стихи Луиса Арменты Мальпики и Ян Ляня, тоже участников биеннале, опубликованы в "ИЛ" № 12, 2003 г. и № 1, 2004 г. (*Прим. ред.*)

© Д. Сильвестров. Перевод, 2004

Меир Визельтир

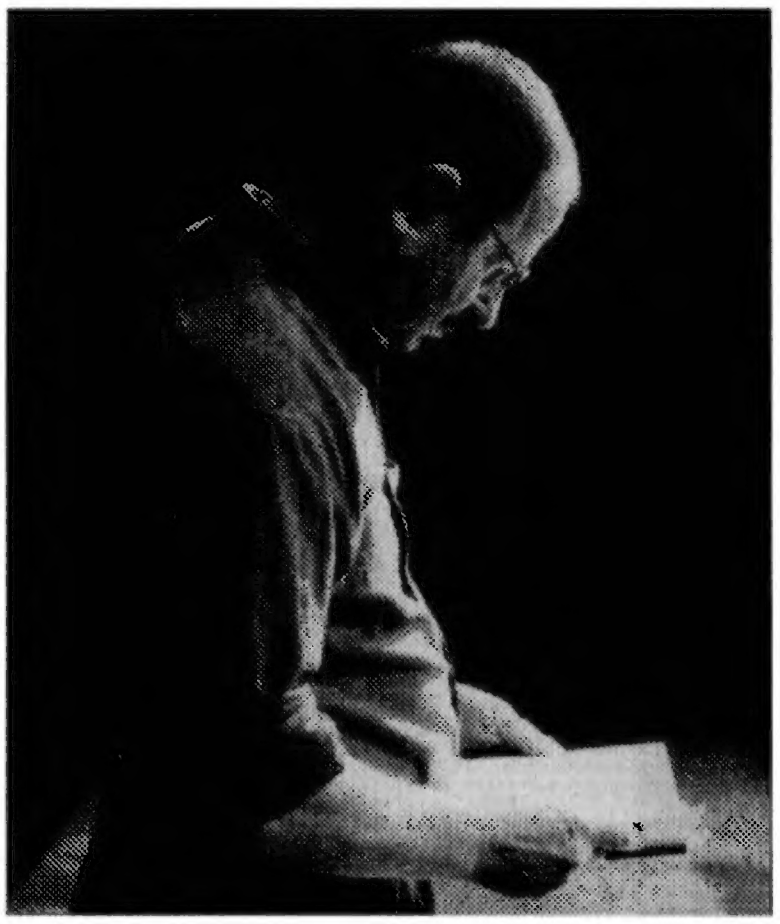
Мелкий скот

Верхом на козлах и козах
(и даже на кочетах и квочках)
мы войдем в город, бывший некогда нашим,
(так легки, что и мелкий скот
без труда понесет нас),
проследуем по странным улицам
вдоль покинутых зданий, где мы прежде предавались
в подъездах силе и сласти поцелуев.
Давно исчезнувшие кофейни
мелькнут нам навстречу пирожными,
которые уже не испекутся,
но дух их все медлит истаять.
По обыденным площадям
и по регулярным паркам
с автоматической поливкой
проследует наша смехотворная процессия,
оскорбляя хороший вкус
да и чувство справедливости
других поколений.

Перевод с иврита Г.-Д. Зингер

© Г.-Д. Зингер. Перевод, 2004

Франк Де Критс



Бездомный

Со своим домом и имуществом на спине
шел он по городу — ему нужен был мир и покой.
В нескончаемом лабиринте метро он нашел их.
Сперва разостлал он опавшие листья,
потом обернул пластиковыми мешками руки и ноги,
оставив свободными кисти рук, чтоб держать флейту. Затем
лег на картонной подстилке, насовав газет под пальто,
чтоб не замерзнуть. "Люкс", —
говорили приятели. Еще одну картонную упаковку
он положил на себя; теперь, сладко вытянувшись,
можно было мечтать о "Nuit chambertain", и "Chasse-spleen"[1], и
юной красотке с серьгами в ушах. Рай
в норе наслаждений.

Перевод с фламандского Дмитрия Сильвестрова

© Д. Сильвестров. Перевод, 2004

1. Марки дорогих французских вин.

Сибилла Петлевски

Натюрморт

Как яблоки Мертвого моря,
Прах горек...

Джордж Гордон Байрон

Законы природы действительно существуют. Ньютон
Прав: яблоко падает наземь. И *горек вкус праха.*
О яблоко ока отцовского, полное страха
И едкого дыма. Сожженный дотла небосклон

Над заревом Мертвого моря. Я пью, как вино,
Горючие волны, я в память вхожу, как в пучину,
Я тралом обшарю все это огромное дно:
Не бойся, отец, я тебя никогда не покину.

Поверь мне, я вырасту снова. Я буду сильней.
Я больше не стану, как темное древо Содома,
Сгибаться под грузом отравных плодов и ветвей.

Да будет мне каждое утро светло и знакомо,
Как белая роза, которую ты мне на стол
Рождественской ночью тайком положил — и ушел.

Перевод с английского и хорватского Григория Кружкова

© Г. Кружков. Перевод, 2004

Жан-Эрик Риопель

Зимний вечер

твои волосы под снегом
расцелованы стальными вихрями
ночь выходит из тени
и поднимает крик

сирена заневшая у самого моего уха

со всех ног небоскреб
пересекает город
так что тот
трещит по швам
улицы зияют ямами
и мигалки вонзаются с крыш полицейских авто
в разбитые бамперы и выбитые стекла

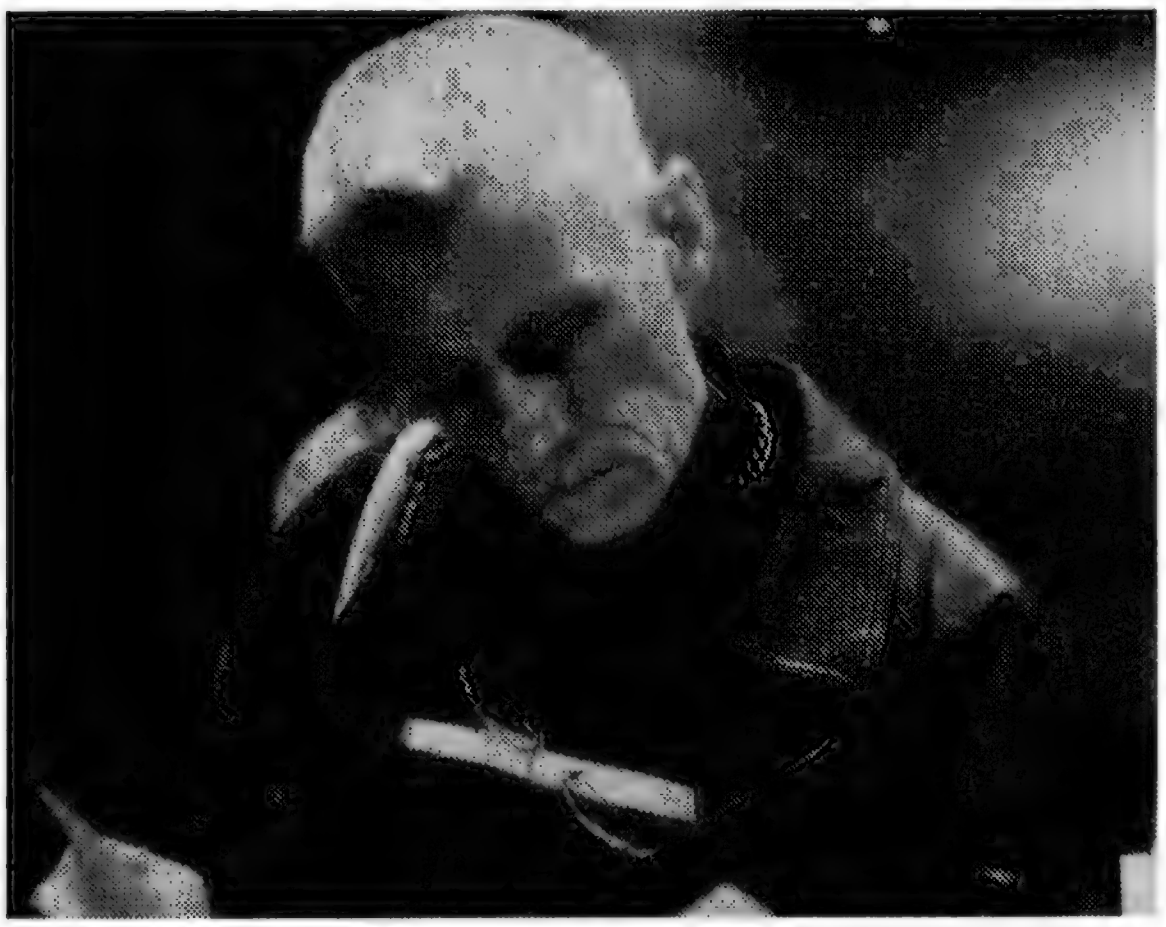
полый отблеск скользит по твоим глазам как по льду
и переходит на стены крыши и контуры труб

снегоуборочные машины сдувают снег с твоих губ

Перевод с французского Михаила Яснова

© М. Яснов. Перевод, 2004

Эдвард Фостер



Сатурн[1]

Леонарду Шварцу

Вода широкой протоки темна.
И дна, поросшего тиной, невидно.
Я кажусь себе веткой, отраженной на этой воде.
Я вижу пальцы Твои, склонившие меня над водой.

Твоя рука пуста как небо мое.
Мы способны дарить, не обладая ничем,
но рука, удерживающая меня,
принадлежит только мне.

Это не подвластно уму,
это — лишь солнцем залитые небеса.
(Которых мне никогда не забрать домой;
и в сосновом лесу пляшет солнечный луч
на морозе.)

Полыхает янтарь, и я начинаю хотеть невозможного.

(Его рука движется солнцу вослед,
Словно под покровами простыней.
Сиянье его — в холоде и восторге:
И мы видим друг друга.)

© Edward Foster, 2001
© В. Месяц. Перевод, 2004

1. Сатурн, упоминаемый в этом стихотворении, взят не с картины Гойи; здесь он царь урожая — мудрый, любвеобильный, ему посвящен праздник 17 декабря, который отмечает собой конец года и в честь которого, согласно легенде, Актеон был рожден вновь. (*Прим. перев.*)

(Тебе – все нескладные слова Твои,
а остальное – нам.
Ты в пустоте, не досягаемой для меня.
Рука тянется к рубахе Твоей и ощущает ткань.
Чувства не выбирают, говорит Он.)

Ничего не зная – не почувствуешь ничего:
говорю я, хотя знаю, что я не прав.
Небо – Твое, и в небе Твоем
солнце начинает гореть опять.

Ты одинок.

Никто тебя не зовет,
Хотя ты даришь нам урожай.
Мне кажется, что это вижу лишь я,
твою простертую ладонь в небесах.

Отец, стоя под рубашкой твоей, что я увижу сейчас?

Перевод с английского Вадима Месяца

Юкио Мисима

Ее высочество Аои

Из цикла "Современные пьесы для театра Но"

Перевод с японского и вступление Елены Байбиковой

Традиционный японский театр Но, у истоков которого храмовые представления и народные празднества, окончательно сформировался как самостоятельный жанр в XIV веке. Основоположниками этого жанра были Канъами Киёцугу (1333—1384) и его сын Дзэами Мотокиё (1363—1443).

В пьесах классического Но обычно было не более пяти персонажей. Представление одной пьесы длилось около часа и оканчивалось продолжительным танцем — кульминацией всей театральной постановки. Хор и музыкальный аккомпанемент усиливали драматический эффект в переломных моментах представления.

Классическая пьеса театра Но состоит из двух частей. В первой части персонаж предстает перед зрителем в непритязательном образе старухи, рыбака, крестьянина и т. п., а во второй — уже в своем настоящем обличье, в образе прекрасной девушки или отважного воина. Часто персонажами пьес Но бывают духи и призраки, жаждущие отмщения и/или успокоения.

В XVII веке кукольный театр Бункару и театр Кабуки потеснили последователей Дзэами, и мало-помалу Но окончательно потерял былую популярность. Однако Но существует и по сей день, соседствуя с другими видами театрального искусства.

Многие известные японские писатели пробовали свои силы в этом классическом жанре, но из современных писателей подлинного успеха на этом поприще удалось достичь только Юкио Мисиме — его пьесы для театра Но привлекли внимание к классическому японскому театру.

© Е. Байбикова. Перевод, вступление, 2004

Цикл "Современные пьесы для театра Но" был написан Мисимой между 1950-м и 1955 годом. Вошедшие в него пять произведений - в некотором роде переложения классических пьес Но.

Классическая пьеса "Аои-но-уэ" ("Ее высочество Аои"), написанная Дзэами, является инсценировкой одной из глав романа "Гэндзи Моногатари" ("Сказание о принце Гэндзи"), созданного в X веке. Эта пьеса повествует о том, как жена Гэндзи — принцесса Аои — погибает, замученная призраком придворной дамы (*японск.* рокудзё). Принц Гэндзи, который не является персонажем классической пьесы, представлен у Мисимы как Хикару — сияющий (*японск.* хикару), один из эпитетов легендарного принца.

Пьеса "Ее высочество Аои" (1954) шла вместе с остальными пьесами цикла в 1955 году в токийских театрах, а в 1956 году была положена на музыку и исполнена как опера.

Действующие лица

Яско Рокудзё.

Хикару Вакабаяси.

Аои — жена Хикару.

Медсестра.

Поздний вечер. Больничная палата. Чуть в глубине сцены стоит кровать Аои. Слева большое окно, тяжелые шторы задернуты. Справа дверь. Аои спит.

Хикару (*необыкновенно красивый молодой человек. Прямо в плаще заходит в палату. Его сопровождает медсестра. Он опускает на пол дорожную сумку. Вполголоса обращается к сестре*). Как сладко она спит.

Медсестра. Спит как младенец.

Хикару. Ничего, если я буду говорить погромче?

Медсестра. Ну, если не очень громко, то ничего страшного. Снотворное уже подействовало.

Хикару (*подходит к кровати, всматривается в лицо Аои*). Она выглядит такой умиротворенной.

Медсестра. Да-да, сейчас ее ничто не беспокоит.

Хикару. Что значит "сейчас"?

Медсестра. Ну-у... Знаете, ближе к полуночи...

Хикару. Ее мучают кошмары?.. Скажите, она сильно страдает?

Медсестра. Ужасно!

Хикару. Боже мой... (*Наклоняется, читает больничную карточку, прикрепленную к кровати Аои.*)...Аои Вакабаяси. Госпитализирована двенадцатого числа, в двадцать один ноль-ноль... Ясно... (*Сестре.*) А я могу где-нибудь здесь переночевать?

Медсестра (*указывая направо несколько в глубь сцены*). Соседняя палата свободна.

Хикару. А там постелено?

Медсестра. Да, все уже готово. Вы прямо сейчас хотите лечь?

Хикару. Нет, чуть погодя. (*Садится на стул, закуривает.*)...Вот ведь как бывает – срочная командировка, работа в самом разгаре, и тут я узнаю о ее болезни. Все вокруг твердят "не волнуйся", "у нее ничего серьезного". Но разве человека могут положить в больницу, если у него ничего серьезного?..

Медсестра. А у вашей жены в прошлом уже бывали подобные приступы?

Хикару. Ну, вообще-то это уже не первый случай... Просто так получилось, что на этот раз я был в отъезде – деловая поездка, сами понимаете. Мне пришлось все в спешке заканчивать, и вот наконец-то сегодня утром я смог выехать сюда... Издалека все выглядит намного страшнее, и я очень волновался.

Медсестра. Ах, как вы правы.

В этот момент глухо, с легким потрескиванием звонит телефон, который стоит на тумбочке возле кровати.

Хикару. (*снимает трубку, прикладывает ее к уху*). Ни звука.

Медсестра. Он всегда звонит именно в это время...

Хикару. По-моему, он сломан. Собственно говоря, что вообще делает телефон в больничной палате?

Медсестра. В нашей больнице в каждом помещении установлен телефонный аппарат.

Хикару. И часто находятся желающие поговорить с больными?

Медсестра. У нас не хватает персонала, и телефоны установлены для того, чтобы пациенты могли в случае необходимости вызвать медсестру по внутренней линии. Кроме того, если, например, пациент хочет почитать книгу, он может напрямую связаться с книжной лавкой и сделать заказ. Правда, для этого нужно подождать соединения через коммутатор. Наши диспетчеры работают круглосуточно – в три смены, по восемь часов каждая. Впрочем, в палатах у таких "абсолютно спокойных" пациентов телефон отключен.

Хикару. А моя жена, она разве не относится к "абсолютно спокойным"?

Медсестра. Ваша жена во сне машет руками, стонет, ворочается с боку на бок. Простите, конечно, но уж спокойной ее никак не назовешь.

Хикару (*с возмущением*). Знаете что, в вашей больнице...

Медсестра (*перебивает*). В нашей больнице мы не несем ответственности за сны пациентов!

Пауза. Молчание затягивается, и молоденькая медсестра приходит в необъяснимое волнение.

Хикару. Вы чем-то взволнованы?

Медсестра. Взволнована? Возможно. Но это вовсе не из-за того, что вы мне нравитесь.

Хикару (*натянуто смеется*). Чем дальше в лес, тем больше дров. Какая-то странная у вас здесь больница.

Медсестра. По правде говоря, вы такой красавец... Вылитый принц Гэндзи. Знаете, здесь у нас с дисциплиной очень строго. Медсестры — все без исключения — лечатся у психоаналитика, чтобы избавиться от скрытых сексуальных комплексов. (*Разводит руки в стороны.*) От всех до единого! Заведенный порядок таков, что мы можем удовлетворять свои потребности по мере их появления. Завклиникой и молодой главврач — известные специалисты по этим вопросам. В случае необходимости они выписывают нам лекарство. Лекарство называется "секс". После того как мы его примем, у нас не возникает никаких проблем.

Хикару (*поражен до глубины души*). Ну и ну!

Медсестра. Поэтому я прекрасно понимаю, что происходит с вашей женой. Все ее кошмары — следствие скрытых сексуальных комплексов. Если она пройдет курс лечения у психоаналитика, все эти комплексы исчезнут. А пока что мы ей даем снотворное.

Хикару. Так значит под воздействием этого снотворного моя жена...

Медсестра. Ну да! (*В еще большем волнении.*) Именно поэтому я никак не могу добиться... понимания, что ли. Никто не желает меня понимать: ни сам пациент, ни его родственники — извините, я не хотела вас обидеть, — ни те, кто приходят навещать больного. Разве не так? Все мы лишь привидения. Призраки своего собственного либидо. И тот, кто является сюда каждый вечер навещать вашу жену, — тоже не исключение.

Хикару. Каждый вечер? Сюда? Навещать мою жену?

Медсестра. Ой, проговорилась. Да, в общем-то каждый вечер. С тех самых пор, как ваша жена попала в больницу. Очень занятой человек, всегда приходит поздно вечером — говорит, что днем катастрофически не хватает времени. Вообще-то мне было строго-настрого запрещено об этом упоминать, но я как-то незаметно для себя...

Хикару. А этот ночной гость, он мужчина или...

Медсестра. Можете не волноваться — женщина. Очень красивая женщина средних лет. Кстати, она должна вот-вот появиться. Каждый раз я пользуюсь ее присутствием и ухожу немного отдохнуть. Честно говоря, мне не очень нравится находиться с ней рядом, я сразу чувствую себя какой-то подавленной, уж не знаю отчего.

Хикару. А как она выглядит?

Медсестра. Она со вкусом одета. В стиле обеспеченных буржуа. Вы ведь знаете, что в буржуазных семьях сексуальная свобода подавляется наиболее жестоко... Ну, как бы там ни было, вы ее сейчас сами увидите. (*Идет к окну, отодвигает штору.*)...Только взгляните. Почти во всех окнах уже погас свет. Фонари по обе стороны улицы вытянулись в две четкие линии — одна напротив другой. Настало время страсти. Час взаимной любви, час взаимной ненависти, час жестокой битвы... Заканчивается дневная борьба за существование, и начинается ночная война. Кровопролитная, она уносит еще больше жизней, но приносит и забытье. Гулко звучат ночные горны, возвещающие начало сражения. Женщины истекают кровью, умирают и раз за разом возрождаются вновь. На поле брани всегда, перед тем как начать жить, ты должен единожды умереть. Воюющие женщины и мужчины украшают свое оружие траурными лентами. Нет в мире ничего белее их воинских флагов. Но флаги эти втаптываются в грязь, попираются и не раз

окрашиваются в цвет крови. Барабанщик бьет в барабан. В барабан сердец. В барабан чести и бесчестья. Замечали ли вы, как нежно дыхание идущих на смерть? Выставив напоказ свои раны, свои кровоточащие смертельные раны, они с гордостью идут на собственную погибель. Некоторые мужчины перед тем как умереть мажут свои лица грязью. Их позор будет им наградой. Взгляните! Нет ничего удивительного в том, что нигде не видно света. Раскинувшиеся там внизу, насколько хватает глаз, — это не дома, это стоят могилы! Никогда, никогда больше свет луны не ляжет на эти мраморные плиты, не прольется на эти грязные, прогнившие надгробья... Мы, медсестры, по сравнению с ними просто ангелы. Мы возвышаемся над миром любви, над миром страсти. То, что время от времени происходит с нами в постели, — это элементарные химические изменения, только и всего. Мир нуждается в таких больницах, как наша. Заведующий клиникой не устает об этом говорить... Ах, вот и она! Вот она! Всегда на одной и той же машине. Знаете, такие широкие авто серебряного цвета. Сейчас она на полном ходу подъедет к больнице и остановится напротив дверей. Вот, посмотрите. (*Хикару подходит у окну.*) Как и всегда, она сначала едет по виадуку, а потом — вот, видите? — делает разворот... и через секунду она уже прямо у главного входа. Вот открылась дверца... И вы меня извините, но я пойду. Спокойной ночи. (*Поспешно выходит через дверь в правом углу сцены.*)

Пауза. Снова глухо, но настойчиво звонит телефон. Пауза. В ту же дверь, через которую только что вышла медсестра, заходит призрак Яско Рокудзё. На ней роскошное кимоно. Руки в изящных черных перчатках.

Хикару. Госпожа Рокудзё? Какая неожиданность.

Яско. А... Хикару. Сколько лет, сколько зим.

Хикару. Значит, вы и есть та самая таинственная ночная гостья?

Яско. Тебе уже рассказали? А кто, если не секрет?

Хикару молчит.

Яско. Наверное, медсестра. Какая она болтливая. Но, откровенно говоря, я приходила сюда не совсем в гости. Зная, что ты в отъезде, я каждый вечер, чтобы восполнить твое отсутствие, приносила Аои букет.

Хикару. Букет?

Яско (*разводит руками*). Ты удивлен — я пришла с пустыми руками. Но мой букет невидим. Это букет страданий. (*Делает вид, что кладет букет в изголовье Аои.*) Я кладу его в изголовье, и вот почки лопаются, высвобождая серые лепестки. Тут и там среди листьев вырастают частоколом шипы - страшное зрелище. Распустившиеся цветы источают зловоние, которое в конце концов наполняет всю комнату, и тогда — гляди! — лицо больной, такое умиротворенное, вдруг искажается гримасой. Ланиты ее пылают, и вся она содрогается от ужаса. (*Несколько раз проводит руками над лицом спящей.*) Бедная Аои: ей снится, что лицо ее стало безобразным. Во сне она подходит к зеркалу, но вместо прекрасного своего лица видит ли-

цо старухи, испещренное морщинами. А вот я касаюсь руками ее нежного горла (*прикасается к горлу Аои*), и ей снится, что она болтается в петле. Кровь приливает к лицу. Руки и ноги тяжелеют. Дыхание прерывается...

Хикару (*в панике отталкивает Яско от кровати*). Что вы делаете с Аои?!

Яско (*отходит от кровати. Издалека, очень нежно*). Я приношу ей страдания.

Хикару. Придется вам напомнить, что Аои моя жена. Ваше присутствие здесь совершенно излишне. Прошу вас, уходите.

Яско (*медовым голосом*). Не уйду.

Хикару. Какая наглость...

Яско (*приблизившись, ласково берет Хикару за руку*). А ведь я сегодня пришла только для того, чтобы увидеться с тобой.

Хикару (*отдергивает руку*). У вас ледяные пальцы.

Яско. Ну конечно, ведь они бескровны.

Хикару. А эти перчатки?

Яско. Если тебе не нравятся мои перчатки, я охотно расстанусь с ними на некоторое время (*снимает перчатки, кладет их возле телефона*) ...Как бы то ни было, я пришла сюда по делу. По очень важному, я бы даже сказала неотложному делу. Надеюсь, ты не думаешь, что мне доставляет удовольствие разъезжать туда-сюда по ночному городу? Кстати, раз уж речь зашла о ночи... (*Смотрит на наручные часы.*) Уже начало второго. Слушай, по ночам тело приобретает полную свободу, которой ей так не хватает днем. Люди, предметы — все погружается в сон. Взгляни вокруг — эти стены спят. Спит тумбочка, спит дверь. Оконные стекла — и те заснули. А заснув, покрылись невидимыми трещинами. Трещины эти настолько широки, что пролезть в них не составит никакого труда. Ты можешь пройти сквозь стену, даже не заметив ее. Скажи, что такое, по-твоему, ночь? Ночь — это гармония. Ночью все существует в мире и согласии, а днем — вспомни, как жестоко свет воюет с тенью. Не-ет. Ночью все иначе. После захода солнца ночь, народившаяся в доме, покидает родные стены и берет под руку ночь уличную, потому что обе они суть одно и то же, и нет между ними различий. Ночной воздух так и кишит тайными заговорщиками — ненависть в сговоре с любовью, боль — с радостью. Крепко держатся они друг за друга, и, должно быть, недаром в ночной темноте убийца молодой женщины испытывает особенную нежность к своей жертве... (*Смеется.*) Ну что ты с меня глаз не сводишь? Удивляешься тому, как я постарела за это время?

Хикару. Вы дали мне клятву, что в этой жизни мы больше не встретимся.

Яско. Мне кажется, тогда ты был рад услышать от меня клятву. А потом ты женился на Аои (*диковато косится на спящую*), на этой хилой, вечно больной женщине. (*Потерянно.*) Что до меня, то я с тех пор потеряла сон. Каждый вечер мучаюсь — не могу заснуть. А даже если все-таки засыпаю — не сплю. Не сплю ни секунды вот уже сколько ночей подряд.

Хикару. Неужели вы сюда ехали, чтобы пожаловаться мне на свою тяжелую жизнь? Хотите, чтобы я вас пожалел?

Яско. Сама не знаю, зачем я сюда ехала. Иногда, мне кажется, что больше всего на свете я хочу тебя убить. И когда я думаю об этом, мне хочется, чтобы ты — уже мертвый — пожалел меня. Я существую в центре чувственного вихря одновременно с мириадами разнообразных чувств. Тебя не удивляет, что я соседствую со всеми этими тончайшими материями? Что я — это они?

Хикару. Я не понимаю, о чем вы.

Яско (*неожиданно приближаясь, заглядывает Хикару в лицо*). Поцелуй меня, прошу!

Хикару. Прекратите!

Яско. Ах, твои прекрасные брови, твои ясные, сводящие с ума глаза, твой мраморный нос, твои...

Хикару. Прекратите!

Яско. ...твои губы (*неожиданно целует Хикару в губы*).

Хикару (*отшатывается*). Оставьте меня!

Яско. Когда мы поцеловались в первый раз, ты точно так же отпрянул, как молодой олень.

Хикару. Быть может, и так, но это вовсе не значит, что я вас любил. Мне просто было интересно, как бывает интересно любознательному ребенку. А вы воспользовались моей юношеской непосредственностью. И теперь, я надеюсь, вам ясно, какую цену должна заплатить женщина, сыгравшая однажды на мужском любопытстве.

Яско. Значит, ты меня нисколько не любил? Раньше ты не говорил мне об этом. Оказывается, ты меня всего лишь исследовал. По крайней мере, ты теперь так считаешь. Ах, как мило! Пожалуйста, продолжай и дальше придерживаться этой линии.

Хикару. Я уже не мальчик. Неужели у вас нет ни капли стыда? Вот прямо перед вами спит моя жена, видите?

Яско. Мне нечего стыдиться, я пришла сюда по делу.

Хикару. По какому делу?

Яско. Чтобы получить твою любовь.

Хикару. Госпожа Рокудзё, вы в своем уме?

Яско. Вообще-то меня зовут Яско.

Хикару. Я не обязан называть вас по имени.

Яско (*неожиданно опускается на колени. Крепко обнимает стоящего перед ней Хикару, утыкается в него лицом*). Умоляю, не будь таким холодным!

Хикару. Где же ваша прежняя гордость? Порастерялась? (*В сторону.*) Странное чувство, словно она и не человек вовсе. Ноги как будто отнялись — не пошевелить.

Яско. А у меня ее никогда и не было.

Хикару. Жаль, что вы мне сразу об этом не сказали — может быть, наши отношения и продлились бы несколько дольше...

Яско. Ну, это ты сам виноват — не заметил. Не сумел прочесть в моих глазах, как давно я лишилась гордости... Так знай! Высокомерие. Это из-за него теряют женщины свою гордость. Потому-то каждая женщина и хочет стать королевой — у королевы самый большой запас гордости, впрочем и потери ей предстоят большие... Боже мой, твои колени! Они будут мне холодной, жесткой подушкой.

Хикару. Яско...

Яско. На этой подушке я бы смогла наконец-то заснуть. Холодная, жесткая — такая подушка никогда не согреется, как та, другая, которая становится теплой, стоит мне положить на нее голову. Ночь напролет я ищу щекой холодное место — все переворачиваю и переворачиваю нагретую подушку — и вот уже светает... Человек, научившийся ходить босым по раскаленному песку пустыни, не сможет пройти по моей подушке.

Хикару (*потеплевшим голосом*). Ну же, успокойтесь. Меня так легко разжалобить.

Яско. Все ясно! Ты и на Аои женился из жалости!

Хикару (*отталкивает Яско*). Досужие домыслы! (*Садится на стул. Яско ползком следует за ним, утыкается лицом в колени.*)

Яско. Не бросай меня.

Хикару (*закуривает*). Да я вас уже давным-давно бросил.

Яско. Неправда! Ты меня до сих пор любишь.

Хикару. Вы приехали, чтобы это со мной обсудить? (*Язвительно.*) А то давеча вы сказали, что явились сюда мучить Аои...

Яско (*меланхолично*). Я хотела убить сразу двух зайцев. Пожалуйста, дай мне сигарету.

Хикару достает сигарету из пачки. Внезапно Яско выхватывает дымящуюся сигарету из его губ. Затягивается. Хикару не остается ничего другого, как достать из пачки новую сигарету.

Хикару (*закуривает*). Знаешь, я тогда не находил себе места. Кидался из стороны в сторону, как неприкаянный. Я мечтал о тяжелых оковах. Мечтал о том, чтобы меня заперли в клетке. И ты стала мне клеткой. Но когда я вновь захотел свободы, твоя клетка оказалась запертой.

Яско. Да, я помню твои глаза, вопиющие об освобождении. Вырваться из клетки, в которой я тебя заперла, сбросить оковы, которыми я тебя опутала, — вот о чем кричали твои глаза. И мне радостно было видеть, как ты рвешься на свободу. Именно тогда я полюбила тебя по-настоящему... Стояла ранняя осень. Я отдыхала в своем загородном доме, в один из дней ты приехал навестить меня... В тот день я встретила тебя на яхте — ты ждал меня на пристани прямо возле железнодорожной станции. На небе не было ни облачка. Мачта нежно поскрипывала. Яхта...

Хикару (*подхватывает*). Белый парус...

Яско (*неожиданно резко*). Разве тебе не противно, что мы вспоминаем это вместе?

Хикару. Я бы не сказал, что мы вспоминаем, просто мы случайно тогда оказались в одном и том же месте в одно и то же время.

Яско. По крайней мере, мы с тобой были вместе на плывущей по озеру яхте. Парус над нашими головами хлопал, то наполняясь ветром, то опадая. Ах, если бы он снова оказался здесь, над нами!

Хикару (*подходит в окну, вглядывается вдаль*). Что это там? Уж не парус ли?

Яско. Он здесь! Он здесь!

Раздаются пугающие звуки диковатой музыки. Справа на сцену вплывает огромный яхтенный парус. Он плавно и величаво, как лебедь, движется по сцене. Подплывает к Яско и Хикару. Останавливается между ними и кроватью, закрывая наподобие экрана кровать, на которой спит Аои, от них обоих и от зрительного зала. Дальнейшая сцена разыгрывается на палубе яхты.

Яско. Сегодня озеро особенно полноводно.

Хикару. Какой приятный вечер.

Яско. Ты ведь никогда не был в моем загородном доме, не так ли? Смотри вон туда, на тот берег. У самого подножья горы сейчас покажется крыша, прямо за рощей. Вот уже видно серо-зеленую черепицу. Ночью по округе рыщут лисицы, и слышно, как они воют в горах позади дома. Ты слышал, как воют лисицы?

Хикару. Ни разу.

Яско. Сегодня ночью обязательно услышишь. А еще ты услышишь предсмертный вопль глупой тетерки, попавшейся в цепкие лисьи когти. Услышишь, как хрустит нежное птичье горло под острыми зубами.

Хикару. Не хочу я этого слышать.

Яско. Я уверена, что тебе понравится мой сад. По краям лужайки весной вырастает омег, и сад наполняется его прелестным ароматом. Во время июньских затяжных дождей все клумбы залиты водой, и если пройти по затопленному саду, то в оставленных следах всплывают цветы гортензии. Ты видел когда-нибудь плавучую гортензию?.. А осенью в приозерных камышах порхают прозрачные стрекозы. Пролетая над озером, они слегка касаются воды, словно катятся по льду на санках.

Хикару. Кажется, я вижу твой дом. Вон там, что ли?

Яско. Да-да, серо-зеленая крыша. На закате в лучах заходящего солнца мой дом виден особенно хорошо. Закат полыхает в окнах, отсвечивает в черепице — и эти блики, как свет маяка, указывают путнику дорогу. (*Пауза.*) Почему ты молчишь? Скажи хоть слово.

Хикару (*нежно*). Не нужно слов.

Яско. Ах, твои речи — чудодейственный бальзам. Они исцеляют самые тяжелые раны. Твой голос — самое лучшее лекарство... Но я-то хорошо тебя знаю. Исцелив одну рану, ты наносишь другую, еще более жестокую. Такой уж ты человек — сначала лечишь, потом калечишь. Никаких лекарств, никаких чудес... Я прекрасно все понимаю. Я уже старая. Если меня поранить, рана будет заживать долго, не то что у молодой. Чем нежнее ты говоришь, тем мне страшнее: как же ты меня изувечишь после этого волшебного лекарства? Теперь-то я знаю, что было бы лучше услышать от тебя какую-нибудь грубость...

Хикару. Похоже, ты решила, что в любом случае страданий тебе не избежать.

Яско. Так же естественно, как день сменяется ночью, счастье сменяется страданьем.

Хикару. Я не думаю, что у меня есть способность делать людей несчастными.

Яско. Ты не веришь мне потому, что ты молод. Между тем в одно прекрасное утро ты проснешься, ничего не подозревая, пойдешь выгуливать своего пса и вдруг почувствуешь, что причиняешь страдания почти каждой встречной женщине. Ты поймешь, что сам факт твоего существования заставляет страдать неисчислимое количество женщин. Ты можешь сделать вид, что не замечаешь их, но они — как ни стараются, как ни отводят глаза — все время видят перед собой твой образ. Ты подобен замку, вознесшемуся над распростертым внизу городом.

Хикару. Ладно, давай поговорим о чем-нибудь другом.

Яско. Ну давай о другом, хотя я счастлива, что до сих пор не потеряла вкус к подобным разговорам.

Хикару. Отсюда твой дом виден как на ладони: я вижу ставни второго этажа, вижу балконные перила, кажется, они сделаны из дерева... Похоже, дом пуст.

Яско. Да, в доме никого. Было бы здорово прожить в нем с тобой всю жизнь до самой смерти.

Хикару. Ну ты скажешь тоже — "до самой смерти": никто не знает, когда мы умрем. Может быть, по нелепой случайности мы умрем уже завтра. Вот тебе пример — яхта переворачивается...

Яско (*перебивает*). Яхта переворачивается — глупости какие! Стала бы я покупать тебе яхту, которая может так легко перевернуться.

Хикару (*раскачивает мачту*). Сейчас ты увидишь, как она перевернется.

Яско обвивает Хикару руками. Он заключает ее в свои объятия.

Голос Аои (*еле слышно, издалека*). Спасите! Спасите!

Аои, чуть приподнявшись на кровати, протягивает, как при молитве, руки. Ее тень падает на парус, как на экран.

Хикару. Мне кажется, я только что слышал чей-то голос.

Яско. Вряд ли это был голос, наверное, лисий вой. Днем он доносится с гор и долго еще скользит, подхваченный эхом, над тихим озером.

Хикару. И правда, похоже на вой... Все, больше ничего не слышно.

Яско. А ты задумывался о том, что бы произошло, если бы рядом с тобой оказалась не я, а другая женщина?

Хикару. Да нет, как-то не приходилось.

Яско. Знаешь, я иногда задаю себе вопрос: почему в нашем мире у каждой вещи есть левая и правая сторона? Сейчас я справа от тебя. А это значит, что твое сердце далеко-далеко, на той стороне. Если же я перейду на левую сторону, то не увижу твой правый профиль.

Хикару. Ну, значит, мне остается только превратиться в газ и испариться.

Яско. Хорошо бы... Когда я справа от тебя, я волнуюсь о том, что происходит слева — мне все время кажется, что там кто-то есть.

Хикару (*наклонившись, с борта опускает руку в воду. Говорит и продолжает держать руку в воде*). Слева от меня — только озерная гладь. Ну вот, я отморозил руку... Взгляни (*показывает Яско мокрую ладонь*), она чуть не покрылась льдом. А ведь сейчас только начало осени.

Со стороны кровати из-за паруса доносится стон.

Хикару. Ой!

Яско. В чем дело?

Хикару. Ты что, не слышала? Как будто человек стонет.

Яско (*прислушиваясь*). Нет, это мачта скрипит.

Хикару. Ветер поменялся. (*Делает вид, что закрепляет парус. Парус при этом остается неподвижным.*) ...Отсюда хорошо видно, как волнуется под ветром озерный камыш. Поверхность озера подернулась мелкой рябью — такой ветер.

Яско. Да-а... Знаешь, если ты полюбишь другую, моложе и красивее меня, если ты женишься на ней...

Хикару. То что?

Яско. В общем-то, я подумала, что от этого не умру.

Хикару (*смеется*). Ну вот и замечательно.

Яско. Я-то не умру, а вот она... Ее я точно убью. Я буду жить, но моя душа покинет мое живое тело и будет истязать твою молодую жену. Пока несчастное создание не умрет в страшных мучениях, мой призрак не оставит ее в покое ни на секунду, причиняя ей неимоверную боль, принося ей нестерпимые страдания. Каждый вечер я буду навещать ее. Бедняжка, ей предстоит быть замученной до смерти.

Голос Аои (*издалека, еле слышно*). Спасите! На помощь!

Хикару. Снова голос. Что ж это такое?

Яско. Это мачта стонет под ветром. Это ветер завывает над озером.

На полотне паруса отчетливо виден силуэт Аои, простирающей руки к небу.

Голос Аои (*гораздо громче, чем прежде*). А-а! А-а! На помощь! Спасите!

Хикару (*в возбуждении*). Несомненно это человеческий голос.

Яско. Это просто ветер доносит со скал предсмертный вопль тетерки, которой лисица перегрызла горло. Посмотри, как близко скалы.

Хикару. Наверное, кто-то тонет.

Яско. Никто не тонет. Кроме нас, здесь никто не может утонуть.

Голос Аои (*отчетливо*). Спасите! Спасите!

Хикару. Это голос Аои!

Яско (*сквозь смех*). Да нет же, это тетерка.

Хикару. Это точно ее голос. Это она зовет.

Яско. А-а! Не бросай меня!

Хикару. Это все из-за тебя! Ты, ты хотела... Аои...

Яско. Нет! Я не виновата. Ты один во всем виноват.

Аои за парусом громко всхлипывает.

Хикару. Аои.

Яско. Посмотри на меня. Ты же не любишь Аои. Не отводи глаза, смотри. Я — твоя единственная любовь! Я и больше никто!

Хикару (*отворачивается*). Это ложь.

Они стоят друг против друга. Дикая музыка. Яско разворачивается и делает попытку уйти за парус. Хикару останавливает ее. Она вырывается и уходит за парус. Хикару идет вслед за ней. Гаснет свет. Сцена погружается в темноту. Под музыку яхта медленно уплывает со сцены вправо. Как только яхта покидает сцену, зажигается свет. Яско нигде не видно. Хикару в растерянности стоит посреди сцены в одиночестве.

Хикару (*как будто его внезапно осенила какая-то мысль, кидается к тумбочке, на которой стоит телефон, снимает трубку*). Алло... Алло... Соедините, пожалуйста. Девушка?.. Я уже на линии? Пожалуйста, наберите Такано — девятьсот девяносто. Алло... Алло... госпожа Рокудзё? Это вы? Извините, я могу поговорить с Яско? С хозяйкой можно поговорить? Что вы говорите, давно легла?.. Уже в спальне? Вы знаете, это очень важно. Пожалуйста, разбудите ее. Меня? Вакабаяси. Хикару Вакабаяси. По очень срочному делу. Очень вас прошу, разбудите ее... Э-э...

Пауза. Хикару обеспокоенно смотрит на кровать. Аои тихо спит, лежа на спине.

Хикару. Алло... Алло... Это Яско? Да-да, я слышу, что это вы. (*В сторону.*) Определенно ее голос. Но если так, то, значит... Значит, это был призрак. Душа, покинувшая живое тело. Э-э... э-э... Алло...

Неожиданно с правой стороны сцены раздается стук в дверь.

Голос Яско (*из-за двери, очень четко*). Хикару, я кое-что забыла. Мои черные перчатки, они лежат возле телефона. Ты не мог бы мне их принести?

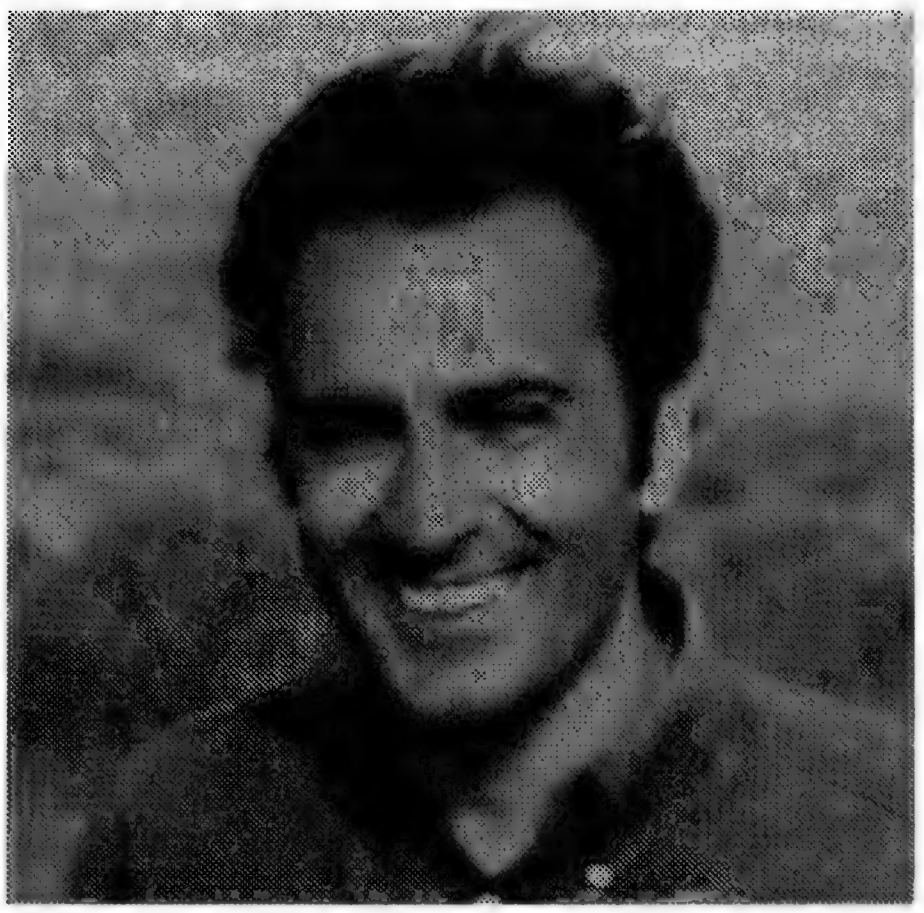
Хикару рассеянно берет черные перчатки, телефонная трубка остается лежать на тумбочке. Подходит к двери в правом углу сцены, открывает ее, выходит. Как только Хикару скрывается за дверью, голос Яско в трубке становится громким настолько, что он слышен в зрительном зале.

Голос Яско в трубке. Алло... Алло... В чем дело? Хикару? Что случилось? Разве можно звонить так поздно и молчать в трубку? По какому делу ты звонишь? Почему не отвечаешь? Алло, Хикару? Алло... Алло...

На последнем "алло" Аои, одетая в белый больничный халат, вдруг тянется к телефону. Не дотянувшись, издает страшный вопль, скатывается с кровати на пол, умирает. Сцена погружается в темноту.

Занавес

Мануэль Пуиг



Крашеные губки

Перевод с испанского А. Казачкова

1
Крашеные губки – огненный кармин

Эпизод первый

Вся жизнь моя... была полна тобою...
Альфредо Ле Пера

ЗАМЕТКА, ПОМЕЩЕННАЯ В АПРЕЛЬСКОМ НОМЕРЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ЖУРНАЛА "НАША ОКРУГА" ЗА 1947 ГОД, ИЗДАВАЕМОГО В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ КОРОНЕЛЬ-ВАЛЬЕХОС, ПРОВИНЦИЯ БУЭНОС-АЙРЕС:

"Прискорбная кончина. Безвременный уход из жизни 18 апреля сего года в возрасте двадцати девяти лет господина Хуана Карлоса Этчепаре, перенесшего тяготы долгой болезни, вызвал в нашем городке, любимым сыном которого был усопший, всеобщее чувство нежданной печали, хотя многие из близких знали о его серьезном недуге.

Смерть вырвала из нашего окружения человека, чьи превосходные качества духа и характера являли нам похвальные доблести обладателя тех несметных свойств и дарований, какими отличаются носители бесценного дара обаяния, снискавшие восхищение среди своих и чужих.

© А. Казачков. Перевод, 2004

Останки Хуана Карлоса Этчепаре захоронены в местном некрополе, до места погребения их сопровождала многолюдная и скорбящая процессия".

Буэнос-Айрес, 12 мая 1947 года

Уважаемая донья Леонор!

Я узнала печальную весть из журнала "Наша округа" и после немалых сомнений осмеливаюсь направить Вам мои самые искренние соболезнования в связи со смертью Вашего сына.

Я — Нелида Фернандес де Масса, меня звали Нене, помните меня? Вот уже много лет я живу в Буэнос-Айресе, вскоре после свадьбы мы переехали сюда с мужем, однако, получив ужасное известие, я решила написать Вам несколько строк, хотя еще до моего замужества Вы и Ваша дочь Селина перестали со мной здороваться. Он, тем не менее, всегда здоровался со мной, бедненький Хуан Карлос, да покоится он с миром! Последний раз я видела его лет девять назад.

Не знаю, сеньора, сердитесь ли Вы еще на меня, но я все-таки желаю, чтобы Наш Господь помог Вам, очень трудно, наверное, смириться с такой утратой — потерей уже взрослого сына.

Несмотря на четыреста семьдесят пять километров, отделяющие Буэнос-Айрес от Коронеля-Вальехоса, в эту минуту я рядом с Вами. Хоть Вы меня и не любите, позвольте помолиться вместе с Вами.

Нелида Фернандес де Масса

Освещенная новой люминесцентной лампой на кухне, она закрывает пузырек с чернилами, осматривает руки и, заметив, что державшие ручку пальцы испачканы, направляется к раковине для мытья посуды. Очищает пемзой чернильные пятна и вытирает руки кухонным полотенцем. Взяв конверт, смачивает клеевой край слюной и несколько секунд смотрит на разноцветные ромбы клеенки, которой покрыт стол.

Буэнос-Айрес, 24 мая 1947 года

Дорогая донья Леонор!

Как радостно было получить Ваше ответное письмо! По правде сказать, я его не ждала, думала — Вы меня никогда не простите. Вижу, Ваша дочь Селина, напротив, продолжает меня игнорировать, и я, как Вы просите, буду писать Вам на абонентский почтовый ящик, чтобы Вы с ней не ссорились. Знаете, что я даже подумала, увидев Ваш конверт? Подумала, что внутри лежит мое нераспечатанное письмо.

Сеньора... мне так грустно, не следовало говорить это именно Вам, лучше бы Вас утешить. Но не знаю, как объяснить, ни с кем я не могу говорить о Хуане Карлосе и целыми днями думаю, какое несчастье, что такого молодого и видного парня поразила эта болезнь. Ночью я часто просыпаюсь и невольно принимаюсь думать о Хуане Карлосе.

Я знала, что он болен, что снова ездил в горы Кордовы лечиться, но почему-то... не жалела его, а может, не думала, что смерть его близка. Те-

перь мне не дает покоя одна мысль, ведь он никогда не ходил в церковь: исповедался ли он перед смертью? Хоть бы исповедался, так будет спокойнее для нас, еще не ушедших в мир иной, правда? Я давно не молилась, уже три года, с тех пор, как мой младшенький тяжело хворал, но теперь я снова стала молиться. Еще я боюсь, что все-таки выполнили его желание. Вы о нем что-нибудь знали? Надеюсь, нет! Понимаете, сеньора, об этом я тоже думаю, когда просыпаюсь по ночам: ведь Хуан Карлос не раз говорил мне, что хочет, чтобы его кремировали, когда он умрет. По-моему, католическая религия относится к этому неодобрительно, ведь в Катехизисе сказано, что после Страшного суда наступит воскресение и души, и тела. Я не исповедовалась несколько лет и уже отвыкла ходить в церковь, но обязательно спрошу какого-нибудь священника об этом. Да, сеньора, наверняка Хуан Карлос покоится с миром, я вдруг ощутила уверенность, что он, по крайней мере, обрел покой, если не попал еще в Царство небесное. Ах, в этом-то мы должны быть уверены, ведь Хуан Карлос никогда никому не делал зла. Ладно, с нетерпением жду Вашего письма. Обнимающая Вас

Нелида

В ящике платяного шкафа, рядом с маленькими детскими четками, свечой для причастия и памятными открытками со святыми на имя мальчика Альберто Луиса Масса лежит книга в обложке под перламутр. Полистав книгу, она находит место, в котором говорится о начале Страшного суда и воскресении плоти.

Буэнос-Айрес, 10 июня 1947 года

Дорогая донья Леонор!

Сегодня вечером, вернувшись из центра с покупками для мальчиков, я обнаружила Ваше письмо. Почувствовала большое облегчение, узнав, что Хуан Карлос исповедался перед смертью и похоронен по-христиански. Что ни говори, это очень большое утешение. А Вы как поживаете? Чуточку пободрее? Я пока все хожу как в воду опущенная.

Теперь позволю себе некоторую смелость. Когда он уехал в Кордову первый раз, то написал мне в Вальехос несколько писем о любви, такие слова говорил, что я никогда их не забуду, мне бы не следовало этого писать, ведь я теперь замужняя женщина, у меня двое детей, два сына, оба, слава Богу, здоровы, одному восемь, другому шесть, да хранит их Господь, и не надо бы вспоминать о прошлых делах, но, просыпаясь среди ночи, я все думаю, как отрадно было бы снова перечитать письма, которые писал мне Хуан Карлос. Когда мы с ним перестали разговаривать, и после случившегося с Селиной, мы вернули друг другу письма. Мы даже не обсудили этого между собой, однажды я просто получила по почте все письма, которые посылала ему в Кордову, и тогда я тоже вернула ему все, какие он мне написал. Не знаю, сжег ли он их, может, нет... Они у меня были перевязаны голубой лентой, ведь это были письма от парня, а когда он вернул мне мои, они были небрежно запихнуты в большой конверт, я страшно рассердилась, что они не связаны розовой лентой, как я просила, когда мы еще разговаривали, видите, чему я тогда придавала значение. То были иные моменты жизни.

Кто знает, сохранились ли те письма. Найди Вы их, Вы бы их сожгли? Что вы собираетесь делать со всеми этими вещами Хуана Карлоса, с личными вещами? Я знаю, он как-то сохранил платок с губной помадой другой девушки — он мне рассказал, чтобы позлить. И тут я подумала, если Вы не возражаете и найдете те письма, что он мне писал, может, Вы мне их пришлете.

Ну вот, сеньора, хочется, чтобы Вы и впредь мне писали, меня поразил Ваш твердый почерк, кажется, что это рука молодой особы, поздравляю, и не подумаешь, что в последнее время Вы перенесли такое большое горе. Разве что за Вас пишет кто-то другой, правда же нет?

Запомните: мои письма с голубой лентой, этого довольно, чтоб отличить, а то они без конверта, я, когда собирала, по глупости выбросила конверты, мне казалось, они затасканы, в чем-то я была права, не так ли? На почте к конверту прикасается много рук, а тот листок, что внутри, никто не трогал, только Хуан Карлос, бедненький, и потом я, только мы двое, листок внутри — это и правда очень интимное. Так что знайте, Вам даже не придется читать начало, сразу поймете, где мои письма, — по голубой ленточке.

Ну ладно, сеньора, желаю, чтобы при чтении этих строк у Вас на душе уже было полегче. Обнимаю Вас и целую

Нене

Она заклеивает конверт, включает радио и не спеша надевает вместо поношенной домашней одежды выходное платье. Передача "Танго против болеро" едва началась. Соревнуясь звучат танго и болеро. Танго повествует о злой судьбе человека, который в ненастье под холодным дождем вспоминает, как знойной лунной ночью он познакомился с любимой и как потерял ее на другой день, дождливым вечером, он боится, что наутро, когда взойдет солнце, она все равно к нему не вернется, и это значит, что, возможно, она умерла. Под конец он молит, если возвращение не свершится, пусть в саду не распускаются вновь цветы герани, раз этим лепесткам суждено вскоре увянуть. Вслед за тем в болеро рассказывается о расставании влюбленных, они так любят друг друга, но все же расстаются, а причины разлуки известны только ему: он не может признаться, в чем дело, и просит поверить, что вернется, если ему повезет, как возвращается на рейд рыбацкая шхуна, если шторм в Карибском море ее не потопит. Передача заканчивается. Неотрывно глядя в зеркало, подкрасив губы и припудрив лицо, она подбирает волосы, пытаясь воссоздать прическу, которая была в моде несколько лет назад.

Буэнос-Айрес, 22 июня 1947 года

Дорогая донья Леонор!

Я уже собиралась писать Вам, не дожидаясь ответа, когда, к счастью, пришло Ваше письмецо. Рада узнать, что теперь Вас меньше беспокоят визиты, люди приходят из добрых побуждений, не понимая, что причиняют неудобство, когда их столько.

Я уже собиралась писать Вам, потому что в последнем письме забыла спросить, где похоронен Хуан Карлос: в земле, в нише или в каком-нибудь

семейном склепе. Так хочется, чтобы он не лежал в земле... Вы никогда не забирались в вырытую кем-то яму? Тогда, прикасаясь рукой к твердой земле, сразу почувствуете, какая она холодная и сырая, с острыми кусками щебня, а где земля мягче, еще хуже, ведь там черви. Я не знаю, может, это те самые черви, которые потом ищут себе пропитание, ах, страшно сказать, не представляю, как они проникают в гроб из такого толстого и прочного дерева. Разве только через много лет гроб прогнивает и они могут пролезть, но тогда непонятно, почему не делают гробы из железа или стали. Но сейчас я думаю и вспоминаю, что еще черви вроде находятся у нас внутри, кажется, я где-то читала, что студенты-медики, когда занимаются в морге, видят червей, разрезая труп, не помню, читала я это или мне кто сказал. В нише было бы гораздо лучше, хотя туда и не положишь сразу много цветов, это даже предпочтительнее, чем если бы он лежал в красивом склепе, но у чужой семьи, а то вроде как одалживается. Сеньора, я теперь вспоминаю, кто мне говорил эти ужасы про червей у нас внутри, это был сам Хуан Карлос, потому он и хотел, чтобы его кремировали, лишь бы черви не ели. Простите, если Вас это впечатляет, но с кем мне еще говорить об этих воспоминаниях, как не с Вами?

Не знаю только, как Вам объяснить, с чего начинались письма Хуана Карлоса. Очень странно, что они теперь без голубой ленты. Неужели Вы нашли столько писем? Странно, ведь Хуан Карлос поклялся, что до меня не переписывался ни с одной девушкой, конечно, потом прошли годы, но поскольку наша переписка окончилась ничем, раз мы все равно порвали, у меня в голове засело, что он, наверное, поставил крест на всякой мысли о переписке с девушками. Это я так, просто подумала.

Письма в мой адрес все были написаны на листах из блокнота, который я сама купила ему в подарок вместе с авторучкой, когда он уезжал в Кордову, а я купила еще блокнот для себя. Это такая белая бумага с морщинками, почти как шелк-сырец. Обращение в письмах иногда меняется, он не писал моего имени, говорил, что это может скомпрометировать, а если их нашла бы моя мама, я всегда могла сказать, что они адресованы другой девушке. Важнее, по-моему, то, что они датированы с июля по сентябрь 1937 года, и если Вы немного из них прочтете, не думайте, будто там все правда, это штучки Хуана Карлоса, он любил меня позлить.

Умоляю Вас, постарайтесь их найти, и большое спасибо, если Вы их мне пришлете. С нежными поцелуями

Нене

Не успев надписать конверт, она резко поднимается, оставляет чернильницу открытой, а ручку — поверх промокательной бумаги, на которой выступает круглая клякса. Сложенное письмо исчезает в глубине кармана халата. Закрыв за собой дверь спальни, она подходит к комоду, снимает пушинку со святой Девы Луханской, вырезанной из куска каменной соли, и бросается на кровать лицом вниз. Рука ее стискивает шелковую бахрому, окаймляющую покрывало, другая рука замирает, и открытая ладонь покоится возле куклы в костюме одалиски, восседающей посреди подушки. Она вздыхает. Несколько минут гладит бахрому. Внезапно за входной дверью слышатся голоса детей, поднимающихся по лестнице, она выпускает из рук бахрому и нащупывает в кармане письмо — убедиться, что не оставила его на виду у всех.

Буэнос-Айрес, 30 июня 1947 года

Дорогая донья Леонор!

Я так обрадовалась, получив Ваше письмо раньше, чем думала, но потом расстроилась, прочитав его и поняв, что мое последнее письмо до Вас еще не дошло. Я написала Вам больше недели назад, что же случилось? Боюсь, кто-то мог забрать письмо из ящика, как Вы добиваетесь, чтобы Селина никогда не ходила за письмами? Или она не знает, что у Вас есть абонентский ящик? Если Селина ходит за письмами, возможно, мои она сжигает.

Знаете, сеньора, если Вам трудно разобрать, какие письма адресованы мне, можете прислать все, я потом верну те, что меня не касаются. Я очень его любила, сеньора, простите за все плохое, что я могла сделать, это все было из любви.

Умоляю, ответьте мне поскорее, крепко обнимаю Вас.

Нене

Она встает, переодевается, пересчитывает деньги в портмоне, выходит на улицу и идет шесть кварталов до почты.

Буэнос-Айрес, 14 июля 1947 года

Дорогая сеньора!

Вот уже больше десяти дней, как я Вам написала, и никакого ответа. К чему рассказывать, какие мысли лезут мне в голову. Кто знает, куда подевалось письмо, которое Вы не получили, потом я отправила другое, — Вы его тоже не получили? Может, Вы передумали и больше мной не дорожите, кто-то сказал Вам еще что-нибудь, снова что-то дурное про меня? что Вам сказали? Если бы Вы знали, как мне худо, все кругом опротивело. Ни с мужем, ни с детьми ничем не могу поделиться, так что сегодня, едва накормив мальчиков обедом, я сразу легла — хоть не надо притворяться. Лицом я очень осунулась. Детям говорю, что болит голова, так они меня на время оставляют в покое. С утра я хожу на рынок за продуктами и готовлю, пока служанка убирает в доме, затем приходят мальчики из школы и мы обедаем. Муж днем не приходит. Утром я еще как-то отвлекаюсь, но под вечер до чего же тоскливо, сеньора. К счастью, служанка уходит к себе домой сразу после мытья посуды, но вчера и сегодня она не приходила, и вчера я еще сделала над собой усилие и помыла тарелки, а потом легла, но сегодня не могла, прямиком отправилась в кровать, даже не убрала со стола, — так хотелось побыть немного одной. Лишь это мне приносит облегчение, и я поплотнее задергиваю шторы. Тогда я могу представлять себе, как мы с Вами идем на могилу бедняжки Хуана Карлоса и вместе плачем, пока не выплачемся. Теперь четыре часа дня, солнце прямо весеннее, но гулять совсем не хочется, сижу взаперти, чтобы меня никто не видел. В кухонной раковине у меня громоздится гора грязных тарелок, позже я за них возьмусь. Сказать Вам одну вещь? Сегодня заходила соседка вернуть мне утюг, который я одолжила ей вчера, а я чуть не повернулась к ней спиной, без всякой причины. Я вся дрожу от мысли, что муж придет из конторы рано, хоть бы он задержался, тогда я успею отправить письмо, точно успею. Но Вас-то я,

конечно, хотела бы видеть и поговорить обо всем, что мне не терпится узнать про те годы, пока я не видела Хуана Карлоса. Клянусь, сеньора, когда я вышла за Масса, то больше не вспоминала Хуана Карлоса, я продолжала ценить его как друга, и все. А сейчас не пойму, что со мной, думаю, если бы Селина не говорила обо мне плохо, может, Хуан Карлос был бы теперь жив, и женат на какой-нибудь хорошей девушке, или на мне.

Посылаю Вам эту вырезку из журнала "Наша округа" о Празднике весны, это был, скорее всего, 1936 год, ну да, мне едва исполнилось двадцать лет. Тогда-то все и началось. Если Вам не трудно, верните ее мне, ведь это память.

"Яркое празднование Дня весны. Следуя установившейся традиции, Частный спортивный клуб отметил открытие весеннего сезона блистательным танцевальным вечером, который состоялся 22 сентября под чарующие звуки оркестра "Лос Армоникос" из нашего города. В полночь, во время перерыва между танцами, Королевой весны 1936 года была избрана очаровательная Нелида Фернандес, чей стройный силуэт украшает эту страницу. На снимке рядом с новой обладательницей короны — ее предшественница, привлекательная Мария Инес Линуцци, Королева весны 1935 года. Вслед за этим Комиссия по проведению праздников клуба представила сценку из прошлого под названием "Три эпохи вальса", подготовленную под руководством любительницы искусств госпожи Лауры П. де Баньос, которая также прочла красивые глоссы. Завершил музыкальную кавалькаду венский вальс конца века, с необыкновенной увлеченностью исполненный сеньоритой Нелидой Фернандес и господином Хуаном Карлосом Этчепаре, которые убедительно продемонстрировали "силу любви, преодолевающую все преграды", как декламировала г-жа де Баньос. Особо отмечены поистине эффектные наряды сеньорит Родригес, Саэнс и Фернандес, прекрасно дополненные статностью кавалеров и их безупречными фраками. С другой стороны, следует учитывать, какая это хитроумная задача и отнюдь не простое дело — вникнуть в музыкально-исторический смысл и затем выразить его с непринужденным изяществом после нескольких репетиций, проведенных наспех, в ущерб сну и отдыху. Здесь уместно философское отступление: о, сколько нас, непрестанно скитающихся по этому миру-балагану, каждодневно завершает очередной этап, так и не поняв, какую роль играли мы на сцене жизни! Последняя пара снискала самые бурные аплодисменты, однако наша редакция поздравляет в равной степени всех. Это был трогательный и во многом незабываемый вечер, на который собралось немало гостей, оживленно танцевавших до предрассветных часов 23-го числа".

Ну вот, видно, я не сказала главного, почему шлю Вам это письмо: пожалуйста, напишете мне скорее, а то, боюсь, муж заподозрит что-нибудь, если я так и буду ходить чернее тучи.

Обнимаю,

Ваша Нене

P. S. Вы мне больше не напишете?

Она складывает письмо и вырезку втрое и помещает в конверт. Резким движением вынимает их, разворачивает письмо и перечитывает. Берет вырезку и целует ее несколько раз. Вновь складыва-

ет письмо и вырезку, кладет их в конверт, который запечатывает и прижимает к груди. Открывает ящик кухонного буфета и прячет конверт среди салфеток. Поднимает руку, запускает пальцы в волосы, почесывает кожу головы короткими ногтями, покрытыми темно-красным лаком. Зажигает газовую колонку, чтобы помыть посуду горячей водой.

Эпизод второй

Бельграно, 60—11
Алло, Ренату позовите...
Я знаю, здесь таких нет,
Прошу Вас, со мной говорите,
Хоть слово скажите в ответ,
Уж вечер, придется грустить,
Я знаю, Ренаты здесь нет,
И не с кем поговорить.

Луис Рубинстейн

Буэнос-Айрес, 23 июля 1947 года

Донья Леонор, дорогая!

Как долго Вы оставляете меня без вестей! Уже почти четыре недели я не получаю от Вас письма, ничего плохого не произошло, надеюсь. Нет, теперь, думаю, судьба должна к нам перемениться, правда? Если со мной что стрясется, я, наверно, не вынесу. Почему же Вы мне не пишете?

Сегодня суббота, и я уговорила мужа повести мальчиков вечером на матч, который проходит тут неподалеку, на стадионе "Ривер", слава Богу, я осталась ненадолго одна, а то, если бы муж снова принялся меня отчитывать, не знаю, что бы я ему ответила. Говорит, что я хожу с кислой миной.

Чем Вы там теперь занимаетесь? В субботу после обеда к нам домой в Вальехосе всегда приходил кто-нибудь пить мате, обычно девочки. Подумать только, окажись я сегодня там проездом, не смогла бы зайти к Вам на чашку мате, из-за Селины. И вообще вся каша заварилась... из-за сущей ерунды. Все началось в ту пору, когда я устроилась упаковщицей в магазин "Аргентинское — недорого", с Селиной и Мабель я дружила еще с начальной школы, они тогда вернулись с дипломами учительниц, а Мабель была к тому же девушка с деньгами, вот я и стала ходить в этот клуб.

Да, сеньора, признаю, что я поступила нехорошо, и все началось с того, что я не послушала маму. У нее чутье почище любой гадалки: ни за что не хотела пускать меня на танцы в Частный клуб. Кто из девушек туда ходил? Те, кто мог принарядиться, либо благодаря родителям с хорошим положением, либо если сами были учительницами, а девушки из магазинов, как Вы помните, чаще ходили в клуб "Досуг". Мама сказала, что, если я полезу куда не следует, будет только хуже. Сказано — сделано. В тот год на Праздник весны готовили номера и выбрали меня, а Селину нет. Мабель, известное дело, выбрали бы и так, ведь ее отец заправлял в клубе. Третья девочка тоже не числилась в клубе, но это другая история, не важно, и вот на первую репетицию пришли три отобранные пары, и эта Пальоло, игравшая на пианино, и Баньос, которая учила нас разным па из специально-

го учебника со всеми иллюстрациями. Баньос гоняла нас туда-сюда и хотела, чтобы Пальоло сперва сыграла подряд все три вальса и мы их прослушали, но тут заявилась Селина и принялась шептать мне на ухо, не давая слушать музыку. Сказала, что больше не будет со мной дружить, потому что меня приняли в клубе благодаря ей, а теперь я заодно с ней не протестую, что ее оттерли от праздника. Она меня и раньше просила не соглашаться, из солидарности, но Мабель она не просила, и меня это так взбесило, почему она не сказала то же самое Мабель? потому что у Мабель водились деньги, а у меня нет? или потому что она учительница, а я дальше шестого класса не пошла, не знаю, почему Селина хотела пожертвовать мной, а не ею. Я Селине восемьдесят раз повторила, что никто ее не оттирает, просто она очень низенькая, а костюмы, заказанные напрокат из Буэнос-Айреса, все приходят среднего размера. Баньос была вне себя, видя, как мы болтаем и не слушаем музыку, и с этой минуты уже меня невзлюбила.

Меня одно бесит: Селина хотела заарканить Мабель для брата и, как Вы знаете, Хуан Карлос слегка за ней приударял, но потом они расстались. Еще до ухаживания за мной. Но, видно, Селина все ж не оставила надежды породниться с семьей Мабель.

В будни я уходила из магазина в семь вечера и не виделась с Селиной и Мабель, но по субботам обе приходили к нам после сиесты выпить мате, и мама укладывала Мабель волосы для вечера, а то у нее не очень клеилось с прической. Первая репетиция была в понедельник, я четко помню, и Селина не попадалась мне на улице всю следующую неделю, странное дело, а когда настала суббота, к нам зашла одна Мабель. Я решила бросить репетиции, если Мабель перестанет ходить. Ах, если бы она больше не ходила, но, видно, все уже было написано в Книге судьбы. Хотя как это ужасно — думать, что в тот вечер, когда Мабель постучалась в калитку и позвала меня, все уже было предрешено. Думаю, в ту минуту на радостях я упустила свое счастье. Я теперь очень переменилась, за весь день даже не причесалась, так мне хочется умереть.

Но, чтобы закончить с Селиной, признаюсь Вам откровенно: на ухо она мне сказала, что без нее ноги бы моей не было в клубе и что всем известно про доктора Аскеро. До работы в "Аргентинском — недорого" я принимала больных у Аскеро, готовила инъекции, и люди, когда я вдруг ушла, поговаривали, будто между нами было что-то грязное, а он женатый мужчина с тремя детьми. Ну ладно, сеньора, на этом прерываюсь, а то еще придет муж и прочитает письмо, представляете? Продолжу в понедельник, когда его не будет.

Понедельник, 25-е

Моя дорогая подруга!

Я одна на свете, совсем одна. Мальчиков, если меня не станет, вырастит свекровь, или кто угодно, лучше меня. Вчера я заперлась в комнате, и муж взломал дверь, я думала, он меня убьет, но он ничего мне не сделал, подошел к кровати и перевернул меня, я лежала, уткнувшись в подушку, и тут я, словно безумная, плюнула ему в лицо. Он сказал, что я за это отвечу, но сдержался и не ударил меня. Я думала, он мне проломит голову.

Вдобавок ко всему сегодня с утра мне вспоминался Аскеро, я сама себя разбередила, будто и не прошло столько лет. Его я не любила, как Хуа-

на Карлоса, я одного только Хуана Карлоса любила. Аскеро взял меня обманом. Но ведь теперь я в жизни своей больше не увижу моего Хуана Карлоса, — лишь бы его не кремировали! Из-за Аскеро и Селины я его потеряла, они довели его до гибели, и теперь мне придется терпеть зануду Масса всю жизнь. Это Селина во всем виновата, Ваша дочь просто гадюка, Вы с ней поосторожнее. И раз уж я разоткровенничалась, скажу Вам, как я дала запятнать себя на всю жизнь. Мне было девятнадцать лет, и меня устроили к Аскеро учиться на медсестру. Однажды в консультации никого не было, я сильно кашляла, и доктор стал меня слушать. Он сразу распустил руки и принялся меня ласкать, я убежала в ванную, красная от стыда, снова надела кофту и сказала ему, что сама виновата, и пусть он меня простит за то, что я хотела сэкономить на визите к другому врачу. Вот ведь глупая. Этим и ограничилось, но он мне снился всю ночь, так я боялась, что он опять ко мне пристанет.

Однажды нам пришлось ехать в машине на переливание крови на одну ферму, срочно. У женщины было кровотечение после родов, ее удалось спасти, хотя нам пришлось попотеть. На прощание нас угостили вином, все были довольны, и я выпила. Посреди пути Аскеро сказал, чтобы я откинулась к окошку, закрыла глаза и отдохнула в дороге полчаса. Я во всем его слушалась, и, когда закрыла глаза, он нежно меня поцеловал. Я ничего не сказала, и он остановил машину. Подумать только: я извожу чернила, рассказывая об этой мерзости, дорого же мне обошлась минутная глупость!

После этого мы стали встречаться всюду, где могли, и в самой консультации, через стену от комнаты, где была жена, потом она все поняла, и мне пришлось пойти упаковщицей в магазин. Он меня больше не искал.

А все для чего? Знаете, я умру от такой жизни, только и делаю, что тружусь по дому да бьюсь с мальчиками. По утрам, каждое божье утро начинается перебранкой, чтобы поднять их с постели, со старшим хуже, ему восемь лет и учится он во втором классе, младший в этом году, к счастью, уже пошел в детский сад, напоить их молоком, одеть и отвести в школу, только оплеухи и понимают, до чего же выматывают эти мальчишки, не один, так другой обязательно шкодит. На обратном пути делаю покупки, все на рынке, это гораздо дешевле, но устаешь куда больше, ведь приходится ходить от лотка к лотку и стоять в очереди. К этому времени служанка уже занимается уборкой в доме, она мне и белье стирает, а я готовлю и, если успеваю, с утюжкой тоже управляюсь до обеда, а в сиесту никак не могу уложить спать этих индейцев, то ли дело когда они маленькие, такие лапочки, зацеловать хочется, до чего славные малютки, я, как увижу малыша на улице или на фотографии, прямо с ума схожу, но они быстро вырастают и становятся сущими дикарями. Мои галдят всю сиесту, в половине первого они уже дома, их служанка забирает обратно. По пути есть очень опасные перекрестки.

В Вальехосе все было иначе! Под вечер приходила какая-нибудь подруга, мы разговаривали, слушали радиопостановку, это когда я не работала в магазине, а здесь — чего я добилась, приехав в Буэнос-Айрес? Тут я никого не знаю, соседи у нас — итальянцы, они недавно приехали, тупые дальше некуда, и одна блондинка, скорее всего содержанка, муж в этом уверен. Не знаю, с кем бы я могла здесь поговорить, да ни с кем, а под вечер я стараюсь немного шить и проверяю уроки у этих паршивцев. Представляете: двое мальчишек, взаперти в квартире, играют в машинки, бегают наперегонки среди мебели. Спасибо хоть у меня нет пока хорошей

мебели, поэтому я и не хочу звать в гости никого из Вальехоса, потом ведь пойдут охаивать, мол, дом у меня обставлен совсем не роскошно, так уже было, не буду говорить с кем, какой в этом толк...

Вот сейчас шесть вечера, а у меня уже голова раскалывается, и так каждый день, а когда приходит муж, того хуже, подавай ему ужин сразу, это если еда не готова, а если готова, то ему сперва охота принять ванну, понимаете, муж у меня неплохой, но стоит ему переступить порог дома, как я все готова переколошматить, так меня бесит его приход, но чем он виноват, что приходит, ведь это его дом, и Вы спросите, зачем я вышла замуж, но сразу после свадьбы терпения мне было не занимать. Не выношу больше этой жизни, каждый день одно и то же.

Сегодня утром я снова поехала в зоопарк, это недалеко, десять минут автобусом, на днях один мальчик сказал моим детям, что там новорожденный львенок, и вчера, в воскресенье, мы пошли его смотреть, — такой чудный! если хватит денег, в начале месяца куплю себе породистого щенка или котенка. Какой славный львенок, льнет к старой львице, а как они ластятся друг к другу. Сегодня утром на меня вдруг нашло, и я одна снова пошла смотреть его, народу никого не было. Львеночек опрокидывается на спину, кувыркается, а потом прячется под мамой. Совсем как грудной младенец. Мне бы каждый день гулять, я даже кому-то сказала, что по горло сыта домом и детьми, а, вспомнила, лоточница с рынка, торговка фруктами, старенькая, заметила мне как-то, что я вечно нервничаю и не могу ждать, пока меня обслужат, тогда я ей сказала, мол, что тут поделаешь, а она ответила, что с годами успокаиваешься. Значит, я так и буду психовать, пока молодая? а потом, к старости, уже все прохлопаешь, и до свидания, знаете, я этого типа пошлю к черту, чуть он зазевается... Вы думаете, я смогу найти парня, который подарит мне иную жизнь?

Мне бы парня из тех, какие были раньше, нынешние все смахивают на индюков. Не все, конечно, я в этом убеждена, а на днях я видела таких красивых парней, даже не ожидала, давно не видела по-настоящему красивого парня, а тут пошла записывать мальчиков в клуб, и там были парни, как в нашем клубе в Вальехосе. Они, правда, все были моложе двадцати пяти лет, а мне уже скоро тридцать. И представляете, какие мерзавцы в этом клубе, требуют, чтобы за нас поручился кто-то из членов, а мы почти никого здесь, в Буэнос-Айресе, не знаем. Я сказала мужу, а он даже не ответил, вроде как сама решай, ах, милая сеньора, подумать только — скоро опять увижу его физиономию. А не будь его, могу я быть кому-то интересна? Хотя со мной-то все ясно, когда наступит всемирный потоп и Страшный суд, я хочу оказаться с Хуаном Карлосом, какая это для нас отрада, сеньора, воскресение души и тела, поэтому я была в отчаянии: а вдруг его кремировали... До чего красивый был Хуан Карлос, какой сын у Вас был, сеньора, а дочь Ваша сучка, попадись она мне, я бы ее придушила. Мне она гадила из зависти, я все про нее знаю, еще в шестнадцать лет ее лапал один из этих Альваресов, затем она пошла по рукам, а в двадцать на танцах ее уже никто не приглашал, такую прилипалу, потом она спуталась с коммивояжерами, и там уж всегда находился кто-то, готовый проводить ее до дому после танцев.

Затаила злобу, что я встречаюсь с ее братом, вот она Вам и сказала, что ко мне приставал Аскеро. Но ко мне только он один, да и то потому, что я была молоденькая, а ей марали имя до изнеможения. Так она и не вышла замуж, а теперь злобствует: замуж не вышла! Идиотка — не знает

даже, что замужем хуже всего, от мужа не отделаешься до самой смерти. Как бы я хотела быть незамужней, ей и невдомек, что в итоге она оказалась в выигрыше, сама себе хозяйка, иди куда хочешь, а я тут обречена на пожизненное заключение!

Она с силой швыряет ручку о раковину, хватает исписанные листы и рвет в клочья. Мальчик подбирает с пола ручку, рассматривает ее и сообщает матери, что она сломана.

Буэнос-Айрес, 12 августа 1947 года

Дорогая донья Леонор!

Надеюсь, эти строки застанут Вас в добром здравии и в обществе близких. После немалых сомнений пишу Вам, но прежде должна сделать одно пояснение: у меня, слава Богу, есть семья, о какой многие могут только мечтать, мой муж — безупречный человек, высоко ценимый в своей сфере, с ним я ни в чем не испытываю недостатка, а два моих сына растут замечательные, хотя матери и не пристало так говорить, но раз уж я разоткровенничалась, говорю как есть. Так что мне грех жаловаться, но по моим письмам у Вас могло сложиться странное впечатление, ведь я несколько разнюнилась. Я думала, как ужасно должна страдать мать в Вашем случае, и надеялась утешить Вас тем, что разделяю Ваше горе. Горе я разделила, но поскольку теперь Вы не желаете, чтобы я его разделяла, скажу Вам правду: я никому не позволю вытирать о себя ноги.

Не понимаю причины Вашего молчания, но на всякий случай, если кто-то отравил Ваш слух гнусной ложью, выслушайте всю правду из моих уст, потом Вы сможете меня судить. Только прошу, если Вы решили больше не писать мне, хоть это письмо пришлите обратно, в распечатанном виде, разумеется, в знак того, что Вы его прочитали. Или я много прошу?

Ну ладно, мне не следовало бы говорить так, будто здесь есть Ваша вина, виновата та, что донимает Вас россказнями. И раз уж от Вас пытаются утаить правду, открою Вам ее я. Такова моя доля...

Отец не мог дать мне образования, отправить в Линкольн учиться на педагога стоило дорого, он был всего лишь садовником, но зато каким! Мама гладила на заказ, и все заработанное откладывалось на сберкнижку, на тот день, когда я выйду замуж и заведу дом, как полагается. Дом у меня есть, а у бедной мамы нет, она всем жертвовала, все потратила на врача и лекарства, когда это случилось с отцом, ныне покойным. Ну вот. А Селина выучилась. Тогда ей повезло больше моего.

Ну вот, вскоре после нашего разговора с Хуаном Карлосом у него начался тот катар, что никак не проходил. Кстати, для сведения Селины: чем больше я занимала его вечером разговорами у калитки... тем дольше он не шел к этой вдове Ди Карло. Мне все говорили, что Хуан Карлос перелезал через проволочную ограду у переезда прямиком к тихоне вдове. Это она сосала из него кровь, не я. До тех пор пока он не перестал к ней ходить. Я и видеть его не желала, если он дальше будет путаться с этой тварью, конечно, я так поступала из ревности, из девичьего эгоизма, откуда мне было знать, что на рентгеновских снимках проявятся эти темные пятна в легких. Между прочим, заметьте: если Хуан Карлос после ухаживания за мной отправлялся к вдове, значит, со мной он вел себя по-рыцарски.

Тут случилась поездка в Кордову. Он вернулся раскрасавцем, через три месяца. А по сути: сколько бы жена Аскеро ни кричала мужу в присутствии служанки, что он ее обманывал со мной, это ничего не доказывает. Но Вы поверили этим басням и воспротивились помолвке. А где доказательства моей вины? У Вас никогда их не было.

Но продолжал ли Хуан Карлос встречаться с вдовой? нет. Да будет Вам известно: у меня так и осталось подозрение, ведь однажды, незадолго до того, как мы отдалились навсегда, я поймала Хуана Карлоса на лжи...У него в кармане пиджака был спрятан платочек, глубоко на дне, женский, надушенный, и я не успела прочитать инициал, весь расшитый узорами, но я точно-точно уверена, что это было не "Э", а вдову Ди Карло звали Эльза. Он сказал, что это платок одной девушки, с которой он познакомился в Кордове, что он мужчина и как-то должен жить, но едва я попросила его для себя... он у меня его выхватил. Значит, это был платок кого-то из Вальехоса, не так ли? Я не знала, на кого обрушиться, сказала, что оторву голову этой гнусной вдове, а он стал серьезный и уверил меня, что с вдовой больше не "перепихивается", да еще мужскими словами, которые так обидны для женщины, пусть даже речь идет об Эльзе Ди Карло. У меня так навсегда и осталось подозрение.

Потом начались дрязги и мы отдалились друг от друга, но жаль, что Вы мне больше не написали, потому что вдвоем мы, пожалуй, могли бы сорвать маску с истинной убийцы Хуана Карлоса. Вот на кого должна бы ополчиться Ваша дочь Селина, не на меня. Раз уж Селина не замужем и у нее есть свободное время, то могла бы заняться чем-то полезным и помочь торжеству правды.

Возвращаясь к вопросу о письмах Хуана Карлоса, прислушайтесь спокойно к Вашей совести и решите, принадлежат они мне или нет. С уважением

Нелида

P. S. Если не ответите, это мое последнее к Вам письмо.

Напротив за столом мальчик старательно выводит карандашом в тетради четыре строки со словом "мяу" и четыре строки со словом "гав". Меж ножек стола и стульев другой мальчик ищет маленький гоночный автомобиль.

Эпизод третий

Благоуханные, прелестные созданья,
Ваших губок крашеных жажду я лобзанья...

Альфредо Ле Пера

Альбом фотографий

Обложка в черно-белом переплете коровьей кожи. Листы из пергаментной бумаги. На первой странице надпись чернилами: "ХУАН КАРЛОС ЭТЧЕПАРЕ, 1934 год"; вторая страница чистая, третья заполнена неза-

тейливыми печатными буквами, которые сплетаются с копьями, лассо, шпорами и поясами гаучо и образуют слова "МОЯ ОТЧИЗНА И Я". Далее на страницах справа вверху сделаны надписи печатными буквами, страницы слева – без надписи. Надписи: "Здесь я родился, милая пампа...", "Мои почтенные предки", "Сорняк пошел в рост", "В школу, как наш великий Сармьенто", "Христиане – да, варвары – нет", "Мой первый ковбойский ремень", "Обхаживаем девочек", "Между первой и второй – перерывчик небольшой", "Служу родному знамени", "Обещание гаучо подруге", "Свадебное угощение", "Мои карапузы". Три последние надписи намеренно скрыты за большими фотографиями, которые полностью заслоняют буквы, и по этому принципу все остальные страницы справа отведены под снимки большего формата, а страницы слева заняты группами фотографий поменьше. Первая группа слева: сидящие мужчина и женщина преклонных лет, портрет старой женщины, портрет старика, деревенская улица в басконских провинциях, грудной ребенок, семья в двуколке, запряженной белой лошадью.

Первая большая фотография справа: грудной младенец, голышом, светловолосый. Вторая группа слева: мужчина и женщина, на нем костюм – сюртук и жилетка, она в длинном темном одеянии до пят, та же пара с двумя детьми на руках, три снимка женщины в длинном платье с пожилой парой и двумя детьми. Вторая большая фотография справа: между апельсиновым деревом и привитой пальмой – колодец с решеткой незатейливой формы, на краю колодца сидит трехлетний босой мальчик, одетый лишь в белые штанишки, болтая ногами, он пьет молоко из бутылочки с соской, рядом с ним женщина в длинном белом платье держит на руках голую грудную девочку, играющую нитками бус на шее женщины. Третья группа снимков слева: семья в разных видах у моря, в городской одежде и с японским зонтиком. Третья большая фотография справа: сад с круглыми клумбочками, обнесенными легкой загородкой из плетеной проволоки, которая поддерживает цветущие туберозы и гиацинты, в центре каждой клумбы высажена карликовая пальма, на этом фоне две фигуры – мальчик в пиджаке с закругленными полами, с повязанным на шее пышным бантом, в брюках, обтягивающих колени и заправленных в светлые гетры, и девочка с локонами и большим, белым, прозрачным, высоким бантом на голове, в белом костюме с короткой юбочкой, пышной от нижних юбок. На остальных снимках левых страниц запечатлены различные моменты двадцатых и тридцатых годов, здесь часто встречается юноша с атлетической фигурой, длинные светло-каштановые волосы закрывают уши, а на лице неизменная улыбка. Каждая из оставшихся страниц справа занята, как уже говорилось, единственной большой фотографией в следующем порядке: пустырь с качелями, трапециями, брусьями и кольцами для занятий спортом, на заднем плане изгородь из плетеной сетки, за ней несколько домов, разбросанных по равнине, заросли низкого бурьяна и подросток со светло-каштановыми волосами, он опирается на брусья и смотрит в аппарат, рубашка с расстегнутым воротом, галстук и траурная повязка, бриджи ниже колен, длинные черные носки выше икр и сандалии-альпаргаты, рядом с ним другой подросток с длинными вьющимися волосами, которые выбиваются из-под баскского берета, в потертой одежде и с выражением дикой радости на лице висит в воздухе, держась за кольцо одной рукой, ноги согнуты под прямым углом к туловищу; лицо моло-

дого унтер-офицера полиции, сальные черные вьющиеся волосы, черные глаза, прямой нос с мощными ноздрями, густые усы и крупный рот, с посвящением “Хуану Карлосу, не друг даже, а брат, Панчо”; оба вышеописанных юноши сидят улыбаясь за столом, заставленным бутылками с пивом и четырьмя стаканами, у них на коленях восседают две девицы не первой свежести: глубокие декольте, поблекшая кожа, размалеванные лица, в глубине, позади стойки бара склад — большие оплетенные бутыли, винные бочки, полки с консервными банками, пакетами специй, сигаретами, бутылками; загородная сцена: на траве, под сенью рожкового дерева, расстелена скатерть, уставленная всяческой снедью — тарелки с котлетами, яйца вкрутую, лепешки и фрукты, на заднем плане парни и девушки в непринужденных позах, на траве у скатерти сидит девушка с отсутствующим видом, идеальный овал лица обрамлен черными короткими волнистыми волосами, большие черные подведенные глаза, маленький носик, аккуратные губки, на ней облегающее фигуру платье из цветастой газовой ткани, рядом парень со светло-каштановыми волосами, в расстегнутой рубашке, под которой виднеется волосатая грудь, он грозно нацеливается вилкой, словно шпагой, на тарелку с котлетами; девушка с предыдущей фотографии позирует, как в фотостудии, но с тем же безучастным видом, платье с мягкими складками на груди, жемчужное ожерелье, волосы подлиннее, прямые, с пробором посередине и завиты на концах, посвящение гласит: “С симпатией, Мабель, декабрь 1935 года”; лицо той же девушки, та же прическа с добавлением ленты, повязанной спереди бантом и опоясывающей лоб, посвящение: “На память от Мабель, июнь 1936 года”; группа из трех пар, позирующих в костюмах разных эпох, соответственно Реставрации, Третьей империи и конца века, причем девушка, олицетворяющая последнюю эпоху, находится ближе к объективу, белокурые волосы зачесаны наверх, открывая шею, светлые глаза восторженно блестят, как у человека, который созерцает или воображает нечто прекрасное, тонкий нос с небольшой горбинкой, длинная шея, стройная фигура; на фоне гор и тополей, закутанный в пончо, со свитером, повязанным на белые широкие штаны с высокой талией, юноша со светло-каштановыми волосами, похудевший, но с загоревшим на солнце лицом и своей характерной улыбкой, и посвящение: “Мамане и сестренке со всегдашней нежностью, Хуан Карлос, Коскин, 1937 год”; поднимают бокалы с сидром на фоне торта по случаю дня рождения — девушка низкого роста, но с высокой челкой, взбитой надо лбом, с квадратным вырезом на платье и брошками по уголкам выреза, скромно одетая женщина в возрасте и молодой человек со светло-каштановыми волосами, похудевший, с запавшими огромными глазами, смотрит на свой бокал с едва заметной улыбкой; молодой человек со светло-каштановыми волосами в двуколке, на фоне гор и кактусов, деталей не разобрать, так как снимок сделан почти против света.

Спальня сеньориты, 1937 год

Справа от входа полутораспальная кровать, придвинутая изголовьем к стене, над ним распятие с бронзовым Христом на деревянном кресте. Слева от кровати маленькая библиотека на четырех полках, заставлен-

ных учебниками для педучилища и несколькими романами. Учебники обернуты коричневой бумагой с приклеенной надписью: "Мария Мабель Саэнс – училище Богоматери дель Пилар, Буэнос-Айрес". Справа от кровати ночной столик, на нем лампа с абажуром из белой газовой ткани в зеленую крапинку, такие же занавески на окнах и покрывало. На столе под стеклом фотооткрытка с видом бульвара Ла Перла в Мар-дель-Плата, открытка с курорта Пуэнте-дель-Инка в Мендосе и фотография грузного молодого человека в аккуратном загородном костюме возле лошади и пеона, затягивающего подпругу. На полу у кровати кроличья шкурка с белыми, черными и коричневыми полосками. На противоположной от кровати стене – окно, по одну сторону от которого полочка с куклами, все они с натуральными волосами и закрывающимися глазами, а по другую – комод с зеркалом. На комоде набор с зеркальцем и щеточками с бархатными ручками, расположенными вокруг рамки из выпоротка с фотографией сидящей девушки – платье с мягкими складками на груди, жемчужное ожерелье, волосы прямые, с пробором посередине и завитые на концах. Другие украшения на стенах: крестильная купель из перламутра, три студенческих вымпела, резная деревянная фигура святой Терезы и композиция из четырех фотографий в застекленной рамке, сделанных во время сельской пирушки с жареным мясом при участии грузного молодого человека в аккуратном загородном костюме. Посередине гладкого потолка люстра; противоположная от входной двери стена целиком занята платяным шкафом. Кровать, ночной столик, комод, зеркало, люстра и платяной шкаф в так называемом прованс-альском стиле или "рустик", темного дерева и с рельефной фурнитурой; полочка и книжные полки, напротив, гладкого, светлого полированного дерева. В шкафу висят платья, пальто и два белых плиссированных и накрахмаленных передника. На перекладине с вешалками подвязан шелковый узелок, полный душистых засушенных цветов лаванды. В том же шкафу сбоку рядами расположены ящики, забитые бельем, блузками, платками, чулками, полотенцами и простынями. Между вышитыми льняными простынями спрятан чехол для грелки из цветастой шерсти с кружевными кромками. Внутри чехла две научные книги, озаглавленные: "Воспитание для брака" и "Правда о любви". Меж указанных книг заложена фотография, на которой запечатлена молодежь на загородном пикнике, на переднем плане, у скатерти, сидит пара: у девушки отсутствующий вид, юноша нацеливается вилкой в тарелку. На обороте фотографии читается следующий текст: "Любовь моя! Это был самый счасливый день в моей жизни. Разве мог я мечтать, что ты будешь моей! День весны. Спрячь эту фотографию, пока все не уладится. Пишу тебе эти нискромности нарочно, чтобы ты никому не могла ее показать, а то в этой позе я выгляжу недоумком и малость навеселе. Сама знаешь, тут распускают слухи, будто я не дурак выпить.

Сейчас взял бы тебя за руку и унес бы на небо или хоть куда-нибудь подальше отсюда. Помнишь плакучие ивы у озерка? Я их никогда не забуду.

Люблю тебя все сильнее и сильнее, Хуан Карлос, 21 сентября 1935 года".

В том же ящике, под белой бумагой, прибитой обойными гвоздями и прикрывающей дно, спрятаны два номера журнала "Женский мир", вышедшие 30 апреля и 22 июня 1936 года. В рубрике "Сердечная почта"

напечатаны вопросы читательницы за подписью "Смятенный дух" и ответы Марии Луисы Диас Пардо, редактора, ведущего рубрику. В первом номере дан следующий текст: "Дорогая подруга! Уже больше года я покупаю этот журнал и всегда читаю Вашу рубрику, как правило очень увлекательную. Но не думала, что в один прекрасный день мне придется просить у Вас совета. Мне восемнадцать лет, я учительница, только получила диплом, мои родители — обеспеченные люди. Меня любит хороший парень, но будущее его туманно. Он еще очень молод, и все может измениться, но моя семья не желает о нем слышать. Он работает товароведом, но не ладит с начальством из-за частых пропусков. Одно время его донимали постоянные простуды, и он нередко чувствует усталость. Я ему верю, но по расхожей версии он большой гуляка, любитель женщин и не реже раза в неделю напивается со своими дружками. Уже несколько месяцев он сопровождает меня на прогулки и на танцы, сначала я была уверена, что люблю его всей душой, но каждый день (он приходит под вечер, после работы, к двери на улицу, я жду его там, и тогда ему незачем входить и звонить в звонок, и мы бродим немного по улицам городка или по площади, а если очень холодно, укрываемся в парадном, и дальше этого наша интимность не распространяется), когда он уходит и я возвращаюсь домой, мне приходится сносить упреки родителей, упреки, которые точат камень, словно капля воды. Так что я с радостью жду его прихода каждый день, но, едва завидев вдали статную фигуру, начинаю нервничать от мысли, что может выйти мама или, хуже того, папа и потребовать от моего поклонника объяснений или задеть его обидным намеком, а потому он нередко застает меня в раздражении. Я ему объясняю, что это естественная нервозность моего первого года учительства, да еще в пятом классе. Но раздражение мое вызвано сомнением: люблю я его или нет? Последнее время в интриге появился новый персонаж: молодой помещик-англичанин, не такой видный, как "он", но более приятный в обхождении, он воспользовался дружбой с папой, чтобы войти в наш дом и обратиться ко мне с галантными речами. Тут и возникает дилемма... молодой человек пригласил меня со спутницей (я выберу тетю по маминой линии) провести в его имении четыре праздничных дня начиная с 25 мая, и мои родители настаивают, чтобы я поехала, а "он" против этого категорически возражает. Я решила... поехать, потому что тогда узнаю, скучаю я без "него" или нет. А если "он" сдержит свое слово и на самом деле, как он пригрозил мне, больше не посмотрит в мою сторону?

Дорогая подруга, жду Вашего ценного совета, Ваша

Смятенный дух (пров. Буэнос-Айрес)".

Редактор дает следующий ответ: "Достойный зависти смятенный дух! Завидую не смятенности твоего духа, а полноте твоей жизни. Думаю, ты не любишь своего поклонника настолько, чтобы пойти на разрыв с родителями. Твой случай типичен для девушек, выросших в лоне счастливой, благополучной семьи. Продолжать романчик (извини за определение) означало бы нарушить эту семейную гармонию, которая и так уже оказалась под угрозой. И поверь мне, мимолетный роман не стоит таких жертв. Ты еще очень молода и можешь ждать появления прекрасного принца, который придется по вкусу всем. Приятно тебе провести время в имении, учи английский и постарайся выучить напоследок, ни в коем случае не в начале, слово "yes", означающее... да! Редко упо-

требляя это односложное слово, ты покоришь мир и, что еще важнее, обеспечишь счастье свое и твоих родителей. Всегда к твоим услугам

Мария Луиса Диас Пардо".

В номере от 22 июня 1936 года напечатано следующее письмо: "Дорогая подруга! Жизнь сыграла со мной злую шутку. Вы дали мне верный совет, но возникли непредвиденные осложнения. Действительно, мой поклонник разозлился, узнав, что я поехала в имение, и этот инцидент привел к разрыву наших отношений. Признаюсь, пребывание в поместье оказалось не таким, как я ожидала, потому что мы проводили с этим джентльменом долгие часы лицом к лицу в полном молчании. При расставании он попытался вырвать у меня обещание, но я сказала, что не вижу в этом смысла, раз я не вдохновляю его на слова или жесты. Он ответил, что таков немногословный английский характер, что он завидует бойким на язык латинам, но ему со мной даже в тишине было очень уютно. В отношении жестов — это я так просто выразилась, в том смысле, что он не собирал для меня цветы или не подбирал пластинки по моему вкусу (вечно ставил только свои любимые мелодии), но он понял меня превратно, подумал, будто я недовольна, что он не позволяет себе распускать со мной руки. В связи с этим он пояснил, что если нашим жизням суждено соединиться, для этого еще будет время. Какой неромантичный, правда? Я искренне ждала от него страстного поцелуя, чтобы наконец понять, нравится он мне или нет. В общем, я ему ничего не обещала — что означает "yes"? мне это слово незнакомо! и, как Вы предупреждали, это возымело свое действие, потому что он написал моим родителям, приглашая нас на зимние каникулы, с 9 июля, на две полные недели. Возможно, мы согласимся. Но то, что мне предстоит рассказать теперь, особенно грустно и очень меня тяготит, даже не знаю, как это выразить.

Через несколько дней после возвращения из деревни папа отозвал меня в сторонку, у него в кабинете ждал наш семейный врач. Под строжайшим секретом он сообщил мне, что у моего бывшего поклонника не очень здоровые легкие, как показывают последние анализы, он страдает начальной стадией некоего весьма заразного заболевания! Я не могла поверить своим ушам и даже подумала, что это какая-то папина уловка. Врач добавил, что мне следует избегать его общества и под предлогом обиды, вспыхнувшей всего две недели назад, больше с ним не видеться, пока он не вылечится. На следующий день я случайно встретила мать и сестру моего бывшего поклонника в магазине и заметила, что они приветливы со мной, но ужасно чем-то опечалены. Я убедилась, что все, увы, правда. К тому же на другой день, не посоветовавшись со мной, мама заявила, что в пять часов мы идем на прием к врачу делать мне рентген. Результат известен: я здорова.

Однако как помочь моему дорогому другу? Теперь мне стыдно, что я заставила его страдать. Возможно, когда-нибудь жизнь вновь соединит нас, ведь, кажется, я действительно его люблю — или это только сочувствие? Умоляю тебя, дорогая подруга-советчица, помоги прояснить мои истинные чувства. Жду с нетерпением,

Смятенный дух (пров. Буэнос-Айрес)".

Ответ редактора: "Смятенный, но благородный дух! Верю, что у тебя все наладится. Наверняка сейчас ты чувствуешь к нему сострадание и тоскуешь по той счастливой поре. Я проконсультировалась с врачом, и

он сказал, что ты можешь видеться с ним по-дружески, не забывая о мерах предосторожности. Старайся не подходить к нему слишком близко и приучись похлопывать его по плечу только при встрече, а на прощание можешь подавать ему руку, поскольку у тебя тотчас будет возможность вымыть руки с мылом и затем протереть их спиртом. Да, предложи ему свою дружбу, но не внезапно, не в подозрительной форме, дождись благоприятного случая, так как страдающие этой болезнью отличаются большой мнительностью. Не показывай ему своей жалости. При таком характере это заденет его больше всего.

Относительно твоего будущего не забывай, что английский — странный, но красивый язык. Навеки твоя

Мария Луиса Диас Пардо".

В том же номере журнала "Женский мир" на двух страницах недостает вырезанных ножницами картинок, под которыми стоят следующие подписи: "Изящный ансамбль для коктейля, выполненный из муарового шелка, с диадемой а-ля Джульетта, по новой моде, вдохновленной великой экранизацией киностудии "Метро Голдвин Майер" — "Ромео и Джульетта" бессмертного У. Шекспира. Фото МГМ." и "Новая кинозвезда Дина Дурбин предлагает девушкам этот яркий ансамбль для велосипедного спорта, включающий свитер из белой пряжи с особой зигзагообразной оторочкой красного цвета по краям. Фото "Юниверсал пикчерс".

За окном вышеописанной комнаты виден ближний дворик, заросший виноградом, побеги которого лезут вверх и обвивают проволочную сетку, натянутую вместо крыши, далее — клумбы с кустами роз и жасминов и, наконец, большая смоковница, поднявшаяся над глинобитной стеной, которая граничит с площадкой, где строится двухэтажное здание, предназначенное для нового полицейского участка. Один из каменщиков на стройке прикрыл голову от солнца баскским беретом, из-под которого выбиваются вьющиеся волосы, столь же черные, как густые усы над крупным ртом и как глаза, устремленные с высоты строительных лесов сквозь ветки смоковницы в направлении дворика с розами, жасминами, виноградными лозами и окнами, прикрытыми занавесками из белой газовой ткани в зеленую крапинку.

Записная книжка, 1935 год

Март

Вторник, 14, св. Матильды, королевы. Старая, обтрепанная книжка! Сегодня начинаю тебя со вдовы.

Среда, 15, св. Цезаря, мученика. Взял 15 песо аванса на подарок соседу вдовы, подарок вдове и общие расходы.

Суббота, 18, св. Архангела Гавриила. Кон в "Ла Криолье", Перико заедет на машине.

Воскресенье, 19, св. Иосифа. Танцы в клубе, пригласил Пепе и братьев Баррос, два тура. С них причитается в следующий рас.

Среда, 22, св. Леи, монахини. Свидание в 19, Кларита.

Четверг, 23, св. Викториана, мученика. Свидание в "Ла Криолье", Амалия, достать машину.

Суббота, 25, Благовещение Пресвятой Девы Марии. Вдова, в 2 ночи.

Воскресенье, 26, Светлое Воскресение Христово, Пасха. Обещал пойти на мессу с мамой и Селиной, 10 час. (на носилках?).

Четверг, 30, Блж. Амадея. Свидание в "Ла Криолье", Амалия, просить машину у Перико. Отменить, грипп, просить Панчо придупредить Амалию. Нет, Панчо опасно, пусть ждет толстуха, сидя — авось не устанет.

Апрель

Вторник, 4, св. Исидора, мученика. Получил зарплату за вычетом аванса. Опа-на!

Четверг, 6, св. Целестина, мученика. Не ходил на работу, грипп, постель, слабость.

Пятница, 7, св. Альберта, мученика. Не ходил на работу, грипп, постель.

Понедельник, 10, св. Терентия, епископа. Не ходил на работу, грипп, вставал с постели.

Вторник, 11, Льва I, папы римского. Опять под ярмо.

Четверг, 20, св. Адальгисы, девы. Взял в клубе на кону 120 песо!

Суббота, 22, св. Ансельма, епископа. Взять Панчо на кон "Ла Криолья", братья Баррос грозят отыграться.

Воскресенье, 23, св. Адальберта, мученика. Подойти к концу мессы, просить прощения Клариты.

С Кларитой завязал, пусть ее родная бабушка уламывает. Клянусь честью в верности вдове, по кличке тихая.

Четверг, 27, свв. Иды и Зиты. Пропустил свидание с вдовой, из-за гулянки "Ла Криолья", Панчо лопух заблевал стол. Не забыть просить прощения вдовы, по кличке добрая.

Июль

Пятница, 7, св. Риты. 20.15 приходит поезд из Б-А со студентками на каникулы. Окинуть взглядом.

Суббота, 8, св. Адриана, мученика. Танцы Частный клуб. Занять бабки Панчо кон "Ла Криолья". Он продул. Я записал в плюс на пульке в клубе.

Воскресенье, 9, св. Прокопия. Пропустил свидание — месса, непростительно. Самую красивую девчонку на свете продинамил гнусный паршивец. Целый день дома взаперти, предлог кашель. Скажу без дураков: кайф — спать до двенадцати!

Понедельник, 10, св. Феликса, мученика. Я видел ее! поверила в сказку про сестру — спасибо, Селина! "Видно, что ты серьезный парень, предпочитаешь остаться в воскресенье дома, чтобы вылечить простуду и пойти на работу в понедельник". Видно, что ты очаровашка...

Четверг, 13, св. Анаклета, папы римского. Уже три дня ее не вижу. Свидание вдова 23 час. 30 мин.

Пятница, 14, св. Бонавентуры. Спасибо, Святой Бонавентура! Я встретил ее после молебна. Мабель, Мабель, Мабель, Мабель. В 22 встреча с Селиной и ее братиком (покорный слуга) для похода в кино. Самый непонятный фильм за всю мою жизнь.

Суббота, 15, св. Генриха, императора. Интимные танцы в доме Мабель, прощание в парадном. Весь мир мой.

Воскресенье, 16, Пресвятой Девы Кармельской. Уехала в свой Буэнос-Айрес. Могу записаться в монашки и поступить в интернат. Кто мне мешает? Это мое призвание.

.....

Сентябрь

Вторник, 10, св. Казимира, мученика. Осталось 10 дней.
Среда, 11, св. Германа, короля. Осталось 9 дней.
Четверг, 12, св. Серафима, епископа. Осталось 8 дней.
Пятница, 13, св. Эдуарда, короля. Осталось 7 дней.
Суббота, 14, св. Каллиста, епископа. Осталось 6 дней. Нагрели меня на 97 песо в "Ла Криолье".
Воскресенье, 15, св. Терезы, девы. Выполнить обещание, пойти к мессе. Осталось 5 дней.
Понедельник, 16, св. Галла, мученика. Осталось 4 дня. Свидание Амалия в "Ла Криолье", достать машину у Перико.
Вторник, 17, св. Эдувихис, мученицы. Осталось 3 дня.
Среда, 18, св. Луки, евангелиста. Послезавтра...
Четверг, 19, св. Петра Алькантарского. Завтра!
Пятница, 20, св. Ирины, девы. Поезд из Буэнос-Айреса прибывает в 20 час. 15 мин.
Она еще краше, чем тогда!!! Мы поздоровались за руку. При мамаше.
Суббота, 21, св. Матфея, апостола. День Весны. День Студентов. Как долго ты не идешь! Поездка на пикник в поместье Ла Карола. Встреча 7.30 у кондитерской "Ла Модерна". Селина принесет еду... Я САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ И ОБЕЩАЮ ПЕРЕД БОГОМ ВЕСТИ СЕБЯ КАК НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА, КЛЯНУСЬ НИКОМУ ОБ ЭТОМ НЕ РАССКАЗЫВАТЬ И ЖЕНИТЬСЯ НА НЕЙ.
Воскресенье, 22, св. Маврикия, мученика. Отбытие поезда в 10 час. 30 мин. Как далеко еще декабрь... Она послала мне воздушный поцелуй при матери. Сейчас она, наверно, уже в училище.

Эпизод четвертый

Под звуки танго в зал влетают тени,
Воспоминаниями сердце опьяняют,
Танцуй со мной, избавь от дум, сомнений,
Атласным блеском мой наряд сияет.

Омеро Манци

В четверг, 23 апреля 1937 года, солнце взошло в 5 час. 50 мин. Дул легкий северный ветер, на небе наблюдалась частичная облачность, температура составляла 14 градусов по Цельсию. Нелида Энрикета Фернандес спала до 7.45, пока ее не разбудила мать. Волосы Нелиды были разделены на пряди, накрученные на бумажные полоски и забранные черной, обтягивающей голову сеточкой. Черная комбинация заменяла ночную рубашку. Девушка надела старые сандалии без задников. Ей потребовалось 37 минут на создание повседневной прически и подкрашивание ли-

ца, включая перерывы на пять порций мате, принесенных матерью. Причесываясь, она подумала о вчерашних препирательствах с кассиршей магазина, о неприемлемости завтраков, состоящих из кофе с молоком и хлеба с маслом, о слабости в желудке, которую она ощутит к одиннадцати часам утра, о целесообразности того, чтобы носить в кармане пакетик с мятными пастилками, о неизменно бодрой и стремительной походке на обратном пути домой в полдень, о привычном сопротивлении Хуану Карлосу прошлой ночью у дверей ее дома и о необходимости смыть пятна грязи с белых туфель при помощи соответствующей жидкости. Нанося макияж, она подумала о том, насколько обольстительно ее лицо, а также о различных суждениях по поводу положительного и отрицательного эффекта наложения теней на круги под глазами. В 8.30 она вышла из дома. На ней было форменное платье из синей хлопчатобумажной ткани, застегнутое спереди, с круглым воротником и длинными рукавами. В 8.42 она вошла в магазин "Аргентинское — недорого". В 8.45 она стояла на своем месте за упаковочным столом, рядом с кассиршей и ее кассовым аппаратом. Остальные служащие, общим числом двадцать семь, также занялись приведением в порядок своих рабочих мест. В 9 часов открылись двери для посетителей. Упаковщица приступила к своей работе в 9.15 — завернула полторы дюжины пуговиц для мужского костюма. С 11 до 12 ей пришлось поторапливаться, чтобы не задерживать покупателей. Двери закрылись в 12 часов, последний клиент вышел в 12.07. В 12.21 Нелида вошла в свой дом, вымыла руки, заметила, что отец — точивший в дальнем сарае садовые ножницы — видел, как она пришла, и наклонил голову, не поздоровавшись. Она села за стол, спиной к дровяной печи. Отец подошел вымыть руки в раковине, занятой грязной кастрюлей, и упрекнул ее за то, что накануне она рассталась с Хуаном Карлосом почти в полночь, проговорив с ним у дверей, несмотря на студеный ветер, с 22.00. Нелида съела суп не отвечая, мать подала ей отварной картофель и жареную печенку. Каждый выпил по три четверти стакана вина. Нелида сказала, что кассирша не поздоровалась с ней, войдя в магазин, затем оторвала несколько ягод от грозди винограда и пошла к себе прилечь. Подумала о заведующем магазином, о жестком пристежном воротничке, который он носит постоянно, о продавщице, слывшей его любовницей, о том, что неплохо бы застать их в подвале в компрометирующей ситуации, чтобы заверить их в полной своей надежности и чтобы они почувствовали себя обязанными, о докторе Аскеро и его милом медицинском халатике с короткими рукавами и завязочками на спине, о том, насколько он непрезентабелен без халата, о пеньюаре из импортного китайского шелка сеньоры Аскеро, о серой рабочей одежде служанки Гузки, о фасаде дома доктора Аскеро с цоколем черного мрамора метровой высоты, контрастирующим с побелкой остальной части стены, о кирпичном фасаде дома Хуана Карлоса и о дворике с пальмами, который виден с улицы, о крахмальном воротничке полосатой рубашки Хуана Карлоса, который жалуется, что тот натирает ему шею, о просьбе поцеловать его в натертое место, о ее неуступчивости, о последовавшей за этим возне, о возможности того, что Хуан Карлос бросит ее, если удостоверится, что в ее жизни был другой мужчина, о возможности скрыть это от Хуана Карлоса, чтобы он удостоверился в этом лишь за несколько недель до свадьбы, о возможности того, что Хуан Карлос удостоверится в этом в свадебную ночь, о возмож-

ности того, что Хуан Карлос задушит ее в свадебную ночь, о запахе дезинфекции в консультации доктора Аскеро, о машине защитного цвета доктора Аскеро, о больной, которую они спасли тогда на ферме, о солнечном свете, бьющем в окно и не дающем ей заснуть, об усилиях, которых стоит подняться с кровати и закрыть жалюзи, об облегчении, которое чувствуют глаза, когда комната погружена в полумрак. В 13.30 мать разбудила ее, принеся мате с сахаром, к 14 часам она вновь привела себя в порядок, в 14.13 уже входила в магазин, разгоряченная быстрой ходьбой. В 14.15, как положено, встала за свой упаковочный стол. С удивлением обнаружила недостаточный запас бумаги в среднем рулоне, поискала глазами заведующего, не увидела его, замерла, подумав, что заведующий может пройти мимо и не застать ее на месте, пока она будет ходить за требуемым запасом в подвал. Кассирши на скамеечке еще не было, Нелида бегом спустилась в подвал и не нашла запасного рулона. На обратном пути она столкнулась с заведующим, который немедля поднес руку к поясу и с суровым видом извлек карманные часы. Он заявил Нелиде, что та поздно явилась на рабочее место. Нелида ответила, что ходила кое за чем в подвал, но не нашла, дойдя до своего места, она указала на заканчивающийся рулон бумаги. Заведующий в ответ сказал, что бумаги хватит на весь день, а если она закончится, то можно использовать большой рулон и рассчитывать ширину рулона по длине нужного свертка. Не глядя на Нелиду, он добавил, что следует применять изобретательность, а главное — находиться на рабочем месте в положенный час. Последние слова он бросил уже через плечо, удаляясь, не желая слышать ее ответ. В 14.30 двери магазина открылись. Легче всего она управлялась с отрезами ткани и изделиями из отдела "Мелкая галантерея", труднее — со шляпами. Обычно товаром, который Нелида паковала с большим удовольствием, была дюжина позвякивающих пуговиц, пришитых к квадратикам картона и предлагавшихся по специальной цене; боялась же она горшков с растениями из нового дополнительного отдела "Вечнозеленый питомник". Обменялась любезными словами с покупательницей, благодарно наблюдавшей, как бережно упаковывает она шляпку, стараясь не сломать на ней перо. Кассирша вмешалась в разговор с льстивыми замечаниями, а когда покупательница ушла, кассирша впервые за весь день взглянула на Нелиду и сказала ей, что заведующий противный. В 18.55 двери магазина начали закрывать, а в 19.10 вышла последняя покупательница со свертком, в котором находилась застежка "молния" и соответствующий чек. Перед уходом Нелида с безучастным видом сказала заведующему, что в подвале не осталось запасной бумаги для среднего рулона, и вышла, не дожидаясь ответа. На улице веял приятный ветерок, и она подумала, что позднее у дверей ее дома будет не так холодно. Проходя мимо бара "Ла Уньон", она с кажущимся безразличием посмотрела внутрь. Увидела взлохмаченную голову Хуана Карлоса, сидевшего спиной за столиком на четверых, где шла игра в кости. Она на миг остановилась в надежде, что Хуан Карлос обернется. Не удержалась от желания взглянуть на другие столики. Доктор Аскеро пил аперитив с приятелем и смотрел на нее. Нелида покраснела и продолжила свой путь. Мать вытирала пол в ванной и сказала, что горячей воды осталось мало, потому что отец только что помылся. Нелида мрачно осведомилась, хорошо ли вымыта ванна. Мать, в свою очередь, спросила, не считает ли она ее старой чумичкой с окраины, и напомнила, что

всегда готовила чистую ванну к ее возвращению из магазина. Нелида с отвращением коснулась куска хозяйственного мыла, который ей предстояло использовать для личной гигиены. Погрузилась в наполовину налитую ванну. Из воды виднелась только ее голова, когда она подумала о новом товаре из отдела "Изысканные подарки": коробочке овальной формы из бесцветного целлофана, полной полупрозрачных таблеток изумрудно-зеленого оттенка для ароматизации воды в ванне. Она встревожилась, что от дешевого мыла на коже может остаться запах дезинфекции; из крана уже текла холодная вода, когда она закончила ополаскиваться. Вытершись, она понюхала руки и успокоилась, подумала о том, что Хуан Карлос больше не захотел ходить в клуб на танцы воскресными вечерами, предпочитая водить ее в кино, подумала, что у нее нет подруг в клубе, подумала о Селине, о ее зеленых глазах, подумала о котах с зелеными глазами, подумала о возможности завести дружбу с котом, подружиться с кошкой, почесывать ей спину, подумала о старой шелудивой кошке, как вылечить ее от парши, носить ей еду, выбрать самую красивую тарелку в кухонном шкафу и налить в нее свежего молока для старой шелудивой кошки, подумала о том, что мать Хуана Карлоса, возвращаясь с церковной службы, вяло поздоровалась с ними, когда они выходили из кино в воскресенье, подумала о естественной смерти или гибели от несчастного случая жены Аскеро, о возможности того, что Аскеро посватается к ней, чтобы сочетаться вторым браком, о возможности выйти замуж за Аскеро и оставить его после медового месяца, о свидании, которое она назначит Хуану Карлосу в горном приюте среди снегов Науэль-Уапи, Аскеро в поезде: в шелковом халате он выходит из туалета и направляется по коридору к купе, тихо стучит в дверь костяшками пальцев, тщетно ждет ответа, открывает дверь и обнаруживает письмо, в котором говорится, что она сошла на предыдущей станции и пусть он ее не разыскивает, тем временем Хуан Карлос спешит на свидание и добирается до приюта, он застает ее в черных брюках и черном свитере с высоким горлом, распущенные светлые волосы с платиновым отливом, они обнимаются, Нелида наконец отдается своей настоящей любви. Нелида подумала о возможности не вытирать пол в ванной. Одевшись, она его вытерла. Мать съела остатки жареной печенки, Нелида — шницель с салатом из латука и вареных яиц. По своей вечерней привычке отец за стол не садился. В 20.30 они настроились на радиостанцию, передававшую программу испанских песен. Не отрываясь от передачи, мать убрала со стола, Нелида протерла клеенку влажной тряпкой, поставила корзинку для рукоделия и взяла платье, на котором оставалось обметать петли. В 21.00 закончилась испанская передача и началась программа сельских баллад. В 21.20 Нелида принялась поправлять прическу и макияж. В 21.48 устроилась у входа в дом, рядом с дверью. В 22.05 увидела за квартал Хуана Карлоса. В 22.20 Нелида и Хуан Карлос заметили, что свет в спальне родителей уже погас. Они сошли с тротуара и сделали несколько шагов к дому. Нелида по обыкновению оперлась спиной о металлическую колонну, подпиравшую навес из листового железа. Привычно закрыв глаза, она ощутила губами первый поцелуй этой ночи. Про себя она неожиданно решила, что, если старая нищенка с церковной паперти вложит ей в руку кинжал, она с удовольствием убьет Селину. Хуан Карлос вновь поцеловал ее, на этот раз сильно стиснув в объятиях. На Нелиду обрушились ласки, новые поцелуи, комплименты

и различные по интенсивности объятия. С закрытыми глазами она спросила Хуана Карлоса, удается ли ему отдыхать в дни отпуска, а также, что он делал сегодня днем, прежде чем пойти в бар. Ответа не последовало. Нелида открыла глаза, ощутив, что он отпускает ее и делает шаг к изгороди из кустов лигуструма, старательно подстриженной отцом. Нелида открыла глаза еще шире, увидев, что Хуан Карлос протягивает руку и срывает ветку, затем она сказала, что всегда делилась с ним всем, что делает, и не видит причины, почему он не может поступать так же. Хуан Карлос возразил, что мужчинам приходится кое о чем умалчивать. Нелида залюбовалась его пышной шевелюрой с непокорными вихрами, которые отливали металлом в белом свете лампочки городского освещения, висевшей посреди улицы, и почему-то подумала о пустошах, заросших кустарником и частым бурьяном и озаренных ночью лампочками городского освещения; Нелида всмотрелась в его светлые глаза, не зеленые, как у Селины, а светло-карие, и почему-то подумала о восхитительных кувшинах меда; Хуан Карлос закрыл глаза, когда она погладила его растрепанные волосы, и Нелида, увидев густые, изогнутые дугой ресницы, почему-то подумала о распростертых крыльях кондора; Нелида посмотрела на его прямой нос, тонкие усы, полные губы, попросила показать зубы и почему-то подумала о виденных в учебниках домах стародавних времен, с белыми балюстрадами и высокими, изящными, тенистыми колоннадами; Нелида поглядела на кадык, выпирающий между двумя крепкими мышцами шеи, на широкие плечи и почему-то подумала об узловатых и несокрушимых исполинах дикой пампы: омбу и кебрачо были ее любимыми деревьями. В 23.20 Нелида позволила ему просунуть руку под блузку. В 23.30 Хуан Карлос распрощался, упрекнув ее в эгоизме. В 23.47 Нелида закончила делить волосы на многочисленные пряди, накрутив их на бумагу. Перед сном она подумала, что у Хуана Карлоса идеальное лицо.

В уже упомянутый четверг, 23 апреля 1937 года, Хуан Карлос Хасинто Эусебио Этчепаре проснулся в 9.30, когда его мать постучала в дверь и вошла в комнату. Хуан Карлос не ответил на ласковые слова матери. Чашка чая осталась на ночном столике. Хуан Карлос закутался в халат и отправился чистить зубы. Неприятный привкус во рту прошел. Хуан Карлос вернулся в комнату, чай был едва теплый, он позвал мать и попросил его подогреть. В 9.55 выпил в постели чашку обжигающего чая, уверенный, что тепло будет полезно для груди. Подумал о возможности постоянно пить что-нибудь очень горячее и кутаться в теплые одежды, в ногах держать грелку с горячей водой, голову обмотать шерстяным шарфом, оставив открытыми только нос и рот, чтобы покончить со слабостью дыхательного аппарата. Подумал о возможности терпеть удушье, лежа в постели долгие дни и недели, пока сухое тепло не поможет справиться с влажностью в легких: от влажности и холода из легких постоянно выделялась мокрота. Он снова уснул, ему приснились красноватые кирпичи, яма, где перемешивают материалы для изготовления кирпичей, яма с горящей известью, мягкие сырые кирпичи, кирпичи в процессе обжига, несокрушимые затвердевшие кирпичи, кирпичи под открытым небом на строительстве нового полицейского участка, Панчо показывал ему кучу негодного битого кирпича, который возвращается в печь для измельчения и повторного обжига, Панчо объяснял, что на

стройке ничего не выбрасывается. Мать разбудила его в 12.00, Хуан Карлос взмок от пота. Встав, он почувствовал крайнюю слабость. Спросил у матери, есть ли горячая вода для душа и сильно ли у него отросла щетина, если идти на прием к врачу небритым. Мать сказала в ответ, чтобы он побрился немедленно, и что следовало бы это делать каждый день, как только он встает, и что прошлой ночью он лег очень поздно, и что такого парня, как он, девушки все равно будут любить, даже если он не побреется перед самым свиданием. Еще добавила, что, когда он вернется на работу в муниципальную управу, ему придется привыкнуть вставать раньше и бриться, ведь именно на работе он должен предстать во всей красе, а не где-то там женихаясь. В эту минуту пришла Селина в белом халате учительницы и со стопкой тетрадей под мышкой, мать переглянулась с ней и спросила Хуана Карлоса, где он пропадал прошлой ночью до трех часов утра и не проигрался ли он. Хуан Карлос ответил, что не играл. Мать сказала, что тогда он, видно, был с Нелидой. Хуан Карлос подтвердил. Мать спросила, как это возможно, чтобы родители разрешали ей беседовать на улице до трех часов утра, и, не получив ответа, попросила Хуана Карлоса, если он хочет ополоснуться и побриться перед обедом, сделать это быстрее. В 12.55 Хуан Карлос вышел из ванной: он принял душ, но не побрился. Войдя в столовую, ощутил приближение знакомого жара. Мать и Селина сидели за столом. Хуан Карлос взялся за свой стул, подумал, не вернуться ли в спальню и лечь, женщины взглянули на него, Хуан Карлос сел. Тыквенный суп, затем жареное мясо и пюре. Перед Хуаном Карлосом лежал толстый и сочный бифштекс, слегка прожаренный, по его вкусу. Начав резать мясо, Хуан Карлос ощутил, как лоб покрылся испариной. Мать посоветовала ему лечь, ведь это опасно — вспотеть и потом остыть. Хуан Карлос не ответил и ушел к себе в комнату. Несколько минут спустя ему принесли еду на подносе в постель. Хуан Карлос сказал, что бифштекс холодный. Его отнесли снова на плиту, Селина подогрела его несколько секунд с каждой стороны, стараясь не передержать. Хуан Карлос счел мясо пережаренным. Мать и Селина стояли в комнате, глядя на него, ожидая приказаний. Хуан Карлос попросил их пойти и закончить обед. Нехотя доел свою порцию. Когда мать вошла с десертом — печеным яблоком, он уже чувствовал себя лучше и сказал, что перед серией простуд и бронхитов иногда ощущал сильный жар после душа, так что зря и он, и остальные члены семьи придумывают всякое. Обед пошел ему на пользу. Мать и сестра спали после обеда, он вышел на улицу в той же одежде, в какой обедал, — серые фланелевые брюки, рубашка из тонкой шерстяной ткани в голубую клетку, синий свитер с длинными рукавами, сверху темно-коричневая кожаная куртка на молнии. Эта куртка, в каких обычно ходят богатые землевладельцы, вызвала на улице неоднозначную реакцию. Хуан Карлос улыбнулся, довольный, заметив презрительный взгляд хозяина булочной, который беседовал на тротуаре с поставщиком. Солнце слегка прогревало воздух, но в тени было холодно. Хуан Карлос перешел на солнечную сторону и расстегнул куртку. В 14.48 он зашел в "Ла Уньон", бар высшего разряда. За одним из столиков пил кофе седой человек, который радостно приветствовал его, помахав вошедшему рукой. Хуан Карлос согласился съездить с ним на скотный двор в нескольких километрах от города, но прежде заказал кофе и позвонил по телефону: стараясь, чтобы его никто не услышал, он под выдуманным предлогом отменил у

медсестры назначенный прием. Хуан Карлос представил себе, что, возможно, врач после осмотра скажет, что неделя отдыха пошла ему на пользу; что отдых продлят и тогда ему не придется выходить на работу на следующей неделе; что врач предпишет ему отдых в течение всей зимы, как уже намекал; что, возможно, откроется невероятная путаница в рентгене: тот снимок с небольшим пятном в правом легком был вовсе не его, а какого-то бедолаги, обреченного на смерть через пару-тройку лет без женщин и кутежей. В 15.50 Хуан Карлос прогуливался на солнышке по участку, прилегавшему к загону, где его приятель беседовал с пеонами. Земля была светло- и темно-коричневого цвета, вокруг искусственного водоема росли невысокие ромашки с зеленым стеблем и бело-желтыми цветами. Хуан Карлос вспомнил, как в детстве ему постоянно запрещали жевать цветки ромашки, потому что они, мол, ядовитые. В 16.15 солнце светило слабее, и Хуан Карлос подумал: сходи он на прием, к этому времени врач уже сказал бы ему о состоянии его здоровья. В 16.30 приятель остановил машину у строящегося полицейского участка и высадил Хуана Карлоса. Они простились до встречи в баре, позднее. Хуан Карлос прошел на стройку и спросил у электрика, где Панчо. В будущем дворе полицейского участка трое рабочих штукатурили двери уборной и душевых для младшего состава. Панчо крикнул ему, что до конца рабочего дня осталось всего пятнадцать минут. Хуан Карлос пожал плечами, Панчо согнул руку в неприличном жесте и снова взялся за работу, но через пару секунд подбежал с озорным видом и угостил друга его самой вожделенной игрушкой – сигаретой. Хуан Карлос курил на тротуаре, смакуя каждую затяжку. Девочка, почти подросток, прошла мимо и взглянула на него. В 16.55 два друга зашли в кабачок у железнодорожной станции, единственное место, куда Панчо решался войти в комбинезоне. Хуан Карлос спросил, готов ли он ради продления жизни отказаться от женщин, выпивки и курева. В ответ Панчо попросил не заводить эту тему снова и выпил рюмочку граппы. Хуан Карлос сказал, что спрашивает серьезно. Панчо не ответил. Хуан Карлос собирался сказать еще что-то, но промолчал: мол, если ему заказана такая жизнь, как у здоровых, то лучше умереть, но даже если его не лишат женщин и сигарет, он все равно предпочтет умереть, коли взамен придется вкалывать как скотина с утра до вечера за гроши и потом возвращаться в хибару и мыться под струей холодной воды из насоса. Хуан Карлос попросил еще сигаретку. Панчо дал без возражений. Хуан Карлос в знак благодарности заказал еще граппы. Панчо поинтересовался, удалось ли ему хорошенько рассмотреть днем строительную площадку. Хуан Карлос спросил Панчо, встречался ли он тоже с какой-нибудь женщиной прошлой ночью. Панчо сказал, что теперь конец месяца и у него нет денег сходить в "Ла Криолью". Хуан Карлос обещал сходить с ним туда вместе первого числа и посоветовал тем временем приударить за Гузкой, служанкой доктора Аскеро. Панчо спросил, почему ее зовут Гузкой, Хуан Карлос ответил, что в детстве у нее задница оттопыривалась и задиралась, как куриная гузка; на хуторе, где она жила у тетки, ее так и прозвали. В 17.40 они завершили обсуждение Гузки тем, что Хуан Карлос посоветовал Панчо торопиться и подвалить к ней, пока его не обскакали. В 18.00 Хуан Карлос вошел один в бар "Ла Уньон", подметив, что никто из посетителей не кашляет. За столом у окна сидели агроном Перетти, торговец Хуарес и ветеринар Ролья: соответственно рогоносец, неудачник

и скряга, подумал Хуан Карлос. За соседним столом располагались три банковских служащих: мелкая шушера, подумал Хуан Карлос. За третьим столом — доктор Аскеро и часовщик-ювелир Ройг: сукин сын с псиным запахом изо рта и сплетник-подлиза, подумал Хуан Карлос. Он направился к дальнему столу, где его ждали для игры в покер, тут сидели в кружок три помещика-скотовода: еще рогоносец, опять рогоносец и везучий пьянчужка, подумал Хуан Карлос. Его сильно донимал жар, но стоило снять куртку, как ощущение прошло; он оценил возможность выиграть, как в прошлый раз, чтобы покрыть все расходы на бар и кино за две недели отпуска, и сосредоточился на игре. Час спустя у него запершило в горле, он сдержал кашель и поискал взглядом официанта: вторую чашку кофе никак не несли. Он ощутил холод в ногах, выше поясницы тело покрылось жаркой испариной, пришлось расстегнуть ворот. Официант принес кофе. Раздражение в горле усилилось. Хуан Карлос быстро извлек из обертки куски сахара и, не дожидаясь, пока они растворятся, залпом осушил чашку. Украдкой нащупал горячий, но еще сухой лоб, подумал: виной всему, наверно, мерзлое парадное у дома Нене. Только тогда вспомнил, что она, должно быть, уже прошла мимо по улице. В 20.15, проиграв несколько сентаво, он вернулся домой и прошел прямо в ванную. Побрился, взяв особое мыло, кисть и кувшин с кипятком, которые подала ему мать. В 20.40 сели за стол. Селина рассказала, что мать Мабель в полном отчаянии, у них нет служанки и ей приходится работать без передышки именно теперь, когда у скотоводов идут торги, а жених Мабель наезжает в Вальехос и постоянно гостит в доме. По окончании ужина Селина сыграла пьесу из нового альбома под названием "Лучшие мелодии Хосе Мохика и Альфонсо Ортиса Тирадо", полученного из Буэнос-Айреса. Хуан Карлос напомнил, что теперь время закурить ту единственную сигарету, которую врач разрешил ему выкуривать ежедневно. Тогда мать, как о чем-то незначительном, спросила, что сказал сегодня врач. Хуан Карлос ответил, что непредвиденные обстоятельства вынудили врача отлучиться из консультации до самого вечера. В 22.00 он вышел из дома, прошел два квартала по земляным улицам и встретился с Нелидой. Убедившись, что родители спят, они поцеловались и обнялись в саду. Хуан Карлос по обыкновению просил Нелиду ему уступить. Нелида по обыкновению ответила отказом. Хуан Карлос вспомнил, что Нелида была Королевой весны 1936 года, поцеловал ее снова, крепко сжав в объятиях, и подумал о тех уловках, которые действуют безотказно, ведь перед ними не могли устоять многие другие девушки. Однако Хуан Карлос не дал своим рукам опуститься ниже установленной черты — талии Нене. Чуть не сказал ей, что он вовсе не дурак, только придуривается: "ты, приятель, полегче, болезнь у тебя нешуточная, не переборщи по женской части, а то загнешься, попробуй сократить норму, я больше не буду повторять, в следующий раз, как врач семьи, просто скажу твоей матери". Поддавшись порыву, Хуан Карлос внезапно взял ее руку и плавно потянул вниз, к ширинке, но не прижал. Это был первый маневр из его обычной стратегии. Рука Нене слабо сопротивлялась. Хуан Карлос засомневался, подумал, не растут ли в саду у Нене лесные ромашки, кто-то говорил, будто они ядовитые, правда, что ли? этой зимой в парадном будет жутко холодно, удастся ли его тайный план до начала холодов? всю зиму ночи напролет в этом парадном? подумал о колибри, который порхает с одного венчика на дру-

гой и из каждого пьет нектар, бывают капли нектара на цветах ромашки? они вроде сухие. Он подумал, что ему всего двадцать два года, а вести себя приходится по-стариковски. Резко выпустив Нелиду, он шагнул к живой изгороди. В ярости сорвал ветку. В 23.20 он счел необходимым погладить грудь Нелиды, запустив руку под блузку и бюстгальтер, дабы у девушки не угас к нему интерес. В 23.30 они простились. В 23.46 Хуан Карлос подошел к стройке полицейского участка. В окнах окрестных домов света не было, на улицах — никого. В квартале от него маячила парочка, они двигались в его сторону. Пять минут спустя они прошли мимо, свернули за угол и исчезли. Хуан Карлос снова посмотрел по сторонам, кругом не было ни одной живой души. Настала полночь, час свидания. Сердце его забилось сильнее, он пересек улицу и прошел на стройку. Идти было легче, чем прошлой ночью: он помнил подробности двора, виденные при свете дня. Подумал: чтобы забраться на почти трехметровую стену, старику понадобилась бы лестница, куда ему лезть по лесам, как некоторым. Вскарабкавшись на стену, прикинул: старик не смог бы с ходу перепрыгнуть в соседний двор. Почему-то вспомнилась девочка, почти подросток, которая посмотрела на него сегодня с вызовом. Он решил когда-нибудь выследить ее, девочка жила на ферме где-то за городом. Хуан Карлос вытер испачканные в пыли руки о помещичью куртку и приготовился к прыжку.

Эпизод пятый

...на зависть звездам они сверкают,
я жизни без них не чаю.

Альфредо Ле Пера

В уже упомянутый четверг, 23 апреля 1937 года, Мария Мабель Саэнс, известная всем как Мабель, открыла глаза в 7.00 утра, когда прозвенел звонок ее будильника швейцарской марки. Не в силах удержаться, она закрыла их и снова заснула. В 7.15 кухарка постучала в дверь и сказала, что завтрак на столе. Мабель ощущала, как все ее нервы расслаблены, притуплены, окутаны медово-кисельной оболочкой, прикосновения и звуки воспринимаются приглушенно, в голове теплая приятная пустота. Нюх обострен; уткнувшись в белую льняную подушку, нос встрепенулся первым, запах миндального масла, следов бриллиантина на подушке, запах отзывается трепетом в груди и растекается по телу до самых конечностей. В 7.25 она выпила почти остывший кофе с молоком, сидя одна в столовой, не хотела, чтобы кухарка его подогревала, однако потребовала свежих, хрустящих гренок, намазала их маслом. В 7.46 она вошла в школу № 1, подведомственную Управлению образования провинции Буэнос-Айрес. В 7.55 зазвонил колокол для построения на линейку во дворе. Мабель стала во главе шеренги учеников пятого “Б” класса. Директриса школы сказала: “Доброе утро, дети”, ученики ответили: “Доброе утро, госпожа директор”. В 8.01 вновь зазвонил колокол, и каждая из групп направилась в свой класс. Первый час Мабель посвятила уроку истории, теме “Инки”. Колокол звонил на перемену три раза: в 9.00, 10.00 и 11.00 часов; колокол прозвонил об окончании занятий ровно в пол-

день. К этому времени Мабель выполнила свой утренний план: объяснила новые задачи на процент, коэффициент и капитал; чтобы не носить домой общие тетради, исправила задания во время урока, пока ученики решали дополнительные задачки по арифметике в черновых тетрадях; на одной из переменок предупредила Селину, что, возможно, зайдет к ней после обеда, и избежала общения с учениками-переростками, сидевшими на задних партах. В 12.20 пришла домой, сильно проголодавшись, мать спросила, не может ли она подождать до 14.00 часов, чтобы пообедать с отцом и, возможно, со своим женихом Сесилом, когда те вернутся с аукциона скотоводов. У Мабель был готов ответ. Кухарка отварила ей отдельно порцию равиоли и подала с куриным бульоном. Мать не могла к ней присоединиться, поскольку хотела вымыться и переодеться, все утро она против обыкновения убиралась. После равиоли Мабель попробовала жареную курицу, но отказалась от десерта. Заявила, что должна пойти готовиться к урокам испанского с помощью Селины; останься она дома, пришлось бы заниматься Сесилом чуть ли не до вечера, учитывая обед и послеобеденный коньяк. В 13.45 Мабель вошла в дом семьи Этчепаре без стука. Выполняя просьбу Мабель, Селина провела ее прямо в свою комнату. У Мабель отяжелели веки, и она с трудом слушала сетования Селины: Хуан Карлос скверно обращается с матерью и сестрой, наверняка по наущению Нене, и не бережется, прошлой ночью он гулял с этой вертихвосткой до трех часов, так недолго и туберкулез подцепить. Мабель сказала, что прошлой ночью спала меньше четырех часов — пришлось заниматься Сесилом, пока тот беседовал с отцом; может, подруга позволит ей остаться и поспать у нее во время сиесты. Селина уступила ей кровать и прилегла на диванных подушках на полу. Мабель закрыла глаза в 14.10 и продолжала спать, когда часы с маятником показывали 17.00. Селина разбудила ее и предложила чаю. Мабель отказалась и побежала домой, она обещала матери сходить с ней в кино на вечерний сеанс. Дойдя до угла своего дома, она увидела, как отец и Сесил беседуют у дверей и собираются сесть в автомобиль. Боясь, что ее заметят, Мабель вошла в магазин на углу. В оправдание своего присутствия купила большую коробку печенья, поколебавшись при выборе между двумя любимыми марками: с дамами в стиле рококо на картинке и с изящной современной парой в праздничных костюмах. В 17.15 она пришла домой, выполнив свой дневной план: улизнуть от отца, который заставил бы ее заниматься Сесилом, и восстановить силы, выспавшись во время сиесты. Несмотря на спешку, мать и дочь распечатали коробку с печеньем и в 18.05 вошли в кинотеатр "Андалузский", единственный кинематограф в городе, которым ведало Испанское общество взаимопомощи. В фойе, украшенном мозаикой в народном стиле, Мабель увидела афиши фильма, подметила, что герои одеты по моде как минимум трехлетней давности, и с разочарованием убедилась, что американские картины доходят до Вальехоса с опозданием; это была роскошная комедия, которая разворачивается в восхитительной обстановке: просторные залы с лестницами черного мрамора, поблескивающими хромированными столбиками, обитые белым атласом кресла, белые атласные портьеры, ковры с длинным белым ворсом, столы и стулья с хромированными ножками, среди которых ходит пленительная нью-йоркская блондинка — машинистка, которая соблазняет своего молодцеватого босса и всяческими уловками вынуждает его развестись с изысканной супругой.

Под конец она его теряет, но встречает старика-банкира, который просит ее руки и увозит в Париж. В последней сцене машинистка появляется у парижского особняка: она выходит из шикарного белого лимузина с белым датским догом, укутанная в боа из воздушных белых перьев, и обменивается многозначительными взглядами с шофером — статным юношей в черной униформе и черных сапогах. Мабель подумала об интимной близости богатой бывшей машинистки с шофером, о возможности того, что шофер сильно простужен и они решили любить друг друга страстно, но без поцелуев, нечеловеческое усилие, чтобы не целоваться, они могут ласкать друг друга, но не целоваться, всю ночь они обнимаются, но не в силах выкинуть из головы эту мысль, так хочется целоваться, зарок не целоваться, чтобы не заразиться, ночь за ночью одна и та же мука, и ночь за ночью охваченные страстью их фигуры в темноте сияют, словно хромированные, хромированное сердце дает трещину, и брызжет алая кровь, она растекается и заливает белый атлас, белые портьеры, белые перья: когда хромированный металл уже не в силах сдержать неистовую кровь, уста сближаются и каждую ночь блаженствуют в запретном поцелуе. В 19.57 Мабель с матерью вернулись домой. В 20.35 вошли отец и Сесил, довольные тем, что все подготовлено для завтрашнего аукциона, последнего на осенней ярмарке. Сесил поцеловал Мабель в щеку. Выпили вермута на аперитив. В 21.00 сели за стол. Съели сардины с картофелем под майонезом, затем мясо по-португальски, сыр и мороженое. Говорили главным образом отец и Сесил, обсуждая утренние торги и виды на завтрашний день, пытаясь предвосхитить общий итог недели. Когда настало время кофе и коньяка, они направились к креслам в гостиную, но тут отец выразил свои сомнения по поводу цены на быка херефордской породы и увлек Сесила в кабинет. Мабель подала им чашки и рюмки. Сами они с матерью уселись в гостиной и обсудили фильм. В 22.30 Мабель и Сесил остались одни в гостиной, сидя на том же диване. Сесил нежно поцеловал ее несколько раз и погладил по голове. Он говорил ей о том, что очень устал, об отдыхе, который ожидает его в усадьбе по окончании ярмарки, о полученных недавно из Англии книгах по истории, которые он прочтет: его любимым чтением было все, связанное с историей Англии. Он удалился в 23.05, выпив, пока сидел с Мабель, три рюмки коньяка, которые добавились к двум рюмкам, выпитым в кабинете, двум вермутам на аперитив и трем бокалам красного вина, осушенным за обедом. Мабель вздохнула с облегчением и посмотрела, открыта ли дверь в спальню родителей. Дверь была закрыта. Она унесла бутылку коньяка в свою комнату и спрятала под подушкой. Вернулась в столовую, открыла сервант и достала две коньячные рюмки, которые присовокупила к спрятанной бутылке. Пошла в ванную и восстановила макияж. Надушилась французским лосьоном, который ценила больше всего. Надела целомудренную батистовую рубашку с короткими рукавами, взяла два журнала, приоткрыла окно, поставила бутылку и рюмки и легла. В 23.37 она устроилась поудобнее, готовая приступить к чтению журналов “Женский мир” и “Элегантный Париж”. Начала с последнего. Быстро пролистав страницы, посвященные моделям для спорта и повседневной одежде, продолжала думать о Сесиле, минуты, проведенные в его обществе, казались ей нескончаемыми, это ее тревожило. Через несколько страниц шли модели для коктейлей. Мабель просмотрела их, но тоже не заинтересовалась. Далее ее внимание

привлекла небольшая заметка: язык духов. Французская специалистка рекомендовала утром свежие лавандовые ароматы, способные оживить интерес мужчины к женщине; для дневных часов — во время прогулок по музеям и перерыва на чай — более сладкие запахи, навевающие чары, которые следует усилить к началу коктейля, переходящего в ужин при свете канделябров в ночном клубе, — теперь уже с преобладанием иного экстракта, напоенного мускусом, вобравшего в себя все благоухание утопающего в жасминах балкона, на который, укрываясь от огней и интриг светских салонов, выходила роковая женщина прошлого, — то есть благоухание, сконденсированное ныне в капле экстракта "Ампир ноктюрн" для современной женщины. За этой страницей следовали коллекции мехов и праздничные наряды. Мабель остановилась на длинном черном платье до пят, с широкой юбкой, отороченной черно-бурой лисицей. Вспомнила, что Сесил собирался в будущем устраивать в своей усадьбе торжественные приемы. Завершала раздел статья о гармоничном сочетании мехов и драгоценностей. Аквамарины и аметисты рекомендовались для светлой норки, для шиншиллы — исключительно бриллианты, а для темно-коричневой норки — кольца и серьги с изумрудами, ограненными в форме крупного прямоугольника. Мабель дважды прочитала статью. Решила как-нибудь завести разговор о камнях в присутствии Сесила. Подумала о том, что у Сесила нет сестры, а его мать когда-нибудь умрет в своем доме в Северном Камберленде, Англия. Она посмотрела на будильник, тот показывал 23.52. Она погасила свет, встала, открыла окно и посмотрела в направлении смоковницы. Двор был погружен в почти беспросветную тьму.

В уже упомянутый четверг, 23 апреля 1937 года, Франсиско Каталино Паэс, известный также как Панчо, проснулся по обыкновению в 5.30 утра, хотя день еще не занялся. Будильника у него не было. Из-за новолуния небо чернело мглой, в глубине участка, на котором стояла хижина, находился гидравлический насос. Панчо смочил лицо и волосы, прополоскал рот. Спал он для удобства без майки, воздух снаружи был студеный, и Панчо зашел в комнату надеть комбинезон. На большой кровати спали две его сестры, на брезентовой раскладушке в углу — брат. То ли дело кровать у Панчо — с эластичной пружиной и набивным матрасом. Пол в доме был земляной, стены из необожженного кирпича, крыша из листового железа. Во второй комнате, дополнявшей дом, спали родители с младшим братом семи лет. Панчо был старшим из сыновей. Кухня еще строилась. Панчо начал ее сооружать из строительных материалов для современного жилья, правда подержанных. Он зажег уголь в жаровне и сварил мате с молоком. Поискал хлеб, но не нашел. Разбудил мать; на дне мешка, наполненного тыквами, лежали две галеты, припрятанные для Панчо. Галеты были белые, из муки с добавлением жира, зубы у Панчо были квадратные и крупные, но в пятнах, потемневшие от соленой воды из насоса. Панчо подумал, что Хуан Карлос еще только засыпает глубоким сном и может спать до полудня, но он нездоров, в отличие от Панчо. Подумал об учительнице, которая должна подняться в 7.00 не выспавшись, Хуан Карлос говорил, что она самая красивая в городе, особенно в купальнике. Но она чернявая. А вот другая — блондинка и белая. Мать спросила, не отсырели ли галеты. Панчо сказал, что нет, и посмотрел на ее темное лицо индианки, на ее смоляные волосы, прямые, не-

покорные, с проседью. Через проволочную изгородь клуба Панчо видел Мабель в купальнике, но она чернявая. У другой ноги белые, она ходила в магазин без чулок. Панчо попробовал расчесать редким гребнем спутанную копну черных вьющихся волос, гребень застревал. Мать сказала, что волосы у него густые, как у нее, как у местных, и кудрявые, как у его отца-валенсийца. Но черные глаза достались в наследство не от индейских предков, а от мавров, которые заняли Валенсию много веков назад. Мать попросила его напрячь мускулы руки и пощупала их, сын был не очень высокий, но зато сильный, мать почему-то подумала о медвежатах из цирка, выступавшего проездом в Вальехосе, и протянула сыну еще одну чашку мате, сваренного с молоком. Панчо подумал, что Нене отдыхала всю ночь, что ее комната находится впритык к родительской и никто не может войти туда незамеченным. Панчо подумал о девушках из бара-магазина "Ла Криолья"; частокол за гидравлическим насосом, отделявший их участок от соседнего, покосился, почернел от мха. Панчо невольно поискал, на чем бы остановить взгляд, на востоке вставало солнце, в вышине виднелись багряные облака, ближе к солнцу они розовели и желтели, а дальше раскинулось желтеющее небо, выше оно отливало розовым, еще выше — багрянцем, хижина заслоняла противоположный край горизонта, который пока густел чернотой, но позже подернулся синим, а когда Панчо направился к строящемуся новому полицейскому участку, небосклон уже голубел с обеих сторон. Кое-где соседки в лачугах уже поднялись, подметали дворы, пили мате. А у той, другой, не было жестких волос, растущих чуть не от самых бровей, — волосы у нее были мягкие, светлые, дивные натуральные локоны; и волоски не торчали на щеках, над верхней губой, на подбородке, — кожа была белая, глянцевая; и межбровье не срослось по-совиному, белки глаз не желтоватые — брови едва обозначились двумя изогнутыми ниточками, глаза светлые, голубые? — нос с небольшой горбинкой, а губы розоватые; и была она не низкорослая, коренастая, круглая, но высокая, как он сам, ее талию он мог бы обхватить крепкими ручищами каменщика, талия, устремляясь вверх, расцветала белым бюстом, а книзу переходила в бедра идеальной формы, неужели лобок у белокурых женщин почти безволосый? в "Ла Криолье" была одна крашеная блондинка, но лобок у нее был темный, — Панчо почему-то представил себе, как Нене спит, слегка раздвинув ноги, и лобок у нее гладкий, как у маленькой девочки, а в магазин летом она ходила без чулок; Нене не носила сандалии-альпаргаты — на ногах у нее были туфли с высоким каблуком; она не потела — ей не приходилось драить до блеска дом, как служанкам; Нене не была неотесанной индианкой — она говорила, как артистка на радио, и в словах не забывала произносить положенные окончания. В 6.45 Панчо пришел на стройку. Нарядчик отправил его с двумя другими рабочими разгружать грузовик, набитый кирпичами, и перетаскивать их во двор, где строились помещения для младшего состава. В 8.07 нарядчик велел ему копать траншею в форме буквы "г" у задней стены. Панчо пришлось приналечь на лопату, товарищи засмеялись и сказали, что ему достался кусок туфовой почвы, самой твердой земли в пампе. Белые ноги Нене, смуглые бедра девушек из "Ла Криольи", черный лобок Мабель, темный зад Гузки, Нене, Гузка, белый и безволосый лобок Нене, туфовая пыль забивалась в ноздри, оседала в горле. В 11.45 нарядчик ударил палкой по старой сковороде, объявляя перерыв. Панчо вымыл лицо под краном и

попытался одолеть свою жесткую гриву с помощью расчески. По пути домой он сделал крюк в два квартала, чтобы пройти мимо дома доктора Аскеро. Гузки нигде не было видно. Панчо прошагал одиннадцать кварталов до своего дома. Старшая сестра подала ему на обед похлебку из картошки, тыквы и кусков мяса. Панчо спросил о ее ревматизме, пусть скажет, когда она снова сможет работать, и он переговорит с начальником строительства, хозяином печи для обжига кирпича и Хуаном Карлосом и предложит ее в качестве прислуги. В 13.25 Панчо вернулся на стройку. Нарядчик не взглянул на часы и отправил его раньше срока на рытье траншеи. У Панчо не было часов, он повиновался, хотя и был уверен, что начинать еще рано, но все же взял лопату и воткнул ее в твердый туф. Подумал, что нарядчик хорошо о нем отзывался в присутствии начальника строительства и комиссара полиции. В 14.35 нарядчик отправил его в старый участок за одной из решеток для тюремной камеры, которые были недавно получены из Буэнос-Айреса и хранились в кабинете заместителя комиссара. Панчо набрался храбрости и заговорил с последним о своем стремлении поступить в полицию унтер-офицером. Чиновник ответил, что им требуются такие крепкие парни, как он, но необходимо иметь кое-какие сбережения для учебы на шестимесячных курсах в столице провинции. Панчо спросил, надо ли платить за курсы. Чиновник пояснил, что курсы бесплатные и в течение шести месяцев учебы без жалованья обеспечивается пища и кров, однако комиссариат Вальехоса может направлять кандидатов, если получит добро из столицы, все зависит от столицы. Панчо подхватил решетку, будто без особых усилий. Опасаясь, что заместитель комиссара выйдет на улицу смотреть ему вслед, он преодолел расстояние в два квартала, не останавливаясь на отдых. В 16.32 он с радостью приветствовал своего друга Хуана Карлоса, который пришел навестить его. В 16.45 нарядчик снова ударил в сковороду. Панчо всмотрелся в лицо Хуана Карлоса, ища признаки болезни и признаки выздоровления. Когда они сидели в кабачке, Панчо посоветовал ему быть осторожнее, а то застукают в чужом доме, — почему он не удовольствуется Нене? Хуан Карлос ответил, что как только добьется своего, с Нене будет кончено, и просил Панчо поклясться, что тот никому ничего не скажет: Мабель обещала уговорить англичанина взять его управляющим двух поместий. Хуан Карлос добавил, что один хозяин не может находиться одновременно в двух поместьях, а управляющий — это как бы хозяин одного из двух поместий. Панчо спросил, останется ли он с Нене, если получит эту работу. Хуан Карлос ответил, что вопрос этот он задает потому, что ничего не смыслит в женщинах. Панчо силился что-то понять, но свел все к шутке. Хуан Карлос сказал, что Нене такая же, как все, если с ней по-хорошему — важничает, если по-плохому — идет напролом. Главное — чтобы Мабель ревновала и не забывала об услуге, которой он от нее ждет. В 18.23 Панчо помылся за хижиной под струей холодной воды из насоса. В 19.05 медленным, тяжелым шагом домой пришли мать и старшая сестра. После обеда у сестры сильно разболелась поясница, и обе женщины ходили в больницу за каким-нибудь лекарством. Врач снова им объяснил, что ревматизм возник вследствие пятилетней работы прачкой, когда руки постоянно находились в холодной воде, и что сестра может вернуться к работе, но не в качестве прачки, и пусть старается как можно меньше мочить руки. В 20.05 уже была разогрета обеденная похлебка, и все вместе поели. Пан-

чо больше молчал, а в 20.30 неспешно направился в центр города. В кабачке, наверное, уже сидели его товарищи по стройке. Панчо подумал о нецелесообразности того, чтобы начальники из полиции увидели его в кабачке. Подумал о целесообразности того, чтобы его увидели прогуливающимся с Хуаном Карлосом, служащим муниципальной управы. С фермы птичника-итальянца вышла девушка, несущая двух щипаных цыплят. Это была Гузка. Он прибавил шагу и незаметно догнал ее. Они шагали почти вровень. Панчо почтительно пожелал ей доброго вечера. Гузка ответила тем же. Панчо спросил, почем итальянец продает цыплят. Гузка ответила вполголоса и добавила, что должна поторапливаться, потому что ее ждет хозяйка. Панчо попросил разрешения проводить ее до колледжа сестер-монахинь. Гузка нетвердо сказала "да", затем "нет". Панчо проводил ее и выяснил, что в воскресенье вечером Гузка пойдет на гулянья, которые устраивают под открытым небом в Галисийском парке по случаю окончания сезона. Следуя наставлениям друга, Панчо посоветовал ей сменить хозяев и наняться в дом Саэнсов. Гузя ответила, что нехорошо бросать хозяйку. На углу, у колледжа монахинь, Панчо подумал о возможности пройти три километра через заросли чертополоха до бара-магазина "Ла Криолья". Он хотел навестить тамошних подружек, закрыть глаза и думать о другой. Но в одиночку это был слишком дальний путь, вдвоем с Хуаном Карлосом он бы решился. Дело было не в нехватке денег, как он солгал другу. Он подобрал с земли срезанную ветку эвкалипта, ощутил ее гибкость, взяв за оба конца, Панчо слегка согнул ее, прут поддался, Панчо нажал сильнее, прут еще поддался и начал трещать. Ветка была вовсе не шершавая, как кирпичи, а гладкая; и не тяжелая, как решетка у заместителя комиссара, а совсем легкая; ветка лишилась коричневой коры, и ее ровная поверхность блестела светло-зеленым, Панчо надавил сильнее, прут трещал, Панчо слегка ослабил дугу, а затем опять решительно надавил, прут вновь затрещал и сломался. В 21.47 Панчо вернулся домой. Все собрались в комнате матери и слушали по радио певца танго. Панчо хотел спать и не присоединился к родным. Он лег, подумал о том, что сестра вряд ли найдет работу служанки, если не сможет мочить руки в воде, стирая белье или моя посуду, а в столице провинции полгода без жалованья будут тянуться долго. Он посмотрел на раскладушку брата, без матраса. Подумал, что у него-то кровать с эластичной пружиной и набивным матрасом; правда, она обошлась ему больше чем в месячную зарплату, из прихоти он не захотел покупать подержанную кровать. Жаль, что так потратился, зато брат спал на раскладушке, а он нет. Несколько минут спустя он уснул.

В уже упомянутый четверг, 23 апреля 1937 года, Антония Хосефа Рамирес, также прозванная одними Гузкой, а другими Гузей, проснулась от щебета птиц, гнездившихся на рожковом дереве во дворе. Первое, что она увидела, была куча вещей, громоздившихся в ее комнате: бутылки с отбеливателем, большие оплетенные бутыли с вином, бочонок портвейна, связки чеснока, висящие на стене, мешки с картошкой, луком, банки с керосином и куски мыла. Ее спальня также служила кладовой. Вместо ванной комнаты она пользовалась старой уборной и раковиной для стирки в глубине двора. В 6.35 она вымыла лицо, шею и подмышки. Затем помазалась красноватой жидкостью от пота, купленной для нее хозяйкой. Прежде чем надеть серый халат с длинными рукавами, она по-

махала руками, как птица крыльями, чтобы под мышками просохли красные капли: хозяйка предупредила, что иначе можно прожечь одежду. Зажгла дровяную печь и выпила чашку кофе с молоком, съев хлеба с маслом. До 7.45 стирала майки, трусы и рубашки хозяина. Разбудила хозяйку и приготовила завтрак для супругов Аскеро и их детей. Накрыла стол в малой столовой, примыкавшей к кухне. Приготовила тосты. Вымыла посуду после завтрака. Подмела и вытерла пыль в консультации, приемной, детской спальне, большой спальне, гостиной, столовой и, наконец, подмела тротуар. Дважды ее отвлекала хозяйка: пришлось сходить в мясную лавку – забрать заказ, сделанный по телефону, и в магазин – за сыром, чтобы потом его натереть. Кто-то из детей разлил стакан молока в зале для приема, и хозяйка предложила заодно окатить мозаичный пол из ведра и наскоро пройтись по нему воском. В 11.30 хозяйка снова оторвала ее от дел, велев накрыть к обеду, пока она будет мыться. В 12.00 хозяйка и двое ее детей, мальчик и девочка, сели за стол. В 12.30 все трое направились в школу, где хозяйка работала учительницей, а дети учились. Тем временем Гузя убрала в ванной, оборудованной всеми современными удобствами. В 13.10 пришел из больницы хозяин, и Гузя подала ему обед, приготовленный хозяйкой. Хозяин посмотрел на ее ноги, и Гузя по обыкновению держалась от него подальше. В 13.45 Гузя села за стол и съела обильные остатки обеда. В 15.06 она закончила мыть посуду и убирать кухню. Когда хозяин бывал дома, труд становился особо тягостным, поскольку нельзя было петь во время работы, тогда как по утрам она напевала разные мелодии, в основном танго, милонги и танго-романсы, услышанные в фильмах с ее любимой актрисой-певицей. Она освежилась водой из раковины на задворках и прилегла отдохнуть. Подумала о советах хозяйки. По словам той, служанкам не следовало разрешать провожать себя на улице или танцевать более одного танца на народном гулянье с парнями из других социальных слоев. Особенно им надлежало сторониться студентов, банковских служащих, коммивояжеров, владельцев торговых лавок и работников магазинов. Известно, что те обычно ухаживали за девушками из приличных семей – "прикидываясь сущими праведниками, Гузя", – чтобы затем в темноте соблазнять служанок, наиболее беззащитных по причине их невежества. Сеньора Аскеро забыла включить в список женатых мужчин. Рекомендовала же она любого хорошего, работящего парня, причем определяла этими словами разного рода рабочих. Гузя подумала об аргентинском фильме, виденном в прошлую пятницу, с ее любимой актрисой-певицей, – о служанке из пансиона, которая влюбляется в жильца-студента, будущего адвоката. Как ей удалось добиться его любви? Девушке пришлось много выстрадать, чтобы достичь этого, и тут Гузя поняла очень важную вещь: девушка вовсе не собиралась завлечь его, он полюбил ее, видя, какая она добрая и самоотверженная, даже выдавала себя за мать ребенка другой незамужней девушки, дочери хозяйки пансиона. Позже студент получает диплом адвоката и защищает ее перед лицом правосудия, потому что девушка хотела оставить чужого ребенка у себя, привязавшись к нему, как мать, но под конец все устраивается. Гузя решила, что, если кто-нибудь из другого, высокого социального слоя в один прекрасный день предложит ей сочетаться браком, она не будет столь глупа, чтобы отказаться, но сама не станет подталкивать к этому. К тому же есть немало хороших и работящих парней, которые ей нравят-

ся: Мингито – разносчик хлеба, Аурелио – крестьянин, Панчо – каменщик, Чиче – газетчик. Но завтра она, наверно, не сможет пойти, как обычно, на киносеанс из цикла "Народные пятницы", потому что хозяева пригласили на ужин гостей. С досады Гузя схватила сандалию и с силой швырнула ее о полку. Бутылка с отбеливателем упала и разбилась. Гузя собрала осколки, вытерла пол и снова легла на кровать. В 16.00 поднялась и накрыла стол – полдник для хозяйки и детей. Позвала пожилую сеньору, которая помогала хозяину как медсестра, и по обыкновению предложила ей чашку чаю. В 17.28 домыла посуду после полдника и сходила напротив в магазин "Аргентинское – недорого", забрала кухонные полотенца, заказанные хозяйкой. Нене спросила, как они ладят с новой медсестрой, после ее ухода уже сменилось три. Гузя подумала о старой школьной парте, она сидела в четвертом ряду с теперешней служанкой главы муниципальной управы, во втором ряду – Нене с Келой Родригес, в первом ряду – Мабель Саэнс и Селина Этчепаре. Мабель и Кела были уже на выданье. Женится ли брат Селины на Нене, несмотря на эту историю с Аскеро? Раньше Нене отдавала ей старые платья. Сколько человек в Вальехосе знают о случившемся? Гузя подумала, что надо попросить у Нене еще какую-нибудь старую вещь. Нене отдала ей столько красивых ношеных вещей, а она в благодарность разве вела себя хорошо? Но Селина обещала рекомендовать ее матери Мабель на место прислуги, у них уже есть кухарка, и работать придется меньше, да и доктор Аскеро больше не будет заглядываться на ее ноги. Звенел звонок на перемену, и Мабель, Селина и Нене бежали прыгать со скакалкой, раз, два, три, четыре, сто прыжков до следующего звонка: Нене упаковала полотенца и посмотрела на нее, но они не поговорили, как раньше. Да, Нене дала ей рекомендацию в дом Аскеро, ее взяли служанкой благодаря медсестре, благодаря Нене, благодаря школьной подруге, и еще ведь немало ношеных вещей в подарок – свитер, платье, пальто, туфли, – это всё когда Нене работала у доктора Аскеро. Гузя вышла из магазина, так и не попросив старой одежды у упаковщицы. В 17.50 принялась гладить сорочки, постиранные утром. В 19.53 накрыла стол для ужина, приготовленного хозяйкой. В 20.21 отправилась на ферму к птичнику за цыплятами, которых тот слал в подарок хозяину. В 20.40 Панчо-каменщик подошел и заговорил с ней. Гузя постаралась скрыть свое волнение. На Панчо была рубашка с короткими рукавами, обнажавшими мускулистые руки, покрытые густыми волосами, под расстегнутым воротом рубашки виднелась грудь, поросшая такими же волосами. Гузя невольно подумала о страшной горилле с очень густыми, но четко очерченными бровями, изогнутыми дугой ресницами и усами, частично закрывающими крупную пасть. Хозяйка не рассердится, увидев, как она танцует с ним на гуляньях, Гузя шла рядом с каменщиком, время от времени поправляя прическу, волосы у Гузи росли чуть не от самых бровей, прямые, густые, смоляного цвета. В 20.52 она прошла одна мимо кинотеатра "Андалузский", где на завтра в цикле "Народные пятницы" объявляли комедийный аргентинский фильм. Хотя это картина не с ее любимой актрисой-певицей, она все равно пойдет на сеанс со служанкой главы муниципальной управы, как и каждую пятницу, пять сентаво дамы и десять кавалеры, а что, если гости на ужине задержатся и она не сможет пойти в кино? – теперь ей было почти все равно, а праздник в воскресенье? – на гулянья придет Панчо, который уже выразил желание

пригласить ее на танец. Гузя невольно подумала о птицах с рожкового дерева во дворе, они, наверное, уже свернулись в комочки у себя в гнездах, прижавшись потеплее друг к дружке. Гузе захотелось скорее оказаться в своей постели, укутаться потеплее: как-то морозной ночью хозяйка зашла в ее комнату в поисках портвейна из бочонка, чтобы угостить приятелей мужа, и, увидев Гузю в кровати, спросила, нужно ли ей еще одно одеяло. Гузе захотелось оказаться в своей постели, укутавшись потеплее, если хозяйка зайдет к ней в комнату, она расскажет о встрече с Панчо. В 21.20 она села поесть остатки ужина. В 22.15 закончила мыть тарелки и кухню. Гузя подумала, что день выдался легкий, не пришлось стирать шторы или чистить скребком деревянные полы. В 22.25 хозяин послал ее купить пачку сигарет в баре. В 23.02 она легла спать и подумала, что если выйдет замуж за Панчо, то согласится жить в доме с одной комнатой и крышей из листового железа, но не допустит, чтобы в спальне хранились неположенные предметы: потребует от Панчо построить хотя бы навес для хранения бутылок с отбеливателем, оплетенных бутылей, бочонков, мешков с картошкой, связок чеснока и банок с керосином. Внезапно она вспомнила, что Панчо дружит с братом Селины, а брат Селины ухаживает за Нене. Подумала, что поступила скверно по отношению к Нене, не выполнила обещанного. Гузя сложила ладони и попросила прощения у Бога. Вспомнила слова Нене: “Если ты меня подведешь, Бог тебя покарает”.

Эпизод шестой

...невольную слезу
не мог я удержать.

Альфредо Ле Пера

Табор цыганского цирка, Коронель-Вальехос, суббота, 25 апреля 1937 года

Я тебя не знаю, ты сюда пришел, и бедная цыганка все тебе расскажет за одно песо. Ты мне только присылай всех друзей, а я тебе все верно нагадаю. Скажу, что было, что есть и что будет. Только что будет? Ну ладно, скажу только, что будет; про настоящее птенчики у меня хотя бы спрашивают, когда залетают в шатер: любит ли их пташка? Или ты такой красавчик, что тебя это не заботит? Мол, все равно она твоя За ту же цену, ну, этого я тебе сказать не могу, ты красавец, но уж больно нетерпеливый, карты сами скажут. Хотя тебя мало волнует, любит она или нет, ты же знаешь, что второго такого, как ты, ей вряд ли сыскать, все вы такие, кто родился красавчиком, и про смерть тебе тоже неинтересно, ты ведь не старик, да и видно, что здоров, наверняка хочешь знать, заведутся ли у тебя деньжата, все деньги, какие пожелаешь. Правда же, угадала, даже не начав раскладывать карты? Расскажу, что будет, но ты сначала ответь: тебе все рассказывать или только хорошее? Вот ты записной красавчик, и куртка у те-

бя кожаная такая дорогая, может, накинешь бедной цыганке еще пятьдесят сентаво? Тогда я тебе скажу и хорошее, и плохое. Ну-ка, сними левой рукой. А теперь, снова левой рукой, разбей колоду на три части: прошлое, настоящее и будущее, а теперь открываем и смотрим... король червей, вверх ногами, гляди: корона у него натянута по самые глаза, чтобы не свалилась, и бархатный плащ тяжелый, зато теплый, брюнетистый мужчина, уже наполовину старик, он тебя не любит, вечно тебе вредит, а больше всего в жизни ты любишь, если не ошибаюсь... купюры, так вот именно этого ты от него не дождешься, а тут рядом у нас тоже вверх тормашками дама пик, гляди, как она руку держит, что-то собирается тебе дать, только ты поосторожней, а то она перевернута, да и сама закутана в этот лоскут, шитый золотом, ткань-то алая, а тут видишь: у рукавов фиолетовая подкладка, это к трауру, а волосы? — ни блондинка, ни брюнетка, ни рыжая, ты не знаешь такую, с голым черепом? не вижу у нее волос, — хоть повезло, что рядом, как положено, пиковая двойка, смотри, тут даже не пики, а острые красивенькие синие шпажки, и серебряная рукоять к тебе повернута — выпадает тебе дорога посуху, — так ты не знаешь женщину, крашеную или в парике, которая недавно ездила куда-то? помоги, а то я не разберу, почему у нее лысая голова... Да, знаю, у карты волосы черные, но когда ты снимал колоду, я увидела ее безволосую Если не знаешь ни одну с лысой головой, значит, поедешь ты, придется тебе отправиться в путь, чтобы спастись от старика с безволосой, которые что-то против тебя замышляют. Если бы она была безглазая, тогда я сказала бы, что это Беда, которая бежит за тобой и догоняет, ей все одно, старые ли, молодые или деточки, красавцы или неказистые, Беда слепа, но все же странно, что дама червей выходит безволосая, чуть не безносая. Дай-ка перетасую, только не смотри на карты, пока я мешаю, а то мертвецы из-за тебя наплачутся. Не знаешь, кто этот старик-брюнет? Значит, отец девушки, с которой ты гуляешь, не хочет тебя в доме, а Лысая ему помогает, девушка — блондинка или брюнетка? Ты уверен, что она красится в черный цвет или носит черный парик? Теперь снова разбей на три части левой рукой Двойка треф, как две дубинки, смотри, прямо черные занозы, плохая карта — кто-то тебя предаст, только не старик и не Лысая, — правда, рядом выпал пиковый туз, не перевернутый, тебе повезло, и серебряная рукоять целиком повернута к тебе, и ремни, гляди-ка, вот бы такую цыганскому барону, знаешь, красавчик, у барона ничего нет, кроме этих грязных шатров, вот бы ему подарить такую шпагу, — да, от кого ты меньше всего ждешь, тот обойдется с тобой грязно и подло, но когда тебе будет совсем невмоготу, окажется, что нет худа без добра, — тут и появится любящая тебя блондинка: вот она, бубновая дама, ножку выставляет, делает знаки правой рукой — да, дружок, принесет она тебе удачу, но ты будь осторожен, не нравятся мне блондинки, это совет сам по себе, карты здесь ни при чем, но у блондинок белое тело, и ты уже думаешь, что сердце у них белое, она протягивает тебе в руке сердце, ты собираешься его разглядеть, постой, я вижу, как она вырывает его из груди и отдает тебе, никогда не выпускай гнилое сердце блондинки, держи его покрепче! некий дух рассказывал мне, как у блондинки сердце разбилось, точно яйцо, и оттуда вылетела большая страшная птица, — но дамочка, хоть и блондинка, поможет тебе, так говорят кар-

ты, хоть мне она не нравится Нет, линия жизни будет потом, это когда ты последний раз снимешь и выберешь тринадцать карт, а сейчас снова подруби на три части, как раньше Семерка червей — свадьба! шли угощенье, красавчик, хотя не знаю, ты ли этот суженый, лучше бы не ты, потому как кубки на карте перевернуты, вино льется на пол, а жаль, вино я люблю, красавчик, оно полезно для здоровья, но если проливается на пол, то воняет противно, так это ты женишься? нет, потому что рядом я вижу старую женщину, даму треф, у нее в правой руке дубинка, но это для твоей защиты, и шестерка бубен Нет, красавчик, шестерка бубен к деньгам, когда она выпадает одна, а если с этой дамой, то деньжата прибирают к рукам покойники, остается только Искренность До чего тебе по вкусу эти шесть желтых кругляшек, думаешь, это золотые монеты, но если они идут вместе с дамой или валетом, значит, дама или валет делают тебе добро, денег они тебе не дают, поскольку у них особо нечем разжиться, но чем они тебя могут одарить, это искренностью, а значит, золотом души Нет, это не твоя мать, она пожилая, но не любит тебя как сына, хотя и добрая, да уж, красавчик, женщины у тебя кругом, это, поди, из-за куртки, или из-за форсу, красавчик? гляди, какой ты весь из себя смачный, может, пойдешь с нашим цирком, а то бы барон мигом нас поженил, это я тебе просто от удовольствия говорю, а теперь сними еще разок Ну вот, сейчас и линия жизни выйдет, выбери тринадцать из этой россыпи карт, только не открывай, не то покойники тебя невзлюбят, одна цыганка вечно открывала карты, и покойники подмешали ей яду в тарелку, а то когда живой открывает карту раньше срока... с неба может свалиться мертвец Ну да, летит прямиком в ад, потому что, если перевернешь карту раньше срока, мертвецу будет искушение, и он посмотрит с неба и увидит на земле голое тело, когда кто-то купается, и его снова одолеют дурные грешные мысли, и святые отправят его в преисподнюю, и там он сгорит по твоей вине Теперь открывай по очереди и клади рядком, пятерка пик это к сплетням, злые языки режут, как острые бритвы, режут и кромсают, — но тебе-то какое дело, пятерка пик губит как раз женщин, а тебе, чем больше болтают, тем лучше, разве не так? — а двойка бубен это жениховство — первый раз вижу, чтоб ты влюблялся, ведь карта любви тебе не выпала ни одна, гнусный паршивец, столько женщин, и ни одной не любишь, — только вот не вижу, какую ты полюбишь, вроде не похожа ни на одну из выпавших, а если это одна из тех бесстыдниц, то жизнь ее очень изменила, красавчик, не узнаю ее Нет, бубновая двойка тоже не к деньгам, это жениховство, две большие бубны, как золотые сердечки, оба одинаковые, и вовсе не две крупные монеты, как тебе бы хотелось, — нет, красавчик! зачем ты выбрал такую плохую карту, четверка треф — это к тяжелой болезни, но если она идет вместе с дамой, или валетом, или королем, тогда ты спасен, погоди, сейчас возьму цыганского порошка, теперь возьми порошка из мешочка и открой еще карту... красавчик, четверка бубен — это к слезам, может, еще обойдется, может, это для другого, поторопись, решайся и открой следующую... Да нет же, говорю тебе, из бубен единственные карты к деньгам — это туз и шестерка, тебе они не выпадают, если какая цыганка сказала тебе иначе, это она наплела, чтобы ты остался доволен, а ты меня просил говорить и хорошее, и плохое. А теперь молчи и от-

крывай следующую карту Трефовый валет! ты спасен, вынь у меня кинжал из сердца, красавчик, тебя-то я спасла, а самой себе еще накличу Беду и Слезы, ну-ка посыпь этого порошка мне на шею и плечи, подожди, расстегну кофту, живей... тебе что, противно?.. неужто ты тот самый демон, о котором меня предупреждала покойная Улитка, ну-ка дай этот пепел, побыстрее, какая тебе разница, ну пепел, пусть даже и человеческий, да нет, это пепел собачий... спасибо... спасибо, красавчик, а то покойная Улитка советовала мне остерегаться демонов, ведь ты и сам не заметишь, как он уже пробрался к тебе внутрь, чтобы попасть в мой шатер, такое с каждым может случиться Болезнь? какая? дай-ка посмотрю, четверка треф, не знаю только, может, ее подхватит какой-то брюнет, валет треф — очень сильный человек, да и неплохой — открой еще карту... шестерка треф, гляди, какие дубинки с новыми, нежными побегами и эти шипы, да еще и перевернутая! это карта поцелуев, ласки, полубезумной любви, и ведь перевернутая, это, наверно, та, что тебя предает, ну-ка открой следующую карту... Ворон, не показывай мне Ворона! ах, не показывай мне твою смерть, ведь это не ты... будь осторожен, кто-то умрет насильственной смертью, шестерка пик после трефовой масти — это к смерти с воплями и криком, тебя кто-нибудь хочет убить? ну-ка открой еще карту... опять дама червей! но теперь она выпала прямо, не перевернутая Как это не выпадала? еще как выпадала! Лысая, я тебе говорила — она тебя преследует Да, ты прав, то была дама пик, стара я стала, видишь, красавчик, оттого я тебе и не люба... так кто эта дама червей? вроде брюнетка, и даже недурная, но если тебе повезет, то это она отдаст концы, быстро давай еще карту! пиковый туз вверх ногами, посмотри, мой милый, посмотри мне в глаза, дай заглянуть в твои глаза поглубже, может, я что пойму, иногда мне приходится смотреть в кувшин с водой, или с вином, или в стекло, все равно куда, лишь бы отражалось, как в зеркале, не знаю... слишком много дурных карт вместе, если бы туз пик выпал не перевернутый, ты бы уже был вне опасности, но полоса невезения еще не кончилась, дай загляну тебе в глаза, обожаю светло-карие глаза, но я ничего не вижу, только сама и отражаюсь, ты бы видел, красавчик, какая я была раньше красотка, когда в шатер заходил такой птенчик, как ты, я всегда ставила сторожить у входа цыганку, вдруг закричу, никто передо мной не мог устоять! ... тяни другую карту, только не забывай, что кто-то умрет насильственной смертью, будь осторожен, не лезь на рожон, вижу кровь, слышу крик раненного насмерть, тяни еще карту... ну вот, наконец что-то хорошее, тройка червей — это к радости, после стольких невзгод получишь большую радость, открывай дальше! ... двойка пик, снова дорога Да нет, глупыш, это не дорога на тот свет, дорога эта посуху, да и не дальняя, все пройдет удачно, давай еще карту, всего две осталось! ... пятерка червей и не перевернутая, карта хорошая, это к твоим долгим разговорам с кем-то, причем вы договоритесь, это уже предпоследняя карта, блондинчик ты мой ненаглядный, значит, в старости ты будешь счастлив, и в хорошей компании, а теперь, золотой мой светлокудрый, прикоснись к золе, опусти кончики пяти пальцев правой руки в мешочек... ведь последняя карта с крутым нравом... выбирай... открывай... ...Дама треф! старуха! ... и опять выпала не перевернутая, вот красота, мой птенчик, значит, умрешь ты в старости подле жены, которая будет такой же старой, как ты, ведь трефовая дама —

старуха, такая же, как я... Ну что, доволен? Разве это дорого, за полтора песо всю жизнь твою до мелочи перебрали? Нет, это тебе спасибо, присылай дружков, пусть все будут как ты, ах, душа моя горит, рвется вон из тела .....
.....
Дама пик плешивая, у меня хоть одна шавка плешивая умерла? та сучка, что я сожгла, была с шерстью, уголек, пепелюшка, Лысая, или это Ложь брюхатой девчонки, которая вовсе и не брюхата, или это Месть какой-нибудь злой девчонки,...нет, лысая башка мерзнет, волосы не греют облысевшую голову, а лысая голова никого не любит, совсем как этот красавчик, не захотел со мной остаться, ведь он никого не любит, ни меня, ни других, голова вроде здоровая, а все одно пропадет — вся гнилая изнутри... вот именно, голова была здоровая, но дьявол вынудил ее открыть рот и плюнул внутрь, дама дура, не знает, что плевок дьявола — сплошной гной... вот у нее все волосы и выпали.

Народные гулянья, состоявшиеся в воскресенье, 26 апреля 1937 года, в Галисийском парке, их ход и последствия

Время открытия: 18 час. 30 мин.

Стоимость входных билетов: кавалеры — один песо, дамы — двадцать сентаво.

Первое танцевальное произведение, исполненное ансамблем "Лос Армоникос": танго "Дон Жуан".

Дама, снискавшая наибольшее восхищение в течение вечера: Ракель Родригес.

Преобладающий аромат: исходил от листьев эвкалиптов, которые окружают Галисийский парк.

Украшение, которым блистало большинство дам: шелковая лента, надетая на манер головной повязки и оттеняющая завивку-перманент.

Цветок, которым многие кавалеры предпочли украсить петлицу пиджака: гвоздика.

Танцевальное произведение, которому рукоплескали больше всех: вальс "От души".

Танцевальное произведение в самом быстром темпе: пасодобль "Ларец".

Танцевальное произведение в самом медленном темпе: хабанера "Ты".

Кульминационный момент вечера: присутствие на открытой площадке восьмидесяти двух пар во время исполнения вальса "От души".

Наиболее тревожный момент, пережитый собравшимися: порыв ветра в 21.04, неверно истолкованный как предвестие возможного ливня.

Сигнал, предупреждавший об окончании вечера: два кратковременных отключения света в 23.30.

Время закрытия ворот: 23.45.

Дама, настроенная наиболее мечтательно из всех собравшихся: Антония Хосефа Рамирес, также известная как Гузка или Гузя.

Спутница Гузи: ее лучшая подруга, служанка главы муниципальной управы.

Первый танец, исполненный Гузей: ранчера "Моя милашка живет на ранчо", в паре с кавалером Доминго Хилано, также известным как Мингито-корешок.

Кавалер, явившийся на гулянья с намерением вторгнуться в жизнь Гузи: Франсиско Каталино Паэс, известный также как Панчо.

Первый танец, исполненный Гузей и Панчо: танго "Парень из Энтре-Риос".

Первый танец, который Гузя и Панчо исполнили, прижавшись щека к щеке: хабанера "Ты".

Напитки, выпитые Гузей и оплаченные Панчо: два оранжада.

Условие, поставленное Панчо для разговора об очень важном для обоих деле: возможность проводить ее до дома без подруги.

Условие, поставленное Гузей: сначала проводить подругу до дома главы управы, откуда они проследуют до дома доктора Аскеро вдвоем с Панчо.

Место, назначенное Гузей для разговора: у входной двери дома доктора Аскеро.

Обстоятельство, вызвавшее досаду Панчо: тот факт, что дом главы управы находится в асфальтированном и хорошо освещенном районе городка, всего в двух кварталах от жилья доктора Аскеро, вдали от той зоны земляных улиц, засаженной деревьями и темной, где расположен Галисийский парк.

Дама, обеспокоенная при виде того, как Гузя удаляется в обществе Панчо по направлению к дому доктора Аскеро: служанка главы муниципальной управы.

Метеорологические условия, облегчившие исполнение намерений Панчо: приятная, слегка прохладная температура — 18 градусов по Цельсию, безлуние.

Случайное обстоятельство, облегчившее исполнение данных намерений: приближение бродячего пса грозного вида, который напугал Гузю и позволил Панчо явить бесспорный образец храбрости, пробудивший в Гузе чувство защищенности и горячей признательности.

Другое случайное обстоятельство: наличие по соседству строительной площадки, добраться до которой можно было, отклонившись лишь на квартал от прямого маршрута.

Важное дело, о котором Панчо заговорил с Гузей, как было обещано: желание быть в ее обществе, желание, по его словам, обуревающее его днем и ночью.

Довод, с помощью которого Панчо уговорил Гузю пройти через стройку нового полицейского участка: необходимость поговорить еще немного, причем не у входной двери дома доктора Аскеро, во избежание пересудов.

Преобладающие мысли Панчо, с Гузей в темноте: пастбище, чертополох, который надо вырубать, придет нарядчик, бери лопату, Панчо, корчуй траву мотыгой, такая темень, что даже кошки нас не увидят, Хуан Карлос прыгает через стену на задах, не лезет через заросли, "когда ты с телкой один и вас никто не видит, попусту не болтай, какой от этого толк? только лажанешься", корни чертополоха в земле, потрескавшейся от засухи, земля в пыли, чуть не от самых бровей растут у тебя эти жесткие смоляные волосы, а

по корням чертополоха я как вдарю, с корнем вырву, корень волосистый с комьями земли, не растет чертополох на туфовой почве, волосы у Гузи поприятней корней чертополоха, их можно погладить, и без комьев земли, до чего Гузя чистенькая, руки коричневые, а ноги еще темнее, ноги у нее волосатые? нет, только легкий пушок, ходит в магазин без чулок, а если потрогать, тело у Нене, наверно, нежное-нежное, не даешь себя поцеловать? даже целоваться не умеет, у нее маленькие усики, лапки черные, лицом черна, поласкать ее, что ли, малость? полегче, бедная чернушка, кирпичи передаю другому рабочему, выгружаем из грузовика по два кирпича, передаю три кирпича, царапаюсь, они сухие, как туф, "следует снять с Вас отпечатки пальцев", а намазанный палец в вербовочной книжке не отпечатывался, "у Вас уж и отпечатков пальцев не осталось, все стерлось от кирпича", только на мизинце, самом ленивом пальце, поглаживаю тебя, такую гладенькую, "если не полезешь напролом, она подумает, что ты дурила", скажу, что люблю ее правда-правда, может, поверит, что она красивая, мол, мне говорили, что она такая работящая, мол, дом хозяйки содержит в чистоте, что еще я могу сказать этой бедняге? ну и тихоня эта чернушка, совсем не просекает, даже жаль обманывать, "если сразу не завалишь...", думает, я ее люблю, думает, завтра на ней женюсь, усики у чернушки, мягкий пушок, да я волок решетку больше двух кварталов, захочу — так тебя сдавлю, что кости переломаю, смотри, какая у меня силища, но я тебя не ударю, это чтобы защищать тебя от собак, тихоня моя чернушка, будешь вякать, не поздоровится, гляди, какой я сильный...

Преобладающие мысли Гузи, с Панчо в темноте: хозяйка меня не видит, подруге не скажу, с банковскими я не танцевала, со студентами не танцевала, ни с кем не танцевала из тех, что Вы сказали, чтобы я никогда не танцевала, Панчо не из таких, которые поухаживают за другими, а потом пристают к служанкам, он хороший и работящий, если хозяйка что велит, меня уговаривать не надо, хватаю метлу двумя руками и принимаюсь мести, метелкой смахиваю пыль с мебели, мокрой тряпкой с мылом протираю полы, мыло и доска в раковине для стирки, он купил билет за один песо для кавалеров, до чего прохладная апельсиновка, а я вошла, как дама, и заплатила двадцать сентаво, девушки, когда идут на танцы, даже если они простые служанки, берут билеты для дам, как работница магазина, или девочки-помощницы у портнихи, или сеньориты, которые работают учительницами, у него на руках мозоли, так щекочет своими заскорузлыми мозолями, а здорово он шуганул собаку! если хозяин когда ко мне пристанет, я побегу и позову Панчо, забыл вставить щетинки из китового уса в воротник, кончики оттопыриваются, увижу его в следующий раз, дам щетинки хозяина, ой, до чего щекотно, и целует так сильно, он и правда меня любит? аж гусиная кожа выступает, так сильно он меня целует и так тихонько гладит...

Новые чувства, испытанные Гузей ночью 26 апреля 1937 года после прощания с Панчо у входной двери дома доктора Аскеро: желание увидеть Панчо на одной из темных улиц следующей ночью, без щетинок

китового уса в воротнике рубашки, чтобы вставить щетинки, взятые у доктора Аскеро.

Путь слезинок Гузи: ее щеки, ее шея, щеки Панчо, платок Панчо, воротник рубашки Панчо, чертополох, сухая земля пастбища, рукава платья Гузи, подушка Гузи.

Цветы, преждевременно увядшие в ночь воскресенья, 26 апреля 1937 года, из-за резкого понижения температуры: белые лилии и розовые кусты в саду доктора Аскеро, и некоторые дикие цветы, росшие в канавах, в окрестностях Коронеля-Вальехоса.

Непострадавшие ночные насекомые: тараканы строительной площадки, пауки с паутиной, сплетенной меж неоштукатуренных кирпичей, и жесткокрылые, которые вились вокруг лампочки, висевшей посреди улицы и входившей в систему городского освещения.

Д-р Хуан Хосе Мальбран,
Коронель-Вальехос, пров. Буэнос-Айрес
23 августа 1937 года

Д-ру Марио Эухенио Бонифаци
Пансионат-лечебница "Сан-Роке"
Коскин, пров. Кордова

Уважаемый коллега!

Прежде всего прошу извинить меня за задержку с ответом, которая, поверьте, объяснялась стремлением собрать больше информации о случае Этчепаре. Должен признаться, что не понимаю реакции молодого человека, я знаю его с самого рождения и считал, что у него сильный характер, упрямый, конечно, но всегда для своей пользы. Не знаю, почему он не выполняет курса лечения. Также не знаю, чем объяснить эту спешку с возвращением. Причиной может быть и какая-нибудь история с юбками, не исключаю. Только вспоминаю любопытную подробность в этой связи: о тяжелом состоянии Этчепаре я узнал из анонимки, написанной явно женщиной, там печатными буквами, выдававшими женскую повадку, сообщалось, что Хуан Карлос не желает являться в мою консультацию, стремясь скрыть свое недомогание, что он харкал кровью в ее присутствии и что я должен удалить его от общения с дорогими ему людьми, о чем сами они заявить не осмеливаются. Примечательным в анонимке был курьезный факт, сообщалось, что Этчепаре чувствует себя действительно плохо с часу до трех ночи.

Как бы то ни было, думаю, Вам теперь недолго им заниматься, поскольку из беседы, которую я вчера имел с матерью, следует, что они не в состоянии нести расходы по его санаторному лечению далее середины сентября. Оставляю на Ваше усмотрение, сообщить эту весть Этчепаре уже сейчас или позднее. Для Вашего сведения, мать — вдова, у нее почти нет денег, только чтобы жить скромно. У него самого нет сбережений, а отпуск предоставлен ему без сохранения содержания. Мать еще сказала, что парень никогда ничего не давал в дом из своей получки, так что вряд ли он хочет покинуть Коскин поскорее, чтобы сберечь

деньги матери. Похоже, это ему безразлично. Я действительно не понимаю, почему он не воспользуется лечением.

Остаюсь всегда к Вашим услугам, с сердечным приветом

Хуан Хосе Мальбран,
врач клиники

Эпизод седьмой

...все, все вдруг озарилось

Альфредо Ле Пера

Коскин, суббота, 3 июля 1937 года

Дорогая моя!

Как видишь, выполняю обещанное, конечно, еще немного и срок бы у меня вышел, завтра кончается неделя. Ну а ты, как там? наверняка уже и не вспоминаешь о нижеподписавшемся, сама видишь, вроде тебе и простыни было мало, чтобы утереть слезы и сопельки в день прощания, а нынче вечером стоит мне зазеваться, как ты сразу побежишь на танцульки. А вообще ты не сильно и рыдала, так, пролила пару крокодильих слезинок, что для женщины в конечном счете особого труда не составляет.

Сладкая моя, чем ты занимаешься в этот субботний час? даже интересно, — спишь после обеда? укрывшись потеплее? вот бы стать твоей падушкой, чтобы быть к тебе ближе. Грелкой с горячей водой мне бы не хотелось, а то вдруг ты еще окажешься грязнуля и соня. Нет, лучше без всяких вывертов, лучше уж падушкой, и как станешь со мной советоваться, и чего я только ни узнаю, одна старая цыганка меня предупреждала: не доверяй блондинкам, — о чем ты будешь советоваться с падушкой? Если спросишь у нее, кто тебя любит, она ответит, что я, ну и ахинею несут эти падушки... Ладно, крошка, оставлю тебя на время, так как звонят к чаю, это мне кстати, хоть отдохну немного, а то засел за письма сразу после обеда.

Ну вот я и вернулся, ты бы видела, как меня тут холят и лелеют, выпил две чашки чая с тремя разными тортами, ты у нас сластена, так что чувствовала бы себя здесь в своей стихии. Завтра, в воскресенье пойдешь в кино? кто тебе купит шоколадки?

Блондиночка моя, теперь выполняю обещание и рассказываю, как выглядит это место. Знаешь, если хочешь, даром тебе его отдам. Все очень красиво, только скукотища тут смертная. Пансионат весь белый с крышей из красной черепицы, как и почти все дома в Коскине. Городишко маленький, и ночью, когда кто-то из этих чахоточных кашляет, слышно за два километра, такая стоит тишина. Еще есть река, она течет с острых вершин сьерры, ты бы видела, я на днях нанял двуколку и поехал в Ла-Фальду, там вода холодная и все поросло деревьями, но когда вода доходит до Коскина, она нагревается, ведь тут все сухо и ничего не растет, ни чертапалох, ни растения, так жарит солнце. Этот абзац я на-

писал одинаково во всех письмах, а то еще мозги судорогой сведет от такого усилия мысли.

Ну что еще? Говорят, на следующей неделе с началом июльских каникул приедет много туристов, но вроде здесь, в городке, никто ночевать не остается, боятся заразится, а ведь они самые гнилые, прости за выражение. Знаешь, долго это не продлится, потому что такие деньги тратятся, и все из предосторожности, какая еще предосторожность, да если бы все сделали себе рентген, Вальехос разом обезлюдел, все бы сюда примчались. Ладно, все ради мамани, лишь бы ее сынок вылечился. И ты, блондиночка, лучше веди себя осторожней, а то я выставил надежные дазоры, так что давай без подвохов, все равно же узнаю, думаешь, нет? Если расфуфыришься, нацепишь цацки и пойдешь гулять с каким-нибудь местным фраером, я в один момент про все узнаю. Нет, правда, грязной игры я не прощаю, ты этого, пожалуйста, никогда не забывай.

Куколка моя, бумага кончается, больше о здешней жизни рассказывать не буду, сама представляешь: еда и отдых.

Что до медсестер, они здесь все пуленепробиваемые, самая младшая ходила в школу еще с Сармьенто.

Целую тебя, пока не скажешь “хватит”,

Хуан Карлос

Ну ладно, отвечай с обратной почтой, как и обещано, я здесь скучаю больше, чем ты думаешь. Не меньше трех страниц, как в моем письме.

> Под солнцем на балконе он собирает свои черновики, откладывает в сторону плед, поднимается с шезлонга и спрашивает у молоденькой медсестры, в какой комнате живет старик, сидевший напротив него за столом, когда они пили чай в зимней столовой. Дверь комнаты номер четырнадцать отворяется, и старый профессор латыни и греческого приглашает гостя войти. Он показывает фотографии своей супруги, детей и внуков. Касается своего восьмилетнего пребывания в пансионате, неизменного характера своей болезни и того, что не знаком ни с одним из трех своих внуков по различным причинам, главным образом материальным. Наконец, он берет черновики гостя и, как обещал, проверяет орфографию всех трех писем: первого — на семи страницах, — адресованного сеньорите, второго — на трех страницах, — адресованного семье, и третьего — также на трех страницах, — адресованного другой сеньорите.

Коскин, суббота, 27 июля 1937 года

Дорогая моя!

Передо мной лежит твое письмо, сколько я его ждал, оно помечено 8-м числом, четвергом, но штамп почты Вальехоса от 10-го, почему ты так долго не опускала его в ящик? Как видишь, я стою с вентовкой наготове.

Сначала пришло письмо от сестры, ты бы видела, до чего вонючее письмецо, полторы страницы, написанные во время урока, пока ученики рисовали рисунок, небось изобразили ее с короткими ножками? я на

нее зол. Маманя обещала писать обязательно, а теперь дала задний ход, у нее, мол, рука сильно дрожит и ей стыдно слать мне каракули. Но это же почерк моей родной мамани, неважно, что каракули. Сестра ее критикует и держит в страхе.

Дело в том, что за почти двадцать дней, что я здесь, не получил ничего, кроме этого письма и теперь вот твоего. А сейчас давай я опущу вентовку и положу ее на стол, чтобы освободить руки, в эту минуту я глажу падушечками пальцев твой загривочек, а если позволишь, расстегну пуговичку блузки сзади и проведу рукой вдоль твоей спины, и почешу твою нежную, как мимоза, кожицу.

Какое красивое письмо ты мне прислала... это правда — все, что ты мне пишешь?

У меня тут всегда одно и то же, не описываю тебе в подробностях, что мы делаем целыми днями, не люблю об этом. Ты бы видела, что творится в нашем санатории, пансионатом тут и не пахло — брехня все это. Люди даже умирают, я не хотел этому верить, но на днях одна девчонка лет семнадцати, которая давно не появлялась в столовой, умерла в своей комнате. И мне здесь приходится все это терпеть, я тут по-настоящему заболею, столько себе крови порчу. Если дать им во все соваться, тогда мне каюк, держат тебя на коротком поводке, кругом столько врачей, что в голове у них полная каша и они уже не помнят, тяжелый ты больной или кто, и в итоге всех стригут под одну гребенку, чтобы не промахнуться, лечат тебя, словно ты прям завтра собираешься откинуть копыта. Поэтому я их упреждаю и не говорю им всего, что делаю, ведь по сути я особо ничего и не делаю. В общем, вода в реке Коскин тепленькая, а в сиесту и подавно лучше всего, но по распорядку ты должен спать в тихий час или для полного кайфа залечь в шезлонге на зимнем балконе под кордовским одиялом, тяжеленным, как три наших, на солнце. Так что мое юркое тельце сматывается и купается в реке. Плаваю, как Адам, плавки-то я с собой не захватил, да и полотенце выносить нельзя, так что приходится сохнуть прямо на солнце. Если выйдешь из пансионата с полотенцем, швийцар сразу засечет. Солнце в горах что надо, если ветра нет, обсохнешь и даже не дрожишь, отряхнешь воду, как собака, и чао. Какой мне может быть от этого вред? Хуже — спать в сиесту, а то потом ночью будешь ворочаться в кровати без сна, и такие мысли в голову лезут, что лучше не вспоминать.

Об этом я говорю одной тебе, мамане ничего не пишу, но мне здесь совсем невмоготу, потому что тут никто не вылечивается. С кем ни заговоришь, никто не скажет, что думает вернуться домой, только и думают, что о расходах, ведь пансионат — самое дорогое место в Коскине. Они без конца говорят, что надо перебраться в частный пансион и лечиться на стороне или снять домик и привезти семью. В Коскине есть еще больница, на днях мне чего-то в башку втемяшилось, и я пошел на нее взглянуть, вот такие дела, чего тут от скуки не придумаешь, жизнь моя. От души люблю называть тебя "жизнь моя", вот такие дела, когда мы снова увидимся, ты поможешь забыть мне все, что я здесь видел, ведь ты иное дело, ты другая.

Я тебе расскажу про больницу для бедных, расскажу, чтобы ты знала, что это такое, только обещай потом никогда не поднимать эту тему, ты ведь здоровая и даже представить себе не можешь, как все зайдутся в кашле — просто оглохнуть можно. В пансионате иногда слышен кашель в

столовой, но, к счастью, там крутят пластинки или радио играет, пока мы едим.

Я первый раз вышел к больнице, когда шел купаться на реку. Но дул свежий ветер, тогда я начал кружить по округе, чтобы не идти на тихий час, а когда опомнился, был уже высоко в горах, у самой больницы. У больного, который лежит у двери, в палате для тяжелых, никого не было, и мы с ним разговорились. Он рассказал о себе, как они там гуляют, что каждому выдают пижаму и купальный халат, потом подошли еще двое поговорить. Приняли меня за врача-стажера, и я их не стал разубеждать.

Меня туда уже не тянет, но из жалости все-таки хожу, чтобы поговорить с этим бедолагой с первой кровати, и ты мне не поверишь, но с каждым моим приходом туда всегда есть кто-то новенький, понимаешь, что я имею в виду? и ведь никто не вылечивается совсем, жизнь моя, если кровать освобождается, значит, кто-то умер, да, не пугайся, туда поступают только очень тяжелые больные, поэтому они и умирают.

А теперь забудь обо всем этом, тебя это не касается, ты здоровая, тебя и пуля не возьмет, такая ты крепкая, совсем как алмазик, которым в скобяной лавке режут стекло, хотя алмазы бесцветные, как стакан без вина, нет, лучше полнехонькая вина, румяненькая, как рубин, жизнь моя ненаглядная. Пиши скорей, будь паинькой и не забудь сразу бросить письмо в ящик, не как в этот раз.

Жду тебя с нитерпением и крепко целую

твой Хуан Карлос

Ну вот: забыл тебе сказать, что в пансионате у меня есть добрый друг, в следующем письме расскажу о нем.

Под солнцем на балконе он собирает свои черновики, откладывает в сторону плед и поднимается с шезлонга. Направляется в комнату номер четырнадцать. В коридоре обменивается почти неуловимым заговорщицким взглядом с молоденькой медсестрой. Больной из четырнадцатой комнаты встречает его приветливо. Незамедлительно приступает к исправлению орфографии всех трех писем: первого — на полстраницы, — адресованного сеньорите, второго — на двух страницах, — адресованного сестре, и третьего — на шести страницах, — адресованного другой сеньорите. Затем происходит продолжительная беседа, в ходе которой гость рассказывает почти полностью историю своей жизни.

Коскин, 10 августа 1937 года

Моя жизнь!

На днях пришли вместе твое второе письмо и второе письмо от сестры. Ясно, что разница огромная... так что твое письмо я прочел раз восемьдесят, а письмо сестры — два раза, и чао, кого видал, того не помню. Сразу видно, когда тебе пишут по обязательству. Но, жизнь моя, пусть хоть так пишут, ты не поверишь, если я тебе скажу, что эти четыре письма — единственные, которые я получил с момента приезда сюда, что случилось с людьми? боятся заразиться по почте? Уверяю тебя, они дорого

за это заплатят. Права была маманя: когда тебе худо, все от тебя отворачиваются. Я тебе когда-нибудь рассказывал о моем отце?

Так вот, у отца вместе с другим братом было большое поле в сорока километрах от Вальехоса, оно еще дедушке принадлежало. Отец был бухгалтером, с университетским дипломом, закончил в Буэнос-Айресе, понимаешь? не простым был товароведом, как я. Конечно, отец поехал учиться в столицу, потому что его послал дедушка, он видел, что у отца светлая голова по части цифр, а другой брат был скотина, так и остался пасти коров. Ну вот, дедушка умер, и отец продолжал учебу, а тот тем временем его обскакал, топай, мол, по шпалам, продал поле, почти все себе прикарманил и слинял с земной поверхности, пока мы не узнали, что теперь он где-то в Тандиле, и поместье у него — закачаешься! Но он еще свое получит.

Бедному отцу пришлось это стерпеть, и он обосновался в Вальехосе, не то чтобы жил он плохо, работы у него было навалом, и я не помню, чтобы он когда-нибудь жаловался, но маманя, когда он умер от сердечной нидостаточности, ревела как безумная. Помню, после ночи бдения у гроба утром позвонили в дверь, было часов восемь утра, а маманя слышала поезд из Буэнос-Айреса, он тогда приходил в половине восьмого. Мы все сидели в полном молчании, и послышался шум паровоза и свисток поезда, который прибывал из столицы и шел дальше в пампу. Видно, маманя подумала, что брат отца может приехать этим поездом, но как? если ему никто не сообщил... Ну в общем через какое-то время позвонили в дверь, и маманя побежала в сарай и схватила ружье: была уверена, что заявится этот подонок, и хотела его убить.

Но это пришли из похоронной конторы — заколотить гроб. Тут маманя принялась кричать и кататься по полу, бедная мать, все повторяла, что у отца сердечная нидостаточность случилась из-за брата-прохвоста, столько он ему крови попортил, и вот теперь сын и дочь остались без земли, которая им полагалась, что отец был слишком благородным и не протестовал, не подавал в суд на это жульничество, но теперь приходится страдать жене и детям. По ночам, когда мне не спится, всякий раз в голову лезет это.

Как все теперь далеко, да? И ты тоже далеко, рубинчик мой. А теперь я должен объяснить, почему не написал тебе сразу, почему выждал несколько дней... Я столько думал о тебе, о других вещах, думал о том, что теперь, когда я далеко, я начинаю кое-что понимать... Хочу написать тебе об этом, но рука как будто сама застопоривается, что со мной, моя блондиночка? неужели мне стыдно обманывать? не знаю, чувствовал ли я раньше то же самое, может быть, чувствовал и не замечал, но сейчас я чувствую, как сильно тебя люблю.

Если бы ты могла быть поближе, если бы я увидел, как ты приезжаешь на микроавтобусе из Кордовы, кажется, ты бы сразу вылечила мой кашель, одной лишь радостью. И почему это невозможно? все из-за этих проклятых денег, ведь будь у меня лишние деньжата, сразу бы послал тебе переводом, чтобы ты приехала сюда с твоей мамой провести несколько дней. Жизнь моя, я без тебя скучаю, пока не получил твое письмо, мне было не по себе, все боялся заболеть по-настоящему, но теперь, всякий раз, как читаю твое письмо, ко мне возвращается уверенность. Как мы будем с тобой счастливы, рубин ты мой бесценный, я выпью все винцо, которое у тебя внутри, напьюсь вдребадан, веселенькая выйдет пьян-

ка, все равно потом ты дашь мне поспать в сиесту рядышком с тобой, на виду у твоей матери, не бойся, пусть сидит нас охраняет, как там твой отец? никто не тобчет его цветы теперь, когда я в отъезде?

Ну хорошо, любовь моя, напиши мне скорее красивое письмо, из тех, как ты умеешь, шли поскорее, не обдумывай его долго, как я.

Люблю тебя по-настоящему

Хуан Карлос

Ну вот: опять забыл рассказать, что тебе шлет привет один очень хороший сеньор, он здесь, как я, на лечении. Я взял на себя смелость и показал твои письма, они ему очень понравились, учти, он человек сильно образованный, бывший профессор университета. Мне-то он говорит, что я пишу, как осел безголовый.

Под солнцем на балконе он собирает черновики, откладывает в сторону плед, поднимается с шезлонга и направляется в комнату номер четырнадцать. Он любезно встречен, и после того, как в его присутствии исправлено единственное имеющееся письмо, гость вынужден удалиться в свою комнату в связи с внезапным приступом сильного кашля, сопровождающимся обильным потовыделением. Обитатель четырнадцатой комнаты задумывается над положением своего юного друга и над возможными последствиями его состояния.

Вопросы, сформулированные обитателем четырнадцатой комнаты после размышлений о положении своего друга:

отважился бы Хуан Карлос, знай он о тяжести своего недуга, вынудить женщину связать с ним свою жизнь узами брака?

осознает ли Хуан Карлос тяжесть своего недуга?

согласилась бы Нене, будь она девственницей, выйти замуж за больного туберкулезом?

согласилась бы Нене, не будь она девственницей, выйти замуж за больного туберкулезом?

если Хуан Карлос все-таки чувствует к Нене нечто новое и именно по этой причине хочет предложить ей сочетаться браком по возвращении в Вальехос, почему он так часто вспоминает о неловкости Нене в тот далекий день, когда она угостила его наполненным до краев бокалом домашней настойки, водруженным на десертную тарелочку?

почему он несчетное число раз повторял, что Мабель — скверная эгоистка, но умеет одеться и подать чай безукоризненным образом?

Эпизод восьмой

Вдалеке огни мерцают,
все сильнее их сиянье,
к ним лежит мой путь обратный.
Те же огоньки сияли,
бледным светом озаряли
горький час моей тоски.

Альфредо Ле Пера

Коскин, 19 августа 1937 года

Жизнь моя!

Получил твое письмо в полдень, прямо перед тем, как пойти в столовую, и вот уже отвечаю. Сегодня я ничего не стыжусь, выскажу тебе все, что чувствую, я так доволен, что хочется прыгнуть с этого балкона вниз, в сад, уже давно хочется, здесь очень высоко, но сегодня я уверен, что приземлился бы в лучшем виде и побежал, как заправский кот, без единой сломанной косточки.

Ты скажешь, что я недобрый, но в твоем письме мне очень понравилось, как заведующий отчитывал тебя за то, что ты часто ходишь в туалет, прячешься, когда тебя неудержимо тянет плакать из жалости ко мне. Глупышка, тебе не надо плакать, но неужели ты так меня любишь?

Сегодня я даю обещание и буду выполнять все указания врачей, а то на днях они меня прописочивали, и раз мы с тобой в разлуке, пусть будет веская причина, так что когда ты снова увидишь меня в Вальехосе, мы будем уверены, что я излечился полностью и мне не придется больше сюда возвращаться, по сути место неплохое, но вдали от тебя, это и плохо. Тогда ты должна обещать мне одну вещь: что будешь терпеть и перестанешь плакать украдкой, даже если мне придется остаться здесь до конца года, но уж будь уверена: когда я отсюда выйду, значит, я и правда вылечился. Выходит дороговато, но здоровье ценнее всего. Вернувшись в Вальехос, заживем новой жизнью, и навеки вместе — ты меня принимаешь? Ну, начинай строить планы.

Сказать правду, по части лечения я валял дурака, но с сегодняшнего дня все будет иначе, труднее всего отказаться от купанья, не ходить на реку, ведь об этом прознал врач и чуть было не вытолкал меня взашей из кабинета. Но теперь я так доволен, это уж точно, вспоминаю день, когда отец разрешил мне поехать за пять лиг на велосипеде до того поля, которое раньше было дедушкиным. Я столько о нем слышал, что хотел посмотреть, какое оно, мне было лет девять или десять примерно, и когда я приехал, то встретил другого мальчика возле построенной незадолго до этого центральной усадьбы. Мальчик катался на жеребеночке один, потому что ему запрещали играть с пеонами, это был сын хозяина, и он стал играть со мной, и выпросил у меня половину котлет, которые мне приготовила маманя. А когда его позвали обедать, нянька заметила, что он уже ел, и провела меня в дом, чтобы я тоже подкрепился. Наверное, поняли, что я не какой-нибудь приблудный оборвыш, и посадили меня за стол, сначала отвели помыть руки, и мать

Под солнцем на балконе он прерывает письмо, откладывает в сторону плед, поднимается с шезлонга и направляется в комнату номер четырнадцать. Он радушно и тепло встречен. По обыкновению он отдает черновик, но теперь просит о другом: не столько проверить орфографию, сколько помочь в составлении данного письма. Он намеревается послать прекрасно написанное любовное письмо, и его просьба принята с воодушевлением. Профессор незамедлительно предлагает составить письмо, в котором девушка сравнивается с Летой, и подробно объясняет, что речь идет о мифической реке, расположенной у выхода из Чистилища, где души после очищения смывают дурные воспоминания, прежде чем воспарить на пути в Рай. Юноша язвительно смеется и отвергает предложение, сочтя его "слишком литературным". Его собеседник обижается и говорит, что больному человеку следует с недоверием относиться к обещаниям женщин, если они много чего обещают, не исключается возможность того, что ими движет жалость, а не любовь. Юноша опускает глаза и просит разрешения удалиться и отдохнуть в своей комнате, пока будет составлена новая редакция письма. Дойдя до двери, он поднимает взгляд и смотрит старику в глаза. Тот пользуется случаем и добавляет, что это несправедливо — обрекать девушку на подобную судьбу. Улегшись в кровать, юноша пытается заснуть в соответствии с тихим часом, предписанным врачами. Отдых его оказывается весьма относительным, нервное состояние позволяет добиться лишь тревожного сна, нарушаемого частыми кошмарами.

Образы и слова, проносившиеся в голове Хуана Карлоса, пока он спал: печь для обжига кирпича, человеческие кости с засохшей коркой и подтеками жира, жаровня посреди поля, туша жарится на медленном огне, селяне, собирающие уголь и сухие ветки для поддержания огня, селянин, которому поручено следить за приготовлением мяса, выпивает целую бутылку вина и засыпает, отчего мясо подгорает и пересушивается, ветер раздувает уголья и пламя стреляет искрами, мертвец насажен на вертел над огнем, вертикальный кол пронзает его сердце и втыкается в землю, другой штырь протыкает ребра и поддерживает его руки крестообразно, мертвец шевелится и стонет, он сгорает до костей, отчасти покрытых сухой и опаленной шкуркой, человеческие кости вымазаны черным жиром, длинный темный коридор, карцер без окон, женские руки, держащие мокрую тряпку и мыло, таз, полный теплой воды, видимая со спины женщина направляется к реке набрать в таз еще воды, Нене стирает руками тряпку и взбивает белоснежную пену, бережно моет кости, упавшие в золу жаровни, "подумайте, Хуан Карлос, как прекрасна эта идея реки Леты, где остаются дурные воспоминания, души движутся вперед нетвердым шагом, все напоминает им о прошлых терзаниях, им мерещится боль там, где ее нет, ведь она у них внутри, и на своем пути они расплескивают ее, пачкая все вокруг", шприц с толстой иглой погружается меж ребер мужественной и широкой груди, больной не страдает благодаря анестезии и признателен медсестре Нене, внезапно юноша вскрикивает от боли, так как другая рука делает ему укол в шею, Нене сдирает корку с костей, и кто-то благодарит ее за это, доктор Аскеро зажимает Нене в коридоре больницы и силой задирает ей юбки, другой коридор, длиннее, погружен во тьму, и там, на полу, разбросаны кости, Нене берет метлу и осторожно подметает, ста-

раясь не повредить костей, Нене — единственная, кто жив, "души выходят из этих черных искупительных пещер, и светлые ангелы указывают им на реку с прозрачными водами. Души несмело приближаются", кости полые и невесомые, поднимается ветер и увлекает их вверх, кости летают в воздухе, ветер несет их с пылью, листьями и прочим сором, "наконец, души умащены водами, пелена страданий все скрывала от их незрячего взора, но теперь они возводят очи горе и впервые видят лик неба. Хуан Карлос, сорвите пелену ваших страданий, возможно, она скрывает от вас самые лучезарные небеса", долетает дым сжигаемого мусора, сильный ветер вихрем взметает мусор и уносит вдаль, ветер срывает крыши домов и выворачивает с корнем деревья, в воздухе кружат листы железа, среди зарослей чертополоха раскиданы кости, застоялое озеро, вода загнила, кто-то просит у Нене стакан воды, Нене не слышит — она далеко, кто-то просит Нене, пожалуйста, принести стакан воды, а то жажда невыносима, Нене не слышит, кто-то просит Нене поменять наволочку, Нене разглядывает пятна крови на подушке, кто-то спрашивает Нене, противно ли ей это, больной уверяет Нене, что он не кашлял и что наволочка забрызгана красной краской, Нене не желает этому верить, кто-то говорит Нене, что речь идет о красной краске или томатном соусе, вовсе не о крови, какая-то женщина сдерживает смех, но это не Нене, неведомая женщина смеется над медсестринским фартуком Нене с большими пятнами крови, кто-то спрашивает Нене, правда ли, что ее фартук был запачкан кровью, красной краской или томатным соусом, когда она работала медсестрой, Нене несет стакан воды жаждущему больному, больной обещает ей не купаться больше в реке, больной обещает своей матери бриться перед работой и есть все блюда, которые ему подают, поезд из Буэнос-Айреса приходит студеным утром на станцию Коронеля-Вальехоса, поезд приходит, но еще ночь, Хуан Карлос лежит мертвый в гробу, мать Хуана Карлоса слышит гудки паровоза и переглядывается с Селиной, Хуан Карлос рассказывает, что, кашляя, он захлебнулся собственной кровью и потому подушка, на которой он лежит в гробу, запачкана кровью, мать и сестра идут в сарай, Хуан Карлос, захлебываясь кровью, пытается крикнуть им, чтобы они не убивали дядю, чтобы не искали ружье, дядя стучит в дверь, Хуан Карлос пытается предупредить его о грозящей опасности, дядя входит, и Хуан Карлос замечает, что он очень похож на обитателя четырнадцатой комнаты, Хуан Карлос уверяет своего дядю, что он во многом исправился и бреется утром и что он очень трудолюбив, у дяди в руке какие-то документы, и у Хуана Карлоса рождается надежда, что это бумаги, по которым он станет хозяином дядиных поместий, Хуан Карлос скрывает от дяди свои мысли и предлагает себя в качестве управляющего, дядя не отвечает, но улыбается доброй улыбкой и удаляется отдыхать в четырнадцатую комнату, Хуан Карлос думает, что, когда дядя проснется, он расскажет ему, что мать и сестра всегда отзывались о нем плохо, дядя возвращается очень быстро, и Хуан Карлос упрекает его за то, что он поселился в четырнадцатой комнате, а не остался в своем поместье, Хуан Карлос слышит шаги, мать и сестра приближаются с ружьем, Хуан Карлос тщетно пытается предупредить дядю о грозящей опасности, Хуан Карлос лежит мертвый в гробу и не может ничего сделать, у ружья толстое дуло, и голова обитателя четырнадцатой комнаты разлетается на кусочки, как яичная скорлупа, пятна — это пятна крови, Хуан Карлос думает, что ему не придется никому лгать и он всем скажет, что это пятна крови, а не красной краски или томатного соуса.

Коскин, 31 августа 1937 года

Моя жизнь!

Сегодня я ждал твое письмо, но оно не пришло. Все равно сажусь тебе писать, потому что я получил письмо из дома и немного растерян. Похоже, мне придется вернуться в Вальехос, а потом приехать сюда для завершения лечения как можно скорее. К тому же маманя хочет, чтобы я лично переговорил с жильцами обоих домов и попробовал поднять квартирную плату.

Сказать тебе кое-что? Врач сказал, что я иду на поправку, теперь я во всем его слушаюсь.

Целую тебя очень крепко

Хуан Карлос

Он берет лист, написанный без предварительного черновика, помещает его в конверт и поспешно отдает швейцару, прежде чем в 16.00 заберут ежедневную порцию писем. Температура воздуха для этого времени года высокая, погода стоит безветренная. Он думает о теплой воде в реке. Направляется в комнату номер четырнадцать, чтобы предложить партию в карты как развлечение, пока не настало время чая.

Коскин, 9 сентября 1937 года

Жизнь моя!

Возможно, я приеду раньше, чем ты получишь эти строки, но мне все равно необходимо немного с тобой поговорить. Что-то мне нехорошо, я имею в виду — на душе.

А сейчас я прошу тебя, причем очень серьезно, пожалуйста, не говори никому, даже у себя дома, что я возвращаюсь не долечившись. Я до последней минуты надеялся, что сестра и маманя смогут все уладить без меня, но не тут-то было. В управе не хотят продлевать отпуск, чего им стоит, все равно ведь без сохранения содержания.

Думаю, если все улажу, то вернусь сюда как можно скорее. Вот видишь, блондинка ты моя светлая, чуть поговорил с тобой, и мне уже лучше, — каково будет, когда я тебя увижу! Сегодня был один из худших дней моей жизни.

До скоренького, целую тебя и обнимаю

Хуан Карлос

Под солнцем на балконе он собирает черновики, откладывает в сторону плед, поднимается с шезлонга и оглядывается вокруг в поисках чего-нибудь, чем порадовать взгляд. Ничего не находит. Думает о том, что этой ночью будет дежурить молоденькая медсестра Матильде, которая с готовностью приходит по первому зову пациентов. Ему ужасно хочется сигарету. Он окидывает взглядом небо. Оно безоблачно, и погода стоит безветренная. Хотя близится время чая, он решает пойти искупаться в реке, к тому же это будет одна из последних возможностей поплавать, поскольку его отъезд уже назначен и остается три дня.

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОВИНЦИИ БУЭНОС-АЙРЕС

Районная больница округа Коронель-Вальехос

Дата: 11 июня 1937 года
Отделение: общее клиническое
Врач: д-р Хуан Хосе Мальбран
Пациент: Антония Хосефа Рамирес
Диагноз: беременность, течение нормальное.
Симптомы: последняя менструация – вторая неделя апреля, тошнота, головокружение, общая клиническая картина – подтверждающая.
Примечания: поступление в родильное отделение намечено на последнюю неделю января. Пациентка проживает по адресу: улица Альберти, 468, в качестве домашней прислуги г-на Антонио Саэнса, не замужем, имени предполагаемого отца не сообщила.

Передать дубликат карточки в родильное отделение

★

Полиция провинции Буэнос-Айрес

Участок или отделение: Коронель-Вальехос
Дело направлено в: местный архив
Дата: 29 июля 1937 года.
Текст: Настоящим подтверждается посадка на пассажирский поезд, следующий в федеральную столицу указанного числа в 19 час. 15 мин., перечисленных ниже кандидатов в унтер-офицеры: Нарсисо Анхеля Бермудеса, Франсиско Каталино Паэса и Федерико Куэльо. Следуют в сопровождении старшего капрала Ромуальдо Кастаньоса, имеющего при себе требуемую документацию, а именно, вербовочную книжку и регистрационный лист каждого из кандидатов. Старшему капралу Кастаньосу поручено сопровождать их во время пересадки с вокзала Онсе Западной железной дороги на вокзал Конститусьон Южной железной дороги, откуда они первым отбывающим поездом проследуют в город Ла-Плата, где обязаны немедленно явиться в расположение дивизиона № 2 провинциальной полиции. Начало курсов продолжительностью шесть месяцев намечено на 1 августа.

Бенито Хайме Гарсиа,
заместитель комиссара

★

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ЖИВОТНОВОДСТВА ПРОВИНЦИИ БУЭНОС-АЙРЕС

Ла-Плата, 12 сентября 1937 года

Административный ордер
Подача иска – копия для архива

Сегодняшним числом представлены в третий отдел свидетельство о продаже и протокол, составленный в присутствии комиссара Коронеля-Вальехоса по заявлению г-на Сесила Браф-Кройдна, проживающего по адресу: поместье "Парсифаль", округ Коронель-Вальехос, в отношении г-на Антонио Саэнса, аукциониста, проживающего по адресу: ул. Альберти, № 468, Коронель-Вальехос, который обвиняется в том, что продал первому скот с дефектами, ведущими к аннуляции сделки, а именно: клещом и карбункулом.

★

...автобус, ухаб, облако пыли, окно, поле, проволочная ограда, коровы, пастбище, шофер, фуражка, окно, лошадь, ранчо, телеграфный столб, столб телефонной компании, спинка переднего сиденья, ноги, стрелка на брюках, ухаб, сиденья, "в этом автобусе запрещено курить", жевательная резинка, окно, поле, коровы, пастбище, початки кукурузы, клевер, двуколка, ферма, склад, дом, бар-магазин "Ла Криолья", поле подсолнухов, спортплощадки Частного клуба, хижины, дома, окно, фонари, земля, асфальт, "Аукционист публичных торгов Антонио П. Саэнс", "Консультация д-р Аскеро", тротуар из плитки, огни, магазин "Аргентинское — недорого", Банк провинции, Транспортная компания "Западная стрела", тормоза, ноги, судороги, шляпа, пончо, чемодан, сестра, объятие, пухлые щеки, ветер, пончо, холод, кашель, три квартала, чемодан, магазин "Аргентинское — недорого", "Консультация д-р Аскеро", бар "Ла Уньон", пот, подмышки, ноги, пах, зуд, соседи, тротуар, входная дверь открыта, мать, черная косынка, объятие, слезы, парадное, прихожая, чемодан, пыль, пончо, кашель, бронзовый загар, прибавил пять кило, Коскин, управа, повышение квартплаты, разрешение на отпуск, пансионат, смета, врач, диагноз, лечение, рентген, комната, кровать, ночной столик, печурка, платяной шкаф, ванная, горячая вода, ванна, туалет, унитаз, вешалка, полотенце, обогреватель, зеркало, туберкулезник, атлет, половой орган, бронзовый загар, пот, зуд, судороги, кран, струя, горячая вода, мыло, пена, аромат, Нене, медсестра Матильде, Нене, Мабель, Нене, Нене, Нене, обручальное кольцо, теплая вода, деревянная решетка, шлепанцы, капли воды, полотенце, обогреватель, пламя, озноб, нижнее белье, бритва, мыло, щетина, одеколон, расческа, чуб, стол, мать, сестра, тарелки, салфетка, новости Вальехоса, карбункул, карбункул, скандал, Мабель, англичанин, обвинение, банкротство, Мабель, суп, ложка, наперсточки, карбункул, афера, хлеб, ложка мясного экстракта в супе, расстроенная помолвка, поместье, поместья, вино, содовая, вода, бифштекс с пюре, хлеб, вино, мать, разрешение на отпуск, жалованье, смета, пикник, Мабель, стоны, слезы, нож, вилка, бифштекс, пюре, вино, банкротство, работа учительницы, мошенничество, стыд, девочка моя, пикник, объятие, поцелуй, боль, кровь, трава, пухлые щеки, губы, слезы во рту, англичанин, заявление, мошенничество, банкротство, бесчестье, нищета, пюре, печеное яблоко, сироп, мать, сестра, кофе, четверть десятого вечера, холод, пончо, тротуар, ветер, земляные улицы, угол, парадное, лигуструм, блондинка, Нене, моя невеста, мать, отец, кухня, стол, клеенка, Коскин, лечение, выздоровление, управа, моя работа, планы, замыслы, отец-садовник, тротуар, парадное, Нене, отец, цветы, лигуструм, земляная улица, неоштукатуренный дом, работа упаковщицы, белая кожа, губы, холод, ветер, парадное, свет на кухне, мать на кухне, обещания жен-

щин, “ты не долечился? но осталось немного, я уверена, к концу года ты вылечишься совсем, очень утомительной была поездка в автобусе?”, комната номер четырнадцать, старик, у тебя хватит духу выйти замуж за больного? “меня ничто не пугает, но этого лучше не... убери руку, Хуан Карлос”, доктор Аскеро, сестра, сплетня, “лучше в ночь свадьбы, тогда мы еще несколько месяцев будем вести себя хорошо, и ты уже вылечишься, но я боюсь, что нас увидят в этом парадном, и потом, ты так же будешь любить меня? подождем еще немного, пока они заснут, Хуан Карлос, только запомни: ты меня сам об этом попросил”, меня выгонят из управы? ее выгонят из школы?, одни в маленькой хижинке, хлеб и жареный лук, нет, если ты сама меня не попросишь, я и до руки твоей не дотронусь, попроси сама, Нене, докажи, что ты любишь меня навеки, тебя ведь ничто не пугает, “нет, дорогой, если я попрошу тебя об этом, ты скажешь, что я гулящая, ни за что, и могут войти папа с мамой, а я боюсь, Хуан Карлос, ну почему мужчины такие? тебе недостаточно держать меня в объятиях?”, парадное, лигуструм, ветер, холод, “Хуан Карлос, не сердись, не уходи!”, угол, асфальтированные улицы, фонари, тротуары, дома, закрытые окна, запертые двери, углы, темнота, стройка, новый полицейский участок, достроенный вход, замок, цепь, Мабель, Мабель, Мабель! я так хочу тебя видеть, завтра, днем, когда будет светло, я скажу тебе, что я вернулся... потому что я уже вылечился! и мне не важно, что у вас банкротство, ведь нет худа без добра? вот счастье, что я вернулся! фонарь, тротуар, асфальт, ветер, холод, темнота, стройка, достроенный вход, замок, цепь, нет худа без добра.

2
Губки *синие, лиловые, черные*

Эпизод девятый

Если был я слаб, если был я слеп,
Умоляю тебя — пойми:
Ничего на свете дороже нет
Безоглядной любви.

Альфредо Ле Пера

Краткое изложение: По возвращении из Коскина Хуан Карлос Этчепаре тщетно пытался повидаться с Марией Мабель Саэнс, так как девушка уехала, предварительно испросив разрешения школьного совета. Ей немедленно был предоставлен отпуск с сохранением содержания. Родители провожали ее на железнодорожной станции и стояли на перроне, пока поезд не скрылся из виду, в направлении Буэнос-Айреса. Чуть позднее, в ходе бесед между д-ром Мальбраном и главой муниципальной управы была решена судьба Хуана Карлоса: молодой человек был не в состоянии вернуться к работе, но также невозможно было и продлить ему отпуск. Он был уволен без долгих разговоров, и этот факт незамедлительно вызвал отклик в доме Нелиды Энрикеты Фернандес, где среди прочих послышались следующие обвинения: “Я как отец Нене имею право задать ему эти вопросы!”, “Если вы не можете вернуться к работе, значит, вы больны!”, “Как вы смеете приближаться к моей дочери, если вы нездоровы?!”, “У вас

что, совести нет? а если вы ее мне заразите?", Хуан Карлос обиделся, убежденный, что какому-то садовнику не пристало его отчитывать. Но дни в баре тянулись бесконечно, и, не решаясь посвятить кого-либо в свои беды, он скучал без Панчо. Хуан Карлос хотел, чтобы его друг бросил курсы, которые проводились в столице провинции, вернулся и составил ему компанию, и, как-то беседуя с комиссаром за партией в покер, как бы невзначай намекнул на беременность служанки Саэнсов.

День 27 января 1938 года

Устроив передышку в суматохе дня, в 12.48 Нелида Энрикета Фернандес вытерла губы салфеткой, сложила ее и поднялась из-за стола, намереваясь поспать час после обеда. У себя в комнате она сняла туфли и синюю хлопчатобумажную униформу. Убрала покрывало и легла поверх простыни. Воздух прогрелся до 39 градусов в тени. Она нашла удобное положение, на боку. Подушка мешала, и она отпихнула ее в сторону. Повернулась на живот. Несмотря на снятые туфли, ноги гудели, кожа между пальцами воспалилась, отчасти разъедаемая едким потом; под большим пальцем правой ноги начинало стихать жжение свежей мозоли. Рукой она поправила шпильки, чтобы освободить шею от жара, накопившегося в копне волос, которую она приподняла выше. Шея увлажнилась слоем почти незаметной испарины, с виска скатилась круглая капля пота, затем еще одна. Бретельки бюстгальтера и комбинации, также увлажненные, врезались в кожу; она приспустила их с плеча. Пришлось прижать руки к телу, чтобы не порвались швы. Капли, выступившие под мышками, размазались, выступили новые. Она подтянула бретельки на место и легла на спину, раскинув руки в стороны. Волосы под мышками были выбриты, и кожа покраснела из-за применения жидкостей от пота. Спина, касаясь постели, нагревала простыни и матрас. Нелида сползла к краю кровати в поисках более прохладной полоски ткани. Все сильнее ощущалось неприятное жжение потной кожи. Дыхание стало затрудненным, ей казалось, что воздух медленно наполняет ее грудь тяжестью. Горло пересохло, стало трудно глотать. В висках стучало все сильнее, возможно, под воздействием двух стаканов вина с лимоном и льдом, которые она выпила за обедом. От болезненной тяжести в глазах жгло веки, она подумала, что слезы неудержимым потоком вот-вот зальют лицо. Что-то давило все сильнее, будто камень, в середине груди.

Чего в эту минуту она желала больше всего?

В эту минуту она больше всего желала, чтобы Хуан Карлос вновь получил место в управе.

Чего в эту минуту она больше всего боялась?

В эту минуту она больше всего боялась, что кто-нибудь не преминет известить молодого аукциониста публичных торгов, прибывшего недавно в Вальехос (с которым она столько танцевала на рождественском празднике), о ее сомнительной былой связи с д-ром Аскеро.

Уже упомянутого 27 января 1938 года, устроив передышку в суматохе дня, в 21.30 Хуан Карлос Этчепаре приготовился выкурить единственную ежедневную сигарету, сидя в саду своего дома. Перед заходом солнца мать полила клумбы и дорожки, выложенные гравием; напоенный свежестью воздух поднимался вместе с бодрящим запахом влажной зем-

ли. Зажигалка вспыхнула маленьким язычком пламени, табак загорелся, взвилась струйка горячего белого дыма. Из более темного дыма, который выдохнул Хуан Карлос, образовалась прозрачная гора, за ней виднелись клумбы с кольцом гиацинтов вокруг пальмы, четыре клумбы, четыре пальмы, в глубине курятник и стена, за стеной — эвкалипты в большом дворе, огороженном старыми железяками, дальше не было видно гор. Плоская пампа, ветер и пыль, за пыльным облаком ему едва удалось разглядеть ее вдали, шла машина с отцом и матерью, машина рванула, подняв, в свою очередь, еще один вихрь пыли. Сигарета сгорела до окурка, он бросил ее в клумбу. Правая рука механически нащупала пачку в кармане рубашки. Выкурить еще одну? Зарплата учительницы составляла от 125 до 200 песо, отпуск с сохранением содержания было трудно получить без содействия главы муниципальной управы, друга г-на Саэнса. 250 песо в месяц достаточно для оплаты пансионата и покрытия мелких личных расходов, — даже отпуска без сохранения содержания не дадут? Документ об увольнении служащего Этчепаре подписан главой управы, и.о. секретаря и казначеем муниципалитета; горячий дым второй сигареты наполнял грудь приятным ощущением.

Чего в эту минуту он желал больше всего?

В эту минуту он больше всего желал каким-нибудь образом раздобыть денег и оставить городок для продолжения лечения в самом дорогом санатории Коскина.

Чего в эту минуту он больше всего боялся?

В эту минуту он больше всего боялся умереть.

Уже упомянутого 27 января 1938 года, устроив передышку в суматохе дня, в 17.30 по возвращении из парикмахерской, где она подверглась утомительной процедуре химической завивки, Мария Мабель Саэнс попросила у тети утреннюю газету и удалилась в свою комнату отдохнуть. Сняла уличную одежду и накинула легкий домашний халат. Поставила электрический вентилятор на ночной столик и прикрыла жалюзи, оставив достаточно света для чтения киноафиши, опубликованной в газете. Лучше всего выбрать зал с кондиционером и там вместе с тетей, такой же любительницей кино, укрыться от удушливого зноя города Буэнос-Айреса. Труднее всего — спуститься в пышущую жаром подземку, которая за десять минут доставит их в самый центр города, где высятся главные кинозалы с кондиционированием воздуха. Она принялась искать специальный раздел, листая газету с первой страницы. На второй странице кинотеатров не было, также и на третьей, на четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, она ощутила растущее нервное раздражение, решила листать газету от конца к началу, но на последней странице и на предпоследней были только объявления о недвижимости, также и на следующей от конца, и дальше, и дальше. Раздражение достигло критической точки, она скомкала газету и с силой швырнула ее в вентилятор. Она отнесла высокую степень нервозности за счет долгих часов, проведенных в парикмахерской под сушилкой. Всхлипнув без слез, уткнулась лицом в подушку и задумалась. Почему она так нервозна, независимо от того, ходит в парикмахерскую или нет? Виной тому долгие дни безделья и бессонные ночи, недвижно проведенные в постели. Успокоившись, она разгладила газетные листы и возобновила поиск искомой страницы. Кондиционер имелся в кинематографе "Опера": "Шпион-улан" с Джорджем Сандерсом и Долорес дель Рио; еще

кондиционер в "Гран Рексе": "За кулисами", с двумя любимыми актрисами — Кэтрин Хепбёрн и Джинджер Роджерс, но есть ли билеты на премьеру?; в "Монументале" "Три аргентинца в Париже", отечественные фильмы она смотрела только в Вальехосе, от нечего делать, в ролях: Флоренсио Парравичини, Ирма Кордоба и Уго дель Карриль; в "Гранд Кино Флорида" европейская программа, "Тайна мадам Помпадур", немецкая картина с Кати фон Надь и Вилли Эйхбергом и "Невинная Сюзанна" с Анри Гара и Мег Леммонье; еще сдвоенная программа в "Розмари": "Саратога" с Джин Харлоу — "платиновая блондинка в своей лучшей роли, посмертно" и "Знай меру" с Элис Фей, Доном Амече и братьями Риц. Какой кинотеатр, по мнению тети, привлекал самую изысканную публику? В "Амбассадоре" (кондиционер): "Метро Голдвин Майер" представляет великолепную комедию положений с романтической путаницей, в главных ролях Луиза Райнер, Вильям Пауэлл и Морин О'Сэлливен, — "Канделябры императора". Ни одной премьеры с Робертом Тейлором? Нет.

Чего в эту минуту она желала больше всего?

В эту минуту она больше всего желала увидеть, как в дверь ее комнаты тайком проникает Роберт Тейлор или, за его неимением, Тайрон Пауэр, с букетом красных роз в руке и сладострастными намерениями во взгляде.

Чего в эту минуту она больше всего боялась?

В эту минуту она больше всего боялась, что отец проиграет процесс, возбужденный ненавистным ее бывшим женихом Сесилом, и это нанесет существенный ущерб материальному и социальному положению семейства Саэнсов.

Уже упомянутого 27 января 1938 года, устроив передышку в суматохе дня, в 17 часов 45 минут Франсиско Каталино Паэс повалился на убогую казарменную койку. Учебные упражнения по стрельбе в тире на сегодняшний день закончились, он снова отличился, как и на теоретических занятиях, которые проходили по утрам. Плотная, особо обработанная ткань рабочей гимнастерки прилипла к мокрому от пота телу. Он решил побаловать себя и направился в умывальную общей спальни. Вода из душа текла холодная, но не такая, как вода в насосе за хижиной. Да и качать не требовалось, вода текла сама, в изобилии, стоило лишь открыть кран, лей — не жалей. Сегодня вечером можно было пойти в увольнение, но ему нельзя пропускать ужин в казарме и тратить деньги на трамвай, а центр города Ла-Плата располагался далеко. И все же он достал из шкафа новенькую форму унтер-офицера полиции и провел подушечками пальцев по габардину кителя и брюк, по сверкающей коже сапог, по золоченым нитям погон, по металлическим пуговицам — все как одна одинаковые, без заводского брака, начищенные, пришитые к габардину сложенной вдвое нитью. Он неспешно оделся, боясь порвать какой-нибудь шов или поцарапать поверхность сапог. Он был в спальне один, все уже ушли. Пошел в умывальную и тщательно оглядел унтер-офицера в зеркале. Исчезновение лихих деревенских усов и военная стрижка с бритыми висками меняли его облик, обнаруживая почти отроческие черты. Фуражка, напротив, подчеркивала силу взгляда, глаза настоящего мужчины, с бороздками морщин в уголках: он обычно щурился, выдерживая ледяную струю воды из насоса, и ловя пару кирпичей, которые передавали каменщики, разгружая грузовик, и втыкая изо всех сил

мотыгу или лопату в туфовую землю, и замечая в случайном зеркале на улице, что дареные брюки мало того что изношены, но еще велики или малы. Он снял фуражку с сияющим козырьком, снова надел ее, пробуя слегка заломить тулью.

Чего в эту минуту он желал больше всего?

В эту минуту он больше всего желал пройтись по главным улицам Вальехоса в своей новенькой форме.

Чего в эту минуту он больше всего боялся?

В эту минуту он больше всего боялся, что Гузя заявит в полицейский участок Вальехоса, что он отец ребенка, который должен вот-вот родиться.

Уже упомянутого 27 января 1938 года, устроив передышку в суматохе дня, в 23.30 Антония Хосефа Рамирес отдыхала на носилках родильного отделения районной больницы округа Коронель-Вальехос. Она была срочно доставлена часом раньше, прошагав с сильными приступами боли четыре квартала от своей хижины до первого дома с телефоном. Ее тетя, как обычно, работала прислугой в одном из домов в центре города и возвращалась поздно. Медсестра считала, что это ложная тревога, но ждала, пока врач вернется с осмотра в отделении первой помощи и обследует роженицу, прежде чем решит, положить ее или отправить обратно домой. Медсестра входила и выходила, оставляя дверь открытой. Гузя приподнялась и увидела во дворе, освещенном тусклой лампочкой, несколько мужчин, наверняка мужей лежавших девушек, и седовласых старух, наверняка матерей или свекровей, ожидавших новостей с минуты на минуту. Панчо находился далеко, но так лучше для всех: он готовился на унтерофицера, вернувшись, будет хорошо зарабатывать, он уехал 29 июля, вот уже почти полгода, как она его не видела, и ведь она выполнила обещание, никому ничего не сказала. Когда он закрепится на своем месте, они смогут все уладить, — но почему он не ответил на ее письма? они потерялись? у нее такой корявый почерк, что почтальоны не сумели его разобрать? Один из парней во дворе походил на Панчо, может, только из-за густых усов и длинных вьющихся волос, он волновался, прохаживался и курил. Гузя неудержимо захотела с силой схватить большую руку Панчо, и тогда он нежно поцеловал бы ее, и Гузя ощутила бы щекотанье густых усов и погладила его голову, длинные вьющиеся волосы. Лампочка во дворе светила небольшая, и вокруг нее из-за жары вилось больше насекомых, чем обычно: оводов, мотыльков и жуков.

Чего в эту минуту она желала больше всего?

В эту минуту она больше всего желала, чтобы ребенок родился здоровым.

Чего в эту минуту она больше всего боялась?

В эту минуту она больше всего боялась, что Панчо вернется и отвергнет ее и ребенка.

Буэнос-Айрес, 10 ноября 1938 года

Дорогая Мабель!

Выполняю давнее обещание написать тебе — письмо, о котором ты столько говорила, плутовка. Прежде всего, желаю, чтобы эти строки за-

стали тебя в добром здравии, как и твою семью. Кажется, мы дали это обещание в шестом классе, когда нам едва исполнилось двенадцать лет, а мы уже только и думали что о женихах. Что ж, мне первой выпало отправиться в свадебное путешествие, вот я и начинаю.

Прежде всего, огромное спасибо за чудесный подарок, какой красивый ночник, а белый тюль абажура просто прелесть, я себе как раз такой хотела на свадебное платье, но найти было невозможно, он, наверное, импортный. И даже излишне говорить, для меня этот подарок значил много больше: что, по сути, наша дружба никогда не прерывалась. И не то чтобы я была материалисткой или что еще, но ты ведь уже остановила меня на улице, поздравить от всего сердца, а мне и в голову не пришло, что мы опять становимся подругами, как раньше, но за день до свадьбы, когда принесли ночник, я все смотрела на него и позвала маму — показать, что моя школьная подруга вспомнила обо мне. И как ты чудно выбрала! Еще раз тысячу спасибо.

С чего начать? Из церкви мы вернулись к маме, подняли тост с немногими нашими родственниками и родителями мужа, приехавшими из Тренке-Лаукена, и около половины десятого я уже переоделась, обновила дорожный костюм, о котором я тебе говорила, и мы выехали на автомобиле, это полная развалюха, но еще ездит. До тех пор я была как бесчувственная, ведь сколько нервов стоило мне длинное платье, и чемоданы, которые не закрывались, и еще до последней минуты препиралась с мамой, она настаивала, чтобы я взяла свадебное платье в Буэнос-Айрес и здесь сфотографировалась. Правда, в итоге я ее послушала, но мы еще не сфотографировались, завтра с утра пойду узнавать цены по фотостудиям улицы Кальяо, извини, проспекта Кальяо, Масса жутко сердится, когда я путаюсь в названиях, там я видела очень хорошие дома. Как я говорила, всю церемонию в церкви и утром в загсе я ужасно переживала из-за платья, и прически, и тюлевой фаты, которая так плохо сидела на примерках, я ничего не чувствовала, сплошные нервы, и во рту пересохло, до смерти хотелось пить, но когда я надела дорожный костюм, нахлынуло странное чувство, а сев в автомобиль и простившись с мамой, я разволновалась так сильно, так сильно, Мабель, что заплакала, точно безумная. Он рвался у меня из груди, из самого сердца, этот плач. Когда машина тронулась, муж посмотрел мне в лицо и все смеялся, но он тоже был взволнован, видел, как его мать тоже плакала, бедная сеньора, видно, она очень добрая. Я опустила вуаль на шляпке и ответила шуткой, не хотела, чтобы он увидел меня с размазанной по щекам тушью. К счастью, грунтовая дорога была достаточно утрамбована дождем, и около двенадцати мы добрались до Линкольна. Там мы переночевали, а на следующий день после обеда продолжили путь в Буэнос-Айрес. Около семи вечера мы въехали в Буэнос-Айрес, прямо по проспекту Ривадавия, сколько огней! муж показывал мне кварталы, по которым мы проезжали, — Линьерс, Флорес, Кабальито, красивые названия, правда? Онсе — до нашего отеля, дивного, в четыре этажа, огромного, старого, но неплохо сохранившегося, он расположен на проспекте Кальяо, близехонько от самого Конгресса, ни много ни мало.

Я приезжала в Буэнос-Айрес всего дважды, один раз девочкой, а второй — когда бабушка легла в больницу почти при смерти. Мы были в трауре и никуда не ходили. Первое, что я теперь сделала, отнесла ей цветы,

хотя мне это стоило пререканий с Массой, он все хочет делать по-своему, но он хороший, я не жалуюсь. В общем, что я тебе хочу сказать, — я здесь ничего не знала, почти. Понимаешь, отель жутко дорогой, но он того стоит, и мужу лучше находиться здесь, ведь ему нужно принимать деловых партнеров.

Поэтому мы и поехали в Буэнос-Айрес в медовый месяц, здесь он решит кое-какие дела, знаешь, может, это и не к добру, рассказывать до окончания дела, но я больше не могу терпеть. Оказывается, Массе Вальехос не нравится ни капельки. Говорит, что никогда не видел городка, где столько злых языков и гнусных завистников, как в Вальехосе, по его словам, Тренке-Лаукен более провинциальный, зато люди там лучше. Но куда он хочет перебраться жить, так это... сюда. Ни много ни мало! Представляешь, какой мне толстячок достался, с амбициями. У него тут друзья-земляки, дела у них идут неплохо, да и мы здесь тоже чего-нибудь добьемся. Пока что мы решили остаться еще на неделю и не делать задуманных для дома покупок, все равно благодаря подаркам у нас уже есть чудесные украшения для дома, главное — хорошо их расположить.

Ты скажешь, что я тебе рассказываю все что угодно, только не про медовый месяц. Прежде всего, Мабель, парень он очень, ну просто очень добрый. Этим я не хочу сказать, что он бесхарактерный, но думает он только о будущем и о том, как обеспечить нам все удобства, и всегда заботлив, покупает то, что мне нравится, и чтобы по дому мне не приходилось много работать, а когда у него выдается свободный вечер, ведь утром он всегда отправляется по делам, так вот, вечером мы ходим смотреть холодильники, патефон мы уже выбрали, и если я его уговорю, в первую очередь купим вентилятор, который я присмотрела, малюсенький такой, из последних новинок, весь кремовый. И как подумаю, что не надо больше ходить на работу в магазин, даже не верится, ущипни меня, Мабель, я хоть пойму, что мне это не снится.

Конечно, по возвращении в Вальехос меня ждет куча дел, ведь из-за поспешной свадьбы, представляю, что там в Вальехосе болтают, у них, наверно, на языках уже мозоли, так вот, в спешке я даже новые шторы у себя в комнате не повесила. Ах, какие гнусные, чего они только не наговорят, что у Массы ни кола, ни двора, что жить мы будем у мамы. Но мы им покажем, и если они ждут новостей раньше девяти месяцев, получат, будет им новость — переезд в столицу, а не выйдет, тоже ничего, у нас есть на примете коттеджик, снимем в городке, на асфальтовой улице. Я тебе сообщаю эти секретные подробности, поскольку ты и твоя семья на себе испытали людскую подлость за те месяцы, что длилась эта досадная история, я потому тебе и говорю, что ты можешь меня понять.

Мой муж спрашивает, что бы я предпочла в Буэнос-Айресе — квартиру в центре или домик с патио на окраине. Ах, Мабель, я так очарована, что хотела бы остаться в центре. Ну ладно, расскажу, что я делаю утром. Завтрак Масса заказывает в номер, и если начистоту, здесь-то и наступает момент, с которым мне трудней всего свыкнуться: что он с утра застает меня с заспанной физиономией, такая злость берет! Ну вот, он уходит, а я шью шторы, знаешь, если мы недолго пробудем у мамы, не важно, у нее останутся, хорошо бы ее чем-нибудь порадовать, ты же знаешь, папе сильно нездоровится. Ладно, не будем о грустном. Как было

сказано, я шью шторы для моей бывшей девичьей комнаты, нашла дивную ткань, совсем недорогую, так что купила ее и делаю шторы. К обеду я привожу себя в порядок, и, если удается не дать Массе заснуть в сиесту, когда он свободен, мы выходим на прогулку, как я уже говорила, а если я остаюсь одна, то обследую все достопримечательности столицы, которые хочу посмотреть. А это проще простого, я уже запоминаю названия улиц, сама добралась до Кабильдо, Башни англичан, небоскреба, стоящего напротив, до вокзала Ретиро, порта, даже поднялась на военный корабль, который был открыт для посещения. Завтра ознакомлюсь с вокзалом Конститусьон, а мой муж (представляешь, никак не привыкну говорить "мой муж"), так вот, мой муж обещал сводить меня в район Боки, одна я не пойду, а то там много хулиганья. В семь я всегда жду его в отеле, он иногда приходит с каким-нибудь бизнесменом, и мы отправляемся выпить аперитив. На этой неделе, к счастью, я сообразила спросить в отеле, можно ли нам пансион без ужина, чтобы ужинать где-то еще, и добилась своего. Знаешь, это была удачная идея, потому что когда ужин у тебя в отеле оплачен, а кормят там очень вкусно, мы наедались от пуза, и ты сама понимаешь, каковы мужчины в медовый месяц, так что он уже никуда не хотел идти.

В общем, Мабель, с понедельника, когда мы стали есть вне отеля, дело пошло иначе, ведь если платишь сам, уже не набрасываешься на еду, точно с голодухи, как в отеле, наедаешься, но полегче. Ну вот, и я его прогуливаю всегда поближе к обелиску, идем себе, словно нехотя, фланируем не спеша, и не успеет наш сеньор Масса опомниться, как он уже у обелиска. А там ресторанов — ешь не хочу, теперь ты понимаешь, к чему я клоню? Мы заканчиваем ужинать около половины десятого прямо в центре квартала с театрами и кино, и тут уж ему не отвертеться. В понедельник театральные труппы отдыхали, и мы пошли в кино, дивный фильм, "Алжир", с Чарльзом Бойером и новой девушкой, не помню, как ее зовут, но это самая божественная женщина, какую я видела в жизни, и заодно я познакомилась с кинотеатром "Опера", о котором ты столько упоминала. Ах, ты была права, такая роскошь, что не верится, войдя, я увидела по сторонам эти дворцовые балконы, невероятно роскошные, с ухоженными растениями, и цветные витражи, а над экраном — та самая радуга, я онемела, тут муж толкает меня локтем и показывает на потолок... я чуть не вскрикнула: сияют звезды и летят облака, прямо настоящее небо! Фильм был хороший, но я все равно время от времени поглядывала наверх, а облака так и летали в течение всего сеанса. Недаром они так дорого берут.

Во вторник я сумела уговорить Массу сводить меня в эстрадный театр, мы попали в "Майпо", давали "Гуд-бай, обелиск", у меня тут программа, роли исполняют Пепе Ариас, его жена Аида Оливер, я о ней не знала, она ведь не снимается в кино, очень хорошая танцовщица, София Босан — бесподобная, Алисия Баррье и эта чернявая красотка, которая всегда играет злодеек, Виктория Куэнка. Так странно было видеть их живьем! Но я очень пожалела, что пошла, сплошь сальные шутки, я не знала, куда деться от стыда. Вдобавок ко всему рассказывали анекдоты про молодоженов, я аж взмокла от пота. Потом, в среду, мы видели в Национальном театре в исполнении труппы Муиньо-Алиппи "Папину усадьбу", очень хорошая пьеса, с деревенским праздником под конец, в программе написано "восемьдесят человек на сцене", думаю, так оно и

есть. Мужу столько говорили о куклах Подрекки, что вчера вечером мы пошли, но это было в местном театре "Феникс", в квартале Флорес, который находится на пути в Вальехос. Нет сил рассказывать, Мабель, до чего тоскливо было думать, что через несколько дней мы отправимся по этому пути... до конца. Вот неблагодарная, скажешь ты, всю жизнь жила в Вальехосе, а теперь не хочешь возвращаться. Но, Мабель, что дал мне Вальехос? — одни разочарования. Я сохранила тебе программу кукол, просто божественно, расскажу, когда вернусь. А сегодня вечером, не поверишь, знаешь кто дебютирует в театре "Смарт" в спектакле под названием "Женщины"? Сама Меча Ортис, ни много ни мало. Я сразу вспомнила о тебе, ведь это единственная аргентинская актриса, которую ты признаешь. Если достанем билеты, пойдем сегодня же вечером, из отеля звонили по телефону, им бронировать не хотят, но если я не попаду — умру. Служитель из швейцарской говорит, что туда пойдут актрисы кино, это важная премьера.

Да, Мабель, хорошо бы нам посмотреть ее вместе, желаю тебе здоровья, а твой папа пусть особо не переживает из-за происходящего, бизнес есть бизнес, говорит Масса. Поэтому, говорит, вечером надо веселиться и обо всем забыть, конечно, будь его воля, он бы оставался ужинать в гостинице, а потом сразу на боковую, но я теперь исхитряюсь, не упускаю вечера, чтобы посмотреть столько всего, что есть в этом безумном Буэнос-Айресе. Завтра Масса собирается пойти на Камилу Кирогу в "Сломанных крыльях", ему очень нравятся жестокие драмы. Мне не так, этого и в жизни хватает, правда?

Как видишь, я слово выполнила, крепко тебя целую, и до свиданьица.

Нене

Она смотрит на наручные часы, подаренные отцом в день помолвки, и убеждается, что до прихода мужа остается несколько часов. С удовольствием думает обо всем, что могла бы делать совершенно свободно, без всякого присмотра, в таком городе, как Буэнос-Айрес. Берет газету и ищет адрес театра "Смарт". Невольно ее взгляд останавливается на заголовках первой полосы: "ИТАЛИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ О ВЫВОДЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ ИСПАНИИ — Лондон считает недостаточным отъезд 10 тысяч солдат по приказу Муссолини. Лондон (Рейтер). В течение вчерашнего дня..." Она думает, что отец обязательно прочтет эту новость, когда газета придет в Вальехос на следующий день. Он болен и читает все вести из Испании. Может, радость от ее удачного замужества поможет ему перенести болезнь. В замке слышится щелканье, она с удовольствием думает, что это, наверное, горничная, ее компания так приятна, идет сменить полотенца, как обычно в этот час, единственная женщина, с кем она, вечно окруженная мужчинами, может беседовать в Буэнос-Айресе. Однако появляется муж, он улыбается и развязывает галстук. Взглянув на него и убедившись, что он собирается раздеться и, возможно, поспать в сиесту, она, не теряя времени, просит у него две таблетки аспирина, чтобы унять сильную головную боль. Он достает из кармана бумажник, где всегда предусмотрительно держит пакетик с аспирином.

Эпизод десятый

Большие синие глаза ее открылись,
Моей неслыханной тоске не
удивились,
Покорно молвила она с усмешкой
горькой:
"Да, это жизнь", — и навсегда ушла.

Альфредо Ле Пера

– *Алло...*

– Это Гузя!

– Алло? Кто говорит?

– Это Гузя! Госпожи Нене у вас нет?

– Да, но кто говорит?

– Это Гузя! Гузка. Это Нене говорит?

– Это я, как поживаешь, Гузя? Уже половина одиннадцатого ночи, ты меня напугала.

– Я приехала в Буэнос-Айрес работать, ты меня помнишь?

– Как же не помнить, ты с малышом?

– Нет, я его оставила у тети в Вальехосе, она больше не работает служанкой, стирает белье на заказ, как я раньше, целый день сидит у себя дома и присматривает за малышом.

– Сколько уже твоему крошке?

– Да недавно, я его неделю не вижу, но я не смогу тут без моего малюточки, госпожа Нене.

– Нет, я спрашиваю, сколько ему, год уже исполнился?

– Ну да, как год исполнится, что я здесь, поеду его навестить...

– Ты меня не понимаешь, откуда ты говоришь?

– Я по телефону из бара на углу, тут такой гвалт стоит.

– Заткни ухо рукой, так лучше услышишь, попробуй.

– Да, я вас всегда слушаюсь, госпожа Нене.

– Гузя, не называй меня госпожой, глупышка.

– Но вы же теперь замужем.

– Слушай, так сколько твоему малышу?

– Ему скоро год и три месяца.

– А назвали-то его как?

– Панчито, думаете, нехорошо, что я дала ему это имя? Ну вы знаете почему...

– Откуда мне знать, Гузя... А его ты больше не видела?

– Он строит дом там же, где у него хижина, сам строит, ты ведь знаешь, Нене, Панчо очень работящий, он, прежде чем жениться или чего еще, хочет построить дом, все вкалывает, как лошадь, заканчивает службу и сразу идет к хижине строить дом.

– А он тебе что-нибудь обещал, когда его закончит?

– Нет, ничего, он теперь со мной не желает и разговаривать, мол, я всюду рассказывала, что он отец ребенка. Я ведь ему поклялась, что никому ничего не скажу, пока его не возьмут в полицию на постоянно.

– А ты и правда рассказывала?

— Ни я, ни тетя ничего не рассказывали. А вы не ждете прибавления в семье?

— Что-то вроде того... ну ты мне про Вальехос расскажи, маму мою не видела?

— Да, видела на улице, она шла с вашим папой, он все такой же худой, что с ним, что он так медленно ходит?

— Он очень болен, Гузя, похоже, он скоро нас покинет. У него рак, бедненький мой папа. Гузя, он очень худой?

— Да, бедный сеньор, кожа да кости.

— Куда они шли, не знаешь?

— Вроде к врачу... И твоя мама дала мне твой телефон.

— А, это она.

— И просила, что, может, вы ответите, собираетесь ли выслать ей денег или нет. Твоя мама сказала, что ты купила гарнитур для гостиной и потому не хочешь слать ей денег.

— А Селину ты не видела? с кем она водится?

— Не знаю, есть ли у нее кто, поговаривают, что по вечерам она всегда стоит у дверей дома, и обязательно кто-нибудь проходит и останавливается с ней поболтать.

— Но наверняка что-нибудь известно?

— Все говорят, что Селина беспутная, но никто не заделал ей ребенка. Если ей сделают ребенка, люди потом перестанут с ней здороваться, как это было со мной.

— А Хуана Карлоса не видела?

— Видела, он вечно без дела шляется. Нигде не работает. И говорят, он снова спутался с вдовой Ди Карло. Ты не знала?

— Кто тебе сказал?

— Да... все поговаривают. Можно я к тебе как-нибудь приду в гости?

— Да, Гузя, ты обязательно должна как-нибудь навестить меня, но без звонка не приходи.

— Ага, я тебе позвоню, если только меня не выгонят из-за того, что со мной случилось.

— Ты о чем?

— Ну, что я не замужем, а уже с ребенком.

— Не будь глупенькой, Гузя, а то я рассержусь от твоих слов. Вот только когда придешь, я тебе кое-что расскажу про этого бесстыдника.

— Какого — Хуана Карлоса? или доктора Аскеро?

— Нет, про нахала, который забацал тебе ребенка.

— Думаете, он сделал это по злому умыслу? может, он боится, что его выгонят из полиции, если он женится на такой, как я?

— Я тебе открою глаза, Гузя. Ты мне позвони на следующей неделе, и мы поговорим. До встречи на днях, Гузя, позвони мне.

— Да, сеньора, я вам позвоню.

— Пока, Гузя.

— Большое спасибо, сеньора.

Сидя на кровати, Нене затихает на миг, надеясь услышать шаги мужа за закрытой дверью. Стоит почти полная тишина, на улице трамвай бежит по рельсам. Она отворяет дверь и зовет мужа. Ответа нет. Она идет в кухню и застает его там за чтением газеты.

Корит за то, что не ответил. Он, в свою очередь, жалуется, что она всегда донимает его при чтении газеты.

— Алло...

— Это Гузя.

— Ну, что скажешь?

— Это кто говорит? Нене?

— Да, как дела? ты откуда говоришь?

— С того же телефона в баре, а как ваш муж?

— Хорошо. В прошлый раз мы о стольких вещах переговорили, а ты мне даже не сказала, где же ты работаешь.

— На заводе, Нене. Мне не нравится, я хочу вернуться в Вальехос.

— Ты где живешь?

— В комнате, с подругой тети, которая меня сюда и позвала. Она уже с прошлого года работает на мыловаренном заводе. Вы не хотите взять меня в служанки?

— Ты имеешь в виду, в мой дом? Нет, когда у меня родится ребенок, мне понадобится помощь, а сейчас нет. Муж даже не приходит обедать в рабочие дни.

— Хотите, я зайду к вам в гости?

— Не сегодня, Гузя, а то мне надо уйти. Но как-нибудь приходи, хоть дом поглядишь. Жаль, что мама не может посмотреть мой дом, с новым гарнитуром в столовой и гостиной, мало у кого в Вальехосе есть такой дом, как у меня, мама его себе даже не представляет.

— Сегодня, в воскресенье, Тереса пошла гулять с такой же старой теткой, как она, которая меня недолюбливает, они меня приглашали, но та, другая, все смеется, что я не умею переходить улицу, так что я лучше побуду одна.

— Муж ушел на стадион смотреть матч, а потом будет видно, может, он меня сводит куда-нибудь, а то бы я тебя позвала в гости.

— А сейчас нельзя, на минуточку? Во сколько он придет?

— Да нет, Гузя, а то он увидит тебя здесь и подумает, что я уже достаточно развлеклась в воскресенье, и не захочет выйти в город.

— Куда он тебя поведет?

— В кино или в театр, а главное, мне не придется готовить ужин, такая тоска — готовить каждый вечер, а потом сразу на боковую.

— А ваш дом где? далеко оттуда, где я? Если вы хотите сюда прийти, то это комната, перед которой стоит большая кадка с держи-деревом, тут большие деревья во дворе... а еще мы варим мате. Я вам дам черенок держидерева.

— Нет, Гузя, благодарю тебя, но муж не хочет, чтобы я выходила одна.

— А я тебе все расскажу про барышню Мабель...

— Что с ней?

— Ничего, но еще до моего отъезда к ней в гости заявился жених, приехал из Буэнос-Айреса ее навестить. Он коротышка, ростом с барышню Мабель, она теперь вынуждена ходить на низком каблуке.

— Они помолвлены?

— Нет, а то она бы уже раззвонила, ведь после этой передряги с доном Саэнсом им теперь не до ухаживаний. А хочешь, я тебе расскажу кое-что о докторе Аскеро?

— Гузя! Я уже и не вспоминаю об этом нахале.

— А твой муж ничего тебе не сказал?

— О чем?

— Ну... ни о чем.

— Расскажи мне еще о Мабель, кто у нее жених?

— Когда барышня Мабель была здесь в Буэнос-Айресе, сеньора рассказывала мне, что она познакомилась с парнем, который за ней ухаживал, но барышне Мабель он не нравился — очень уж бесхарактерный.

— Не помнишь, парень был учителем?

— Да, вроде бы да, Мабель говорила, что у него женская работа... А я, пока могла давать малышу грудь, оставалась в Вальехосе, сколько меня тетя ни уговаривала, я не хотела приезжать. Укутан ли он там в теплень-кое теперь, когда начинаются холода?

— Конечно, как же иначе...

— Нене, так хочется увидеть Панчито. Ты когда его видела?

— Когда ему был месяц.

— И больше ты к нам в хижину не приходила, ни ты, ни барышня Мабель больше не приходили, я тебя все ждала, а ты больше ни разу не пришла. А твой муж — куда тебя поведет?

— Не знаю, Гузя. Я даже не уверена, что мы куда-то пойдем, ты мне звони поскорее, Гузя, в другой день, ладно?

— А ты выслала денег твоей маме или нет? Я ведь тебе ничего не сказала, а мне твоя мама все рассказала.

— О чем?

— Что ты сначала обещала ей послать денег на лечение твоего папы в платном санатории, а теперь они вынуждены ходить в больницу.

— Но мама сказала, что его и в больнице неплохо приняли, а я при всем желании не могу, так потратилась на гостиную. Все равно она потом по своей прихоти снова перевела его в санаторий, ты этого не знаешь, ну и что в итоге, пусть берет деньги с книжки, разве сбережения не для этого? на случай необходимости.

— Она сказала, что ты плохо обходишься с твоим папой и что она больше не будет тебе писать. Она тебе написала?

— Ну да, написала.

— А когда я тебя увижу?

— Позвони мне на днях. Пока, Гузя.

— Пока.

Несмотря на головную боль и на растущую досаду, она собирается застелить постель уже второй раз за день, как и каждое воскресенье. Муж разбирает постель после обеда во все воскресные и праздничные дни, чтобы полежать перед походом на футбольный матч, а это вызывает споры, связанные не только с беспорядком и необходимостью перестилать постель. Нене размышляет и пробует смириться, подумав, что, к счастью, он приходит обедать только по воскресеньям и в праздники.

★

— Алло...

— Это Гузя! это ты?

– Да, как ты там?...ах, Гузя, как я тебе благодарна за то, что ты мне принесла, я так жалела, что меня не было в тот вечер, по случайности вышла, ты знаешь, я мало выхожу из дому. Но я же тебе сказала – позвони перед приходом.

– Я чтобы сделать тебе сюрприз. Понравился черенок?

– Да, не успела я войти, сразу его увидела. Потом консьержка мне рассказала, как открыла тебе дверь.

– Она не хотела открывать дверь, ни за что не хотела, но я ей объяснила, что это нежная веточка, и если неправильно посадить, то она точно засохнет. Нравится, где я ее посадила?

– Да, и она вроде хорошо принялась.

– Я уезжаю в Вальехос. Завтра еду.

– Почему? что случилось? не вздумай говорить маме, что видела мой дом!

– Я уже накопила на билет и сегодня последний день отработала на заводе.

– А что ты там будешь делать? снова стирать?

– Нет, барышня Мабель говорила с моей тетей, мол, если я хочу вернуться, она возьмет меня снова, они теперь не могут держать служанку и кухарку, мы с ее матерью будем все делать. И разрешают мне навещать Панчито каждый вечер.

– А здесь ты не подыскала себе жениха?

– Нет, я боюсь связываться с незнакомыми мужчинами.

– Ты маме расскажешь, что приходила ко мне домой?

– Если не хочешь, ничего не расскажу.

– В котором часу отходит завтра поезд? Если хочешь, я принесу тебе кое-что из моей ношеной одежды.

– В десять утра отходит. Но лучше, если найдешь что-то новое для Панчито. Ему нужнее.

– Ну, времени у меня будет немного, если что найду – куплю. Но завтра непременно увижусь с тобой на вокзале. В половине десятого буду там. Ты приходи раньше, хоть займешь место получше.

– Обязательно приходи, а если что из старого для меня есть, тоже не забудь.

– Гузя, обещай, что ты Мабель тоже не расскажешь, что видела мой дом.

– Обещаю, а может, у тебя есть шарфик для Панчито, теперь ведь холодно?

– Посмотрю. Пока, Гузя, у меня дела.

– Хорошо, до завтра.

– Пока, и приходи пораньше.

– Пока.

Она снова жалеет, что заказала белый телефон, вечно он захватан грязными пальцами. К тому же в этой комнате ей необходим стул, чтобы не садиться непременно на кровать каждый раз, когда она подходит к телефону. Она решает начистить фурнитуру спального гарнитура сегодня же. По пути в кухню проходит через комнату, отведенную под столовую, где стоит лишь картонная коробка, в которой находится ночник с абажуром из белого тюля. В маленькой передней при входе, отведенной под гостиную, тоже нет ме-

бели: она оглядывает пустое пространство, задаваясь вопросом: а наберется ли у нее когда-нибудь достаточно денег, чтобы купить все за наличные и тем самым избежать дополнительной выплаты процентов, которую предполагает покупка в рассрочку.

— Раз уж вы там, не сорвете ли мне несколько фиг? *бархатистая зеленая кожица, внутри сладкая мякоть с красноватыми зернышками, я разорву их зубами*

— Добрый день, я вас не заметил. *ножка, крашеные ногти высовываются из шлепанца, худые ноги, крутые бедра*

— Добрый день.

— Извините, что хожу по стене, если мы не поставим антенну, то не сможем слушать радио, и заключенные меня жалобами замучат. *заключенные никогда не видят ни одной женщины*

— Да и вы не прочь послушать, только не отнекивайтесь... *дешевка, метис чумазый, шея и уши блестят, пытается отмыться добела*

— Чего мне отнекиваться... Вам только самые спелые или еще и недозрелые? *моя габардиновая форма и сапоги блестящие*

— Нет, только созревшие, я на днях приду с палкой и собью те, что потемнеют. *съем их одну за другой и развалюсь в саду, и пускай меня кусают твари мелкие в траве*

— Вы меня позовите, я приставлю лестницу с другой стороны и сразу заберусь на стену. *залезу, прыгну, влезу, слезу, ее поглажу*

— А если вы будете заняты? или вы только и делаете что слушаете радио? *у одной служанки родился внебрачный ребенок*

— Я ж не виноват, что тут не бывает ни одной кражи. *меткий выстрел, снесу полчерепушки*

— Тогда я приду и заявлю, что у меня цыплят воруют. *белые длинные перья, черные, желтые, коричневые перья, не хвост, а радуга, и перьями набит матрас, мягчайший, прогибается*

— Вам не поверят.

— Почему?

— Потому что у вас через стену полицейский участок, курятничек-то под присмотром. *белая курочка для петушка, нет петуха в загоне, в курятник ночью заберется ловкий лис*

— И на том спасибо, правда... Жаль, что муравьев нельзя посадить за решетку, смотрите, как они мне розы загубили... *нежная бархатистость, розоватые свежие лепестки, они раскрываются, мужчина их гладит, вдыхает аромат, срывает розу*

— Что вы им сыплете?

— Яд для муравьев. *черные, мелкие, злые, детина чумазый, с ручищами каменщика, он Гузю силой взял?* О Хуане Карлосе ничего не знаете, вы же были его приятелем?

— Да, он написал мне письмо... *Хуан Карлос спрашивает про одну малышку*

— Он сам никогда не берегся, и вы ему составляли славную компанию, если не ошибаюсь... *кто из двоих больше мужчина? кто из двоих сильнее?*

— Хуан Карлос был моим лучшим другом и всегда таким для меня останется. *у каменщика дом из камня, а школьная учительница – телка тоже ведь не каменная?*

– Он где? в том же шикарном санатории, что и раньше? *щурил светло-карие глаза, меня целуя*

– Нет, думаю, в пансионе, а к врачу ходит частному.

– Тот санаторий был страшно дорогой.

– Да, вроде бы... Вот эти тоже рвать?

– Эти... да, они уже вполне созрели для еды, да и вы тоже угощайтесь. *зубы желто-коричневые*

– Их трудно чистить. *прочищу я тебя, кожица зеленая, красноватая сладкая мякоть*

– Боюсь, вы упадете.

– Не упаду, я вам кину по одной, ловите... Вот так... очень хорошо... лопнула? *куры шарахаются, кудахчут, машут крыльями, бьются о проволочную сетку и обдирают крылья, лисы уходят через любую щель в стене*

– Подождите, я съем одну... Расскажите, как вы подружились с Хуаном Карлосом. *простой метис, туземец, тот был белый, руки не такие мощные, спина не такая широкая*

– Как-то, мы были еще пацанами, я предложил ему подраться. *у лисиц нора никогда не знаешь где, лисья нора*

– А в полиции-то вы давно?

– Пока учился в школе в Ла-Плате, пока приехал сюда, – уже года полтора.

– А девушкам, наверно, нравится форма, да? *Гузя возвращается из Буэнос-Айреса, метис как прыгнет через стену и снова изнасилует ее?*

– Да нет, это брехня. А кто вам сказал? *белые – это да, а местные девки все чумазые и волосатые*

– Я знаю, некоторые девушки питают слабость к форме. Когда я училась в Буэнос-Айресе, мои подруги всегда влюблялись в курсантов. *курсант, не какой-нибудь задрипанный унтер-офицер*

– А вы нет? *да, да, да, да*

– *да, я тоже.* Нет, я вела себя хорошо, как праведница. Да вы не беспокойтесь, у меня есть жених, и всерьез. *славный парень, пигмей по сравнению с этим чумазым детиной*

– Какой? тот, что приезжал летом из столицы? *я недоростка уложу одной левой*

– Он, какой же еще...

– Мужичонка метр с кепкой... *лиса хитрющая, где твой тайничок?*

– Он должен быть по вкусу мне, не вам.

– Нарвать вам еще фиг?

– Ну ладно, вот тех, что повыше. *не уходи еще...*

– *а ее мать? где она?* Но я не достаю. Мне бы лучше спуститься к вам во двор и влезть на дерево, хотите?

– Нет, если мама увидит, она меня заругает, но если как-нибудь в другой раз на дежурстве в участке вам нечем будет заняться, можете спуститься и залезть на дерево, но когда мама может увидеть, лучше не надо. *мама не скажет ничего, ничего, ничего, а Гузя приедет через несколько дней*

– А ваша мама всегда дома или нет? *лису поймаю я за хвост*

– Да, мама всегда дома, она почти не выходит.

– Так... когда я смогу спуститься? *ночью, ночью...*

– *ночью, ночью...* Не знаю, мама всегда дома.

– Она не спит в сиесту?

– Нет, не спит в сиесту.

— Но ночью она должна спать... *перепрыгну через стену бесшумно, куры не проснутся*

— Да, но ночью плохо видно, чтоб лезть на дерево. *крепкий парень в два счета залезет на смоковницу*

— Ничего, увижу...

— Но вы не разберете, какая фига спелая, а какая — зеленая. *приди, приди*

— Разберу, я их пощупаю, спелые ведь мягче и истекают медовой капелькой, я, пожалуй, сам их все съем, если приду этой ночью. Во сколько засыпает ваша мама? *поймал ее, уже не выпущу*

— Часам к двенадцати наверняка уже заснет... *он Гузю силой взял? неужели у него такая силища? Гузя приедет и застукает меня с метисом с окраины*

— Значит, я в этот час сегодня ночью обязательно приду. *невеста коротышки*

— А антенну вы уже поставили? *до смерти хочется поцеловать настоящего мужчину, как твой друг*

— Это никуда не денется, сначала я съем фигу. *иду по улице у всех на виду со школьной учительницей*

Эпизод одиннадцатый

Она ушла безмолвно, без упреков,
Душа ее истерзана тоской...

Альфредо Ле Пера

Июнь 1939 года

Белые платки, все трусы и майки, белые рубашки — сюда. Эту белую рубашку нет, она шелковая, но все остальные сюда, разок намылить, и в таз, струйку отбеливателя. Белых простыней нет ни одной, белая комбинация, осторожно — она шелковая: расползется на куски, если я положу ее в отбеливатель. Голубая рубашка, цветные платки, салфетки в клеточку — в этот большой таз, сначала трусы и майки, они не цветные, белые платки и этот лифчик, как я переживу сегодня, не видя моего малыша? но это для его же блага, вот пакость, до чего холодная вода. Разок намылить, и в корыто, тетя стирает на улице водой из насоса и коченеет от холода, но здесь, в прачечной у барышни Мабель, закроешь дверь, и ветер не дует, если завтра, когда приду, он будет спать, разбужу моего родненького Панчито!.. завтра к вечеру все сделаю, а потом поездом всю ночь из Буэнос-Айреса до Вальехоса? как далеко был Буэнос-Айрес от моего сыночка! завтра все сделаю и пройду пешком пятнадцать кварталов, дам ему поиграть с мячом, а как вернусь, вымою посуду после ужина сеньоре, сеньору и барышне Мабель: Панчито — вылитый отец, за стеной Франсиско Каталино Паэс в форме, чем он занят? сурово наказывает заключенного, и все в страхе затихают, пока он не закончит работать, наденет шинель, а за углом его ждет сюрприз. Эту прищепку за край комбинации, тут повешу за второй конец, другой прищепкой белую шелковую рубашку, только бы не касалась платков в клеточку, завтра они уже высохнут, не замерзну на углу в новом платье? но развешанное в пра-

чечной белье не почернеет от пыли. Как тебя зовут? — спросят Панчито, — "меня зовут Франсиско Рамирес, я буду учиться на унтер-офицера", когда отец состарится, он передаст работу унтер-офицера сыну. А однажды на улице иду я с Панчито, он уже сам будет ходить, неужели так и не перестанет косолапить? веду за руку, все клопики косолапят, а потом подрастают и ноги выпрямляются, его отца я встречу случайно и, если он будет идти по противоположной стороне, перейду и покажу малыша, конечно, он ему понравится! вылитый отец, и тогда мы поженимся в любой день, без праздника, зачем тратиться? так Панчо увидит, что я уже вернулась из Буэнос-Айреса, а утром после шестичасовой мессы в церкви никого нет, через маленькую дверь в глубине входят Панчо, я, посаженые мать и отец, сеньора и сеньору я попрошу быть посаженными родителями, барышня Мабель с утра работает в школе, "...и гаучо с тоской сказал: не плачь, мой конь, хозяюшку теперь нам не вернуть...", это грустное танго, когда девушка умирает, гаучо остается один со своим конем и никак не привыкнет к этому, "... за чистоту безгрешную Господь забрал ее...", только не говорится, что у него остался сын, у Панчо останется Панчито, если я умру, у кого в хижине? у него или у моей тети? мы в комнате одни, а на эту прищепку я повешу голубую рубашку за один рукав, цветные платки уже развешаны, так что осталась только другая белая шелковая рубашка, и если я умру, он останется один с Панчито, но так грустить он не будет, все же я оставила ему такого здорового и красивого сына, "...вошел он молча в хижину и две свечи зажег, Пречистой Деве горькие мольбы свои изрек: скажи, чтоб не забыла и помнила меня, еще скажи, заступница, по ней страдаю я, за чистоту безгрешную Господь забрал ее...", и я вижу, как он плачет и молится за меня, — я все ему прощаю! ведь правда, Дева Пречистая, я должна его простить? а белье из отбеливателя я выну, когда вернусь с улицы, последний раз прополощу, и готово: правда, если я умру, он может жениться на другой, но он хотя бы сначала выполнит свой долг и женится на мне, и если я умру, это не его вина, это воля Божья, так грустит гаучо, только конь у него и остался, "...и две свечи зажег, Пречистой Деве горькие мольбы свои изрек...", как-нибудь помолюсь за Нене, чтобы была счастлива и родила много детей, пришла-таки проводить меня к поезду с отрезом ткани, красивенький шелк на лето, на углу, с квадратным вырезом, как у барышни Мабель, будет Панчито плакать, что я не пришла сегодня его проведать? это для твоего блага, маменькин любимчик, посмотри на маму в зеркале, нравится, как на ней сидит новое платье? "...в цеху работала я рук не покладая, о танцах никогда не помышляя...", эти, в Буэнос-Айресе в цеху, зарабатывают больше, все равно, пусть смеются надо мной, им же хуже, "...но вот однажды юноша влюбленный на танго пригласил меня смущенно...", он, верно, был брюнет, когда Панчо так меня прижимает, то больше не выпустит никогда... почему парень бросил эту девушку из цеха? гребень в волосах, тогда ветер не разлохматит меня, на углу холодно, надеть старое пальто? "...вскружило голову мне танго в то мгновенье, в порыве страсти душа моя сдалась, и в сердце трепетном неясное волненье — мечта волшебная внезапно родилась...", каждый шаг, перебивка, он ставит ногу вперед и толкает мою, я танго не очень умею танцевать, я все шла назад, он вперед, а мне приходилось идти назад, его ноги толкали мои ноги назад, и когда он ненадолго замирал, чтобы потом снова начать под музыку, какое счастье, что он меня не отпускал, а то вдруг как

остановится среди танца, и я могла бы упасть, но он меня держал, парень бросил девушку из цеха, потому что у нее не было нового платья! "...как эта песня гармонична, ее звучанье мелодично, мечтою радостною манит... и сердце ранит...", сердце истекает кровью, девушка из цеха могла умереть и оставить сына одного, она плачет все ночи, как я? нет, она не умирает и не оставляет сына одного, от слез никто еще не умирал, "как музыка меня пленяет, и ритмом властным увлекает, а жизнь несчастная мотает, в скитаньях без конца...", из цеха ее выгонят, и она уйдет в служанки, "...всему виной проклятый танец танго, меня учил ему коварный ухажер, теперь меня он бросит, окаянный, оставит несмываемый позор...", рукава обтрепанные и лацкан, если надену пальто, тогда не видно, что платье новое, "...а жизнь несчастная мотает, в скитаньях без конца...", пусть мается, лентяйка! откуда фабричным в Буэнос-Айресе знать, что такое работа, думают, раз они столичные, значит, выше служанок, никогда не уйду из дома барышни Мабель! она мне каждый вечер разрешает навещать моего малыша, а когда я вернусь с улицы, белье в бадье уже отбелится, кофейные пятна хорошо выведутся? а не сойдут, я их потру опять с мылом, вот везенье, что я вспомнила об этом гребне, гнусный, противный ветер! в семь часов Панчо завернет за угол, как каждый день, и обрадуется, увидев меня после долгого перерыва, только не говори, что я плохая, что не пришла ждать сюда раньше, я просто хотела обновить платье, вот уже две недели, как я приехала из Буэнос-Айреса! тебе кто-то сказал или ты ничего не знал? отрез мне подарила Нене, помнишь ее? и Панчо просит, чтобы я показала малыша, а я скажу, что не могу пойти к тете, потому что не закончила полоскать белое белье, но если он хочет, может сам пойти, там моя тетя с Панчито, ему нравится имя? очень нравится, что я назвала малыша его именем, не дай Бог мне на этом углу подхватить воспаление легких, а если бы я принесла Панчито? укутала бы шарфиком, который мне дала Нене Фернандес, он бы и не замерз, и отец бы его увидел, и мы пошли бы в церковь, я ведь скажу, что он не крещен, а Панчо поверит, и мы пойдем в церковь его крестить, а там уж он решится и мы поженимся. Форма, сапоги и фуражка, но толстый — комиссар! неужели уже семь часов? идет меня арестовать? мол, сына родила незамужняя, а отрез ткани мне подарили, подумает, что я украла? комиссар заходит в кондитерскую! а если однажды он меня арестует, я ему расскажу про все дома, где работала, и пусть поговорит с моей хозяйкой и барышней Мабель, почему так долго не выходит Панчо? "...я увидала на прогулке однажды девочку слепую, и рядом бабушку седую, они сидели на скамье...", видна нижняя юбка? барышня Мабель не сказала мне, что платье неровно подшито! "...пред ее незрячим взором резво девочки играли, громко, весело визжали, к ним прислушалась она...", играла Селина, Мабель, Нене, они до шестого класса так и прыгали на перемене со скакалкой, "...почему, моя старушка, объясни мне, почему? — горько, жалобно спросила: — поиграть я не могу?...", у моей тети волосы на ногах и усики, если бреет — еще больше растут, и руки смуглые, и вены варикозные, зеленые, но есть одна служанка, у главы муниципальной управы, она белая, а Панчо тоже смуглый, как все, кто живет в хижинах на окраине, "...ах, дитя мое, бедняжка, дай тебя поцеловать, дай тебя я пожалею, подойди сюда скорее, будем мы с тобой играть...", а отец слепенькой девочки? однажды он проходил по площади и взглянул на нее с презрением, а старушка такая дряхлая, у нее нет сил

пронзить ножом этого злодея, но добрая женщина помогла старушке, "...и с тех пор, когда гуляла, с бабушкой меня искала, эта девочка слепая в нетерпении своем... счастлива была бедняжка, прибегала и ласкалась, лучезарно улыбалась, и играли мы втроем...", и вот мы поженимся, малыш лежит в белой кроватке, а отец добирается усталый до постели, он работал унтер-офицером, а потом рыл яму, чтобы начать стену для ванной в домике, он умывается холодной водой из насоса, потом у него будет свой душ, и Панчо валится на кровать усталый, но чисто вымытый, а Панчито в кроватке сам встает и смотрит, держась за перильца, ничего, что хижина без кухни! сначала пусть Панчо доставит себе удовольствие и построит ванную из материалов, когда сможет, сделает кухню, а я помою тарелки, кастрюли на улице, брошу, если останутся, все объедки курам, приду в комнату, вконец усталая, а они там вдвоем играют, "...но однажды, вспоминаю, как старушка та, рыдая, что бедняжка умирает, прибежала мне сказать, я склонилась над кроваткой, слышу — крошка повторяет: с кем же будешь ты играть?...", и эта добрая женщина, которая играет со слепенькой, однажды встречает отца слепой девочки и спрашивает, за что он ее не любит, а человек этот — плохой или хороший? "...ах, бедняжечка, слепая! как тебя не вспоминать, доченька моя родная, тоже ведь была слепая... тоже не могла играть...", детка мой, не заболей... ешь всю картошку, что тебе дает старая тетя, ешь, малышик мой, картошку, тогда не заболеешь в такой холод... пусть лучше ослепну я, чем мой малыш, пойду и брызну себе в глаза чистого отбеливателя, ослепну, и Панчо станет меня жалко и он женится на мне, тетя готовит еду, "...счастьем засияли, зеркалом сверкали, радостью лучились ясные глаза...", отбеливатель жжет, когда попадает в глаза, "...мраком наказали, солнце отобрали, бросили осколки битого стекла...", разлетаются вдребезги окна? гусиная кожа, потому что пришла без пальто, "...очи мне затмили черные туманы, в мраке затерялся, слыша голос твой... темнотой объятый, одинокий странник, я могу лишь плакать, плакать над тобой...", а слепые плачут? текут слезы у тех, у кого нет глаза? а у кого стеклянный глаз? "...но неугасимо сотни звезд сияют, в сердце озаряют память о тебе...", я не оставлю тебя, Гузя, обещаю, что никогда тебя не брошу, я каменщик и добрый, "...дарят мне надежду нового рассвета, в ночи безысходной, в полной слепоте...", он воспользуется тем, что я слепая, и приведет другую, белее кожей, служанку главы муниципальной управы, и скажет, что это старуха, "...счастьем засияли, зеркалом сверкали, радостью лучились, ясные глаза... мраком наказали, солнце отобрали, бросили осколки битого стекла...", летят битые стекла, острый осколок, и у девушки из цеха выступает кровь: большой осколок стекла словно нож врезался в ее тело, прошел меж ребер — и надвое рассек ее сердце! ударом ножа я отсекла крыло у ощипанного цыпленка, голову, ножки, вытащила желудочек и сердце, маленькое сердце у цыпленка, а когда чистила курицу, вспорола ножом, а внутри было полно яичек, вареные, с маслом и солью они нравятся матери барышни Мабель, сердце курицы больше сердца цыпленка? и ничего, если ты не попросишь у меня прощения, я знаю, ты можешь мечтать о большем, о другой девушке, не о служанке, а если он пройдет и не посмотрит на меня? а если рассердится и плюнет в меня? сапоги и фуражка... это он идет! в новой шинели! а у меня платье неровно подшито! Панчо, пожалуйста, смотри на меня только сверху, квадратный вырез и короткие рукава, не смотри на обор-

ку, она неровно подшита, и видно нижнюю юбку, почему он переходит на другую сторону? он меня не увидел? еще как увидел, Панчо! вошел в кондитерскую! он приятель комиссара? наш сыночек ослепнет! и я хватаю отбеливатель, и лью на себя, и вся обжигаюсь, так мне и надо, я плохая, не уберегла моего малыша, без отца и слепенького, однажды он выпал из кроватки, не знал, куда ступить косолапыми ножками, и разбил себе лобик, головка раскололась надвое, и он у меня умер, вот оно, наказание! отец раскается очень поздно, останется один и вернется в хижину, и если найдется зажженная свеча, он помолится Пречистой Деве, жена у него умерла, и сын умер, белье, поди, уже отбелилось, пора вытащить его из бадьи? нет, наверно, надо еще подождать, сходить проведать малыша? и сразу вернусь бегом, пятнадцать кварталов обратно — вытащить белье из отбеливателя! сегодня у нас совсем не будет времени поиграть, потому что я провозилась, клопик мой, но завтра вечером мама тебя укутает новым шарфиком и поведет на площадь, увидишь, как ездят машинки, ты ведь любишь на них смотреть, как-нибудь приведу тебя поглядеть на канареек в клетке у Мабель, а потом, когда мне заплатят, куплю тебе ботиночки, обувной магазин закрывается в половине восьмого? а твой папа со мной не поздоровался, потому что торопился, он шел в обувной магазин, чтобы сделать нам сюрприз? ты столько ходишь без ботиночек, что, боюсь, так навсегда и останешься у меня косолапым, хотя все клопики, такие как ты, косолапят, пока им не исполнится два года, Панчито, сколько еще кварталов мне осталось, чтобы тебя поцеловать! клопик мой, ты у нас без отца? обещаю, когда мне заплатят, куплю тебе ботиночки, и если мы попадемся на глаза твоему папе, а он пройдет и при всех посмотрит на тебя с презрением... может, он испугался, что я ударю его ножом, вот и перешел к кондитерской?.. большим ножом я отрезала крыло ощипанного цыпленка, горло, ножки, вытащила желудочек и сердце, чтобы обжарить в масле в глубокой сковородке, все кусочки надо бросить в сковородку уже нарезанные, с цыпленком для жарки — другое дело, я гоняюсь за ним по курятнику, ловлю, беру за шею и одним ударом ножа отсекаю голову, он еще какое-то время машет крыльями, когда я отрубила ему голову, и глаз моргает, я выщипываю все перья и изо всех сил снова бью ножом, чтобы разрубить грудку, выскребаю всю эту мерзость внутри, которую выбрасывают, и промываю под краном струей холодной воды...

Июнь 1939 года

...спелая фига, зеленая кожица совсем безвкусная, под ней красная мякоть с каплями сладкого сока, съел вдоволь, от пуза, полочка со всеми куклами, волосы натуральные, глаза закрываются, захочу — выверну им руки, ноги, отверну голову, сделаю им больно, ночью куклы не могут кричать, три вымпела, деревянный крест и бронзовый Христос, портретная рамка, комод, платяной шкаф, наволочка надушена, моя черная голова на белой подушке, простыня вышита ненастоящими цветочками, и прошитая тесьма связывает их от одного края кровати до другого, одеяло из шерсти, состриженной с какой-нибудь тихой овцы, она дает барану подойти к себе ближе: кукла в натуральную величину хорошенько укуталась, разбужу ее в любой момент, в темноте волосы и черный рот, куклы сидят на полочке, не шелохнутся, согну их, отверну им голову, ру-

ки, ноги, кричать они не могут, а то придет отец и увидит меня, выверну им одну руку, выверну другую руку, они больше не могут выносить боль, но если закричат, их засекут, а я, весь черный, метис, замарал ей вышитые простыни? мараю, точно сажей, твои губы, и уши, и все тело с двенадцати ночи до трех, до четырех утра, замарал тебе совесть? совесть тебя не гложет? носки пропотевшие, а где майка? беру тряпкой гуталин и при дневном свете смазываю всю кожу сапога, щетка, гуталин подсох, сапоги начищены до блеска, и пояс начищаю, это она должна мне чистить, лентяйка, дрыхнет кукла, волосы натуральные и глаза закрываются, проснись, я ухожу, закрой окно, когда я спрыгну, вот ведь холодина, луна и звезды, двор, сапоги будут блестеть, ну и ротик у тебя, со вкусом карамелек ассорти, лимонных, медовых, эвкалиптовых, завтра дашь мне еще карамелек, этой ночью жабы примерзнут в лужах, вода замерзнет в трубах, и они полопаются. Под луной блестят сапоги! жабы, лужа, виноградная лоза, служанка спит, клумбы, кусты роз, муравьи, роса, изморозь, смоковница, земля, трава, стена, под луной блестят погоны, металлические пуговицы, кошка, я дрожу, от холода, там кошка... ничего нет... кто ступает по сухой листве?...это я от холода дрожу, бояться я никого не боюсь... кошка бродит... не подходи ко мне! ...я подумал, ты кошка, и в руке твоей что-то блестит, острые кошачьи когти? большой кухонный нож.

Коскин, 28 июня 1939 года

Дорогая!

Тебе покажется странным, что я отвечаю так скоро. Сегодня я получил твое письмо с этой дурной вестью и не мог поверить, бедный парень. Мы с ним очень дружили, хотя в свое время он был лишь чумазым оборванцем. Но ты не сообщаешь никаких деталей, прошу тебя, в ответном письме напиши, как все случилось. Представляю, какой в городке перипалох.

Здорово, что появился человек, который заинтересовался домом, не упусти его, продавай и скорее приезжай ко мне. Я еще не узнавал здесь цены на нидвижимость, ленив я, что поделаешь, но ты наверняка сможешь купить что-то приличное, и мы будем вместе. Этот задрипанный пансион так мне надоел.

Сама видишь, как бывает в жизни, этот бедный парень, здоровья ему было не занимать, а теперь он мертв. Уверяю, мне намного лучше, сегодня спал часа четыре после обеда, и, когда проснулся, простыни были совершенно сухие, а сон мог быть ужасный и с кошмарами из-за этой новости, я ведь чем больше нервничаю, тем больше потею, но сегодня не так. Видно, что вылечиваюсь.

Пышка, целую тебя и обнимаю

Хуан Карлос

Он кладет ручку, поднимается и открывает окно, чтобы проветрить спертый воздух в комнате. Отражается в стекле и улыбается без всякой причины. Смотрит на свои наручные часы, уже пять вечера и небо черно, во мраке не различить гор. Он думает о мертвецах и о том, что они, возможно, наблюдают за делами

живых. Думает о мертвом друге, который — как знать? — смотрит на него из неведомого места. Думает о том, что мертвый друг может заметить, как весть об убийстве обрадовала, а вовсе не опечалила его.

Эпизод двенадцатый

...стоит, как верный часовой
моей любовной клятвы.

Альфредо Ле Пера

Полиция провинции Буэнос-Айрес

Участок или отделение: Коронель-Вальехос
Дело направлено в: суд первой инстанции Управления юстиции провинции Буэнос-Айрес и местный архив
Дата: 17 июня 1939 года

Предварительный протокол (выдержки)

Семнадцатого числа июня месяца одна тысяча девятьсот тридцать девятого года нижеподписавшееся должностное лицо, комиссар Селедонио Горостиага, при участии заместителя комиссара Бенито Хайме Гарсиа, заверяющего подлинность сего в законном порядке, констатирует, что в силу настоящего протокола заведено предварительное следственное дело по факту кровавого происшествия, в результате которого лишился жизни бывший сотрудник данного отделения, унтер-офицер полиции Франсиско Каталино Паэс.

Происшествие имело место на рассвете восемнадцатого числа текущего месяца июня, согласно свидетельству дежурного капрала Доминго Лонати, услышавшего крики, когда он находился на кухне отделения, расположенной в заднем дворе здания. Крики доносились с соседнего участка, однако уточнить что-либо в данную минуту капралу не представлялось возможным, и он вышел во двор, поскольку окна были закрыты по причине низкой температуры, установившейся во всем округе Коронель-Вальехос в последние дни, но, когда он вышел во двор, крики прекратились и едва были слышны стоны, которые также стихли. Капрал поднялся на стену, воспользовавшись тем, что к ней была приставлена лестница, и заглянул во двор участка, на котором размещается дом проживающего по соседству господина Антонио Саэнса. В указанном дворе растет большое фиговое дерево, полностью закрывавшее капралу видимость, однако он полагает, что видел движущиеся фигуры у двери прачечной данного дома. Капрал Лонати счел, что речь может идти о грызне животных, таких как собаки и кошки, и, невзирая на низкую температуру, остался как дозорный на стене. Через несколько минут он увидел, что в прачечной зажегся свет. Капрал заметил перемещение нескольких человек и тогда во весь голос предложил помощь, но никто не ответил, так как дверь прачечной была уже явно закрыта. Капрал Лонати счел за лучшее вернуться в помещение для дежурных на случай, если

зазвонит телефон, и действительно, не успел он дойти до дежурной, как раздался звонок. Это был господин Саэнс, который обращался за помощью в полицию, поскольку унтер-офицер Паэс лежал возле дома г-на Саэнса совершенно бездыханный, как это позднее констатировал судебный врач д-р Хуан Хосе Мальбран.

Далее капрал Лонати позвал нижеподписавшегося, комиссара Селедонио Горостиагу, проживающего на верхнем этаже здания полицейского отделения, и вместе они отправились по месту жительства г-на Саэнса. Вышеозначенный ждал их, облаченный в нижнее белье для сна и домашний халат, равно как и его супруга, донья Агустина Барраса де Саэнс и их дочь сеньорита Мария Мабель Саэнс. Их сон был нарушен криками унтер-офицера Паэса, раненного в саду служанкой Антонией Хосефой Рамирес, которая в дальнейшем именуется "обвиняемой".

[...констатировал, что тело не имеет признаков жизни, и в законном порядке объявил о его насильственной смерти. С помощью капрала санитар доставил носилки, имевшиеся в машине "скорой помощи", до упомянутого сада. Прежде чем труп сдвинули с места, нижеподписавшемуся пришлось применить власть, так как судебный врач настаивал на поднятии трупа, препятствуя нижеподписавшемуся принять сперва необходимые меры предосторожности, в частности, отобразить в кратких записях положение трупа в точном месте его падения, а также взять на заметку состояние, в котором находились окружающие растения, в данном случае — розовые кусты. Санитар Лаунеро, практически выказывая неповиновение властям, уронил носилки на клумбу, повредив растения, но, как ранее уже заметил нижеподписавшийся, кусты роз, окаймлявшие дорожку с левой стороны, оставались нетронутыми до вмешательства санитара, тогда как кусты справа были повреждены убитым при падении. Из этого следует, что никакой борьбы не было, нападение на унтер-офицера совершено спереди, но внезапно, иначе невозможно объяснить, почему он не успел вытащить револьвер из кобуры, хотя правой рукой он и схватился за рукоять револьвера, так и не сумев его вынуть в силу непредвиденных обстоятельств.]

[...к сему заместитель комиссара, заверяющий подлинность настоящего следственного протокола, желает дополнить, что данное обстоятельство свидетельствует о следующем: первое ранение получено в брюшную полость, тогда как удар в сердце был нанесен, когда убитый уже находился на земле...]

[...удар кухонным ножом с заточенным лезвием длиной двадцать восемь сантиметров, который прошел меж ребер прямо в сердце, причем такой удар женщина могла бы нанести, только если жертва находилась не в вертикальном, а в горизонтальном положении, что позволяло женщине вонзить лезвие сверху вниз в тело, которое к тому времени было уже беззащитным.]

[...где она и лежала на кровати без сознания. Рядом с ней находилась сеньорита Саэнс. На обвиняемой была надета лишь нижняя юбка и белье, на нижней юбке виднелись остатки кровавых пятен, замытых водой, но, как пояснила сеньорита Саэнс, когда они услышали крики, то обнаружили стоящую над убитым обвиняемую, которая размахивала оружием и что-то бормотала. Вслед за этим она потеряла сознание и была препровождена к постели сеньоритой Саэнс, которой к тому времени уже пришли на помощь ее родители. Они уложили обвиняемую на

кровать и замыли пятна крови губкой. Поскольку тело ее переохладилось, они укрыли ее одеялами и незамедлительно стали звонить врачу, а затем в полицию, после чего...]

[Согласно заявлению сеньориты Саэнс, обвиняемая жаловалась ей за несколько дней до этого, что убитый (который перестал с ней разговаривать с того момента, как узнал о беременности) подошел к ней на улице и потребовал оставить открытой дверь во двор с тем, чтобы прийти к ней ночью, на что обвиняемая отреагировала презрительно, так как в связи с отсутствием у убитого интереса к сыну она затаила на него большую злобу. Однако прояснить подробности происшедшего этой ночью не представлялось возможным, так как обвиняемая была обнаружена в саду в состоянии нервного шока и не дала никаких объяснений.

Вслед за этим потребовалось вмешательство д-ра Мальбрана, который осмотрел обвиняемую и не обнаружил у нее следов сексуального насилия, но порекомендовал не будить ее, дабы она пришла в себя естественным образом. Тогда было принято решение оставить в комнате капрала Лонати, а сеньорита Саэнс также присматривала за обвиняемой, сидя у ее кровати.

Далее потребовалось обследовать расположение комнат, в результате чего сделано заключение, что во двор имеется доступ через единственную дверь, по обе стороны от которой располагаются два окна: справа окно комнаты сеньориты Саэнс, слева — окно прачечной дома, причем из обоих окон виден сад, который заканчивается у стены, граничащей с полицейским участком. По словам г-на Саэнса, данная дверь, выходящая во двор, обыкновенно закрывалась на засов, но неоднократно оставалась открытой, особенно после того, как состоялось торжественное открытие нового здания отделения полиции, что придавало обитателям дома ощущение безопасности.]

[Лишь в восемь тридцать утра вчерашнего дня, то есть семнадцатого числа, обвиняемая проснулась и получила помощь от сеньориты Саэнс. В девять сорок пять д-р Мальбран счел, что обвиняемая в состоянии отвечать на вопросы полиции. В ходе вышеозначенного допроса сняты следующие показания.

Антония Хосефа Рамирес, двадцати четырех лет, созналась в том, что убила унтер-офицера полиции Франсиско Каталино Паэса кухонным ножом. Признание неоднократно прерывалось приступами рыданий, и каждый раз сеньорите Саэнс приходилось удерживать обвиняемую от ее постоянных попыток удариться головой о стену. Сеньорита Саэнс, которой обвиняемая изложила события, как только проснулась, помогла ей заполнить пробелы, то и дело возникавшие в ее памяти. События стремительно разыгрались в ночь на семнадцатое число, когда обвиняемая увидела, как убитый входит в ее комнату, одетый в унтер-офицерскую форму. Пригрозив ей револьвером, он потребовал, чтобы та отдалась ему там же, несмотря на близость хозяев. Обвиняемая, исполненная злобы за то, что была брошена с внебрачным ребенком после того, как ее обольстили, прибегнув к пустым обещаниям, воспротивилась, сославшись на то, что боится разбудить хозяев, и, как своевременно заметила сеньорита Саэнс, у сеньориты Саэнс имелось обыкновение подниматься среди ночи из-за приступов изжоги и направляться в кухню. Деталь: данная кухня сообщается с комнатой служанки без посредства двери, их разделяет только занавеска черной ткани, поскольку

указанная комната первоначально была построена как кладовая. Под этим предлогом обвиняемая уговаривала убитого выйти во двор, где она сделала бы все, что он прикажет. Он не соглашался, но в конечном итоге обвиняемая пригрозила ему, что станет кричать. Тогда убитый, несмотря на опьянение — данное обстоятельство было выявлено в результате вскрытия, — согласился, и вместе они направились во двор. Но прежде им пришлось пройти через кухню, и именно там обвиняемая по пути украдкой взяла нож и спрятала его. Убитый хотел отвести ее за дом, намереваясь вновь над ней надругаться. Когда обвиняемая, уже будучи во дворе, сочла, что подходящий момент наступил, она пригрозила ножом в попытке отпугнуть, однако Паэс, находясь в нетрезвом состоянии, не придал значения угрозе, напротив...]

[...проведено исследование записи о рождении мальчика Франсиско Рамиреса, родившегося 28 января 1938 года в районной больнице Коронеля-Вальехоса, где в графе "отец" записано "неизвестен". Вслед за этим немедленно была вызвана тетя обвиняемой, сеньорита Аугуста Рамирес, сорока одного года, не замужем, род занятий — прачка. Она под присягой заявила, что не однажды получала от Паэса деньги на содержание ребенка, и добавила, что многократно, а точнее каждый раз, при встрече с убитым приводила ему ребенка, чтобы тот виделся с ним при условии, поставленном убитым, что она ничего не скажет матери ребенка о том, что он с ним виделся. По утверждению вышеупомянутой прачки, он был весьма ласков с сыном, поскольку тот очень на него похож, и они встречались рано утром в отдаленных районах поселка, поскольку убитый боялся, что его увидят с ребенком. Данный убитый угрожал прачке, что перестанет давать ей деньги, если она расскажет обвиняемой, что он видится с ребенком. Однажды убитый явился с резиновым мячом в подарок для ребенка и поставил условие, что прачка скажет, что она купила мяч на данные им деньги, но прачка предпочла сказать обвиняемой, что она нашла мяч на улице в канаве, поскольку обвиняемая с неодобрением отнеслась бы к такой трате.]

[...в доме соседей прачки и препровожден, вместе с резиновым мячом, в здание полицейского отделения для осмотра заверяющим подлинность сего офицером и нижеподписавшимся. Засвидетельствовано разительное сходство с убитым. Касательно мяча, в результате экстренного расследования подтвердилось, что он был приобретен в баре-магазине "Ла Криолья" убитым неустановленного числа в период с декабря прошлого по январь текущего года, вероятно, по случаю Дня волхвов, согласно показаниям под присягой хозяина торгового заведения г-на Камило Понса.

Далее были запрошены сведения о нравственном облике обвиняемой у ряда соседей, а также у прежних хозяев, учительницы начальной школы госпожи...]

[Тем не менее любопытное замечание капрала Лонати ставит под сомнение непредумышленность кровавого происшествия: он вспоминает, что видел, как бывший унтер-офицер Паэс перелез через стену в направлении участка, принадлежащего г-ну Саэнсу, другой ночью, за несколько дней до этого, а также вспоминает отдельные шутки или остроты бывшего унтер-офицера о неких тайных забавах в часы дежурства, причем шутки эти сам он никогда не пояснял и никто не пытался прояснить. Из этого следует, что убитый мог посещать обвиняемую и раньше, а это раз-

рушило бы алиби последней, хотя можно также заключить, что убитый перебирался через стену, но неизменно находил запертой дверь, открывающую доступ в комнаты, пока жестоко не поплатился, обнаружив ее открытой вчера на рассвете.

В помещениях полицейского участка также не удалось найти посуду от алкогольного напитка, употребленного убитым, которому...]

Настоящие сведения представляются нам полными в связи с информацией, собранной по интересующему нас делу. Обвиняемая содержится в настоящее время под наблюдением врача в камере № 8 данного полицейского отделения в режиме изоляции, если не считать необходимых приходов и уходов судебного врача.

Удостоверяют под присягой настоящие показания в законном порядке

Селедонио Горостиага,
комиссар

Бенито Хайме Гарсиа,
заместитель комиссара

★

Полиция провинции Буэнос-Айрес

Участок или отделение: Коронель-Вальехос
Дело направлено в: местный архив
Дата: 19 июня 1939 года

Задержаны несовершеннолетние Селестино Паэс, семнадцати, и Ромуальдо Антонио Паэс, четырнадцати лет, оба братья покойного унтер-офицера данного полицейского отделения Франсиско Каталино Паэса, за то, что бросали камни в обвиняемую в совершении убийства Антонию Хосефу Рамирес в тот момент, когда она в сопровождении сотрудника Арсенио Линареса садилась в поезд, следующий до города Мерседес, где ее ожидает суд за совершение убийства. Один камень попал в подсудимую и стал причиной ранения в основании черепа, хотя и не в тяжелой форме, однако ей немедленно была оказана первая медицинская помощь службой самого поезда, который отправился с опозданием вследствие того, что указанные несовершеннолетние спрятались за одним из вагонов. После их поимки поезд отправился в путь. Оба несовершеннолетние переданы в распоряжение мирового судьи округа Коронель-Вальехос.

Бенито Хайме Гарсиа,
заместитель комиссара

— Можно? *фу, с души воротит*

— Да, проходите, пожалуйста. Я вас ждала, *ишь как расфуфырилась, пигалица*

— Какие у вас цветы красивые... *а дом – гадость мерзопакостная*

— Это единственное, что мне будет жалко оставить, если я уеду из Вальехоса... *чего уставилась на пол? ну разбита мозаика, а сама-то разоделась в пух и прах: пальто из дорогой шерсти, фетровая шляпа*

— Ужасно холодно, правда? *у нее и печки-то нет, голь перекатная*

– Да, простите, что в доме так холодно, идите сюда, мы перейдем в залу. *Ну, ведьма, попробуй найди грязь...смотри, какая чистота*

– Знаете, я вполне могу пройти на кухню, если там потеплее... *печки нет, и зоб уже болтается, ей небось лет сорок пять, и мешки под глазами*

– Ладно, если вам все равно, там все чистенько, к счастью. *думала застать меня по уши в грязи, – у, карлица! карла злобная! сколько ни напяливай на себя шляпу, выше не станешь*

– Много дров уходит на печку в кухне? *небось целыми днями вылизывает, голытьба позорная*

– Немало, но поскольку я целые дни провожу здесь, ничего страшного. *да, я простая, а тебе-то что?*

– Получили письмо от дочери? *толстухи*

– Да, у нее все прекрасно, спасибо. *подцепила мужа, не в пример тебе*

– Куда она там переехала, в Чарлоне? *три лачуги в пыльной глухомани*

– Да, у парня в Чарлоне свое дело. Чарлоне, конечно, крохотный, *зато она замужем, замужем, не в девках, как сама знаешь кто...*

– Вы правильно поступаете, уезжая из Вальехоса, что вам тут делать, одной? *и с такой репутацией*

– Да, вот дочь уехала, что мне тут одной делать. *когда любишь, к чему терять время в одиночку...*

– Сколько лет, как вы овдовели? *что в ней нашел брат? она такая заурядная, плохо одета*

– Уже скоро двенадцать лет. Девочке было восемь лет, когда он умер. Я много в жизни выстрадала, сеньорита Селина. *теперь мой черед пожить в свое удовольствие, вот так-то...*

– Сколько вам было, когда умер ваш супруг? *признавайся*

– *Что ж ей сказать?* Девочке было восемь... *нет, нет, нет, не дождешься*

– Знаете, сеньора, как я передавала, у меня к вам очень важный разговор. *ишь выпендрилась – стрижка "а-ля гарсон", аж противно, и с такими кольцами в ушах – жуткая дешевка*

– Да, говорите со всей откровенностью. *помоги мне, Боже, такая на все способна*

– Знаете, прежде всего, обещайте, пожалуйста, никому об этом не рассказывать. *помучаешься, тварь, что не можешь растрепать об этом соседкам, на всю твою воронью слободку*

– Клянусь самым святым на свете. *Господь меня не покарает за то, что клянусь?*

– Кем? *если поклянешься моим братом, плюну тебе в морду*

– *Хуаном Карлосом не осмелюсь.* Счастьем моей дочери.

– Ладно. Понимаете, я получила письмо от брата, где он пишет, что вы собираетесь сделать.

– Что же он пишет? *чего ей надо? будет угрожать, что расскажет все моей девочке?*

– Зачем повторять снова? *ну что – съела?*

– А вдруг он вам пишет не всю правду, я не хочу сказать, что он может лгать, но так, на всякий случай, чтобы не было недоразумений. *на всякий случай*

– Он пишет, мол, вы узнали, что мы с мамой, *не ты – дрянь немытая,* не в состоянии посылать впредь столько денег в Кордову на новый курс лечения, и пансион, в котором он теперь живет, плоховат, а самый лучший стоит таких денег, что не подступишься, в общем, что вы ему напи-

сали, как собираетесь продать этот дом и переехать в Коскин, чтобы купить там домик и взять его на пансион. *как тебя брат терпит, карга старая, вечно на высоком каблуке, а чулки-то драные*

— Да, все правда, и если я смогу, возьму кого-нибудь на пансион по-настоящему, чтоб возместить расходы.

— Маму коробит от всего этого. *что приходится якшаться со всякой рванью*

— Почему? разве это не для блага сына? *у всех этих дамочек ледяное сердце*

— Да, но она страдает, что не в состоянии помочь ему, как хотела бы.

— *Лучше бы выслали ему немного денег, чем столько пальто и шляп разводить.* Но ведь нельзя же быть такой гордячкой, это нехорошо.

— Мама не гордячка, вам не следовало бы так говорить. Просто мама была воспитана, чтобы жить в довольстве, и теперь она расстроена, это ведь естественно, не так ли? *получила? так тебе и надо!*

— *как ты смеешь оскорблять меня, сучка...* Да, матери — они такие.

— Ну вот, в общем, мама, и я тоже, мы хотели бы просить вас об одной вещи.

— Слушаю. *они мне все погубят? лишат меня моей любви?*

— Вы будете продавать мебель, объявите распродажу?

— *я спасена?* Нет, за нее ничего не выручишь, и потом, если придется покупать новую мебель в Коскине, выйдет втридорога. К тому же не знаю, есть ли там вообще мебельный магазин, представляете, если придется заказывать аж в самой Кордове?

— Мы с мамой так и думали, что вы повезете отсюда.

— Да, повезу отсюда. У меня уже и предложение по дому есть, знаете? *ничто, ничто меня не остановит*

— В общем, мама, и я тоже, мы просим вас об одном: вы не встретите никаких возражений с нашей стороны, но мы просим вас никому не говорить, что вы едете в Коскин. *нахалка, сойтись с парнем младше себя*

— Не беспокойтесь, я сама не собиралась никому говорить, и дочери тоже не всё. Сами знаете, какие тут длинные языки. Слышали, что говорят про Мабель... *вот тебе, на, она твоя подружка*

— *ты на что намекаешь, и еще зоб развесила?* Я в это не верю. Девушка из приличной семьи, как Мабель, не могла спутаться с этим метисом.

— *все вы шлюхи, а ты хуже прочих.* Возможно, это и выдумки. Но, кажется, в показаниях она сама себе противоречила.

— Наверное, волновалась... Итак, вернемся к нашему делу, пусть даже вы не скажете про Коскин, люди догадаются, если вы не будете осторожнее. Например, мебель не стоит отправлять отсюда.

— А как же мне сделать?

— Если вы отправите мебель через здешнюю транспортную фирму, все сразу об этом узнают. Пошлите мебель отсюда на адрес вашей дочери в Чарлоне, а оттуда в Коскин. И во всем принимайте те же меры предосторожности.

— *Хуана Карлоса тебе у меня не отнять.* Какие еще предосторожности?

— Во всем. Тогда никто не узнает, что вы там с моим братом. Вы должны понять, что для нашей семьи это стыд и позор. *вот я тебе и сказала*

— *нет, стыдно воровать.* Если Господь послал эту болезнь вашему брату, значит, на то была воля Божья, и стыд здесь не поможет.

– Но вы обещаете мне поступить так с мебелью и с купчей на дом? Вам следует для всех формальностей давать адрес вашей дочери в Чарлоне. Обещаете?

– Обещаю. *а ты, шлендра, лезешь в машину к коммивояжерам, карлица гадкая, какое право имеешь ты говорить со мной таким тоном?*

Эпизод тринадцатый

...часы летят, их не вернуть назад.
Альфредо Ле Пера

Дело было осенним вечером. На этой улице Буэнос-Айреса деревья росли под наклоном. Почему? Высокие многоквартирные дома по обе стороны тротуара заслоняли солнечные лучи, и ветви тянулись согбенные, словно умоляя, к середине мостовой... в поисках света. Мабель шла на чаепитие к подруге, подняла глаза к вековым кронам, увидела, как мощные стволы склоняются, унижаясь.

Вероятно, смутное предчувствие охватило ее горло шелковой перчаткой, Мабель сжала в руках букет роз и вдохнула сладкий аромат, – почему ей вдруг подумалось, что осень пришла в город навеки и никогда его не покинет? Фасад многоквартирного здания показался ей роскошным, однако отсутствие ковра у входа успокоило: здание, в котором ей весьма скоро предстояло жить, напротив, располагало этим важнейшим элементом для определения категории дома. В лифте все же висело зеркало, и она пристально осмотрела свой макияж через тонкую вуаль шляпки черного фетра, украшенной гроздью целлофановых вишенок. Напоследок она пригладила мех лисьих хвостов, накинутых на плечи.

Третий этаж, квартира "Б", с высокой прической и густыми тенями на глазах открывшая дверь подруга Нене показалась ей несколько постаревшей.

– Мабель, как я рада тебя видеть! – и они дважды поцеловались в каждую щечку.

– Нене! ах, что за Божий ангелочек, и уже ходит, сокровище! – она целовала ребенка и заметила дальше, в манеже, младшего сына подруги, – а у меньшего – дивное личико!

– Нет... Мабель... вовсе они и не дивные, правда ведь не красавцы? – искренне сказала мать.

– Нет, чудные, такие бутузы, такие курносенькие, сколько маленькому?

– Малявке восемь месяцев, а большенькому уже исполнилось полтора года... хорошо хоть, что мальчики, да? и не так уж важно, что не красивые... – Нене почувствовала себя несчастной, ей нечем похвастать, кроме двух малопривлекательных детей.

– Ой, они у тебя прямо подряд... ты времени зря не теряла, а?

– Ах, знаешь, я так боялась, что дни у тебя пролетят и ты не успеешь меня навестить, как идут приготовления?

– Что называется – в сумасшедшей беготне, и это при том, что я не шью длинного платья и банкет мы не устраиваем!.. У тебя такой очаровательный дом, – голос Мабель задрожал от притворства.

— Думаешь?

— Разве такое может не нравиться? как только вернусь после медового месяца, обязательно приходи взглянуть на наше гнездышко, конечно, у меня квартирка такая малюсенькая.

— Поди, конфетка, — возразила Нене, ставя в вазу благоухающие розы, которые она обожала, — а ты, наверно, забыла принести мне фото твоего жениха?

Обе подумали об идеальном лице Хуана Карлоса и несколько секунд избегали смотреть друг другу в глаза.

— Нет, зачем, он нескладный коротышка...

— До смерти хочется с ним познакомиться, ведь почему-то ты за него выходишь, ушлая. Он, наверно, очень интересный мужчина. Покажи мне фото коротышки... — не успела Нене закончить последнюю фразу, как пожалела, что произнесла ее.

— Удобные эти кресла, нет, милый, чулки ты мне не трогай!

— Луисито! не смей, а то получишь а-та-та... подожди, сейчас я дам тебе пирожное, — и Нене направилась в кухню, чтобы согреть воду для чая.

— Ты Луисито, а твоего братика как зовут? — улыбнулась Мабель ребенку, пытаясь отыскать в его чертах какое-нибудь бесспорное сходство с мужем Нене.

— Мабель, иди, я покажу тебе дом.

Оказавшись вдвоем на кухне, женщины не смогли устоять перед нахлынувшими воспоминаниями. Столько вечеров провели они на той, другой кухне Нене, пока за окном завывал пыльный ветер пампы.

— Знаешь, Нене, хорошо бы сейчас выпить мате, как в старые времена... сколько мы уже не пили мате вместе?

— Тыщу лет, Мабель. Примерно с той поры, как я стала Королевой весны... а теперь у нас апрель 41-го...

Обе умолкли.

— Нене, говорят: любая ушедшая пора лучше была. Разве это не правда?

Они вновь умолкли. Обе нашли ответ на этот вопрос. Один и тот же: да, прошлое было лучше, ибо тогда обе они верили в любовь. Безмолвие сменилось тишиной. Угасающий свет сумерек просачивался через слуховое окно и окрашивал стены лиловым. Мабель, не будучи хозяйкой дома, но не в силах больше выдержать унылую тоску, без спроса зажгла лампочку, свисавшую с потолка. И спросила:

— Ты счастлива?

Нене ощутила, что соперник, превосходящий ее хитростью, совершил внезапное нападение. Она не знала, что ответить, собиралась сказать “грех жаловаться”, или “всегда есть свои ‘но’”, или “да, вот у меня два сыночка”, однако предпочла пожать плечами и загадочно улыбнуться.

— Видно, что ты счастлива, у тебя семья, какую поискать...

— Да, грех жаловаться. Мне бы, конечно, хотелось квартиру побольше, чтобы взять служанку с проживанием, а то укладывать ее спать в гостиной слишком уж несподручно. А знаешь, сколько возни с этими ребятишками? Сейчас начнется зима, и пойдут простуды... — Нене предпочла умолчать о своих прочих жалобах: что она еще не бывала ни в одном

ночном клубе, что никогда не летала на самолете, что ласки мужа для нее не... ласки.

– Но они такие крепыши... Ты часто выходишь в город?

– Нет, куда я пойду с этими двумя, если они без конца ревут-хнычут? или писают-какают. Заведи детей, сама увидишь.

– Не будь у тебя их, ты бы о них мечтала, не жалуйся, – прибавила Мабель с лукавством, так как и сама не стремилась к этой рутинной жизни матери и жены, но разве предпочтительнее сидеть незамужней в городке, оставаясь мишенью для злословия?

– Ну а ты про себя-то расскажи... много детей хочешь?

– Мы с Густаво договорились, что не будем заводить детей, пока он не доучится. Ему осталось мало предметов, но он все никак не сдаст, и еще он...

– А что он там изучает?

– Будет доктором экономических наук.

Нене подумала, насколько солиднее, чем аукционист публичных торгов, смотрелся бы доктор экономических наук.

– Мабель, расскажи мне что-нибудь про Вальехос.

– Ну, свежих новостей у меня нет никаких, я ведь уже больше месяца в Буэнос-Айресе, с этими приготовлениями.

– Хуан Карлос все еще в Кордове? – Нене почувствовала, как краска заливает щеки.

– Да, похоже, ему лучше. – Мабель взглянула на голубое пламя газовой конфорки.

– А Селина?

– Так, более-менее. Чего об этом говорить, можешь себе представить. Она пошла дурным путем, известно: с коммивояжерами связываться – гиблое дело. Ты по вечерам никакую постановку не слушаешь?

– Нет, а есть какая-нибудь симпатичная?

– Божественная! в пять, не слушаешь?

– Нет, никогда, – Нене вспомнила, что подруга всегда раньше нее узнавала, какой теперь лучший фильм, лучшая актриса, лучший герой-любовник, лучшая радиопостановка, почему она всегда давала себя обыграть?

– Я уже пропустила много глав, но по возможности слушаю.

– Жаль, сегодня опять пропустишь. – Нене собиралась поговорить с Мабель обстоятельно, предаться воспоминаниям – осмелится ли она вновь вернуться к теме Хуана Карлоса?

– У тебя нет приемника?

– Есть, но уже шестой час.

– Нет, еще только без десяти пять.

– Тогда можем послушать, если хочешь. – Нене вспомнила, что как хозяйка дома обязана угождать гостье.

– Вот здорово! ты не сердишься? Мы все равно можем продолжать разговор.

– Да, чудесно, как называется пьеса?

– "Раненый капитан", осталось всего четыре дня до окончания, а на следующий месяц анонсировали "Забытое обещание". Хочешь, расскажу тебе с начала?

– Да, только потом не забудь рассказать мне про Гузю. Как она?

— Лучше некуда. Ну ладно, расскажу, что там было в начале, а то уже скоро пять и ты ничего не поймешь, а потом ты наверняка сама станешь слушать дальше.

— Только поторапливайся.

— В общем, дело происходит во время войны четырнадцатого года, капитан французской армии, молодой человек, из очень аристократической семьи, которого ранило где-то на границе с Германией, и когда он приходит в себя в окопе, рядом с ним лежит убитый немецкий солдат, и он слышит, что это место занято немцами, тогда он снимает форму с убитого и выдает себя за немца. А весь этот район Франции оказался занят немцами, и они продвигаются к одной из ближних деревень, и проходят через какую-то ферму, и просят еды. Фермер — грубый и недалекий крестьянин, но его жена, очень красивая женщина, дает немцам все, лишь бы они продолжали свой путь, но тут она видит его и узнает. Оказывается, она была девушкой из деревни, расположенной неподалеку от замка, в котором жил этот юноша, и когда он еще только начинал свою военную карьеру и приезжал на отдых в замок, он всегда встречался с ней в лесах, ведь это была его настоящая любовь юности.

— Но что это была за девушка? серьезная или вертихвостка?

— Понимаешь, она влюбилась в него еще девочкой, когда он убегал из замка на ручей купаться и они собирали цветы, а уже став старше, она ему наверняка отдалась.

— Тогда поделом ей. Если отдалась.

— Нет, в сущности, он ее любит по-настоящему, но, поскольку она из деревенских, он идет на поводу у родных, которые хотят устроить ему брак по расчету с другой, благородной девицей. Послушай, Нене, мы вроде собирались пить мате?

— Ой, за разговором я и забыла, сейчас подоспеет чай, или ты хочешь мате? А он благородную любит или нет?

— Ну... это молоденькая девушка, которая тоже очень его любит, она такая утонченная, должна ему нравиться. Оставь, будем пить чай...

— Но по-настоящему он может любить только одну.

Мабель предпочла не отвечать. Нене включила радио, Мабель посмотрела на нее и уже не через пелену вуали своей шляпки, а через пелену обманчивой видимости смогла разглядеть сердце Нене. Сомнений не было: если эта дура считала невозможным любить более одного мужчины, значит, ей не удалось полюбить мужа, потому что Хуана Карлоса-то она любила.

— И он возвращается к ней из расчета.

— Нет, он ее любит на свой манер, Нене, но по-настоящему.

— Как это — на свой манер?

— Да просто для него родина прежде всего, он очень заслуженный капитан, с медалями. А потом идет другая часть, где ее деверь, предатель, понимаешь? брат грубого мужа, он шпионит на немцев, приходит на ферму и обнаруживает парня, спрятанного в амбаре, и тот вынужден убить шпиона и закапывает его ночью в саду, а пес не лает, потому что девушка приучила его любить пленника.

— "Ваш лучший друг, станция ЛР-7 из Буэнос-Айреса... представляет... Вечерний радиотеатр..."

— Я пока налью чай... а то дети проголодались.

— Да, только обязательно слушай, дай сделаю громче.

Послышались первые звуки мелодии, исполняемой на скрипке. Вслед за тем громкость музыки убавилась, уступив место хорошо поставленному голосу диктора: "В то морозное зимнее утро Пьер разглядел из своего укрытия на чердаке амбара перекрестный огонь первых выстрелов. Две армии сражались в нескольких километрах от фермы. Если бы только он мог прийти на помощь своим, пронеслось у него в голове. Внезапно в амбаре раздался какой-то шум, Пьер замер на своей подстилке из сена.

– Пьер, это я, не бойся...

– Мари... так рано.

– Пьер, не бойся...

– Единственное, чего я боюсь, это грезить, пробудиться и больше не увидеть тебя... там... твой силуэт в дверном проеме, а за тобою – мерцанье розоватое души..."

– Мабель, скажи, ведь самое прекрасное, когда ты влюблена.

– Т-с-с!

" – Пьер... тебе не холодно? Пашни побелели от инея, но мы можем спокойно разговаривать, он ушел в селение.

– Почему так рано? разве он не ходит всегда в полдень?

– Он боится, что позже не получится, если сражение затянется. Поэтому я пришла сейчас сменить тебе повязку.

– Мари, дай взглянуть на тебя... Что у тебя с глазами, ты случаем не плакала?

– Пьер, ты что говоришь. Мне некогда плакать.

– А если б выдалось время?

– Если б выдалось... я плакала бы безмолвно.

– Как сегодня.

– Пьер, дай сменю тебе повязку, да, вот так, тогда я смогу снять кусок холста, пропитанный настоем трав, посмотрим, помогло ли это незатейливое полевое средство.

Мари принялась снимать повязку, которой была обмотана грудь ее возлюбленного. Как в полях Франции разворачивалось сражение, так и в сердце Мари бились две противоборствующие силы: прежде всего ей хотелось увидеть, что рана зарубцевалась, благополучно увенчав ее неустанные заботы, хотя она не очень верила в целебную силу этих жалких полевых трав; однако если рана зажила... Пьер скорее всего покинет это место, удалится, и, возможно, навсегда.

– Сколько раз я обматывала повязкой твою грудь, тебе не больно, пока я снимаю?

– Нет, Мари, ты не можешь причинить мне боль, ты слишком нежна для этого.

– Что за глупости ты говоришь! Я до сих пор помню твои вопли в тот день, когда промывала рану.

– Мари... зато из твоих уст я никогда не слышал жалоб. Скажи, какие чувства ты испытала бы, погибни я в сражении?

– Пьер, не говори так, мои руки дрожат, и я могу сделать тебе больно... Осталось лишь снять кусок холста, пропитанный настоем трав. Не шевелись.

Перед глазами Мари предстало – без повязок – решение Судьбы".

Вслед за ритмичной и современной музыкальной заставкой послышалось рекламное объявление, посвященное зубной пасте, обладающей длительным гигиеническим действием.

— Тебе нравится, Нене?

— Да, постановка хорошая, но она играет не очень. — Нене побоялась хвалить работу исполнительницы женской роли, памятуя о том, что Мабели не нравились аргентинские актрисы.

— Ты что, она изумительна, мне нравится, — возразила Мабель, вспоминая, что Нене никогда не умела судить о кино, театре и радио.

— Она впервые отдалась ему в амбаре или еще раньше, будучи не замужем?

— Нене, конечно раньше! не видишь, что это давняя любовь?

— Ясно, она не может тешить себя иллюзиями, раз уже ему отдалась, я-то подумала: если бы она не отдалась ему раньше, когда они были молоденькими, а в амбаре он лежал раненый и между ними ничего не могло случиться, тогда он вернулся бы к ней охотнее.

— Это здесь ни при чем, если любит — значит, любит...

— Ты уверена? Как же ей добиться, чтоб он вернулся за ней после войны?

— Это зависит от мужчины, если он рыцарь и держит слово... Молчи, уже начинается.

"Перед ее глазами предстало — без повязок — предначертание судьбы. Мари увидела с радостью, изумлением, болью... что рана затянулась. Бальзам возымел свое действие, а сильный от природы организм Пьера сделал остальное. Но если бы Мари решила... этот рубец мог вновь разойтись, стоило ей только слегка вонзить ногти в новую, свежую, еще прозрачную кожицу, соединявшую края зияющей раны.

— Мари, скажи, я выздоровел?.. почему ты не отвечаешь?

— Пьер...

— Да, скажи скорее, я могу присоединиться к моим войскам?

— Пьер... ты можешь отправляться в путь, рана закрылась.

— Я отправляюсь! мой долг сражаться за наших, потом я вернусь и, если надо, готов с ним сразиться грудь с грудью... и тебя освободить.

— Нет, только не это, он лютый, подлый зверь, способный вероломно напасть сзади".

— Мабель, почему она вышла за такого гнусного мужа?

— Не знаю, я пропустила много глав, наверное, она боялась остаться в девах и одна.

— Она была сиротой?

— Даже будь у нее родители, она, видно, хотела завести свой дом, ну дай послушать.

" — Как ты можешь быть столь уверен, что непременно вернешься?"

Вслед за ритмичной и современной музыкальной заставкой послышалось рекламное объявление, посвященное туалетному мылу, производимому той же фирмой, что рекламировала уже воспетую ранее зубную пасту.

— Нене, я тебя убью, из-за тебя не расслышала, нет... это я в шутку, съем-ка я трубочку с кремом! раздамся как бочка.

— А Гузя? как поживает?

— Лучше некуда, не захотела возвращаться к нам работать, на меня больше и не взглянула, после всего, что я для нее сделала...

— А на что она живет?

— Стирает на заказ в своей хижине, вместе с тетей. У соседа умерла жена, у него дом с собственным участком, они ему готовят, смотрят за

детьми, не бедствуют. Но какая Гузя неблагодарная, вот люди, чем больше им добра делаешь, тем хуже...

Далее рассказчик обрисовал положение французских войск. Они были окружены, обречены постепенно терять силы. Если бы Пьер добрался до своих, он лишь пополнил бы списки убитых. Но хитроумный капитан задумал в высшей степени дерзкий маневр: он переоденется в форму противника и будет сеять смятение в рядах немцев. Мари между тем противостояла мужу.

— Мабель, ты была бы способна на такую жертву?

— Не знаю, думаю, я бы расковыряла его рану, тогда бы он не пошел снова воевать.

— Конечно, если бы он догадался, он бы навеки ее возненавидел. Бывает, оказываешься между двух огней, правда?

— Знаешь, Нене, мне кажется, все уже расписано, я фаталистка, можешь ломать себе голову, придумывать, планировать всякое, а потом все выходит наоборот.

— Думаешь? По-моему, надо идти ва-банк, хоть раз в жизни. Я вечно буду жалеть, что не сумела рискнуть.

— Чем, Нене? выйти замуж за больного человека?

— Зачем ты это говоришь? зачем поднимаешь эту тему, если я говорила о другом?

— Не сердись, Нене, но кто мог подумать, что Хуан Карлос кончит этим?

— Теперь он больше печется о здоровье?

— Ты с ума сошла. Он только и делает, что увивается за женщинами. Не пойму только, как они не боятся заразиться.

— Ну... кто-то, видно, не знает. Раз Хуан Карлос такой красавец...

— Да все они распутные.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Тебе лучше знать!

— О чем? — Нене почувствовала, как перед ней вот-вот разверзнется бездна, голова пошла кругом, ноги подкосились.

— Ни о чем, видно, что ты...

— Ах, Мабель, что ты хочешь сказать?

— У тебя с Хуаном Карлосом не было... ну, этого, сама знаешь.

— Ты ужасна, Мабель, в краску меня вгоняешь, разумеется, ничего не было. Но я его любила, не отрицаю, я имею в виду, как жениха.

— Слушай, успокойся, до чего ты нервная.

— Но ты что-то хотела сказать. — Головокружение неодолимо охватило ее, она жаждала узнать, что скрывается в глубине той бездонной пропасти.

— Что похоже, когда у женщин бывает что-то с Хуаном Карлосом, они потом не хотят с ним расставаться.

— Ну, он очень красивый парень, Мабель. И такой обольстительный.

— Ах, ты не желаешь понять.

“— Если французские войска перейдут в наступление, нам лучше уйти отсюда, жена. И поскорее, с этими тюками сена и этими формами для сыров. Ты день ото дня все нерасторопнее и даже дрожишь от страха, дура набитая!

— Куда мы пойдем?

— К моему брату, не понимаю, почему он не вернулся сюда.

– Нет, только не к нему, нет.

– Не смей перечить, а то сейчас получишь оплеуху, ты знаешь, какая у меня тяжелая рука".

– Она что, дает себя бить? вот глупая!

– Ну... Мабель, может, она ради детей, у нее есть дети?

– Вроде есть. Я убью всякого, кто осмелится поднять на меня руку.

– Мабель, до чего мерзавцы эти мужчины...

– Не все, дорогая.

– Я имею в виду, мужчины, которые распускают руки.

Рассказчик простился со слушателями до завтра, прервав бурную сцену – неистовую перепалку Мари и ее мужа. За этим последовала музыкальная заставка и, наконец, еще одно, совместное восхваление уже упомянутых зубной пасты и мыла.

– Но все-таки, Мабель, чего это я не хочу понять из сказанного тобой о Хуане Карлосе? – Нене продолжала игру, устремляясь к собственной погибели.

– Что женщины не хотели с ним расставаться... из-за того, что бывает в постели.

– Нет, Мабель, я не согласна. Женщины в него влюбляются потому, что он очень красивый парень. А что бывает в постели, как ты говоришь, здесь ни при чем. Ведь, сказать по правде, когда погашен свет, уже не разглядеть, красивый муж или нет, все они одинаковы.

– Все одинаковы? Значит, Нене, ты не знаешь, что нет двух одинаковых.

Нене подумала о д-ре Аскеро и о своем муже, не смогла провести сравнение, моменты сладострастия с ненавистным врачом были мимолетны и сопряжены с неудобствами.

– Мабель, тебе-то откуда знать, ты ведь незамужняя...

– Ах, Нене, все мои однокашницы уже замужем, и с ними, детка, у меня полная доверительность, и они мне все рассказывают.

– Да ты-то что знаешь про Хуана Карлоса, ничего ты не знаешь.

– Нене, разве ты не знаешь, чем славился Хуан Карлос?

– Чем?

Мабель сделала непристойное движение, показав руками по горизонтали расстояние длиной примерно в тридцать сантиметров.

– Мабель! ты меня прямо в краску вгоняешь, – и Нене почувствовала, как все ее страхи кошмарным образом подтвердились. Страхи, которые закрались ей в душу с самой свадебной ночи, – она много бы отдала, чтобы забыть грязный жест, который только что видела!

– А это, похоже, имеет большое значение, Нене, для счастья женщины.

– Муж мне сказал, что нет.

– Может, он тебе зубы заговаривал... Глупышка, я смеюсь, мне не это рассказали про Хуана Карлоса, это я тебе так, в шутку сказала. На самом деле мне рассказали другое.

– Что?

– Извини, Нене, но когда мне это рассказали, я поклялась, что никогда, никогда никому этого не скажу. Так что не могу тебе рассказать, уж извини.

– Мабель, это нехорошо. Начала – так заканчивай.

Мабель отвернулась.

– Прости, если уж я дала клятву, то держу ее.

Мабель делила пирожное надвое вилкой, Нене увидела, как вилка обернулась трезубцем, на лбу Мабель выросли два рога дьявола, а под столом извилистый хвост обвился вокруг ножки стула. Нене сделала усилие и отхлебнула глоток чая: откровенно дьявольское видение рассеялось, и хозяйка дома внезапно придумала, как частично расквитаться с подругой за удары, нанесенные во время встречи; глядя пристально ей в глаза, она неожиданно спросила:

— Мабель, а ты действительно влюблена в своего жениха?

Мабель заколебалась, краткие секунды, пока она подыскивала ответ, выдали ее игру, комедия счастья окончилась. Нене с глубоким удовлетворением убедилась, что это был разговор двух шарлатанок.

— Нене... ну и вопросик...

— Я знаю, что ты его любишь, но иногда по глупости всякое спросишь.

— Конечно, я его люблю. — Но это было не так. Мабель подумала, что со временем, возможно, научится любить его, а вдруг ласки жениха не заставят ее забыть ласки других мужчин? как будет ласкать ее жених? для этого ей придется дождаться свадебной ночи, ибо познать это раньше было бы слишком рискованным. Мужчины...

— А ты, Нене, любишь мужа больше сейчас, чем до свадьбы?

Чай — без сахара. Пирожные — с кремом. Нене сказала, что ей нравятся новомодные болеро и центральноамериканские певцы, которые их исполняют. Мабель высказала свое одобрение. Нене добавила, что просто в восторге от них, такое впечатление, что слова написаны для всех женщин и в то же время для каждой в отдельности. Мабель подтвердила, что такое происходит, потому что в болеро звучит немало верных истин.

В семь вечера Мабель надо было уходить. Она сожалела, что уходит, не повидав мужа подруги — задержавшегося по делам в конторе — и, следовательно, не оценив, насколько его обезобразило бремя набранных килограммов. Нене обследовала скатерть на столе — ее так нелегко стирать и гладить — и удостоверилась, что она чиста, без единого пятнышка. Затем осмотрела обитые атласом кресла, они также не запачкались, и незамедлительно принялась надевать на них соответствующие чехлы.

Мабель вышла на улицу, уже стемнело. Как она и планировала, следовало воспользоваться свободным временем до ужина, чтобы оглядеть витрины большого магазина, расположенного в районе Нене, и сравнить цены. Мабель задумалась, она всегда была такая организованная, никогда не теряла времени даром — и чего она добилась всей этой расчетливостью и точностью? Может, лучше было отдаться первому же импульсу, может, любой мужчина, который повстречается на этой улице, способен принести ей больше счастья, чем ее сомнительный жених. А если сесть на поезд, следующий в Кордову? там в горах находится тот, кто любил ее однажды, заставив трепетать, как ни один другой. На этой улице Буэнос-Айреса деревья росли под наклоном, как днем, так и ночью. Что за напрасное унижение, ведь теперь вечер, солнца нет, к чему сгибаться? Или эти деревья совсем забыли о достоинстве и самолюбии?

Нене, в свою очередь, закончила надевать чехлы на кресла и убрала со стола. Складывая скатерть, она обнаружила, что искра от сигареты Мабель, единственной курильщицы, прожгла ткань.

— Что за неопрятная эгоистка! — тихо прошипела Нене, а ей неудержимо хотелось кататься по полу, испустить душераздирающий вопль, но

на глазах у двух своих детей она лишь заткнула руками уши, силясь заглушить навязчивый голос Мабель Саэнс: "...а это, похоже, имеет большое значение, Нене, разве ты не знаешь, чем славился Хуан Карлос?...глупышка, я смеюсь. На самом деле мне рассказали другое... но когда мне это рассказали, я поклялась... поклялась... поклялась, что никогда, никогда никому не скажу. А это, Нене, я тебе так, в шутку сказала. НА САМОМ ДЕЛЕ МНЕ РАССКАЗАЛИ ДРУГОЕ".

Деревья, которые сгибаются днем и ночью, изумительные вышитые полотна, которые может уничтожить маленькая искра от сигареты, крестьянки, которые влюбляются однажды в лесах Франции, влюбляются в кого не следует. Судьбы...

Эпизод четырнадцатый

... и ласточки полет однажды оборвется.
Альфредо Ле Пера

Падре, я должна сознаться во многих грехах Да, больше двух лет, я не решалась прийти Потому что мне предстоит принять таинство брака, это и побудило меня прийти Да, помогите мне, святой отец, ведь чувство стыда мне ничего не даст. Падре, помогите мне исповедаться во всем, что я совершила Я солгала, солгала моему будущему мужу Что имела связь только с одним мужчиной, с парнем, который собирался на мне жениться и потом заболел, а это неправда, я его обманула. Что мне делать, падре? Но если я скажу ему об этом, он будет страдать, и пользы от этого никому не будет Но если правда приносит одни лишь страдания, все равно ее надо говорить? Я сделаю это, святой отец, но мне надо покаяться и в другой лжи: я солгала, ужасно солгала... Нет, святой отец, в грехе сладострастия я уже исповедалась, от этого греха я очистилась, другой падре священник отпустил мне этот грех Я солгала перед правосудием В суде первой инстанции провинции Буэнос-Айрес Нет! этого я сделать не могу, падре Нет, правда причинит лишь новые страдания мне и всем остальным Падре, я вам все расскажу, да, вам я расскажу все Да, святой отец Почему, святой отец? Я жила с родителями в провинциальном городке, и по ночам в мою комнату приходил мужчина, который работал в полицейском участке Нет, падре, я не была в него влюблена Помогите мне, падре, я не знаю, зачем это делала Да, падре, чтобы забыть другого Да, падре, другого я любила, но он был болен, и я с ним рассталась, потому что боялась заразиться Он скрывал, что харкает кровью Я сделала для него доброе дело, святой отец, вам не кажется? Рядом с ним? Не знаю, падре. Я и правда любила его, но, увидев, что он болен, разлюбила. Падре, я должна быть искренна, иначе для чего я здесь? ведь так? Ну, я

хотела завести дом, семью и быть счастлива, падре, я не виновата в том, что разлюбила его! Да, святой отец, я слаба и прошу прощения Этот мужчина, что я вам говорила, приходил ко мне в комнату Нет, не больной, а тот, полицейский Нет, больной не был полицейским. И как-то жаркой ночью я оставила окно открытым и увидела, что он смотрит на меня из сада: он залез ко мне домой Нет, у меня не было сил прогнать его, и он стал приходить, когда ему вздумается, что мне делать, падре, чтобы заслужить прощение? Нет, я солгала правосудию по другой причине. Дело в том, что этот парень был отцом внебрачного ребенка моей служанки, которая вернулась из Буэнос-Айреса, когда я поддалась искушению с ним Нет, она вернулась потому, что я позвала ее, точнее — моя мама Нет, она работала у нас раньше, когда забеременела Нет, ему я ничего не могла сказать, потому что тогда еще не была с ним знакома, я с ним познакомилась потом, когда он стал работать в полиции Нет, не на процессе, я с ним познакомилась раньше, во время процесса его уже не было в живых, это был процесс по делу о его убийстве Да, я начну с начала. Когда приехала обратно служанка Из Буэнос-Айреса, потому что ее позвала моя мама, я поняла, что мы рискуем, ведь она могла нас увидеть Нет, не мама, ее комната была далеко, — служанка! она же ненавидела парня. Тогда я сказала ему, что боюсь, но он продолжал ко мне ходить. Служанка услышала шум как-то ночью, но ничего не поняла, но в другой раз ночью она услышала тот же шум и вышла во двор. Тогда она увидела, как он перелезает через стену, уже на обратном пути в полицейский участок, и услышала, как тихо закрылось мое окно. Да, тогда уже была зима. Она все поняла и следующей ночью осталась во дворе, несмотря на жуткий холод, дожидаться, пока он выйдет от меня Он уходил до рассвета. В ту роковую ночь я заснула, он меня разбудил, уже готовый прыгнуть из окна в сад, чтобы я закрыла окно. Это было той памятной зимой 39-го года, когда стояли жуткие холода. Я устраивалась поудобнее, чтобы спать дальше, когда услышала, что кто-то страшно кричит от боли. Я вскочила и открыла окно. Крики уже стихли, служанка отважилась дождаться его и дважды ударила ножом Да, я позвала папу с мамой, я, естественно, боялась, что служанка придет и убьет меня. Но я увидела, как папа пошел и приблизился к ней, стоявшей на коленях рядом с ним, упавшим замертво, с кухонным ножом, воткнутым в сердце. Она была неподвижна, папа подошел к ней и попросил вынуть нож и отдать ему. Та подчинилась, и папа, стараясь не испачкаться, взял нож за лезвие двумя пальцами и отвел ее за руку внутрь дома. Мама спросила ее, что она сделала, а служанка была как очумелая, ни на что не реагировала. Мама попросила меня принести духи и спирт, чтобы дать ей понюхать. Я до смерти перепугалась, что папа с мамой догадаются, что произошло. В ванной я увидела пузырек с таблетками снотворного — “люминала”. Я взяла две таблетки и понесла их, зажав в кулаке. Маме я сказала, что ничего не могу найти, потому что у мамы действительно мания все прятать и я зачастую не могу чего-то найти, тогда она сама пошла за духами и спиртом. Я запихнула таблетки в рот служанке и заставила их проглотить. Но те застряли в горле, мама вернулась и дала ей стакан воды, но не поняла, в чем

дело, и это при том, что мама у меня очень сообразительная. Вскоре служанка заснула. Когда полиция спросила меня, что произошло, не знаю, как я набралась смелости... и солгала им. Сказала, что парень хотел насильно овладеть служанкой и что она защищалась ножом. Ах, падре, я ведь не раз представляла себе все это, воображала, что такое может произойти, а он меня не слушал Нет, служанка проснулась только на следующее утро, я провела всю ночь возле нее и врачу столько всего наговорила, что он не дал отправить ее в полицию, а охранять ее остался капрал, который то и дело ходил на кухню поесть. Не знаю, замечали ли вы, что полицейские и врачи привыкли к несчастьям и не теряют самообладания. И все эти церковники, простите, священники тоже умеют держать себя в руках. Когда бедняжка проснулась, я сказала, что, если она расскажет правду, ее приговорят к пожизненному заключению и она больше не увидит сына. Я втолковывала ей, пока до нее не дошло, чтобы она ни в коем случае не говорила, что парень был у меня в комнате, а будто он перелез через стену, чтобы увидеть ее и снова над ней надругаться, что теперь ей нет смысла мне мстить, лучше самой спасаться, чтобы потом, так сказать, полностью посвятить себя заботам о своем малыше, и я ей четко разъяснила все, что ей надо изложить в показаниях. Она смотрела на меня, не говоря ни слова. И все вышло прекрасно. Она поняла: надо лгать, чтобы ее отпустили. И все поверили, что это было в порядке самообороны. Правду знали только она, адвокат да я и, разумеется, мертвый парень Который умер Какой больной? Нет, тот, про которого я говорила, не умер, он еще жив, бедный парень, я говорю про другого которого убила служанка! Нет, падре, что это даст? Но зачем, если бедняжка сделала это просто по своему невежеству? Вы думаете, Бог ее не простил? А Бог не может покарать ее как-то иначе? ее обязательно должно покарать правосудие? Да, падре, вы правы, правду нельзя скрывать Хорошо, святой отец, обещаю, я расскажу всю правду, к кому мне пойти? Нет, я не помню имени судьи Кажется, он умер не от первого удара ножом, от второго Возможно, он жил еще несколько секунд И Бог прощает даже за одну секунду раскаяния? Тогда я это сделаю, падре, раз это сократит его страдания в Чистилище Падре, вы думаете, у него была эта секунда раскаяния? ведь если этого не случилось, он попал в ад, и там ему никто не поможет, сколько бы мы, живые, ни молились за него Что именно? А что я могу для него сделать? Да, они очень бедны Ему, наверное, года три-четыре Да, в этих трущобах они становятся ворами, злодеями Это когда он достигнет школьного возраста Да, обещаю Пока смогу? Да, святой отец, обещаю и то и другое: пойти и рассказать всю правду и позаботиться об образовании этого бедняжечки Да, падре, я раскаялась Во всем Десять "Отче наш" и десять "Радуйся, Мария", и два Розария Богородице каждый вечер Да, падре, я понимаю, знаю, что я слаба Да, но чем я виновата, если разлюбила его? Я должна была выйти за больного парня, даже если не любила его? разве это не грех — выйти за мужчину

не по любви? разве это не обмануть его? разве обманывать — не грех? Да, я убеждена Спасибо, падре, обещаю Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

В субботний день, 18 апреля 1947 года, в 15 часов Хуан Карлос Хасинто Эусебио Этчепаре ушел из жизни. Рядом с ним находились его мать и сестра, которых он приехал навестить, как и каждый год, на Святую неделю, поскольку начало осени было рекомендовано врачами как пора, наиболее благоприятная для его кратких приездов в Коронель-Вальехос. В течение четырех последних дней он не покидал комнаты по причине сильнейшего физического истощения. В полдень он пообедал с большим, чем обычно, аппетитом, но острая боль в груди пробудила его от сиесты, он криками позвал мать и несколько мгновений спустя перестал дышать, задохнувшись от легочного кровотечения. Д-р Мальбран прибыл через десять минут и констатировал смерть.

В уже упомянутый субботний день, 18 апреля 1947 года, в 15 часов Нелида Энрикета Фернандес де Масса протерла тряпкой с мыльной водой пол в кухне своей квартиры в федеральной столице. Она закончила мытье тарелок и кухонной посуды, использованной во время обеда, довольная, что поступила по-своему, несмотря на возражения мужа. Тот лишний раз посетовал на то, что служанка не выходит по субботам, и просил жену оставить мытье тарелок на после сиесты. Нене сказала в ответ, что застывший холодный жир отмывается намного труднее, и он мрачно продолжал пререкания, ссылаясь на то, что позднее от ее прихода в спальню он проснется и не сможет заснуть снова, а это ему столь необходимо для успокоения нервов. Напоследок Нене ответила, что во избежание неудобств, закончив с кухней, она ляжет на кровать кого-то из детей.

В уже упомянутый субботний день, 18 апреля 1947 года, в 15 часов Мария Мабель Саэнс де Каталано, воспользовавшись присутствием матери, приехавшей в федеральную столицу, чтобы вместе отметить Святую неделю, доверила ей мытье посуды и повела двухлетнюю дочь на площадь греться на солнце. Как она и опасалась, расположенный на углу магазин товаров для мужчин, где работал молодой человек, который был ей так симпатичен, оказался закрытым.

В уже упомянутый субботний день, 18 апреля 1947 года, в 15 часов останки Франсиско Каталино Паэса покоились в общей могиле кладбища Коронеля-Вальехоса. От него оставался лишь скелет, заваленный другими трупами в различных стадиях разложения, на самом свежем из которых еще сохранялось полотно, в какое их заворачивают, прежде чем опустить в могилу через узкий проем. Отверстие было закрыто деревянной крышкой, которую посетители кладбища, особенно дети, обычно отодвигали, чтобы заглянуть внутрь. Полотно постепенно истлевало от соприкосновения с гниющей массой, и по прошествии какого-то времени обнажались голые кости. Общая могила находилась в глубине кладбища и граничила с самыми бедными земляными могилами; жестяная табличка гласила “Оссуарий”, и вокруг росли различные виды чертополоха. Кладбище, весьма удаленное от города, было спланировано в форме прямоугольника и по всему периметру окаймлялось кипарисами. Ближай-

шая смоковница росла на ферме, расположенной на расстоянии чуть более километра, и именно в это время года была усеяна спелыми плодами.

В уже упомянутый субботний день, 18 апреля 1947 года, в 15 часов Антония Хосефа Рамирес решила зарезать рыжего цыпленка из курятника, потому что рябой, которого она сперва отложила со связанными ногами в углу загона, был несколько тощ, а клиентка заказала ей цыпленка помясистее. Она попросила босоногую девочку семи лет догнать и поймать его. Это была младшая дочь вдовца, с которым Гузя сожительствовала около двух лет, он жил по соседству с хижиной ее тетки. Гузя не хотела отвлекать старшего мальчика двенадцати лет, который вскапывал огород, а два средних ребенка, одиннадцати и девяти лет, работали в городе посыльными соответственно в магазине и в кабачке. Ее собственный сын, Франсиско Рамирес, которому исполнилось девять лет, подрабатывал разносчиком газет. Таким образом, Гузе пришлось обратиться к младшей девочке, поскольку сама она уже была на сносях и не могла бегать за домашними животными.

★

Гроб, в котором лежали останки Хуана Карлоса Хасинто Эусебио Этчепаре, установили в одной из ниш белой стены, возведенной для этих целей на кладбище Коронеля-Вальехоса, неподалеку от главного входа, несколькими месяцами раньше. Ниши в стене располагались четырьмя горизонтальными рядами, гроб поставили в третьем ряду, который котировался по самой высокой цене, поскольку надписи находились на уровне глаз того, кто приходил к месту захоронения. Занятых ниш было немного.

Плиту белого мрамора украшали две стеклянные вазы, которые поддерживались мощными бронзовыми лапами, привернутыми к мрамору. На барельефной надписи были выбиты имя, даты рождения и смерти покойного, здесь же из-за недостатка места слегка теснились четыре бронзовые памятные таблички, исполненные по разным эскизам.

Табличка, установленная в левом верхнем углу, имела форму открытой книги, лежащей на ветвях омелы, и на ее страницах горельефом выступали волнистые буквы: “Хуан Карлос! Дружба была девизом твоей жизни. Да сопровождает тебя в последнем пристанище это заверение в бескорыстной привязанности. Твой высокий дух товарищества навсегда останется в памяти одноклассников из школы № 1, и мы надеемся, что великое горе от твоей утраты не даст нам забыть счастья от знакомства с тобой... Память о тебе — это четки, бусинки которых начинаются и заканчиваются в бесконечности”.

Табличка, установленная в правом верхнем углу, имела прямоугольную форму. Рядом с рельефным факелом красовалась надпись, расположенная прямыми параллельными строками: “Хуан Карлос Х. Э. Этчепаре, Да почиет в мире. Скончался 18—4—1947. Наша жизнь есть сон, подлинное пробуждение — это смерть, которая всех уравняет. Начальство, товарищи и подруги из Муниципальной управы, в знак памяти”.

Табличка, установленная в левом нижнем углу, была квадратной, ее единственным украшением являлся крест: “Хуанка! с твоим уходом я не только потеряла любимого брата, но и лучшего друга в этом отныне скудном моем бытии. Неувядаемая память о тебе сохранится в храме моего сердца, и вечным подношеньем ему станет ладан моих слез... Да бу-

дет твоя добрая душа из потустороннего мира навеки наставницей твоей сестренки Бог так хотел Селина".

На оставшейся табличке, установленной в правом нижнем углу, изображалась фигура ангела с закрытыми глазами и руками, скрещенными на груди, который парил на облаке, озаренном лучами свыше. Надпись гласила: "Тихо! мой сыночек спит Мама".

★

...он всегда смотрел на меня, когда я проходила мимо бара по пути домой, выполнив поручения... Радуйся, Мария, благодати полная; Господь с Тобою, благословенна Ты между женами и благословен плод чрева Твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, моли о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь... Пусть пойдет дождь и не засохнет трава, пусть бабушка выздоровеет, пусть не нападает больше саранча, все поедающая, и не будет больше вредителей и саранчи, в тринадцать лет, Святая Мария, Матерь Божия, откуда мне было знать, что такое мужчины! и с тех пор я каждый день молила, чтобы он умер, от всего сердца прошу прощения, каюсь, что желала смерти этому бедному парню, который умер вчера, я так его ненавидела, уже столько лет! 14 сентября 1937 года, девять лет исполнилось, мама, а я тебе так и не рассказала, но обещай, что будешь добра со мной, когда я тебе скажу, я никому и никогда не могла этого рассказать! он всегда смотрел на меня, если я шла мимо бара, а сегодня я прежде всего прошу здоровья для родных, пусть фруктовые деревья польет дождь, пусть взойдут семена, пусть урожай в этом году будет побольше, чем в прошлом, знаешь, мама, выполнив поручения, проходя мимо бара, если он не видел, я смотрела на него, но однажды его уже не было, и прошло не знаю сколько месяцев, и соседка видела, как он сошел с экспресса, такой загорелый! где он был столько времени?...в пять часов зимой темно, как ночью, на темной улице, в квартале от бара, неужели он за мной идет? "ты ведь с хутора, что за железной дорогой, правда? уже стала барышней", и заговорил со мной... что был на прогулке в поместье, знаешь, мама, он приехал за день до этого экспрессом, и ему было очень горько, говорил, из-за сильного разочарования... на углу дома, мы прошли много кварталов, и уже на пустыре он все рассказывал про Весенний бал и был уверен, что я стану Королевой весны, когда мне исполнится пятнадцать лет, он был очень расстроен в тот вечер, поругался с Нене, помнишь ее, мама? она работала упаковщицей в магазине "Аргентинское — недорого", уже много лет она здесь не живет. "Как мне горько", говорил этот парень, а больше я ничего не помню, вся точно вспыхнула? опьянела? заснула? у него было доброе лицо, мама, ты не помнишь? мне было тринадцать лет, когда я вошла, ты рассердилась, что я пришла так поздно, я поскорее почистила тебе картошку, мелко нарезала лук и очистила чеснок, порезала его на кусочки, ты смотрела на меня, мама, разве не помнишь, что я вошла в дом вся дрожа? я ведь бежала скорее, а то было поздно, и сказала маме неправду, а вдруг мама очень расстроится, когда я ей все расскажу? этот парень, что умер вчера, взял меня обманом, понимаешь, мама? сделал со мной самое плохое, что может сделать девушке парень, лишил меня чести навсегда, ты мне не поверишь? у неба я прежде всего прошу здоровья для всей семьи, а если я смогу потерпеть и не сказать ничего маме, будет гораздо лучше, в пять вечера на другой день я снова прошла там, хотела спросить о многом... правда ли, что он совсем

разругался с Нене... но он со мной не поздоровался, не пошел за мной и никогда больше со мной не заговаривал, мама, только раз он шел со мной рядом! и чего ему приспичило, поганцу, пусть подохнет!...Радуйся, Мария Пречистая, я желала ему смерти, и кто-то услышал? ...я хотела бы очиститься от греха, он не виноват, это я поддалась искушению, лишь бы не из-за меня умер этот парень! мама, я тебе ничего не расскажу, зачем? ты огорчишься, как я, если Бог мне поможет, я буду молчать. Что же стряслось в тот день с этим парнем? "как мне горько", повторял он, шагая рядом, но после того дня он со мной больше никогда не говорил...

Господь души моей, помоги мне в эту минуту, от меня ушел мой сыночек, и нет больше сил выносить это горе, я умру тоже, и прошу, возьми его в твое царствие, а то он не успел исповедаться, и у него, наверное, куча грехов, но послушай, Боже мой милый, я буду молиться тебе до самой смерти, и Святейшей Матери Божьей, обожаемой Деве Марии, ей знакомо это горе — потерять молодого сына, мой сын не был святым, как твой, Матерь Иисусова, но он не был плохим, я всегда ему говорила, чтобы чаще ходил на мессу, чтобы причащался, и хуже всего, что он был такой... ребенок, вечно его тянуло развлекаться, погулять с девочками, они больше виноваты, Дева Святая, мы обе женщины и не можем осуждать парня за то, что он такой, мужчины все таковы, разве не правда? а виноваты во всем дурные женщины... и мне не дано этого знать, но Богу с высоты все видно, и он наверняка знает правду об этих деньгах, Дева Кармельская, милая, ты Покровительница нашей церкви, помоги мне в эту минуту, а то я боюсь, что мой сын не упокоился, что он страдает, из-за тех денег, что взял в этой гнусной управе, и после он ни разу не исповедался, хоть бы в Кордове разок сходил на исповедь, но я его спросила, а он... ведь сущий ребенок... ответил, что нет. Может, он просто не хотел уступить? а в Кордове столько красивых часовенок, так сказал мне мой мальчик, в какую-нибудь он, наверное, зашел помолиться и попросить прощения, но не хотел меня порадовать, сказал неправду, будто в церковь больше не ходил, и я боюсь, что Бог его отвергнет как вора, а на самом деле какая-нибудь дурная женщина, видно, искушала его, подбивая на это, все равно сестра потихоньку все вернула, украденное и возвращенное — так и останется грехом? Дева Кармельская, милая, поговори с Нашим Господом, объясни ему, что моего бедного сыночка ослепила злоба, оттого что ему не дали разрешение на отпуск, и он воспользовался небрежностью, забрал деньги, вонючие песо, которые клянчила у него какая-нибудь из этих... Дева Кармельская, милая, не знаю, была ли и ты матерью, как Дева Мария, тогда ты поймешь, что я чувствую от одной мысли, что в эти минуты с ним происходит что-то нехорошее, он уже столько намучился с кашлем и одышкой на этом свете, Дева милая, неужели он и на том свете будет дальше мучиться?

Бог, Отец Всемогущий, Творец неба и земли, молюсь за упокоение моего усопшего мужа, он уже давно оставил меня одну на этом свете, я очень любила его, а потом мне пришлось пережить столько разочарований, Господи, моя жизнь сложилась бы совсем иначе, не останься я одна. Но такова была твоя воля, может, мне было суждено в страдании осознать все, что я потеряла, и теперь я знаю, хороший человек — самое ценное на свете. Он теперь, должно быть, в твоем святом царствии, молю тебя, помоги моей дочери стать доброй женой и матерью, она очень хорошая, пусть всегда

такой и остается, она пошла в отца, такая же добрая, и оба мои внука пусть растут здоровыми и добрыми, как я молю тебя о том каждый день. Для себя я не прошу ничего, если пансион продадут, пусть продается, мне это не важно, если пойдет с молотка — пусть, все равно мне опостылело жить в горах, только прошу здоровья, тогда я смогу работать и не стану обузой для дочери, ни к чему ей знать, что я оказалась на улице... Прошу о здоровье, а если пансион продадут с молотка, пусть хоть останется что-то после выплаты по закладной, и я отдам это моей девочке, что-то ей полагается из того немногого, что оставил ее отец... Мне стыдно просить еще об одном, за этого бедного парня, с которым я жила в грехе и которого больше нет. Я прощаю его, Боже мой, у него в голове гулял ветер, я не хочу держать на него зла, он уже умер и никому не сможет навредить, а я ни на что не жалуюсь, готова все вынести, если я совершила глупость, значит, буду терпеть, заслужила такое наказание. Ведь одно дело — выбросить на ветер мое, но разбазарить то, что принадлежало моей девочке, этого я себе не прощу. Если я знала, что он не умеет обращаться с деньгами, зачем послушала его и заложила то, что принадлежит и моей девочке? Я ничего не прошу для себя, только здоровья, чтобы не быть обузой для моего зятя, тогда я смогу работать кем угодно. Прошу лишь за мою дочь, чтобы она была в порядке, и за детей, и за этого бедного парня, пусть покоится с миром, ведь я на него и правда не держу никакого зла.

Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от зла. Аминь. Но я не могу смириться, Иисус, он ведь ни в чем не виноват, все произошло по чужой вине, мой брат был хорошим человеком, а теперь мы с мамой остались одни, и когда болезнь приходит по воле судьбы — дело иное, но если кто-то ее провоцирует, тогда я не могу с этим смириться: если бы эта женщина не искушала его раз за разом... этого бы не случилось. Иисус Христос, я прошу, чтобы справедливость восторжествовала, пусть эта женщина получит по заслугам, слабый, простуженный юноша, а она вынуждала его простаивать в этом парадном бесконечными часами, до самого рассвета, заставляя оставаться своими коварными уловками! молю, пусть эта женщина скорее получит по заслугам, иначе я не смогу жить дальше, так я ее ненавижу, а еще я уверена, что это из-за нее он совершил кражу в управе, это она его подговорила! чтобы убежать с ним, поэтому они сделали вид, что поругались, и пусть не попадается мне на пути, а то я за себя не отвечаю, да не допустят этого небеса! даже знать не хочу, где она, жива или умерла! но пусть не попадается мне на пути, иначе я ее растерзаю...

Эпизод пятнадцатый

... синеют под глазами темные круги,
волан на юбке в сумраке лиловом.

Агустин Лара

Коронель-Вальехос, 21 августа 1947 года

Дорогая Нене!

Надеюсь, эти строки застанут тебя в добром здравии. Прежде всего прошу меня простить за то, что так долго не отвечала на твои письма, но ты прекрасно можешь представить себе причину, когда речь идет о человеке моих лет. Недомогание, детка, не позволяет мне заняться всем, чем мне хотелось бы, и с каждым разом все меньше.

Дело в том, что я была немного простужена и не могла сходить на почту, а доверяться никому не хотелось, так что я лишь несколько дней назад достала твои письма из ящика, приходится особо остерегаться Селины, как бы она не заподозрила. И я так печалюсь, зная, что ты тоже горюешь, ведь безвинный мальчик нас покинул, а виновница жива, но я думаю, пусть сама судьба позаботится и эта порочная женщина получит по заслугам, не будем больше думать о том, кто это мог быть, к чему срывать с нее маску? — зло уже совершилось.

Лучше будем переписываться и рассказывать друг другу о наших делах, сближаясь все больше и больше. Что тебе сказать, моя дорогая, жизнь моя кончена, поддерживают меня только такие подруги, как ты, по доброте своей вспоминают обо мне, вспоминают также Хуана Карлоса, царство ему небесное.

В твоем последнем по дате письме я чувствую легкую обиду, но теперь ты сама убедишься, что я не писала тебе по причине нездоровья. Я очень хотела бы, чтобы твоя семейная жизнь наладилась, — что там происходит между вами двумя? Может, я с моим опытом могу дать тебе совет. Думаю, можно быть счастливой даже с человеком, которого не любишь, главное — уметь понимать и прощать. У него какой-нибудь ужасный недостаток? я имею в виду недостатки характера. Мне тоже бывает тоскливо по вечерам — часы, которым нет конца! — с четырех до восьми, с начала сумерек до ужина, я тогда пытаюсь занять себя какой-нибудь ерундой, штопкой или легким шитьем. А дети не делают твою жизнь счастливее? они тебя в чем-то разочаровали?

Прости, что я во все лезу, но поскольку я испытываю к тебе все большую нежность, я хотела бы узнать о твоей жизни и попытаться помочь тебе, хотя бы молитвами.

Извини также, что заставила тебя ждать моего ответа. Пожалуйста, пиши мне скорее, с большой нежностью

Леонор Сальдивар де Этчепаре

Постскриптум: забыла поблагодарить тебя за напоминание о желании Хуана Карлоса, чтобы его кремировали. Мы должны забыть всякий эгоизм и исполнить его волю, даже если это не согласуется с нашими верованиями, не так ли?

Прежде чем надписать конверт, она смотрит на мать, сидящую за шитьем в кресле на расстоянии нескольких метров. Шитье идет размеренно, признаков усталости не видно, а это позволяет предположить, что пожилая женщина останется сидеть еще несколько минут. Прежде чем мать что-то заметит, она спешно надписывает конверт и выходит по направлению к почте, сказав матери, что идет в аптеку.

Коронель-Вальехос, 10 сентября 1947 года

Драгоценная моя Нене!

Какая радость получить твое нежное письмецо! Рада узнать, что ты простила меня за задержку с письмом, благодарю за то, что ты доверительно рассказываешь мне о своих проблемах: мне тоже необходимо кому-то довериться, Нене, потому что дочь очень меня беспокоит. Дело в том, что приехал д-р Маренго, молодой врач из Буэнос-Айреса, он здесь работает в новом санатории, очень симпатичный молодой человек с большим будущим, и такой красавец, что все девушки за ним гоняются, ну вот, на днях он приходил просить руки Селины. Но мы его не знаем, и я так обеспокоена, что попросила несколько месяцев, хотя бы месяцы траура, чтобы принять решение. Селина очень послушная и приняла мои условия. Ты считаешь, я правильно поступила? Хоть бы он оказался хорошим парнем, тогда Селине досталась бы одна из лучших партий в городе.

Умоляю тебя, не переживай по поводу кремации Хуана Карлоса, если это произойдет, мы сообщим тебе в нужный момент. Такова была его воля, и ее надо исполнить, как бы это кого-то ни огорчало. Знаю, ты сейчас переживаешь нелегкое время, — как трудно быть матерью мальчиков! Но ты ничего не пишешь о своем муже, даже ни разу его не упоминаешь, происходит что-то неприятное? Знай, что мне ты можешь довериться.

В прошлом письме я забыла сказать, что сейчас разыскиваю и сортирую все найденные письма Хуана Карлоса, так что можешь быть спокойна: очень скоро я тебе их пришлю.

Теперь хочу попросить тебя об одном одолжении, будь столь любезна, дай мне, пожалуйста, адрес конторы твоего мужа, а то здесь госпожа де Пьяджо собирается скоро в столицу, хочет купить земельный участок, а я ей сказала, что твой муж аукционист. Ей будет спокойнее иметь дело со знакомым. Заранее тебе благодарна.

Рассказывать больше нечего, так что прощаюсь до следующего письма. Мне так необходимы новости о тебе, особенно теперь, когда я думаю, что дочь покинет дом, — может, в твоем лице я нашла еще одну дочь? Напиши также, что ты думаешь о возможном замужестве (о помолвке они и знать не хотят) с этим молодым человеком, хотя ты и не общаешься с Селиной, я знаю, ты добрая и порадуешься за нее, ведь правда? замужем за врачом! Об этом все девушки мечтают.

Обнимаю тебя и целую,

Леонор Сальдивар де Этчепаре

Пока она писала в одной ночной рубашке, тело ее замерзло и теперь дрожит. Она думает о болезни брата, начавшейся с простуды. Мать спит на соседней кровати. Она прячет конверт в одну

из папок с работами учеников. Ложится и нащупывает ногами грелку с горячей водой. На следующий день на обратном пути из школы она зайдет на почту и отправит письмо.

★

Коронель-Вальехос, 26 сентября 1947 года

Сеньор!

Шлю вам эти письма, чтобы вы узнали, кто ваша супруга. Она мне причинила много зла, и я не допущу, чтобы она поступила так же с вами или с кем бы то ни было, не понеся заслуженного наказания.

Кто я — не столь важно, хотя вам будет нетрудно догадаться. Она думает, что всегда будет, как ей хочется, но кто-то должен выложить ей все начистоту.

Приветствует вас с уважением

Истинная подруга

Дверь заперта на ключ, струя из крана с холодной водой заглушает все звуки. Сидя на краю ванны, она пишет адрес на конверте для деловых писем: "Г-ну Донато Хосе Масса, агентство недвижимости БАСИ, ул. Сармьенто, 873, 4-й этаж, федеральная столица". Она берет два письма с обращением "Дорогая донья Леонор!" и подписью "Нене". Из первого письма подчеркивает следующий абзац:

"Порой слышишь, как мои мальчики несут весь этот невинный вздор, и замечаешь то, о чем никогда не задумывалась. Младший вечно донимает вопросами, то и дело спрашивает меня и брата, а какое животное нравится нам больше всего, а какой дом нравится нам больше всего, а какой автомобиль, какой пулемет, или револьвер, или винтовка, а на днях он вдруг мне говорит (мы были одни — в школе свирепствует грипп, и у него простуда), вдруг, "мамочка, а что тебе больше всего понравилось на свете, из всего-всего", и я сразу подумала об одном, конечно, я не могла ему сказать: лицо Хуана Карлоса. Потому что для меня самое прекрасное, что я видела в жизни, это лицо Хуана Карлоса, царство ему небесное. А мои дети до того невзрачные, малютками они были хорошенькие, а теперь глазки у них маленькие, нос мясистый, все больше походят на отца, мне даже кажется, такие неказистые, что невозможно их любить. Если по улице идет мамаша с красивым ребенком, меня аж злость берет... Когда дети идут впереди меня, даже лучше, порой стыдно, что они у меня такие вышли".

Из второго письма она подчеркивает следующее:

"...и едва заслышу шаги в коридоре, тут же хочется умереть. Что я ни делаю, все ему не так, — а сам-то, чем он такой идеальный? Не знаю, что с ним, видно, понимает, что я его не люблю, вот и тянет из меня душу... Донья Леонор, клянусь, я делаю все возможное, чтобы скрыть, как он мне противен, но, конечно, когда он не дает житья мне или мальчикам, здесь уж я желаю ему смерти. Не знаю, как там Бог решает, кому суждено умереть, а

кто будет жить дальше. Как вы, наверно, страдаете, что вас постигла смерть сына.

Правда ли, когда чего-то хочешь, то не добьешься, если скажешь про это другому? Но вам я все равно расскажу, ведь это как рассказать самой себе. Ну вот, в общем, дети, когда видят белую лошадь, всегда приговаривают "белая лошадка, пусть мне повезет" и загадывают про себя два желания, а вчера я шла с ярмарки и увидела белую лошадь и загадала два желания. Бог их для меня не исполнит, если я скажу? Значит, во-первых, я просила, если на том свете после Страшного суда Бог меня простит, ведь Хуана Карлоса он простит обязательно, тогда пусть я смогу соединиться с ним в другой жизни. И второе, я просила, чтобы мальчики по мере того, как будут подрастать, становились красивее, тогда я смогу любить их больше, я не говорю красивые, как Хуан Карлос, но хоть не такие уродливые, как их отец. Когда мы только поженились, он был не так безобразен, но с годами растолстел, не узнать. Но ведь никогда не знаешь, какими вырастут дети, да? тут ты не можешь быть уверена.

Будь Вы хоть поближе, мы могли бы изливать друг другу душу. Единственное, что меня утешает, — однажды все это кончится, потому что я умру, ведь в этом я могу быть уверена, да? однажды все это кончится, потому что я умру".

Она снова складывает оба письма и вместе с письмом, написанным ею самой, помещает в заранее приготовленный конверт для деловой переписки. Берет другой конверт того же размера и пишет адрес: "Г-же Нелиде Фернандес де Масса, ул. Ольерос, 4328, 2-й Б, федеральная столица". Берет шесть писем с обращением "Дорогая моя!" и т. д. и с подписью "Хуан Карлос". Помещает их во второй конверт и на этом считает свою задачу законченной. Выходит из ванной с двумя конвертами, спрятанными на груди под купальным халатом.

— Ты что так долго?

— Выщипывала брови. Тебе только рукава остались?

— Да, затопи печку, детка. Мне холодно.

— Мама, уже весна.

— Какое мне дело до календаря! Мне холодно.

— Мам, мне кое-что сказали... и меня это очень обрадовало.

— Что такое?

— Мне сказали, что у этой мерзавки Нене большие нелады с мужем.

— Кто тебе сказал?

— О причастных умалчивают.

— Деточка, не надо так, расскажи.

— Нет, меня заставили поклясться, что я ничего не скажу, довольствуйся услышанным.

— Как она там живет? знает, что Хуан Карлос умер?

— Да, мама, должна знать.

— Могла бы хоть написать, выразить соболезнование, Мабель написала. Может, у нее много возни с детьми, сколько у нее? двое?

— Да, мама, два мальчика.

— Значит, она никогда не останется одна. Всегда будет в доме мужчина... Не понимаю я матери Нене, сидеть здесь в Вальехосе, имея в Буэнос-Айресе двух внуков. Выйди ты замуж, все было бы иначе...

— Мама, опять ты за свое. Я тебе еще кое-что скажу, только ты не сердись.

— Не буду сердиться, говори.

— Нене прислала соболезнование, но я тебе не показывала, чтобы ты не вспоминала о прошлых делах.

— Значит, вспомнила, бедняжка.

— Да, мама, вспомнила.

— Ах... будь у меня внуки, я бы жила иначе... Сына у меня Бог забрал, а дочь хоть бы не осталась одна, если я умру, ты прекрасно знаешь, о чем я буду беспокоиться...

— Мама...

— Да, мама-мама, тебе надо бы побойчее с ребятами, столько знакомых и одни лишь друзья. Пококетничай немного.

— Что поделаешь, если я не в их вкусе...

— А этот доктор Маренго? не ты ли мне говорила, что он тебя часто приглашал танцевать?

— Да, но только как друг.

— Доченька, мне тут донесли, что видели тебя в его машине, почему ты не сказала?

— Нет, пустяки, это было незадолго до того, что стряслось с Хуаном Карлосом. Кажется, шел дождь и он меня подвез после службы в церкви.

— Так хочу с ним познакомиться, говорят, он очень симпатичный.

— Да, мама, но он уже помолвлен, девушка из Буэнос-Айреса...

— Детка, ну зачем ты так?

— Ты меня выводишь из себя, мам.

— Ты очень нервная, такая молодая девушка и такая нервная.

— Я уже не такая молодая, и хватит!

— Ну будет тебе, доченька, не сердись... Не запирайся у себя снова...

— Добрый день, меня к вам направили из пансионата “Сан-Роке”, это здесь жил господин Хуан Карлос Этчепаре?

— Да, что вы хотели?

— А мы с вами случайно не знакомы?

— Не знаю... Вы кто?

— Сеньора де Масса и два моих сына.

— Вы Нене. Не помните меня?

— Не может быть... Эльза Ди Карло...

— Да, я хозяйка пансиона. Вы останетесь в Коскине на несколько дней?

— Не знаем... вряд ли... мы оставили чемоданы на автобусной станции.

— У меня есть комната с двумя кроватями, да вы присаживайтесь, сеньора. Как вы разыскали мой дом?

— Меня направили из пансионата, я пошла туда и спросила, где жил Хуан Карлос последние годы.

— Знаете, сеньора, если хотите, я поставлю еще кроватку в этой комнате, и вам будет удобно втроем, ваш муж с вами не приехал?

— Нет, он остался в Буэнос-Айресе. Но думаю, мы продолжим путь в Ла-Фальду сегодня же, микроавтобус будет?

— Да, но вам придется поторопиться. Он отходит через полчаса.

— Да, лучше нам уехать на нем.

— Какие чудные мальчики, вижу, вам в жизни все удалось, они разве не ходят в школу? у вас на много дней поездка?

— Мальчики, погуляйте во дворе, мне надо переговорить с сеньорой.

— Вы знаете, что Хуан Карлос умер в Вальехосе. Уехал отсюда в конце марта на несколько дней к семье и больше не вернулся...

— Да, знаю, уже полгода, как он умер. А вы здесь давно?

— Да, несколько лет, завела пансион, и он приехал сюда. Семья посылала ему очень мало, и если хватало на оплату пансиона, то на лечение уже не оставалось. Поэтому я открыла пансион, но даже не представляла, во что впутываюсь. Конца и края не видно этой работе в пансионе... Как странно, каникулы в октябре, вы правильно поступили, теперь мало народа, и погода стоит ни холодная, ни жаркая.

— Хуан Карлос вспоминал обо мне?

— Да, иногда он произносил ваше имя.

— ...А вас он любил?

— Не задавайте мне такие вопросы, Нене.

— Вы ведь знаете, я его любила всей душой...

— Да, но никто не имеет права задавать мне вопросы, я женщина, которая сама зарабатывает себе на хлеб и ничего ни у кого не просит. А вы замужняя сеньора, у которой все есть, так что сами знаете. Я не хочу говорить о Хуане Карлосе, мир праху его.

— Я больше не замужняя сеньора. Я рассталась с мужем, потому и приехала сюда.

— Я не знала... а почему вы приехали сюда?

— Хуан Карлос в письмах всегда описывал Коскин, хотелось узнать это место, поговорить с кем-нибудь, кто мог бы рассказать о нем.

— Он очень исхудал, Нене. И был неисправим, вечно пропадал в баре, а под конец доставил мне кучу хлопот, хотя и нехорошо так говорить... Он много играл, под конец только это его и отвлекало, вы даже не представляете, сколько мне приходится пахать здесь, в пансионе, надо везде поспевать, Нене, иначе кухарка слишком много расходует, я и уборку делаю, и покупки, в общем, приходится, как говорится, везде поспевать. Если вы хотите получать хоть какую-то прибыль от пансиона, хозяйке надо везде поспевать. Я, наверное, постарела, не так ли?

— Ну, столько лет прошло.

— Как я сожалею по поводу вашего мужа... что случилось? вы можете мне сказать?

— Такое бывает... Это произошло две недели назад, совсем недавно, вот я и приехала сюда. Но из дома он сам ушел, так что мне незачем беспокоиться.

— В этом замешана другая женщина?

— Нет, но он понял, что между нами уже все кончено. Теперь он раскаивается, пришел к поезду проводить нас, но, по-моему, так лучше. Хотя мальчики пропустят несколько дней занятий, но лучше было приехать сюда, иначе я бы жалела, да и с ним опять бы дала слабину.

— А мальчики? не будут ли они страдать без отца?

— Хуже, если они будут видеть, как мы целыми днями грыземся, точно кошка с собакой.

— Вам лучше знать, что делать.

— Единственный человек, кого я любила в своей жизни, был Хуан Карлос.

— Особенно в последний год он сильно мучился, бедный парень... Мне приходилось вставать среди ночи и менять ему простыни, мокрые от пота, и давать ему чистую смену белья, и все время кормить, он мог проголодаться в любую минуту, а потом половина оставалась на тарелке. Но здесь главное — не распускать служанок, эти кордовские такие необязательные, а мне больше всего требовалась прачка, столько белья приходилось менять и простыней, что одной никак не управиться, Нене, а оставлять ему те же простыни мне казалось неподобающим, что ли. Бывало, я по многу раз на день меняла ему простыни. Хотите, покажу его комнату? У него была отдельная комната, с небольшой тахтой, хотите взглянуть?

— Ну что ж...

— А вас, Нене, он частенько вспоминал.

— А еще кого?

— Мабель. Ее он тоже часто вспоминал.

— Да?

— Но ее он совсем не любил, говорил, что она эгоистка. О вас же всегда отзывался хорошо, что вы единственная, на ком он думал жениться, это я говорю вам без всякой ревности, Нене, жизнь ведь по-всякому поворачивается, правда?

— А что еще он обо мне говорил?

— Ну, что вы хорошая девушка и что было время, когда он собирался на вас жениться.

— А вы не знаете, хотел ли он меня видеть, в последнее время? я имею в виду, по-дружески...

— Знаете... по правде сказать, я сердилась, когда он заговаривал о девушках, так что многого он мне не говорил... Ну пойдемте, покажу вам комнату, а то вам пора на станцию, еще опоздаете на микроавтобус.

— Не знаю, ехать или оставаться...

— Нет, лучше уезжайте, Нене, видите, какая милая белая комнатка? это была его кровать, верно ведь, не стоит ворошить прошлое? Вы уж не обессудьте...

— Он подолгу оставался в комнате?

— Когда плохо себя чувствовал... Дон Теодоро, остановитесь, пожалуйста! Вот, Нене, как раз такси подоспело, поедете?

— Да...

— Как я, наверное, постарела, правда, Нене?

— Нет, годы никого не щадят.

— Секундочку, дон Теодоро!

— Мальчики, едем, уже поздно.

— Вам повезло, здесь такси очень мало.

— Сеньора... я хотела бы остаться...

— Нет, лучше не надо, Нене, я больше не хочу говорить о прошлых делах, стараюсь забыть все, что было.

— Я хотела, чтобы вы мне еще рассказали...

– Нет, понимаете, мне очень горько, и к чему мне еще вас огорчать?...Минутку, дон Теодоро, сеньора уже идет... отвезите ее поскорее на станцию микроавтобусов...

..."– О вас же всегда отзывался хорошо, что вы единственная, на ком он думал жениться"... Отче наш, сущий на небесах, Ты должен это услышать, правда же, Ты этого не забудешь?, "ДО ЛА-ФАЛЬДЫ 40 КИЛОМЕТРОВ", бреду без цели, куда? без цели... "- А что еще он обо мне говорил? – Ну, что вы хорошая девушка и что было время, когда он собирался на вас жениться"... на мне? вот именно, на мне, только его одного я в жизни и любила, "ВНИМАНИЕ! ЧЕРЕЗ 50 МЕТРОВ КРУТОЙ ПОВОРОТ", а сердце кто предупредит? и хотя ничто не предвещает, вдали послышится трубный звук, и когда в голубом небе появятся добрые ангелы, с золотыми локонами и в тюлевых таких платьицах, "ЛУЧШЕЕ В КОРДОВЕ – МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА "ЛА СЕРРАНИТА", лучшее на небесах? очень скоро ангелы мне это покажут, куда они меня несут? земля остается внизу, на земле затмение жизни, и к солнцу души летят, внезапно затмение солнца, и Божье небо чернеет. Вдали слышны звуки трубы, они возвещают, что тот, кто любил беззаветно, за самое дорогое существо вовсе не должен бояться? пространства бесконечный мрак, и ангелов со мною рядом нету... "ГРАППА МАРЦОТТО – ИЗБРАННИЦА АРГЕНТИНЫ", а я чья избранница? я стану ею по смерти, если при жизни не была таковою? люди умерли, одеревенелые тела моих родственников внизу остались, кто себя хотел бы ущипнуть, чтоб от сна возможного очнуться, тщетно пробует коснуться кожи пальцами бесплотными, как вата, ведь вся плоть улетучилась! и во имя этой любви и ради его блага я предлагаю Богу обмен, "ВНИМАНИЕ! ЧЕРЕЗ 70 МЕТРОВ КРУТОЙ ПОВОРОТ", если мне суждено спастись, пусть прежде спасется он, близко он или далеко? сквозь черные тучи проглядывает кладбище белое, кажется, я узнаю его... это земля пампы... с дикими цветами, что я когда-то собирала, чье странное веленье сюда меня вело? может, это кладбище неподалеку от Вальехоса? у скромной могилы стоит мой отец, он приближается ко мне и говорит, что во имя Хуана Карлоса и ради моего блага прощается со мной, поцеловав меня в лоб, он отходит в сторону, и под руку с мамой они неспешно удаляются, могу ли верить я глазам своим? ведь их шаги вздымают пыль, мертвецы вновь обрели багаж своей плоти? где я? кем я была? Бог освободил мою душу от всякого прегрешения и бремени? я израненная средь шипов жила, и любви минута мне неведома была, если Хуан Карлос подойдет, любимой назовет, как цветок кровоточащий он меня сорвет. Хуан Карлос, если б мог ты с Богом говорить, Он ответил бы, что я не в силах тебя забыть,...жизнь, с ее грязной посудой, пеленками и поцелуями другого, которых мне пришлось избегать, так жизнь пыталась любовь твою из сердца вырывать? ха-ха... но ты неизвестно куда теперь пойдешь, кого из подруг бывших ныне изберешь, эту старую тетку мне предпочтешь? или лучше пусть будет она, а не кто-то красивее меня? тихо! мир тускнеет, это он уверенной походкой идет, наконец он взору предстает... и на его прекрасном лице отражается желание искать... не найти, вот шагает он по улицам пустым, кого он ищет? я в страхе прячусь, куда свои шаги он направляет? проходят нарядные женщины, он смотрит на них и пропускает, где мы? почему он пришел за мной в магазин? форма так мне не идет, я ведь могла предполо-

жить: вдова в черном загораживает ему проход между двумя прилавками... он смотрит на нее... говорит: большое спасибо за твое самопожертвование... она не уступает дорогу... он нежно и твердо отстраняет ее... за прилавком возникает Селина, а за ней — Мабель, вся расфуфыренная! почему Мабель вместе с этой гадюкой? Селина пряталась, и потому демоны не могли ее разыскать! но там, где она ступает, земля дрожит, разверзается и их обеих окутывает столб черного пламени, сгинули! я не осмеливаюсь взглянуть на него... дрожат мои руки, да, я вся дрожу... зачем ты выбрал и надел сегодня эту куртку? папа смеялся над тобой... "помещик"... видишь, зря мы так переживали? видишь, в итоге мы вместе? ты считал эту болезнь преградой, но она оказалась лишь отклонением на пути, которое теперь нас соединило... твоя сестра так ненавидела меня... теперь она не в счет... твоя презрительная мать отдалилась... а гадкий Аскеро, разве это важно? все позади... в той жизни, мой муж? он был не злой... я никогда не любила его, мои дети? они воспевают Бога... в сонме ангелов звучит их нежный хор, моя мать? она ушла, и с нею мой отец: они оставили нам этот домик... Дай твои руки, приди, возьми мои, скоро посвежеет, день на исходе... я шторы новые из Буэнос-Айреса привезла... и ты прав, парадное навевает воспоминания, но будем благоразумны, пойдем внутрь, ведь тогда все началось... из-за простуды, а теперь у тебя остался лишь легкий кашель? Гляди, в этой комнатке я жила еще до замужества... мы можем провести здесь остаток жизни, жизнь в любви? что Богу угодно! Хуан Карлос, мы перед Богом, об этом возвещал нам Катехизис, это Воскресение, оно наступит вследствие Страшного суда, ты не рад? так вот, значит, что называется Воскресением плоти, но, может, мне это снится? как от сна очнуться без страданий? а если я себя ущипну? что? мои пальцы вовсе уже не из мягкой ваты, нет, хватит бояться, мои пальцы касаются моего тела, и это не сон, ведь от щипка я бы пробудилась, Бог возвращает нас к жизни во плоти, душой и телом! такова воля Божья, тебе стыдно? огонь в конфорках, наверно, мама готовила тогда, услышав зов ангельской трубы... Хуан Карлос, а у меня сюрпризы... за все годы, что мы в разлуке жили... я научилась готовить! да! могу сготовить, что больше всего тебе по вкусу, Хуан Карлос, ты просишь, чтоб я сегодня легла с тобою рядом? и сон после обеда чудесно восстановит наши силы, помнишь, в одном письме меня просил ты, чтоб я легла, не снимая формы? а это что за поцелуй? что это значит? тебе позволено меня поцеловать? Хуан Карлос! теперь я вижу ясно, я наконец все понимаю!...раз Боже сотворил тебя таким красивым, значит, он узрел твою добрую душу, вознаградив тебя, и, стоя на коленях, соединивши руки, мы смотрим ввысь, через оборки новых штор, подле этой скромной девичьей кроватки, наше гнездышко? и спросим у Нашего Господа Бога, объявляет ли он нас на веки вечные, меня твоей женой, тебя — моим мужем...

— Мам, я хочу пи́сать!

— Еще немного, и приедем, потерпи, сыночек.

— Мама, я больше не могу!

— Мы скоро приедем в Ла-Фальду, только сойдем, сразу побежишь в туалет на станции... Потерпи немного.

— Мам, мне скучно.

— Смотрите в окно, глядите, какие красивые горы, видите, сколько всего красивого создал Господь?

Эпизод шестнадцатый

Понять,
что жизнь — лишь вздох,
что двадцать лет — ничто,
и чей-то взор
во тьме, мерцая, бродит,
тебя зовет и наконец находит.

Альфредо Ле Пера

Объявление о похоронах

Нелида Энкрикета Фернандес де Масса, Да почиет в мире, скончалась 15 сентября 1968 года. Ее муж Донато Хосе Масса, сыновья Луис Альберто и Энрике Рубен, невестка Моника Сусана Шульц де Масса, внучка Мария Моника, будущая невестка Алисия Караччоло, свекор Луис Масса (отсутствующий), деверь Эстебан Франсиско Масса и золовка Клара Масса де Ириарте (отсутствующие), племянники и прочие родственники приглашают проститься с покойной на кладбище Чакарита сегодня в 16 час.

Нелида Энкрикета Фернандес де Масса, Да почиет в мире, скончалась 15 сентября 1968 года. Фирма по операциям с недвижимостью "Масса и компания" приглашает проститься с покойной на кладбище Чакарита сегодня в 16 час.

В четверг, 15 сентября 1968 года, в 17 часов после долгой и тяжелой болезни в возрасте пятидесяти двух лет скончалась Нелида Энрикета Фернандес де Масса. Уже несколько месяцев она не покидала своей постели, но только в последние дни почувствовала близкий конец. За день до смерти она получила соборование, после чего попросила оставить ее наедине с мужем.

Из комнаты вышли ее старший сын, доктор медицины Луис Альберто Масса, и ее невестка, которая ухаживала за больной с тех пор, как в результате анализов у нее обнаружилась раковая опухоль позвоночника; сын и невестка проводили священника и служку до двери и затем направились в кухню, где двухлетняя внучка пила молоко с ванильным печеньем под присмотром служанки: та предложила им кофе, и они согласились.

Когда Нене осталась наедине с мужем, чувствуя облегчение от морфия, но все же в полузабытьи, она с трудом объяснила ему, что во время покупки в собственность квартиры, которую они занимали последние двенадцать лет, при встрече с нотариусом и оформлении ряда бумаг она тайно доверила ему конверт. Там содержались указания относительно ее последней воли и некоторые письма тридцатилетней давности. В документе в первую очередь говорилось, что она отказывается от кремации, и далее содержалось требование о том, чтобы в гробу ей на грудь под саван положили вышеупомянутую пачку писем.

Однако данное требование надлежало изменить в части, касающейся писем. Теперь она желала, чтобы в гробу ей в зажатую руку вложили

другие предметы: прядь волос ее единственной внучки, маленькие детские наручные часы, полученные ее вторым сыном в подарок от нее по случаю первого причастия, и обручальное кольцо ее супруга. Тот спросил, почему она забирает кольцо, если это единственное, что останется от нее. Нене ответила, что хотела бы взять с собой что-то из его вещей и не знает, почему просит именно кольцо, но она очень его просит, пожалуйста. Кроме того, она хотела, чтобы сохраненные нотариусом письма были уничтожены, и супруг сам должен это сделать, ибо она опасалась, что кто-то молодой и бессовестный однажды прочтет их и будет насмехаться. Муж обещал удовлетворить все ее просьбы.

Вскоре в комнату вошел второй сын, инженер-строитель Энрике Рубен Масса, со своей невестой Алисией Караччоло. Нене повторила в их присутствии просьбу относительно наручных часов, опасаясь, что муж забудет. Затем она постепенно стала терять сознание и попросила позвать ее мать, умершую много лет назад. В себя она больше не приходила.

В уже упомянутый четверг, 15 сентября 1968 года, в 17 часов в нише кладбища Коронеля-Вальехоса, где покоились останки Хуана Карлоса Этчепаре, стояли, как обычно, две вазы, без цветов. Незадолго перед тем смотритель убрал два увядших букета. К прежним добавилась новая памятная табличка прямоугольной формы, с рельефным изображением восходящего или заходящего у самой кромки моря солнца и следующей надписью сбоку: “Хуан Карлос ты весь доброта Сегодня двадцать лет, как ты ушел от нас твоя сестра тебя не забывает Селина 18–4–1967”. Остальные ниши в стене были заняты, а сбоку выросли еще две стены; среди иных можно было прочесть следующие имена: Антонио Саэнс, Хуан Хосе Мальбран, Леонор Сальдивар де Этчепаре, Бенито Хайме Гарсиа, Лаура Поцци де Баньос, Селедонио Горостиага и пр.

В уже упомянутый четверг, 15 сентября 1968 года, в 17 часов Мария Мабель Саэнс де Каталано готовилась принять у себя дома последнего за день ученика. Каждый день после обеда, закончив работу учительницы утренней смены в частной школе квартала Кабальито, она давала на дому уроки для детей из начальных классов. Раздался звонок, и ее дочь Мария Лаура Каталано де Гарсиа Фернандес, двадцати четырех лет, открыла дверь. Вошла девочка-ученица, которая увидела в углу гостиной внука учительницы и спросила разрешения взять его на руки. Мабель посмотрела на своего внука Марсело Хуана, двух лет, с ортопедическими приспособлениями на левой ноге и левой руке, улыбающегося на руках ученицы. Его разбил детский паралич, и Мабель, несмотря на наличие пенсии за тридцатилетний труд в качестве учительницы государственной школы, работала по возможности с утра до ночи, стараясь помочь в оплате медицинских расходов. Внук лечился у лучших специалистов.

В уже упомянутый четверг, 15 сентября 1968 года, в 17 часов останки Франсиско Каталино Паэса покоились в общей могиле кладбища Коронеля-Вальехоса. От него оставался лишь скелет, заваленный другими трупами в различных стадиях разложения, на самом свежем из которых еще сохранялось полотно, в какое их заворачивают, прежде чем опустить в могилу через узкий проем. Отверстие было закрыто деревянной

крышкой, которую посетители кладбища, особенно дети, обычно отодвигали, чтобы заглянуть внутрь. Полотно постепенно истлевало от соприкосновения с гниющей массой, и по прошествии какого-то времени обнажались голые кости. Общая могила находилась в глубине кладбища и граничила с самыми бедными земляными могилами; жестяная табличка гласила "Оссуарий", и вокруг росли различные виды чертополоха. Кладбище, весьма удаленное от города, было спланировано в форме прямоугольника и по всему периметру окаймлялось кипарисами. Ближайшая смоковница росла на ферме, расположенной на расстоянии чуть более километра, и именно в это время года была усеяна светло-зелеными побегами.

В уже упомянутый четверг, 15 сентября 1968 года, в 17 часов Антония Хосефа Рамирес, вдова Лодьего, ехала в двуколке от своей фермы до торгового центра Коронеля-Вальехоса, расположенного в четырнадцати километрах. Ее сопровождала дочь Ана Мария Лодьего, двадцати одного года. Направлялись они в магазины, чтобы продолжить покупку приданого для девушки, которой вскоре предстояло выйти замуж за хозяина соседней молочной фермы. Гузя с большой радостью ехала в город, где жили четверо детей ее покойного мужа, уже имевшие собственных детей, которые звали ее бабушкой. Но с особым удовольствием она собиралась навестить своего сына Панчо, обосновавшегося в коттедже недавней постройки. Гузя спросила Ану Марию, где лучше покупать простыни и полотенца, в "Доме Паломеро" или в "Аргентинском — недорого". Дочь ответила, что предпочитает покупать не самое дешевое, а то, что больше понравится, на простынях и полотенцах она не хотела экономить. Гузя подумала о Нене, упаковщице, которую она не видела с тех пор, как та пришла провожать ее к поезду на вокзал в Буэнос-Айресе, тридцать лет назад? Подумала о том, что если бы Нене находилась в Вальехосе, она пригласила бы ее на свадьбу дочери. Затем подумала о Панчито, о сумке с овощами и коробке яиц, которые она везла в подарок. У Панчито новый дом, Ана Мария выходит замуж, с удовлетворением подумала Гузя. Сегодня вечером они поужинают у Панчито, и это не будет считаться обузой, потому что она везет хорошие гостинцы. Двуколку тряхнуло на дорожной выбоине. Гузя посмотрела на коробку с яйцами, дочь упрекнула ее за то, что она везет такое количество. Гузя подумала, что Ана Мария завидует Панчито из-за его дома: все складывалось хорошо с тех пор, как парень поступил на работу в механическую мастерскую. Хозяин его ценил, а дочь хозяина влюбилась в него. Конечно, Панчито считался у девушек городка видным парнем благодаря своей атлетической внешности и большим черным глазам и мог выбрать в жены более красивую девушку, но дочь хозяина оказалась очень домовитой. Красивой она не была и страдала дефектом зрения, однако ни один из трех очаровательных детей не родился с косоглазием, как мать. Дом Панчито был построен тестем в глубине участка, где у самого тротуара располагалась механическая мастерская. Как подарок к свадьбе дом был записан на имя молодоженов.

Вернувшись в квартиру после встречи с нотариусом, Донато Хосе Масса чувствовал себя ужасно усталым. В доме было темно. Служанка ушла, как обычно, в три часа дня, а младший сын должен был вернуться позднее.

Несмотря на все уговоры, старший сын не согласился побыть в доме с женой и дочерью, как в последние месяцы болезни Нене. Пережить первый год будет труднее всего, – подумал сеньор Масса, – потом его холостой сын женится и приведет супругу в эту квартиру, слишком просторную для двух одиноких мужчин. Он зажег старый ночник с тюлевым абажуром и уселся на одном из диванов в гостиной. Диванный гарнитур, обитый французским атласом, не был защищен чехлами из гладкой ткани коричневого цвета. Во избежание порчи и износа Нене снимала чехлы только в особых случаях. Невестка сняла их в ночь бдения по усопшей и больше не надевала. Господин Масса держал в руке конверт. Он открыл его, внутри были две пачки писем: одна перевязана голубой лентой, другая перевязана розовой лентой. Он тотчас заметил, что письма с розовой лентой написаны почерком Нене... Он развязал пачку с голубой лентой и развернул одно из писем, но прочитал лишь несколько слов. Подумал, что Нене, без сомнения, осудила бы подобное любопытство. Он оглядел атласную обивку диванов, казавшуюся новой, пятна кофе и ликеров, появившиеся в ночь бдения, были почти незаметны. В доме стояла тишина. Он подумал, что после Нене в доме образовалась пустота, которую никто не заполнит. Он вспомнил о тех двух месяцах, когда они расстались из-за прискорбного инцидента много лет назад. Он не раскаивался, что переборол всяческую гордыню и отправился за ней в Кордову, где она укрылась с двумя детьми. Подойдя к печи для сжигания мусора, установленной на этаже сбоку от лифта, он сложил письма в конверт и бросил в черную трубу.

Письма, перевязанные розовой лентой, упали в огонь и сгорели не разлетевшись. Однако письма из второй пачки, уже не связанные голубой лентой, коробились от возгорания и разлетались по всей печи. Листы кружили и прежде чем почернеть от пламени и погибнуть, озарялись на мгновенье “...завтра кончается неделя...” “...предупреждала: не доверяй блондинкам, о чем ты будешь советоваться с падушкой?..” “...пару крокодильих слезинок...” “... в кино? кто тебе купит шоколадки?..” “... давай без подвохов, все равно же узнаю...” “...целует тебя, пока не скажешь: хватит, Хуан Карлос” “... я тут по-настоящему заболею, столько себе крови порчу...” “...если кровать освобождается, значит, кто-то умер...” “...клянусь, блондиночка моя, мне довольно один раз тебя поцеловать...” “...не говори никому, даже у себя дома, что я возвращаюсь, не долечившись...” “...сегодня я обещаю – отныне действительно буду хорошо себя вести...” “...куколка моя, бумага кончается...” “...теперь я чувствую, что так тебя люблю...” “...видишь, блондинка моя светлая, чуть поговорил с тобой, и мне уже лучше, – каково будет, когда я тебя увижу...” “...люблю тебя, как никого не любил...” “... В Коскине есть еще больница...” “...если будет что новенькое, снова тебе напишу...” “...вода в реке тепленькая...” “...ты тоже далеко...” “...всякий раз, как читаю твое письмо, ко мне возвращается уверенность...”

Азиз Дераман

Четки старого человека

Стихи

Перевод с малайского и вступление Виктора Погадаева

Современную малайскую поэзию у нас знают мало. И это несправедливо, ибо в стране десятки талантливых поэтов, которые, опираясь на наследие традиционных жанров (пантуны, шаиры, гуриндамы и т. д.), создают великолепные стихи, иногда не уступающие по своему эмоциональному и эстетическому воздействию лучшим образцам мировой литературы. Причем традиционные жанры, анонимные в прошлом, остаются популярными и сейчас. Их сложением занимаются и именитые поэты, и просто любители.

Вот пантун — миниатюрная поэтическая форма, напоминающая наши частушки. Четверостишие с перекрестной рифмовкой распадается на два двустишия, которые обычно не имеют прямой логической связи и соединены по принципу звукового и(или) образно-символического параллелизма.

Уставшая ласточка в море упала
И стала легкой добычей акул.
Унес бы тебя, как цветок небывалый,
В складки саронга тебя завернул.

Перевод Марины Елисеевой

В прошлом пантунами перекидывались, импровизируя, молодые влюбленные. С пантунов в современной Малайзии начинается и заканчивается любое официальное мероприятие.

© Aziz Deraman, 1994, 2001
© В. Погадаев. Перевод, вступление, 2004

Не менее любопытны двустрочные рифмованные афоризмы гуриндамы. Обычно они объединены по тематическому принципу и представляют собой сентенции такого рода:

Если речи долго ведешь,
Непременно в чем-то солжешь.

Или:

Кто много часов в постели проводит,
Жизнь того напрасно проходит.

Поэзию в Малайзии любят — поэтическим праздникам несть числа. А два года назад в столице страны даже провели поэтический марафон, который длился двадцать четыре часа и в котором приняли участие более трехсот поэтов. Да что тут говорить, если и премьер-министр, и его заместитель находят время для занятия поэзией.

Вспомним, какое впечатление традиционная малайская поэзия (в частности, пантуны) в свое время произвела на представителей Серебряного века в России.

На небе месяц белый и круглый,
И море от месяца пляшет пьяно.
Лицо твое — месяц, алы твои губы,
В груди моей сердце пляшет пьяно.

Это строки из поэтического цикла "Малайские песни", созданного Валерием Брюсовым.

Аделина Адалис свою "Серенаду" сочинила, используя форму "пантуна прошитого". Николай Гумилев написал в стиле пантуна один акт своей пьесы в стихах "Сын Адама".

Азис Дераман, чьи стихи предлагаются вниманию читателей, — один из самых ярких современных поэтов Малайзии. Он родился в Пасир-Путихе (штат Келантан) в 1948 году. В 1971 году по окончании университета "Малайя" поступил на государственную службу, где прошел путь от рядового чиновника до руководителя Совета по языку и литературе (с августа 1994 года). Писать стихи начал еще студентом, выпустил несколько сборников стихов, отмеченных престижными премиями, в том числе премией Юнеско (1983).

Большинство стихов поэта пронизано исламскими мотивами. И это понятно. Ислам для малайцев — не просто религия, а образ жизни. Глубокая религиозность, по мнению поэта, — это источник и залог полнокровной и высоконравственной жизни.

Стихи Азиза Дерамана очень музыкальны и ассоциативны. Он, следуя древним малайским традициям, пытается ввести в свою поэзию рифму — явление достаточно редкое в современной малайской поэзии, хотя традиционный фольклор и эпос как раз всегда рифмованные. Парафраз, игра звуками (увы, порой трудно передаваемая в переводе) присущи почти каждому стихотворению Азиза. Они легко ложатся на музыку и, видимо, поэтому к ним так часто обращаются композиторы.

Из сборника "Ты и Я"

Драма жизни

Кто-то однажды сказал,
Что жизнь — это драма.
И каждый день в ней тоже драма,
Полная напряженных действий,
Обещаний и робких шагов,
Стремлений и испытаний
Везде.
И эта драма жизни напоминает нам
О разочарованиях и победах
Дней сегодняшних и прошлых,
Об усилиях и надеждах
Везде.
И эта драма побуждает нас
Менять жизнь:
От ссор — к примирению,
От ошибок — к истине,
От подозрения — к доверию,
От отчаяния — к вершинам надежды
Везде.
Эта драма сулит нам
Признание и веру в себя.

Мой сын

Мой сын
Научился считать:
Один,
Два,
Три,
Четыре,
Пять,
Шесть,
Семь,
Восемь,
Девять,
Десять.
Я хочу, чтобы потом
Он научился понимать
Слова.
Слова, смысл которых
Числами не передать,
Даже очень большими.
Слова: вера,
Родина, нация,
Слава, уважение и честь.

Четки старого человека

Еще утром я слышал,
Как, перебирая четки,
Он хрипловатым, проникающим в сердце голосом
Восхвалял Аллаха:
Субхаллахи – Валхамдулилахи – Валайлахайллаллахи –
Валлаху-Акбар[1].

А вечером, когда догорела заря, он тоже угас.
И лишь четки напоминают о нем
И о том, как он
Прославлял Аллаха:
Субхаллахи – Валхамдулилахи – Валайлахайллаллахи –
Валлаху-Акбар.

Кто мы?

Спрашивал ли кто-нибудь себя,
Кто мы,
Откуда
И куда идем?

Спрашивал ли кто-нибудь себя,
Кто мы?
И мир, в котором мы живем,
Для кого он?
И для кого мы?

Из сборника "Ковчег жизни"

Поиск

Дни жизни нашей летят,
Исчезая в никуда.
И мы не успеваем воздать должное друг другу,
Ничего не успеваем сделать,
Ничего не успеваем заметить –
Ни светлое, ни темное,
Ни поражения, ни победы,
Ни достоинства, ни недостатки,
Ни доблести, ни мерзости,

1. "Аллах священен – Слава Аллаху – Нет Бога, кроме Аллаха – Аллах Превеликий" (*араб.*) – зикр, т. е. поминание как прославление имени Бога. Рецитация зикра служит целью вызвать состояние приближения к Богу и погруженности (истиграк) в него. В суфизме строго регламентирован, повторяется 33 раза. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Ни слабости, ни силу.
Но если мы,
Несмотря на превратности судьбы,
Сможем найти ясный свет,
То наши сердца наполнятся благостью
И откроются для Его любви.

Меня учили

Учитель учил меня вере,
Отец учил меня жизни,
А мать учила быть добрым к людям.
Но науки эти,
Как листочки на дереве,
Растут дружно только, когда они вместе.

Шагая по этой земле,
Мы постоянно спрашиваем себя,
Можем ли мы жить одной жизнью с этим изменчивым миром?
Легко говорить — но труднее делать:
Познавать, как дервиши, мир,
Горечь жизни,
Себя самого и свою душу.

Мы ли это незримо боремся вместе
В пределах отведенной нам судьбы?

Странствия поэта

О Аллах!
Не могу поверить своим глазам.
Неужели я здесь, на египетской земле
Среди людей, которые постоянно произносят Твое имя.
Между величественными пирамидами кафиров-фараонов[1]
Играю словами, как песками пустыни,
Сахара на краешках губ.
В долине Нила, полной развлечений
И искушений, которые могут свести с ума.

Я в молитвах и надеждах
Часто прошу милости и удачи,
Чтобы невзгоды миновали меня,
Чтобы не постигла меня участь
Отвергнутых тобою поэтов,
Которые сбились с пути
И пишут о том, чего не видели в жизни.

1. Кафир (*араб.*) — неверный.

О Аллах, милостивый и сострадающий!
Прости мои прегрешения,
Сделай меня стойким в испытаниях,
Одари своей милостью.
Я хочу быть среди верных тебе поэтов,
Преклоняться перед Твоим величием
С миром в сердце произносить Твое имя
И одерживать победы
После страданий и горя.
Когда-нибудь и мы познаем мир,
Куда все возвращаются.

Благодаря Твоей милости
Я познаю дорогу жизни и смерти.

Колючие слова

Я не хочу жить
Чувствами других людей.
Не хочу.
Я молча слушаю всех
И в молчании храню слова,
Надеясь, что родится слово-алмаз
Ослепительной красоты.
Я молчу, даже
Когда мне больно
От резких и колючих слов друзей.
Хотя они порой, как отраженный свет,
Возвращаются к ним обратно,
Меняя их жизнь.

Свидетельствую

Свидетельствую:
Нет Бога, кроме Аллаха,
И Мухаммед – Пророк Его.
Два предложения
Так легко слетают с губ,
Но навеки меняют жизнь,
Законы и судьбу,
Делают людей щедрыми
На добрые поступки
И великими душой.

О, как хотел бы я,
Чтобы они стали моими последними словами.

Терпение

С каждым годом
И с каждым днем
Жизнь становится все трудней.

Куда ни ступишь –
Везде острые шипы.
Куда ни пойдешь –
Колючки вонзаются в тело.

Мы очень осторожны,
Но недруги не дают покоя.

Рис смешивают с песком
И подсыпают нам вместо пищи.

Но надо терпеть –
Лишь тогда откроется смысл жизни.

Ворчание жены

Слова "с ума сошел" сорвались с губ
Моей любимой жены.
Сорвались невзначай,
Без злого умысла,
Но запали мне в душу.
Да, есть люди, что сходят с ума от власти,
Есть люди, что сходят с ума от богатства,
Есть люди, что сходят с ума от женщин,
Сходят с ума от нарядов.
От многого сходят с ума,
Хотя и не сумасшедшие.
Слова эти можно понимать по-разному.
И я тоже в известном смысле схожу с ума.
Схожу с ума от переполняющей сердце любви.
Находясь вдали, схожу с ума от тоски.
Схожу с ума от работы.
И до сумасшествия целую детей и внуков.

Но не настолько сошел я с ума,
Чтобы ласкать кого-то, кроме тебя.

Энтони Бёрджесс

Железо, ржавое железо

Роман

Перевод с английского А. Пинского и Е. Домбаян

Tri[1]

Рядовой третьего взвода третьей роты первого батальона Ланкастерского королевского полка третьей пехотной бригады первой пехотной дивизии шестого корпуса Дэниел Джонс получил разрешение поудить на рассвете рыбу в озере Альбано, где водились сиги, на языке местных жителей — корегоне. На удилище пошел чей-то костыль, вместо лески — артиллерийский вытяжной шнур, крючок он сделал из портновской иголки, в качестве наживки взял тушенку — очень уж по рыбке соскучился. С помощью этого незамысловатого устройства до восхода солнца он умудрился вытянуть трех сигов. Его приятель Уэлли Сквайр разжег костер, и перед походом на Рим они полакомились печеным сигом. Рыбка внесла покой в расстроенный желудок Дэна Джонса. Он уже неделю мучился запором, а после такого завтрака сразу побежал в кусты. Все это время ему приходилось есть одну тушенку и шоколад, выданные перед высадкой в Италии. Да еще и в плену побывал, недалеко от Камполеоне, по дороге в Рим, причем ничуть не огорчился: он уже по горло был сыт этой освободительной кампанией и с радостью отдохнул от своей винтовки и гранат.

Еще до высадки в Неаполе пораженческий дух одолевал не только рядовых. Командир взвода мистер Хочкис, бывший агент по торговле недвижимостью, рассказал им немного о берегах Святого Петра и показал их на карте. Он полагал, что подчиненные посмеиваются над ним из-за того, что его обобрали и избили в борделе в Поццуоли, и теперь старался держаться как можно солиднее. “Ребята, там одни сосны да песок. Наша задача — форсировать реку под названием Молетта, ничего особенного, такая же мокрая, как и все реки мира. Воды будет достаточно и сверху. Погоду обещают — хуже не придумаешь, в это время года дожди здесь дело обычное. Нам будет несладко, но хуже всех придется янки, которые высаживаются в Анцио. В общем, это путешествие никому медом не покажется”.

Огромный конвой растянулся до Тирренского моря, не умещаясь в Неаполитанском заливе. Позади остался Капри. Кто-то из солдат напевал:

Она шепнула мне: “Давай расстанемся”,
Я руку ей поцеловал,
Увидел я кольцо на безымянном пальце.
На Капри попрощались мы, на Капри...

Продолжение. Начало в “ИЛ”, № 1, 2004.

1. Три (*валл.*) (*Здесь и далее – прим. перев.*)

— Точно, — прокомментировал капрал Бэйтс, — лучше расстаться, милая, все равно этого сукиного сына больше не увидишь.

После захода солнца конвой начал высадку на материк. Звезды ярко сияли в безлунном черном небе. "И немецких самолетов не видать, отчего бы это, сэр?" — удивлялись солдаты. "Все заняты на Монте-Кассино, где наши ребята вместе с американцами штурмуют 'линию Густава'", — объяснил мистер Хочкис. Люди продрогли, многие мучились морской болезнью. Дэн Джонс страдал от грязи, безделья и тяжести навьюченной на него амуниции. Ему страшно хотелось одного — спать без просыпу. "Надо бы втиснуться куда-нибудь и прикорнуть, — сказал сержант Реккетт, — через четыре часа высаживаемся".

Проснулись они от оглушительной канонады и впервые услышали, как грохочут канонерки, обстреливающие побережье. Восемьсот ракет, по тридцать фунтов тротила каждая, в течение примерно десяти минут наполняли воздух адскими звуками, уничтожая проволочные заграждения и мины, припасенные немцами для десанта союзников. Когда грохот утих, эхо его еще долго носилось над Альбанскими холмами. Дэну Джонсу показалось, что он оглох. Он оглядел едва различимые в предрассветной мгле лица солдат и увидел только беззвучно шевелящиеся губы.

После высадки на берег он почувствовал, что снова слышит, но только левым ухом. Десантная баржа врезалась в песчаную отмель, и все очутились по горло в ледяной январской воде. Вначале слышалась только отчаянная ругань, потом голоса людей смешались с разрывами оставшихся на берегу мин. Берту Редвею, толстяку в очках, оторвало ногу, а Джека Анвина вообще разнесло в клочья, обдав Билла Росса ошметками мяса и кишок. Через несколько секунд и Биллу оторвало все четыре конечности. Дэну Джонсу посчастливилось вырваться из этого ада вслед за сержантом Реккеттом к прибрежным дюнам. Там они остановились, чтобы перевести дух, давясь от тошноты и наблюдая, как саперы наводят понтонный мост от отмели к берегу и прокладывают дорожки в минном поле. Немцев вокруг не было даже в бетонных бункерах, понастроенных ими вдоль побережья. Командиры стали выкрикивать в мегафоны приказы — такие же неразборчивые, как объявления на вокзалах. Солдаты, оставшиеся в живых, промокшие до нитки и промерзшие до костей, сбились в кучу и смотрели, как бронетранспортеры штурмовой бригады устремляются по только что наведенному мосту на берег.

Рев самолетов сначала напугал, потом успокоил: это были свои "спитфайры" и "киттихоки", обеспечивавшие воздушное прикрытие. Мистера Хочкиса никто не видел, решили, что он с офицерами батальона где-то на совещании командиров — небось слушает приказы фельдмаршала Александера, который, черт его за ногу, в меховой шинели разгуливает, или американского генерала с трубкой в зубах, чтоб ему провалиться, — только и забот, что издали за всем наблюдать. Берег уже заполнился людьми, танками, грузовиками и бронетранспортерами. Десантные баржи выгружали промокших пехотинцев "Шервуд Фореста", шотландских кавалеристов, лондонских ирландцев и лондонских шотландцев на холодный мокрый песок. Многие, стуча зубами, не выпускали изо рта отсыревшие бычки. В январском тумане людская масса напоминала копошащихся червей. В трех милях от берега тральщик напоролся на мину и в мгновение ока ушел под воду. Люди настолько

продрогли, что отдали бы все на свете за возможность погреться у костра и глотнуть чего-нибудь горячительного. Неизвестно откуда пришел приказ окапываться, на что солдаты отреагировали проклятьями: пускай генералы сначала покажут, как копать мокрый песок.

Казалось, этому не будет конца. Кашляя от сырости и давясь от рвоты, с пустыми желудками и многодневными запорами, под проливным дождем они строем тащились через сосновый лес в Падильоне. Дождь барабанил по каскам, в ботинки и сапоги натекала вода, струящаяся с плащ-палаток, под чавкающей обувью хрустели шишки. Дэн Джонс со своим отделением был послан в разведку, выяснить, нет ли поблизости немцев. Они прошли вдоль железнодорожной ветки, ведущей на север к Анцио, откуда било большое орудие, которое британцы успели окрестить "Энни из Анцио". Увидев надпись "Кампо-ди-Карне", они остановились. "По-ихнему это значит 'Мясное поле', — сказал мистер Хочкис. — Самое время и место мясцом подкрепиться". Солдаты поели тушенки с галетами, запивая дождевой водой. Им предстоял долгий путь до полустанка Каррочето. Дэн Джонс без конца кашлял и чувствовал себя беспомощно как никогда. Вдоль дороги, по которой они шли, чернели деревья с голыми ветками, по обеим сторонам виднелись маленькие фермы, крестьяне мотыжили свои клочки земли. Рядовой Пирелли, итальянец по прозвищу Макаронник, чей отец до того, как его интернировали, держал лавчонку в Степни, спросил их: "Ci sono tedeschi?", и фермеры, подняв свои мотыги ответили: "Niente tedeschi"[1]. Пирелли объяснил мистеру Хочкису, что это значит, но тот сказал, что за Каррочето, в Априлии, видны три башни, похожие на фабричные трубы, и там должны быть немцы. Известно, что противник готовится встретить десант, и на фабрике наверняка создано укрепление. Когда они перебежками выходили из будки полустанка на главную улицу Каррочето, противник начал артиллерийский обстрел со стороны Априлии. Огонь был неточный, но грохот орудий пугал. Возвращались другой дорогой, через обозначенные на карте горы Буонрипозо. Там они впервые с момента высадки наткнулись на сухое место — известняковые пещеры.

Сержант Реккетт велел собрать хворост, развести огонь, сушиться и греться. Мистер Хочкис приказал радисту связаться со штабом батальона. Все продолжали нещадно кашлять.

— Да пошли они подальше, — сказал Боб Соломон, стаскивая с себя мокрое обмундирование и раздеваясь догола. — Пока не просушусь, ни одна падла меня с места не сдвинет.

Развели костер, вскипятили воду и напились чаю со сгущенкой прямо из котелков. Мистер Хочкис дал всем по глотку рома из своей фляжки. Жизнь обрела смысл и уже не казалась адом, несмотря на дождь, перешедший в град. Некоторые, разморившись, задремали. "Смерть подождет, — сказал, затянувшись сигаретой, Джо Смэдли, — я еще ангелов во сне увижу".

Остальная часть батальона присоединилась к ним вечером. Командир третьей роты майор Титтертон сказал мистеру Хочкису, что пещера будет использована под штаб подполковника Макинтоша, а батальон расположится на бивуаке в Кампо-ди-Карне. Батальон придается 24-й гвардейской бригаде, которая будет штурмовать Априлию. Расположение на

1. Где немцы? — Нету немцев (*итал.*).

бивуаке означало приказ окапываться. Вместе с другими батальонными машинами прибыл грузовик с провизией, всем раздали тушенку и ром, чтобы отметить триумфальную высадку в Италии. Кухня разместилась в одной из пещер, до того занятой первым отделением третьего взвода, и оттуда вскоре стали доноситься пьяный гвалт и похабные песни.

До расположения взвода долетали отголоски жестоких боев в Каррочето и Априлии, там в ход шли и гранаты, и штыки. Дэниел Джонс, мучившийся запором, сидел в кустах, когда мимо прогнали колонну пленных немцев, целую сотню, как он узнал позднее. Его желудку легче от этого не стало. Дэна мутило, он не мог есть и пить среди нечистот и трупов. На его глазах три немецких "тигра" уничтожили целый полк. Априлию возьмут, но сразу потеряют: за тремя башнями, которые они приняли за фабрику, укрывалась туча немцев.

Майор Титтертон повторил третьей роте то, что подполковник Макинтош сказал командирам рот: Каррочето и Априлия очищены от противника, приказано наступать дальше по дороге на Анцио к станции Камполеоне, что в четырех милях к северу от Каррочето по главной ветке железной дороги, соединяющей Неаполь с Римом. Янки наступают параллельно в направлении Чистерны. Саути, из второго взвода, знавший Библию наизусть, сказал, что именно там находятся три гостиницы, где святой Павел встретил римских христиан. "Очень любопытно", — равнодушно отозвался майор. Первый батальон Ланкастерского королевского полка был оставлен в резерве. Под основной удар выставили шотландских и ирландских гвардейцев. Дэн Джонс слышал, как они уходили в сторону железной дороги, сопровождаемые кваканьем лягушек и воем шакалов. А когда на небе появилась полная луна, началась мясорубка.

Медпункт находился к югу от расположения батальона ланкастерцев, в Падильонском лесу. От одного из шервудских егерей, лишившегося ноги, узнали о схватке в Камполеоне: "На станции, за товарными вагонами и цистернами, сидели немецкие минометчики, у нас не было поддержки — наши танки вязли в грязи, проклятый дождь! — немцы перешли в контратаку, в общем, многие из наших бежали, и никто им не судья". Ланкастерцам было приказано ночью выйти маршем на подкрепление полку герцога Веллингтона и шропширской легкой пехоте — хоть поесть и по глотку рома принять успели.

Итак, кваканье лягушек и уханье сов сменилось адским светопреставлением. Немцы встретили противника во всеоружии, с танками, артиллерией и пулеметами. Дэн Джонс единственным ухом слышал нескончаемую пальбу и взрывы. Он бросил свою винтовку и гранаты, когда прямо на солдат направили лучи прожекторов, голос с аристократическим английским выговором приказал сдаться, что многие сделали с радостью. Дэн Джонс в промокших башмаках следовал за Эдди Касселем по тропе, ведущей к прямой узкой дороге. Там они нашли свои грузовики, окруженные немцами, и множество убитых, в основном из первой роты. Потом прожектора погасли, но из мегафона продолжали звучать приказы. В поле ярко горели скирды, из-за туч вышла луна, осветив на миг поле битвы, и вновь скрылась в облачном небе. Их погнали вправо, на какую-то ферму, откуда доносилось хрюканье свиней и мычание недоеных коров. Снова включили прожектора, осветив растерянные лица пленных и каменную ограду фермы. Другой громкий голос по-

английски приказал оставаться на местах и не делать глупостей: война для них окончена. Все, отвоевались, вот и верь после этого генералу Александеру, который прав был только в одном: "Вы, ребята, на чудеса способны", или Чарли Лукасу, хрену с трубкой, обещавшему выдать следующее довольствие в очищенном от фашистов Риме.

— Не бойся, — сказал Эдди Кассель Дэну Джонсу, — немцы любят порядок, они нас не расстреляют и ничего плохого с нами не сделают.

Вскоре все рядовые улеглись на земле на расстеленных плащ-палатках. Опять им подмигнула из-за туч луна. Где-то лаяли собаки. В дальнем углу двора майор Коббет, заместитель командира роты, собрал вокруг себя офицеров: полковник, наверно, убит. Мистер Хочкис прокричал из темноты: "Кто из третьего взвода? Есть ли пропавшие без вести?" Никто не откликнулся, но никто и не выкрикнул в сердцах: "Хватит, откомандовался, теперь немцы начальники". Мистер Хочкис позвал сержанта Реккетта. Кто-то съязвил, что сержант Реккетт удрал, но издалека послышался голос капрала Спенсера: у сержанта Реккетта понос, и он заперся в нужнике. Другие командиры взводов скликали своих подчиненных. Первая рота, выступавшая в авангарде, понесла большие потери. Вторая рота сдалась сразу по примеру своего командира капитана Стрита: на кой черт с жизнью без толку прощаться.

Во двор фермы согнали почти весь батальон. На холодной земле долго не пролежишь, и, чтобы согреться, люди встали, принялись притопывать, тузить друг друга. Когда, наконец, рассвело, под охраной двух немцев с автоматами двое других втащили на двор полевую кухню. Всем плеснули в котелки горячей баланды с ошметками картошки и капусты и выдали по куску непривычного для британцев черного хлеба. Сержант Маш Нотт велел оправиться, побриться и вообще привести себя в порядок перед долгим маршем. "А куда нас погонят, сэр?" — "В вечный город, под папское благословение. Не унывай, братва, пойдем с песней, покажем, маму их за ногу вместе с папой, кто мы такие". Майор Коббетт построил батальон. Остатки гвардейцев и кентцев пошли впереди. Майор Коббетт объявил, что командир вместе с адъютантом в плену, как и многие другие старшие офицеры, но никто не должен стыдиться поражения и плена, война есть война. Он отдал честь немецкому офицеру, после чего раздалась команда "Напра-во! Шагом марш!". Они вяло затянули "Твой, пока светят звезды" и пошли в ногу. Их нестройное пение заглушала жизнеутверждающая "Лили Марлен" немецкого конвоя. День выдался сухой и холодный. Рядовой Джонс оказался бок о бок с рядовым Шоукроссом, бывшим школьным учителем, который рассказывал о неведомых Дэну исторических походах, о том, что по этой самой дороге когда-то с триумфом римские легионы возвращались из очередного похода, но сначала они высаживались у древнего Неаполиса. Теперь их потомки, старики крестьяне, сходили на обочину, уступая дорогу поверженным освободителям. Некоторые пленные кричали им: "Не унывай, дедуля, недолго терпеть осталось". Раз в час с немецкой пунктуальностью им давался пятиминутный привал, но до самого Кастель-Гандольфо их не кормили. Всезнайка Шоукросс сказал, что там, где среди холмов виднеется большое озеро и башни, за железными воротами находится летняя резиденция папы. Когда колонна проходила мимо озера, Дэн не вспомнил о рыбе — его поразила куча оборванных пленных янки под дулами немецких винтовок и автоматов. Они попали в плен у

Чистерны и Веллетри. Те, кто пытался бежать вплавь через Альбанское озеро, были расстреляны. Немцы разгружали захваченную у американцев провизию – тушенку, галеты, сигареты "Лаки страйк" и "Честерфилд" – и бросали пленным.

Соединившись в плену, союзники устроились на ночлег, сбившись в тесную кучу, чтоб согреться, но это не помогало. Время от времени между ними вспыхивали драки. "Это вы, пидоры, просвистели свои позиции". – "Ах ты скотина американская! Этот вшивый янки смеет еще что-то вякать!" Охранники-немцы весело взирали на эту междоусобицу, подтверждавшую заверения их пропаганды, что противник полностью деморализован. На рассвете пленных погнали дальше.

У южных предместий Рима к ним присоединили еще четыреста пленных британцев, янки и хмурых смуглых алжирцев, попавших в плен при "штурме необоримой линии Густава". Уже стемнело, когда они вошли в Рим через ворота Святого Себастьяна, и наступил комендантский час. Под ущербной луной можно было разглядеть термы Каракаллы. "Господи, – крикнул один остряк, когда их остановили возле Колизея и прикладами загнали внутрь, – никак они нас львам скормить хотят". Шоукросс бубнил что-то о викторианском героизме и смерти от римской лихорадки, наблюдая, как те, кто мог, испражнялись среди древних руин за амфитеатром. Большинство по-прежнему мучилось запором. Один янки, совсем мальчик, плакал, вспоминая мамочку, товарищи пытались его утешить. Наутро, закоченевших и растрепанных, их погнали дальше на север по Виа Национале. Римляне провожали пленных грустными взглядами, молча, опасаясь выражать сочувствие к ним или радость по случаю высадки союзников. Хотя нашелся молодой человек в одежде священника, не побоявшийся благословить их. Коротышка, похожий на дворника, попытался угостить Фреда Слэйда сигаретой. Охранник-немец отшвырнул его прикладом винтовки. Нарушив строй, Дэн Джонс, Фред Слэйд и Джек Протеро бросились на этого выродка, но тут же были водворены обратно жестокими ударами в спину. "Запевай, ребята", – крикнул кто-то, но никто не знал, что петь. Их учили песням о том, как бить врага и одолеть силы зла, а других песен петь не хотелось, но потом какая-то группка завела на мотив "Полковник Боги" грязные частушки, не сулившие фрицам ничего хорошего, – благо те не понимали слов. Под эти частушки они вошли на Термини, центральный римский вокзал. Сопровождаемые монахиней школьники в синей форме смеялись, тыча в них пальцами. "Со всех сторон – одно дерьмо, жаль, что я не гриб, какая почва пропадает", – сказал Протеро. Их загнали в зал ожидания. Римские граждане были поглощены мирными заботами. В киоске торговали газетами. На стенах висели рекламы святой воды и сигарет "Национале", правда плакат, гласивший "Муссолини всегда прав", был перечеркнут. "На каникулы едем, не иначе, – мрачно заметил колизейский остряк. – Мамочки, а я лопатку и ведерко потерял!" Их провели под узорной железной аркой на длинный перрон, который подметали туповатые на вид, одетые в синее люди.

На платформе под охраной двоих юных немцев с винтовками стояло множество пронумерованных ящиков. Тем не менее какой-то американец в очках, с двумя серебряными галунами на рукаве, решился подойти и рассмотреть груз поближе. "Награбленные трофеи", – презритель-

но заключил он и запустил руку в один из ящиков. Его отпихнули прикладом, в ответ янки проорал что-то по-немецки. Немецкий офицер в начищенных до блеска сапогах и безупречной шинели вежливо сделал замечание охраннику за неподобающее обращение с пленными, а затем на отличном английском обратился к американцу: "Позвольте мне удовлетворить ваше любопытство. В этих ящиках находятся сокровища бенедиктинского монастыря Монте-Кассино. По настоянию аббата они отправляются на хранение в Рейх. Вам оказана высокая честь проследовать с ними в одном составе. Прискорбно, что варварский международный иудо-большевизм руками англосаксов пытается разрушить древнейший центр христианской культуры. Как видите, ваше путешествие на восток пройдет в приятном соседстве, не лишенном святости. Желаю вам Gute Reise[1]". И он гордо прошествовал дальше в сопровождении фельдфебеля. Американец бросил ему вслед что-то про Arsch[2] Адольфа Гитлера. Тут подошел длинный итальянский состав. Лишь только он остановился, американский капрал выкрикнул: "А ну ребята!" — и прыгнул на рельсы, за ним еще четверо или пятеро солдат прошмыгнули между вагонами и выскочили по другую сторону от поезда, но пули охранников тотчас настигли беглецов. "Все по вагонам, — крикнул офицер-американец. — Чаттануга, чух-чух. В дороге не бузить". Если он и не был родом из Чаттануги, все равно был прав.

При известии о высадке союзников в Нормандии в Гибралтарском гарнизоне стало неспокойно. Все понимали, что война кончается, пора было думать о будущем. В Инженерном клубе не угасали ежевечерние политические дебаты, организованные "Литературно-дискуссионным обществом Гибралтара". Валлийские сепаратисты, или "Сыны Артура", пользовались правом высказываться наравне с коммунистами, либералами и сварливыми фанатиками "Партии Содружества". Консерваторы, не считая полевых офицеров, в спорах не участвовали.

Старший сержант Алед Рис размахивал обрубком, напоминавшим деревянный меч.

— И нечего ржать, — кричал он насмешникам. — Раскопки в Брекоршире доказали, что меч Артура существовал и выглядел именно так. Прошу считать этот меч символом древнего королевства, утратившего свои права, которые мы теперь обязаны восстановить.

В ответ раздавались добродушные реплики: "Скажи лучше, кто смастерил этот деревянный меч, уж не Джон ли Плэйер?" (Так прозвали сержанта Первого гертского полка, которому полковник в целях возрождения давно забытой полковой традиции приказал отрастить бороду, точь-в-точь как у матроса на пачке сигарет "Джон Плэйер".) "И чего вам, брюквоедам, недостает?"

— Зовите нас как хотите, но знайте, чего мы хотим. Главное — покончить с проклятым игом саксов, а это значит иметь свой собственный парламент и своего законно избранного лидера — для начала президента, а потом и наследного монарха. Мы не желаем делиться нашими природными богатствами, требуем судопроизводства и образования на род-

1. Счастливого пути (*нем.*).
2. Задница (*нем.*).

ном валлийском, хотим собственную армию и флот, свою, никем не навязанную внешнюю политику, валлийское гражданство и паспорта, свой пограничный контроль. Долой саксов, разгуливающих по нашей земле, как по своей собственной!

Речь Аледа Риса сопровождалась хохотом и улюлюканьем, как исполнение комических куплетов. Вскипевший от негодования Бен Гриффитс встал, чтобы навести порядок.

— Смейтесь, смейтесь, смехачи. Поглядим, кто будет смеяться, когда настанет великий день. Где сейчас те, кто смеялся над Гитлером и его головорезами? Над Лениным и Сталиным тоже смеялись, только впредь уж вряд ли будут. За что мы воюем все эти годы, если, конечно, считать, что мы воюем, а не обжираемся апельсинами? Подумайте хорошенько, и вы поймете, что речь идет об освобождении целых народов от ярма тирании. Мы не наивны, чтоб надеяться на политиков, которые придут после окончания войны к власти и станут поддерживать идею независимости Уэльса, — что им до нас? Валлийцы сами обязаны добиться независимости, но сейчас мы обращаемся к присутствующим здесь англичанам, шотландцам и ирландцам с просьбой понять, что мы говорим только о наших правах, которые должны уважать наши ближайшие соседи. Свободный Уэльс всегда протянет дружескую руку соседям на другом берегу Ирландского моря или в Каледонии, их стремление к самоопределению получит нашу братскую поддержку. Наступает эпоха малых народов. Мы воюем за свободу уже много лет, но предстоят еще долгие годы борьбы. Пусть этот деревянный меч лишь ничтожная копия сияющего клинка, который отсечет саксонский нарост с живого тела Уэльса. Земля наших отцов снова станет достоянием ее сыновей и дочерей.

Сержант Реджинальд Морроу Джонс не присутствовал на этом собрании только потому, что находился в это время на задании в Ла-Линеа. На следующее утро, сменив фланелевые брюки и спортивную куртку на летнюю униформу цвета хаки, он предстал с рапортом перед капитаном Вудраффом, в мирное время администратором в частной школе. Единственный иностранный язык, которым он владел, был французский для начинающих. Несмотря на службу в разведке, капитан по-прежнему считал, что знание иностранных языков необходимо только официантам дорогих ресторанов да торговцам в Порт-Саиде. Он сухо поздоровался с Реджем и спросил, в чем дело. Редж доложил:

— Сэр, прошлой ночью я убил немца.

— Если вам нечего доложить, сержант, так и скажите. Ваши шуточки вас до добра не доведут. Итак, есть у вас что доложить?

— Сэр, прошлой ночью я убил немца.

На письменном столе капитана Вудраффа сидел мохнатый скотчтерьер по кличке Пух. Капитан почесывал псу шею, и тот, млея от удовольствия, вытягивался в струнку. Наконец капитан произнес:

— Итак, прошлой ночью вы убили немца. Вы пошли на базар, встретили там немца и убили его. Может, вам стоит сочинить про это рассказ и отнести его в редакцию местного журнала? “Как я убил немца прошлой ночью”. Звучит недурно. Не забудьте подписаться: сержант Р. А. Джонс.

— Р. М. Джонс, сэр. Вы решили, что я шучу, сэр, но, по-моему, это вы, сэр, сейчас недостаточно серьезны. Если вы хотите получить письмен-

ный рапорт, вы его получите, но я считал своим долгом предварительно известить вас устно.

Собачка взирала на Реджа.

— Вы хотите сказать, — вдруг дошло до ее хозяина, — что убили немца? Штатского? В Ла-Линеа?

— Именно, сэр. Он был в штатском, как вы верно догадались, но из этого не следует, что он не военный. Я тоже был в штатском, хотя и служу.

— Так вы все-таки *убили* этого чертова немца?!

— Сэр, я зарезал его армейским ножом в проулке около бара "Бараха". По-испански это значит "Игральная карта". Стены бара разрисованы игральными картами, точнее, картами таро. Висельник, Падающая башня и тому подобное. Армейский нож, кстати, мне не выдали. Я купил его у одного испанца. Немца этого я встретил в баре. Он сам сказал мне, что он немец, да я бы и без него догадался по акценту. Так вот, когда я с ним заговорил, он сказал, что он — немец, что все устали от этой проклятой войны, а мы на нейтральной территории, и почему бы нам не выпить.

— И вы приняли предложение врага?

— Как вы догадались, сэр?

— Сержант Джонс, не морочьте мне голову!

— Капитан Вудрафф, а вы уверены, что мне есть что морочить?

Рука Вудраффа сжала горло любимого песика, и собака зарычала. Вудрафф тоже зарычал. Собачка вырвалась из его рук и забилась в угол корзины, потом растянулась во всю длину и зевнула, высовывая чистый розовый язычок и выставляя напоказ шершавое нёбо.

— Хотите попасть под трибунал? — взревел Вудрафф.

— Все в вашей власти, сэр. В защиту свою могу лишь сказать, что пытался по всей форме доложить о вражеских происках и о том, как враг Его Величества поплатился за это жизнью, а вы, мой командир, выразили мне недоверие в весьма возмутительной форме, сэр.

— Откуда мне знать, черт вас возьми, — хрипловато произнес Вудрафф, — что вы говорите правду?

— Со мною был капрал Уитком, сэр. Он все видел, его даже стошнило. Он потом сказал еще, что это не по-джентльменски — ножом в спину. Когда немец, чьи документы у меня в кармане, — в этом месте Редж похлопал ладонью по карману форменной рубашки, — подыхал среди использованных презервативов и апельсиновых корок, мимо проходила веселая парочка, местная проститутка с британским солдатом. Они могут засвидетельствовать кончину светловолосого человека, корчившегося на земле в предсмертной агонии.

— А вас эти двое могут опознать?

— Теперь вы мне верите, сэр? Очень хорошо, и впредь не смейте называть меня гнусным лжецом. Проститутка, я думаю, сможет. Ее зовут Кончита.

— Где Уитком?

— Ушел на дальний мол читать лекцию о японском милитаризме. Уитком подтвердит мои показания. Я думаю, ему стоит доверять, сэр. Как ни крути, он — профессор славистики Даремского университета.

— Полиции хоть поблизости не было? — горько застонал Вудрафф.

— Нет, сэр. Гражданская оборона в это время разгоняла своими стальными плетками нищих ребятишек, которые просят милостыню. Не хотят, видите ли, чтобы те демонстрировали перед иностранцами нищету Испании. Нет, сэр, полиции не было. После этого я сразу побежал к пограничному пункту, Уитком — за мной, только он все пыхтел и жаловался, потому что не поспевал. Границу мы пересекли без всяких проблем.

— И сразу пошли к себе и никому ни о чем не рассказывали?

— Не совсем так, сэр. Я еще заглянул в наш буфет, выпил пару кружек пива с одним моряком и, конечно, не выдержал, рассказал ему о том, что сделал. Он мне тоже сначала не поверил. Но я показал ему нож со следами засохшей крови, и тогда он поддержал меня, сказав, что долг британского солдата — убить врага, в каком бы обличье он ни попался на пути. Нож по-прежнему у меня. Если хотите, сэр, можете на него взглянуть.

Капитан, морщась, как от боли, встал из-за стола и подошел к собачьей корзине. Он взял собачку на руки и обнял ее так, как будто это было единственное здравомыслящее существо на свете. А затем, видимо, от волнения грассируя на французский манер, произнес:

— Убийство. Это же смегтоубийство, чегт подеги!

— Да, убийство. Но в контексте тотальной войны.

— Вы что-то сказали про его документы...

— Ах, ну конечно. — Редж вынул бумаги из кармана. — Ничего особенного, сэр. Несколько вырезок с полунагими красотками из немецкого журнала, чтобы скрасить одиночество. Письмо от девушки, видимо от невесты. Зовут Труди. Пишет, что скучает, и он, наверно, тоже скучает, а бомбы все падают и падают... Адресовано Вольфгангу Траутвайну. Она его нежно именует Воферль. Так члены семьи и близкие друзья звали Моцарта, сэр, которого тоже звали Вольфганг. Как видите, на конверте адрес немецкого консульства в Севилье. Бедный Воферль, похоже, служил дипломатом. Не знаю, можно ли считать его сугубо гражданским лицом. Звание не обозначено, просто "доктор". У них всякий, кто закончил университет, доктор. Как доктор Геббельс. Будь я немцем, я бы тоже назывался доктор. А вот вы — нет, сэр.

Капитан Вудрафф снова уселся за стол и водрузил на него собачку.

— Отдайте мне эти бумаги, — сказал он, развалившись в кресле.

— Вы же не читаете по-немецки, сэр.

— Это мне и без вас известно, и я не повторяю приказ дважды.

"Тут уж позвольте вам не поверить", — отметил про себя Редж.

— И нож давайте сюда. Вы сказали, что купили его у испанца. Вы его купили специально, чтобы убить этого Траутвайна?

— О нет, сэр. Я его купил много раньше, в какой-то таверне, когда ел яичницу с жареной картошкой. На оливковом масле, сэр. Видно, судьба.

— О чем вы говорили с этим, как бишь его, Траутвайном, что за дурацкая фамилия?

— Совсем не дурацкая. Если перевести, даже аппетитная фамилия. Из двух частей: форель и вино. Вы когда-нибудь пробовали форель в вине, сэр?

— Ваше легкомыслие, сержант Джонс, просто поразительно.

— Так точно, сэр. Я полон гордости за совершенный поступок. Наш славный главнокомандующий меня бы, наверно, похвалил.

— О господи, — скрипнул зубами Вудрафф. — Отвечайте на мой вопрос.

— Разрешите присесть, сэр? Я понимаю, это не положено, но я, знаете ли, устал. Думаете, убивать легко?

— Отставить! Это вам не пустая болтовня в казарме. Я ваш командир, вы — подчиненный, мы обсуждаем серьезное дело, так что шуточки и панибратство — долой. О чем вы с ним говорили?

— Да в общем ни о чем. Кстати, по-испански он говорил лучше, чем по-английски. Он говорил, что война слишком затянулась, сокрушался, что две родственные нации оказались врагами. Еще говорил, что Гитлер во многом, если не во всем, прав, что теперь, когда большевики угрожают Европе, долг немцев и британцев — сообща драться с русскими. Он говорил: лучшее, что пришло в голову Гитлеру, — это идея окончательного уничтожения евреев. Я ему сказал, что у меня жена еврейка. Он поморщился и заметил, что в постели она, наверно, не хуже других баб. А по-английски добавил: "Трахать их, а потом глотки резать". Ну а я решил перерезать глотку ему. Только вместо этого, как я уже вам докладывал, я его в спину пырнул. В темном проулке. За баром "Бараха".

— В вашем личном деле ничего не говорится о еврейском происхождении вашей жены.

— По-моему, это никого, кроме меня, не касается, сэр. Мы — в британской, а не в германской армии.

— Никого не касается? Вы убили этого человека по сугубо личным мотивам, и это — единственный довод, который может использовать защита.

— Защита? Вы сказали: защита?! Как будто мне грозит судебное разбирательство за выполнение прямого солдатского долга. Я убил немца, вот и все. Я доложил об этом, как положено. Мне остается только отдать вам честь, повернуться на сто восемьдесят градусов и уйти. Сэр, — Редж отдал честь, но с места не двинулся.

Зазвонил телефон. Потревоженная собачка спрыгнула со стола и снова растянулась в своей корзинке. Капитан Вудрафф поднял трубку:

— Да. — Он долго молчал, внимательно слушая сообщение. — Так точно. В десять часов. Отлично. — Положив трубку, он злобно произнес: — Звонили от губернатора.

— От губернатора, сэр? По поводу нашего дела? Быстро, однако.

— Звонил адъютант губернатора. Он не сказал, по какому поводу меня вызывают, но нам обоим хорошо известно, в чем дело. Приведите себя в порядок. И выньте эту чертову ручку из нагрудного кармана. Если вы считаете, что выполняли солдатский долг, так потрудитесь хотя бы выглядеть как настоящий солдат.

Капитан Вудрафф накрошил собачке сухарей, добавил в блюдце молока и велел ей в его отсутствие вести себя прилично. Затем вместе с сержантом отправился в резиденцию губернатора, которая находилась неподалеку. Стояла нестерпимая жара. Казалось, еще немного и "Скала"[1] расплавится и растворится в море. Сидя в приемной рядом с сержантом, капитан Вудрафф утирал с лица пот. Приемную украшали портреты Рука и Хитфилда и скверно написанное панорамное полотно, где был изображен захват англичанами Гибралтара в 1704 году. Редж курил

1. "Скала" — разговорное название британской военно-морской базы в Гибралтаре.

одну сигарету за другой. Наконец без четверти одиннадцать вышел адъютант губернатора, круглолицый капитан с пышными усами, и объявил, что его превосходительство готов принять капитана Вудраффа. Он добавил, что не понимает, зачем здесь сержант, но, возможно, у капитана Вудраффа на этот счет свои соображения. "Да уж, соображения..." — угрюмо бурчал Вудрафф, следуя за адъютантом.

Войдя в кабинет Мейсон-Макфарлейна, вице-губернатора Гибралтара, капитан Вудрафф отдал честь и получил приглашение сесть. В огромном кабинете начальника маленькой колонии царили прохлада и полумрак: жалюзи по случаю жары были опущены. По стенам, как в музее, расположились реликвии, оставшиеся от прежних хозяев кабинета: бронзовая статуэтка сарацина, возможно, самого Тарика ибн Зиада, план англиканского собора в мавританском стиле, мраморные статуэтки с лежащими львами, колокола погибших фрегатов, чучела представителей местной фауны — куропаток, дятла и голубей. В горшках росли крупные кактусы. Стулья восемнадцатого века смотрелись неплохо, но сидеть на них было неудобно.

— Спасибо вам, что явились по первому зову, — сказал губернатор. — Вы уже знакомы, я полагаю, — и он показал на сидевшего напротив Вудраффа майора Уиллард-Гиббонса. Капитан и майор согласно кивнули. — Майор, нам необходим ваш совет по одному гражданскому делу. Я не знаю, входит ли это в компетенцию разведки. Окольными путями ко мне попал рапорт с другой стороны границы. Как вы знаете, мы поддерживаем распространенное у испанцев заблуждение о том, что губернатор Альхесирас является одновременно и губернатором Гибралтара. Кстати, он собирается к нам с визитом в следующем месяце. Нам от этого вреда не будет, а испанцы пусть потешат свое национальное самолюбие. Так вот, из Альхесираса сообщили об убийстве одного немца. Шеф полиции в Ла-Линеа пытался связаться напрямую с нашей полицией, но это — грубое нарушение. Мы — военный гарнизон. Рапорт пришел из Альхесираса, но преступление, очевидно, было совершено в Ла-Линеа. Полиция навела справки и установила, что немец, которого звали... где-то у меня записано, как его звали... в общем, не важно, — незадолго до смерти его видели с одним из наших. Неудобно как-то получается, не правда ли? В баре видели британца в штатском в компании немца. Обычно полиция не придает большого значения показаниям, э-э, жриц любви, но в данном случае одна из них утверждает, что, проходя мимо, видела, как наш вытащил кинжал из тела немца. Имени она, конечно, не знает, но опознать может. Короче говоря, испанские власти уверены, что британский солдат, находясь в увольнительной на испанской территории, совершил убийство. Вы, как офицер разведки, располагаете подобной информацией?

— Так точно, сэр, — тяжело вздохнул Вудрафф. — Фамилия немца Траутвайн, он сотрудник германского консульства в Севилье, находился далеко от места приписки явно со шпионской миссией. Его действительно прирезал один из наших. Один из моих подчиненных, если уж быть точным. Сержант Джонс. И сейчас он здесь, в приемной.

— Боже, какая неприятность, — поморщился губернатор, — и что же, он сам во всем признался?

— Сэр, он явился ко мне сегодня утром, чтобы доложить о происшествии по всей форме. Он гордится содеянным. Говорит, что долг солдата — убить врага. И я полагаю, это утверждение не лишено смысла.

— Он рассказывал об этом кому-нибудь еще?

— Да, сэр, причем весьма громко, в офицерском буфете. Дайте ему волю, и он завтра же опубликует новость в местной газете. Я же говорю, он гордится своим поступком.

В беседу вступил майор Уиллард-Гиббонс, полноватый, средних лет мужчина, профессиональный адвокат. До войны к нему обращались в случае столкновения интересов гражданских и военных ведомств.

— Если бы убийство произошло на театре военных действий, — сказал он, — это считалось бы исполнением солдатского долга. Но вся беда в том, что это случилось на нейтральной территории. Испанцы правы, рассматривая происшествие как убийство. В соответствии с международным правом они могут потребовать экстрадиции Джонса.

— Ах, какая неприятность, — повторил губернатор. — Но вопрос в том, кто в нынешней обстановке контролирует соблюдение норм международного права? Иными словами, кто или что может нас заставить подчиниться требованиям испанской стороны?

— Видите ли, — уточнил майор Уиллард-Гиббонс, — это не совсем верный подход к делу. Нам необходимо принять во внимание точку зрения испанцев. Немец убит на их территории, а немцы, по мнению испанцев, проявили дипломатический такт, когда отказались от вторжения в Испанию и захвата Гибралтара. Немцы теперь имеют право заявить протест, и Франко окажется в очень неловком положении.

— Неужели вы полагаете, — сказал губернатор, — что дело дойдет до Мадрида? Мне кажется, местным властям невыгодно придавать его огласке, и они попытаются дело замять.

— Боюсь, что нет, сэр. Как сказал Вудрафф, немец был сотрудником консульства, если я не ошибаюсь, в Севилье. Дипломаты хватятся его. Не забывайте, что немцы имеют в Испании сильное влияние, ведь они помогли нынешней власти победить в гражданской войне. Убийство — это преступление, тем более убийство германского подданного британцем на испанской территории. Такое дело непросто замять.

— Как же нам поступить? — спросил губернатор. — Отдать нашего парня в руки испанского правосудия?

— По закону следовало бы поступить именно так, но мы, конечно, не станем этого делать. Интересная ситуация. Помнится, в Лондоне в сентябре 1939 года был похожий случай. Дело не получило широкой огласки, так как считали, что это опасно. У молодого человека, совершившего убийство, был зять немец, который сохранил германское гражданство и паспорт, работал в лондонском отделении "Люфтганзы" и открыто поддерживал нацистов. Вскоре после объявления войны его зарезал брат жены. В экстренных случаях посольствам, консульствам и прочим представительствам вражеской стороны отводится время для выезда, но пока немец оставался в Лондоне, его шурин времени не терял, а на суде заявил, что убил врага отечества.

— Никогда про это дело не слыхал, — оживился губернатор. — И чем же кончилось? Оправдали?

— Его осудили за непредумышленное убийство. Суд был закрытый, без присяжных. Осужденный подал апелляцию, по которой до сих пор не принято решение.

Всю эту историю майор Уиллард-Гиббонс сочинил от начала и до конца — порой на него находило такого рода вдохновение. Однажды он написал невероятную историю о человеке, которого обвиняли в убийстве, совершенном в Детройте, а он в качестве алиби использовал тот факт, что в момент преступления находился в Чикаго, где совершил другое убийство. Приводилось множество улик в пользу того, что он виновен в обоих убийствах, но поскольку совершить их одновременно он не мог, ему мастерски удалось запутать суд.

— Мы обязаны следовать букве закона, — заключил майор, — но в любой игре есть правила, на которые закрывают глаза. Я не думаю, что Его Величество обрадуется, если узнает, что один из его солдат, переодетый в штатское, убил другого человека в штатском на нейтральной территории, тем более что убитый не был вооружен и не имел возможности защищаться. Это как-то не по-военному.

— Так что же нам делать?

— Если верить Вудраффу, этот парень играет с огнем, когда трубит о своем геройстве где ни попадя. Пока испанской полиции известно только, что какой-то британский солдат в гражданском убил немца на испанской территории. Но если он и дальше будет выставлять себя героем, скоро все узнают, кто убийца. Новость тут же попадет в газеты и станет известна всему миру. Я считаю, что испанская полиция имеет право знать, кто из британских солдат был в тот день в увольнительной, шлялся по кабакам и девкам. Они имеют право потребовать для опознания их всех. Списки находившихся вчера в увольнительной имеются? — спросил он Вудраффа.

— Разумеется. Никто не может уйти без разрешения. Иначе бы весь гарнизон мотался в Испанию и обратно, когда кому заблагорассудится.

— Итак, список есть, значит, мы можем собрать всех, кто вчера был в увольнительной, и предъявить их испанской полиции?

— Да, сэр. За исключением сержанта Джонса, разумеется.

— Вот, значит, как его зовут, — сказал губернатор. — Понятно. Ах, как все это неправильно. Так вы предлагаете, капитан, показать им, что мы готовы соблюдать законность и предъявить для опознания всех, кроме того, чьих рук это дело? Это как будто не по правилам?

— Конечно, сэр, — ответил Вудрафф, — но вы не можете отрицать, что сейчас главная наша задача — уничтожать немцев, хотя здесь у нас и немного для этого возможностей, но все равно, война есть война. Сержант Джонс убил врага, и наказывать его за содеянное неправильно. И еще я боюсь, что, если мы представим для опознания наших ребят, испанская полиция, скорее всего, возьмет первого попавшегося, только чтобы угодить немцам.

— С юридической точки зрения, — сказал майор Уиллард-Гиббонс, — война тут ни при чем. Испания — нейтральная территория. Один человек пырнул ножом другого человека. Чистой воды убийство. Ему не следовало так поступать. Война ведется по другим правилам. Враг, так сказать, обезличен. Даже если бы один из наших укокошил в Ла-Линеа самого Адольфа Гитлера, правительство Его Величества оказалось бы в

весьма неловкой ситуации: убийство произошло на нейтральной территории.

– Думаю, парень не решился бы на убийство, – сказал капитан Вудрафф, – если бы тот не сказал гадость про евреев.

– Кто сказал гадость? – спросил губернатор.

– Убитый немец, сэр, Траутвайн. Он болтал какие-то гадости про евреев, а когда сержант Джонс сказал ему, что женат на еврейке, то в ответ услышал кое-что похуже.

– Сержант Джонс женат на еврейке? – удивился губернатор.

– Да, сэр. Я уверен, что он никогда бы не схватился за нож, если б немец не оскорблял евреев.

– Ну, вот, – вздохнул майор Уиллард-Гиббонс, – теперь это уже не убийство противника. Ваш человек убил немца по причинам сугубо личного характера.

– Да, – возразил Вудрафф, – но эти сугубо личные причины напрямую связаны с тем, из-за чего мы воюем с немцами.

– Вовсе нет, – возразил губернатор. – Мы вступили в войну из-за Польши. Мы объявили войну Германии не потому, что немцы убивали евреев. Я имею в виду, что нам об этом ничего известно не было, верно? Конечно, необходимо положить конец уничтожению евреев, как, впрочем, и других народов. Я просто хотел сказать, что антисемитские высказывания – еще не повод кидаться на людей с ножом.

– Мы вынуждены убивать немцев, – сказал капитан Вудрафф. – И мы убиваем их везде и всюду, даже матерей с младенцами. Это тоже не очень-то правильно.

– Как вы полагаете, нам следует поговорить с этим вашим сержантом, – спросил губернатор, – сказать ему хотя бы, чтоб держал язык за зубами?

– Он здесь, сэр, в приемной, – сказал Вудрафф.

– Минуточку, – сказал майор Уиллард-Гиббонс. – Необходимо сделать следующее: все поездки в Испанию должны быть немедленно запрещены. Вы можете сейчас же издать такой приказ?

– Приказы по гарнизону оглашаются в полдень, – ответил губернатор. Он позвонил, чтоб вызвать адъютанта. – Сейчас все сделаем. И еще выставим охрану по всем четырем постам, на всякий случай.

– Я считаю, – продолжил майор, – что мы должны немедленно отправить этого парня подальше отсюда, скажем, в срочную командировку.

– О господи, – простонал Вудрафф, – это не так просто – организовать срочную командировку. Куда же мы его откомандируем? Если мы отошлем его в Британию, положение может осложниться. Испанское посольство начнет теребить Черчилля запросами о ситуации в Гибралтаре, и отвечать за все придется, вы уж извините, сэр, вам. Боюсь, мы здорово влипли.

– Самое странное, сэр, – сказал майор, – что мы вынуждены лгать. Одно дело – лгать врагу, это в порядке вещей, особенно во время войны, и совсем другое дело – лгать дружественной нации.

– Разве Испания – наш друг? – удивился Вудрафф.

– Испании удалось остановить немцев у французской границы, поэтому они не дошли до Гибралтара. Это вполне дружественный акт, – пояснил губернатор.

– Я думаю, – сказал майор, – самое лучшее в нашем положении – тихий саботаж в отношениях с испанской полицией. Они же ничего не смогут сделать. По крайней мере, если этот парень не будет орать на весь мир о своем грехе.

– Нет тут никакого греха, – пробормотал Вудрафф, – то есть мы этот поступок грехом не считаем. Просто парень – полный идиот. Прошу прощения, сэр.

– Я согласен с тем, – сказал губернатор, – что его необходимо срочно куда-то командировать. То, что я предлагаю, конечно, ужасно, но единственный способ выйти чистыми из этой истории – отправить вашего сержанта на передовую, то есть на верную гибель. Тут уж комар носа не подточит, испанцы останутся довольны.

– Мы тоже, – согласился майор Уиллард-Гиббонс.

– Если вдуматься, свинство это все, – сказал Вудрафф.

– Война – вот самое большое свинство, знаете ли, – успокоил его губернатор и снова вызвал адъютанта: – Тони, напечатайте еще один приказ по гарнизону.

– Пойду приведу этого паршивца, – сказал капитан Вудрафф.

Он направился в приемную, но там было пусто, если не считать Рука и Хитфилда, грустно взиравших со стен. Только этого не хватало. Он вышел на улицу и от двух умирающих от зноя часовых узнал, что сержант удалился в направлении Мейн-стрит. Опыт службы в разведке подсказал Вудраффу, куда именно мог пойти сержант Реджинальд Морроу Джонс. Прямо из резиденции губернатора он позвонил в редакцию местной газеты "Гибралтарская хроника" и попросил главного редактора сержанта Шортера.

– Сержант Джонс у вас?

– Так точно, сэр.

– Говорит капитан Вудрафф. Не печатайте ничего с его слов. Это приказ. И немедленно позовите к телефону сержанта Джонса. – У капитана Вудраффа заныло в животе. И еще он вспомнил о собачке: наверно, уже весь пол описала.

Редж вылетел из Гибралтара на закате того же дня транспортным самолетом Королевских военно-воздушных сил в компании рядового, страдавшего неизвестной в Испании кожной болезнью, канонира, получившего отпуск по семейным обстоятельствам, и штабного офицера, направленного на переподготовку. Бóльшую часть самолета занимали тюки с почтой. Редж был очень сердит. Во-первых, его лишили положенного отпуска. Боялись, как бы он не пошел в "Дейли миррор", которая немедленно опубликовала бы его историю на первой странице под заголовком "Наказан за убийство фашиста". Во-вторых, он был под арестом. Штабной офицер, летевший с ним, на самом деле получил инструкцию сопровождать Реджа до авиабазы в Нортхолте. Редж не находил себе места: он мечтал повидаться с женой, каждую неделю писал ей полные любви письма, но ответы от нее он получал все реже, и они становились все прохладнее. Ни один мужчина на свете не сделал бы большего ради жены: зарезать немца, который издевался над ее происхождением и утверждал, что евреи годятся только на удобрения немецких огородов, – это поступок. От пережитого у Реджа все еще кружилась голова.

Зато легкомыслия в этой голове поубавилось. Сам губернатор отчитал его по первое число: куда это годится, пьянствовать с иностранцами, а потом убивать их в темных проулках. Даже в условиях тотальной войны следует соблюдать правила. В конце концов, существует разница между войной и убийством. Современная война по сути — безымянное уничтожение противника на расстоянии. Приказы убивать должны исполняться, равно как и отдаваться, без гнева и пристрастия — в противном случае вам ничего не остается, как только думать о муках и страданиях жертвы. История цивилизации, неотъемлемой частью которой являются войны, показывает, что военная история развивается по линии неуклонного абстрагирования от противника. Неужели, сержант Джонс, вы полагаете, что летчики, ведущие ковровые бомбардировки, в которых гибнут старики, женщины и дети, смогли бы исполнять долг перед отечеством, если б думали не о стратегических, а о гуманитарных последствиях своей миссии? В общем, согласно законам мирного времени, хотя сейчас эта роскошь мало кому доступна, он, сержант Джонс, совершил убийство, и правосудие нейтральной страны требует возмездия. Чтобы уберечь сержанта от возможных попыток похищения с целью передачи испанским властям, командование великодушно командирует его в зону военных действий. По вашей вине, сержант, администрация колонии оказалась в неловком положении по отношению к нейтральным соседям и вынуждена взвалить на себя заботу о вашем срочном отъезде из гарнизона. Губернатор также выразил надежду, что Р. М. Джонс раскаивается и по достоинству оценит гуманную меру пресечения. И вот Редж летит на север, замерзая на неудобной железной лавке.

Его вдруг обдало жаром, а в груди под левым соском похолодело: он убил человека. Человек угостил его испанским джином с лимонным соком, коктейлем, который бармен Хуанито называл “Спитфайр”, дружелюбно болтал с ним о глупой войне и менее дружелюбно — о язве сионизма. Потом немец вышел в темноту андалузской ночи и расстегнул ширинку, чтоб помочиться у стены. Недалеко от него, у противоположной стенки, пристроился капрал Уитком, не преминувший между делом отметить, что Хемингуэй порадовался бы такой сценке. А он, Редж, взял и ударил человека ножом в спину, точно посередине шва на синей куртке. Человек остолбенел, рука сжала пенис, из которого била мощная струя. Следующий удар ножа был сильнее. Человек рухнул наземь и захрипел. Из ширинки как ни в чем не бывало торчал мокрый пенис. И тогда Редж добил немца, всадив ему нож в сердце. Тут появилась Кончита в обнимку с придурковатым британцем. Оглядывая убитого немца, он сказал: “Мужик что надо”. Редж бросился наутек. Уитком, начавший блевать от вида крови, — за ним.

Редж вспомнил один из первых звуковых фильмов под названием “Человек, которого я убил”. Главный герой, молодой француз, перерезал глотку немцу во время Первой мировой войны, а потом, мучимый угрызениями совести, нашел деревню, где жил убитый, и покаялся перед его семьей. В финале эта семья усыновляет француза. Выходит, все можно простить, думал Редж, хотя и не горел желанием стать приемным сыном семьи Траутвайн, если таковая вообще существовала. Теперь он ясно понимал, что пусть и с большим опозданием, но выполнил задачу, ради которой записался в интербригаду: уничтожать фашистов на испанской земле. Нейтралы, как же. Нет никакого нейтралитета: англича-

не просто лицемерят. Его русско-валлийская душа запела от радости. Если когда-нибудь Ципа забросит барабанные палочки и решится родить, их дети будут русско-валлийскими евреями. Здорово обзавестись такими детьми, в пику англичанам: он ради них немца убил — полюбуйтесь, как они его отблагодарили.

Когда дождливым летним утром самолет приземлился в пункте назначения, сопровождавший Реджа офицер сдал его на руки сонному лейтенанту, вручил пакет от командующего Гибралтарским гарнизоном и на прощанье обронил: "Вообще-то я такими делами не занимаюсь". Лейтенант увидел сержанта разведки в колониальных шортах цвета хаки, и его сон как рукой сняло: Редж походил на персонаж из фильма времен бирманской кампании. Пришлось объяснять, что это единственная его одежда. Вещмешок с формой при погрузке на дальнем моле уронили в воду и перепачкали мазутом и морскими водорослями. Лейтенант, страдавший от похмелья, вяло заметил, что за неуставную одежду и голые колени положен трибунал. Он прочел сопроводительную депешу и, подмигнув Реджу, сказал:

— Похоже, ты там дров наломал.

— Всего-навсего убил немца, сэр.

— В самом деле? В таком случае ты сдал экзамен на право убивать их и впредь. Здесь сказано, что ты подлежишь отправке в Портсмут, а оттуда — в Нормандию. Там ты должен явиться в штаб войск в Арроманше. Знаешь, где это?

— Я полагаю, в Нормандии, сэр.

— А ты шутник. Это именно там, где построили порт Малберри, триумф британской инженерии. Ладно, ступай во вторую казарму и разбуди моего интенданта. Скажи ему, что ты не можешь следовать дальше в коротких штанишках. Надо подыскать тебе подходящее обмундирование, хотя где его взять, ума не приложу.

— Это не моя вина, сэр.

— Твоя вина, сержант, в том, что ты много болтаешь.

— Сэр?

Лейтенант промолчал.

Редж получил новую амуницию только в Портсмуте, куда его доставила трехтонка военной полиции. Тамошний интендант предложил Реджу самому выбрать форму, оставшуюся от солдат, умерших в местном госпитале по причинам, с войной не связанным. Реджу понравился мундир безвременно усопшего лейтенанта Хартфордширского полка: он решил, что заслуживает повышения в награду за уничтоженного противника. Но ему этого показалось мало, и он задумал удрать от двух капралов из военной полиции, поджидавших его у дверей интендантского склада. В такой форме не трудно будет улизнуть, а там будь что будет. Британская желтая пресса его поддержит. Упомянув бульварные листки, губернатор сам натолкнул Реджа на эту мысль. Он-то поначалу собирался обратиться в "Гибралтарскую хронику", серьезную и старейшую в Европе газету.

Вещмешок Редж решил бросить на складе. Только вытащил из бокового кармана два ключа, от парадного и квартиры Ципоры, и закинул его в дальний угол, заваленный вещами умерших. Поцеловав ключи, он положил их в нагрудный карман мундира. Туда же он засунул записную книжку с телефоном сестры. Был уже полдень, и он рассчитывал до-

браться до Манчестера к вечеру. Сестре в Лондон он решил позвонить заранее, чтобы предупредить о своем приезде, а то свалится нежданно-негаданно, а она с любовником в постели. У Ципы телефона не было. Ей он устроит сюрприз: муж вернулся с фронта. В этом случае, как и обычно, Реджу не хватило такта и проницательности.

Для маскировки вместо фуражки он надел пилотку бывшего армейского ветеринара и очки в стальной оправе, которые нашел на складе. Оказалось, что в очках он видит лучше. Редж никогда не страдал слабым зрением, а на последней медкомиссии военврач вообще не стал терять времени, заявив, что на войне глаза считают, а не проверяют — какие есть, такие и сгодятся.

Вернувшийся после предобеденного чая, который здесь называли аперитивом, интендант застал Реджа в полной форме. Редж соврал, что его повысили в звании прямо перед отправкой из Гибралтара, расписался в получении амуниции и спешно вышел из комнаты. Военная полиция не обратила на него внимания: один капрал читал военный листок под названием "Отечество", другой ковырял спичкой в зубах. Очкастого лейтенанта они проводили равнодушным взглядом. Редж лихо сбежал по лестнице, но на улице сообразил, что не сможет ехать поездом: во-первых, у него были только гибралтарские деньги; во-вторых, на вокзале будет полно военной полиции, а его, конечно же, кинутся разыскивать. Его, исполнившего свой долг! Придется добираться на попутках.

Так случилось, что в этот день я тоже был в Портсмуте. После окончания курсов меня оставили инструктором на базе в Олдершоте, и, получив отпуск, я поехал навестить родителей, снимавших особняк на Брюнел-авеню. Вечером мне предстояло вернуться в Олдершот. Портсмут был основательно разрушен после шестидесяти семи воздушных налетов, последний из которых пришелся на май. Отец рассказывал мне о своей работе в том самом порту Малберри, куда направили Реджа. Шесть миль бетонных молов, трудности с постройкой сухих доков с кессонами, каждый по двести футов длиной и от двадцати пяти до шестидесяти футов высотой, — мне это мало о чем говорило. "На чьей стороне Бог?" — вдруг спросил отец. Шторм, разразившийся через две недели после начала высадки союзников в Нормандии, в это время года никогда раньше не наблюдался.

— Больше всего досталось янки, их корабли крушило о бетонные молы. Слава богу, мы успели достроить волнорезы и укрепить дно с одной стороны. Я сказал "слава богу", хотя не за все следует его благодарить. Да уж все равно, слава богу, что я теперь на пенсии. — Отец набил трубку и добавил: — Примерно через год война окончится. Что ты собираешься делать дальше?

— Я еще не решил. Может быть, продолжу учебу, чтобы получить диплом магистра, хотя к философии я охладел. — Трудно оставаться философом, обучая десантников, которых забрасывали в тыл к немцам, технике перерезания глоток. Не безопасной бритвой, а специальной, придуманной для убийства.

Мать была поглощена редким хобби. Она тушью переносила на пергамент эпиграммы собственного сочинения и раздаривала эти миниатюрные произведения искусства всем, кроме своих детей.

Быть иль не быть — не есть вопрос,
Но есть-то все же надо.
Хотя и брюква, и овес
Желудку не услада.

Она состарилась, поседела, располнела, но ее все еще можно было назвать красивой.

— Построение еврейского государства, — сказала она, — вот в чем твое будущее. Учи иврит, мы с отцом уже учим, причем основательно, а не так, как раньше, когда мы жили в Иерусалиме и Яффе. Тогда было достаточно знать несколько фраз, чтоб отдавать распоряжения прислуге.

— Вы собираетесь эмигрировать в Палестину? — удивился я.

— В Израиль, так будет называться наше государство, — попыхивая трубкой, сказал отец. В твидовом пиджаке и с трубкой, он выглядел стопроцентным англичанином. — Дело вовсе не в патриотизме. Просто мы хотим жить в тепле и есть апельсины из собственного сада. Довольно с нас сырой, промозглой Англии. Этот климат губителен для твоей бедной матери. — В подтверждение его слов мать разразилась мокрым кашлем. — К тому же Англию война доконала. Песенка империи спета. Мы с матерью хотим вернуться на Средиземное море. Культура началась с Палестины, там же она будет воссоздана. И мы с матерью хотим увидеть, как твое поколение ее воссоздаст.

— Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что культура началась с Палестины? А Египет? А античная Греция?

— Я имею в виду монотеизм, — ответил отец. — Не то чтобы я верил в одного или многих богов. Семиты изобрели фонетическое письмо. Идея общественного договора тоже принадлежит им. Не сомневайся, в новый Израиль потянутся лучшие умы современности, которым будет где объединиться после долгих лет скитаний по всему свету. Звучит, конечно, несколько пафосно, но, в конце концов, на то мы и евреи, чтобы быть патриотами.

— Неверующие евреи.

— Еврейский атеизм своеобразен. Евреи-атеисты распространяют свои идеи с фанатизмом, присущим миссионерам. Возьми хотя бы музыку.

— Помнится, вы не очень-то интересовались музыкой.

— Знаешь, я обнаружил в музыке некоторое сходство с архитектурой. Я недавно слышал по радио концерт оркестра "Халле", исполняли "Пир Валтасара" для баритона и хора, очень еврейская музыка.

— Сочиненная христианином из Ланкашира.

— У него наверняка еврейские корни. Я знаю, как Ципора орудует на своих ударных. В ней столько энергии, что она могла бы создать симфонический оркестр Израиля.

— А я?

— Ты можешь преподавать философию в иерусалимском университете. Или вступить в израильскую армию и стать инструктором по борьбе с проклятыми арабами.

— Язык, нужен язык, — вклинилась моя мать, не отрываясь от пергамента.

— Чтоб апельсины жрать, что ли? — разозлился вдруг я.

— И все это под жарким солнцем и ярко-синим небом, — расцвел в улыбке отец.

— Вот именно. Мы уже стали забывать вкус апельсинов, — поддержала его мать.

А в это время сытый по горло испанскими апельсинами Редж трясся в грузовике, доставлявшем дренажные трубы в Хаунслоу, и рассказывал шоферу о том, как он порешил немца и из-за этого теперь в бегах.

Вечером того же дня я сидел в заплеванном солдатами поезде. Пьяный унтер напротив меня громко храпел и во сне обмочился. Маленькая девочка, сидевшая с ним рядом, сказала матери: "Мамочка, смотри, дядя написал". — "Тише, тише, солнышко мое", — всполошилась мать. На вокзале, к моему удивлению, было полно военной полиции, и мне пришлось предъявить увольнительную. Я не понимал, почему они так внимательно изучают мое офицерское удостоверение, а не документы рядовых. Правда, на моих глазах задержали двух солдат, не имевших увольнительной. Меня после нудной проверки отпустили. Полиция явно кого-то искала.

Этот кто-то располагал только гибралтарскими банкнотами, но мелочь у него имелась, и он позвонил из автомата в Хаунслоу своей сестре Беатрикс.

— Чего надо? — раздался в трубке мужской голос.

— Позовите мисс Беатрикс Джонс.

— Шел бы ты подальше.

— Звонит ее брат. Это срочно. Кто вы такой?

— Пошел в жопу.

— Сам ты пошел в жопу. Говорю тебе, это ее брат. Немедленно передай ей трубку.

— Брат, говоришь? Прямо из концлагеря? Лучшего ничего придумать не мог? Отвали, приятель, тебе сегодня не повезло. — Раздался сигнал отбоя.

Редж позвонил еще раз. Трубку сняли молча, и Редж смутно расслышал возню тел. Он повесил трубку. Значит, поеду прямо в Манчестер, решил он.

Шофер грузовика остановился у придорожной забегаловки и предложил Реджу подкрепиться. Сам он собирался провести ночь с женщиной, муж которой воевал то ли на Рейне, то ли на Роне. Редж вошел в прокуренное кафе с первыми аккордами песни "Поцелуй меня на ночь, сержант". Он спросил у шоферов, не едет ли кто на север. Один из них, дожевывавший яичницу из порошка, вез шифер в Стаффордшир, — пожалуйста, это по пути. Редж попытался обменять свои гибралтарские купюры. Рассматривали их с любопытством, но никто не брал. Последнюю мелочь он истратил на пирог со свининой, большую часть которого скормил жирной дворняге, отиравшейся у столов. На дорожку зашел в грязный сортир, стены которого пестрели надписями типа "Хочу трахнуть Винни из Уорвика". Устроившись в кабине новенького грузовика, Редж в очередной раз поведал шоферу историю про то, как он убил немецкого шпиона и теперь вынужден скрываться. И очередной шофер, похоже, ему не поверил.

Позднее, в Стоуке, Реджа подвезли американцы. Водитель джипа, всю дорогу напевавший "Не пытайся охмурить меня, малютка", заметил, что добраться до Манчестера проще на попутках. Редж сидел рядом с из-

можденным офицером из высших чинов, который на любое сказанное слово отвечал: "Да-да". В Мэтлоке Редж пересел на военную трехтонку, в которой, кроме водителя, ехал рядовой. На рассвете, пока Редж шел пешком от военного транспортного депо на Мосс-сайд до квартиры своей жены на Уимслоу-роуд, сердце от волнения, казалось, вылетит вон, а в голову лезли скабрезности из придорожного сортира.

Фольклор богат историями о солдате, который неожиданно возвращается домой к жене. К примеру, солдат, весь мокрый, сидит в баре и рассказывает: "Я пришел, а она в ванной моется". Или вот еще: солдат укоряет приятеля, которого застукал со своей женой: "Мы же с тобой друзья были, в одном карауле стояли. Посмотри, до чего ты докатился. А ну, прекрати немедленно, когда с тобой разговаривают!" Но, разумеется, все это анекдоты о чужих женах. Истосковавшись по дому, любой солдат представляет свою жену в ярком переднике с чашкой горячего чая в руках. Редж тихо отпер дверь и в тусклом предутреннем свете прошел на цыпочках наверх, чтобы не разбудить любимую, — и попал в комический список воинов-рогоносцев. Сестра моя, совершенно голая, скакала верхом на обнаженном мужском теле и встретила супруга криком любовного наслаждения. Незнакомый мужчина несколько раз судорожно дернулся и замер с разинутым, как и у Реджа, незаметно проникшего в спальню, ртом. Правда, причина, по которой он раскрыл рот, была иной: парочка слилась в поцелуе, и Ципа рухнула на спину. Потом они молча лежали и дышали, как запыхавшиеся спринтеры, пока не увидели Реджа.

Тем временем Редж ломал голову, что бы такое сказать, и наконец вымолвил: "Чем он тебя взял, флейтой, что ли?" Но, заметив на полу, среди разбросанной одежды, черный кожаный футляр от гораздо более массивного инструмента, развернулся и убежал. Что тут было говорить? Ципа не бросилась ему вдогонку, да и чем бы она могла оправдаться? Уже на лестнице Редж проорал: "Я ради тебя немца прикончил, а ты, значит, вот как меня отблагодарила, сука паршивая!" Он выскочил на улицу и, не замечая ни людей, ни машин, побрел куда глаза глядят. "Боже, боже, боже", — не переставая твердил он вслух и вдруг подумал, что литература все-таки связана с реальной жизнью. "В 'La casada infiel'[1] об измене рассказано самим прелюбодеем. Зато трагедия "Отелло" ясна теперь как божий день. Не понимаю, отчего это французские комедианты играли преступление на почве ревности как анекдот. И эта сучка еще имеет наглость считать себя homo sapiens. Хотя бы сделала вид, что тоскует по мужу-фронтовику. Господи, да она просто животное". От смятения чувств его разрывало на части: шок и гнев смешались с похотливым возбуждением: вслед за Блейком ему захотелось увидеть жену в роли шлюхи, с черными растрепанными волосами, прилипшими к разгоряченному страстью телу. Он вдруг представил себя на месте этого тромбониста и почувствовал еще более сильное возбуждение. Может, вернуться, простить и заняться с ней тем же, чем она только что занималась с другим? Все можно понять: война, длительная отлучка законного супруга, одиночество. Но нет, она не нуждается в прощении, женщинам оно никогда не нужно: они всегда найдут себе оправдание. К тому же он не из тех, кто

1. "Неверная жена" (*исп.*) — романс Федерико Гарсиа Лорки из цикла "Цыганское романсеро".

подъедает соус с чужих тарелок. Редж прижался лбом к прохладной витрине табачной лавки и беззвучно заплакал. Увидев рыдающего как дитя лейтенанта, проходивший мимо полицейский, не вынимая изо рта жвачку, спросил: "В чем дело, дружище?" Редж повернул к нему искаженное мукой лицо и произнес только одно слово: "Жена". Полицейский понимающе кивнул: обычное для военного времени дело, не то что преждевременные роды. "Ты не одинок. Кругом полно таких. Ничего не поделаешь, война. Такое время, дружище", — сказал он.

Тут Редж, осознав всю нелепость своего дезертирства, решил как можно скорее сдаться властям.

— Далеко участок? — спросил он.

— Ближайший — в Дидсбери, только трамваи и поезда сейчас не ходят. Есть еще один, в центре города. Далеко.

— Я имел в виду ваш участок, а не военный.

— А, понятно. Я вас провожу, — вызвался полицейский, обрадовавшийся случаю попить чайку, вместо того чтобы торчать промозглым утром на улице.

— Пока меня не повезли дальше, могу я позвонить в Лондон? — обратился Редж к дежурному по участку.

— Вообще-то у нас здесь не общественный телефон, — не без намека отозвался тот и стал с любопытством рассматривать Реджа поверх очков.

— Я заплачу, если вы сможете обменять мне гибралтарские деньги, — сказал Редж, думая о другом: "Вот женщины, что жена, что сестра, крепко свое дело знают. В это время сестра как раз встает. Если этот ублюдок, любовник ее нынешний, остался у нее, то наверняка еще храпит вовсю. Хорошо, если она, как водится, выставила его и отправила домой". Сержант и сопровождавший его констебль с любопытством вертели в руках банкноту с изображением Гибралтара. Наконец сержант сказал:

— Знаешь что, давай мне эту бумажку, мой младший их коллекционирует, и можешь звонить.

— Дороговато получается, — сказал Редж.

— Ну это же иностранные деньги, верно? Здесь это просто бумажка, у нас такие не в ходу. Звони. Если по личному делу, мы выйдем, не бойся.

Где-то засвистел кипящий чайник. Редж назвал телефонистке номер Беатрикс и спустя полминуты услышал чужой голос, кричавший "нет, нет, не верю!", а потом сквозь треск "алло" сестры. Он постарался выложить все как можно короче, но получилось не очень связно. Как работника дипломатического ведомства, ее обеспокоили возможные последствия преступления, совершенного братом на нейтральной территории. Но как родной человек, она была возмущена позицией властей и обеспокоена его нынешним положением. Как незамужнюю женщину со свободным взглядом на жизнь, ее лишь позабавила участь рогоносца, которой не избежал и Редж. В остальном она неожиданно оказалась заботливой сестрой, хотя чувства свои старалась скрыть. Беатрикс велела ему сдаться властям и ждать. Долго ждать не придется. Редж положил трубку. Вошли сержант с констеблем, держа в руках кружки с чаем. Из дальней камеры послышался наигранный смех.

— Итак, джентльмены, я — дезертир, — заявил Редж.

Сержант задумчиво отхлебнул чаю и сказал:

— Это ведь не наше дело, правда? Это дело армии.

— Но я совершил противоправный поступок, преступление, а вы на службе закона.

— Закон закону рознь. В армии свои законы, у нас — свои. Что одним законом запрещается, в другом не упоминается, ясно? Вот если бы ты банк ограбил или бабушку какую пришил, чтобы пенсию у нее отнять, тогда бы ты, голубчик, был наш. А вот если бы, к примеру, своего спящего однополчанина прирезал, то это уже дело военных. Убийство — это преступление, но твое убийство не по нашей части.

— Значит, абсолютных преступлений и абсолютного правосудия не существует? — с ехидцей спросил Редж.

— Значит, нет, — кивнул сержант, хотя и не совсем понял, о чем речь.

— Нас учили действовать согласно "Руководству для полиции" Мориарти, — добавил констебль, — там все написано.

— Все, чем мы можем тебе помочь, — сказал сержант, — это позвонить в военную полицию. Мы, так сказать, оказываем друг другу услуги. Мы им пьяных солдат иногда передаем, но они нам, по правде сказать, особенно не помогают. Они же не настоящая полиция, только временная. Ладно, посидите тут, я им сейчас позвоню. Прости, что чаю не предложили, но нынче все по карточкам.

— Я ему дам хлебнуть из своей кружки, — раздобрился констебль.

Редж, как и все солдаты, сталкивался с патрулями военной полиции на улицах и вокзалах, но никогда не подозревал, что у "выродков", как их называли, есть свои казармы, куда его сейчас и препроводили двое капралов. Его привели в помещение, похожее на полицейский участок с фотографиями разыскиваемых дезертиров по стенам, и поставили перед одетым с иголочки капитаном.

Редж изложил свою историю.

— Да, помнится, я вчера что-то такое слышал, — сказал капитан. — Тот факт, что вы явились добровольно, говорит в вашу пользу. Мне необходимо связаться с вашим сборным пунктом. Если хотите есть, — мягко добавил он, — можете позавтракать в сержантской столовой. Чудная история. Никогда ничего подобного не слыхал. Когда вы потребуетесь, вас вызовут.

Сержантская столовая оказалась очень тесной, зато сверкала чистотой. Двое сержантов курили и слушали радио. Передавали концерт классической музыки, баритон пел "Славьте богов". Бог мой, это же "Пир Валтасара". Ну, сучка, ты еще у меня запоешь! Все уже позавтракали. Он один, давясь от ненависти и позора, яростно поглощал жирную ветчину с хлебом, а под звуки музыки — благо рядом никого не было — нарастало осязаемое возбуждение. После второй чашки чая ему удалось успокоиться. Из столовой он вышел, когда хор пел о лампаде, которой уже не гореть никогда.

До полудня Редж читал "Дейли миррор", в которой главной новостью был свежий комикс о легендарной девице Джейн, которая от картинки к картинке теряла предметы своего туалета, — войну же упоминали вскользь. Еще подробно рассказывалось о капрале, застрелившем неверную жену в Хаддерсфилде. Все как сговорились, расстроился Редж и собрался было на второй завтрак, когда его вызвали.

Капитан озадаченно посмотрел в бумагу и после паузы сказал:

— Вам предписано явиться в министерство обороны. В министерство! Сегодня в девятнадцать ноль-ноль. Не спрашивайте меня почему, я

не знаю, приказ пришел с вашего сборного пункта. Может, вы мне объясните, в чем дело?

— Понятия не имею, сэр. А там сказано, к кому именно в министерстве я должен явиться?

— Нет, сказано только явиться к главному подъезду. Будь я проклят, извините за выражение, если хоть что-то понимаю. Вам, офицеру разведки, может быть, все ясно, но выглядит это дико. В общем, я выписываю вам пропуск и плацкарту, в 11:58 вы должны сесть в лондонский экспресс. Сами, без конвоя.

— Сам?

— Да. Вы несколько поторопились произвести себя в лейтенанты. Вы получаете это звание сегодня в 12:00. Поздравляю. — Капитан, выпучив от недоумения глаза, повертел головой, будто проверяя по фотографиям разыскиваемых дезертиров, все ли на месте, и протянул Реджу документы. — Вот ваш пропуск, *мистер* Джонс.

Так обращались друг к другу только младшие офицеры, старшие считали это ниже своего достоинства. Мистер Джонс принял пропуск и поспешил на вокзал. В поезде его соседями по купе оказались капеллан, читавший "Высокую радость святой мессы" монсиньора Рональда Нокса, молчаливый блондин канонир, похожий на адъютанта, и очень некрасивая, курящая с каменным выражением лица дама из женского корпуса военно-морских сил. Мистером Джонсом никто из них не интересовался. Сидевший рядом с Реджем маленький мальчик попробовал поиграть галунами на его рукаве, за что получил от матери вялый шлепок. Ранним августовским вечером того же дня Редж сошел в Юстоне и на подземке добрался до Вестминстера, оттуда пешком — до Уайтхолла и скоро вышел к зданию военного министерства. У главного входа его ждала Беатрикс, одетая, как всегда, элегантно, в бежевый костюм с накладными плечами, но усталая, с темноватыми кругами под глазами.

— Ты? Почему ты? — удивился Редж.

— Когда придем ко мне, объясню. Министерство иностранных дел и военное министерство сейчас работают совместно над одной проблемой, над какой именно, узнаешь позднее.

— Неважно выглядишь, Трикс.

— Это все из-за этих бомб, последнее секретное оружие Гитлера. Никто не спит — бомбежек боятся. А что толку бояться? Если уж на тебя бомба свалится — не убережешься. Идем, в моем распоряжении машина военного министерства.

— Бог ты мой!

Машина ждала на стоянке. Шофер-капрал загасил сигарету и, сияя улыбкой, открыл заднюю дверцу.

— Это машина полковника Уэггетта, — объяснила Беатрикс. — Бедняга потерял ногу и стал неврастеником.

Шофер, по всей видимости, знал, где живет Беатрикс. Напротив ее дома валялись булыжники раскореженной мостовой. Постель Беатрикс была не убрана, на мятых простынях валялись два одеяла и мужские трусы.

— Я тебе звонил, но какой-то негодяй послал меня подальше.

— Поэт, довольно известный. Забудь о нем. Нам нужно поговорить о серьезных вещах.

— У тебя поесть найдется? Умираю с голоду. Меня вышвырнули из Гибралтара с такой скоростью, что я даже не успел обменять деньги.

— Есть немножко сыра, а водки хоть залейся.

— Откуда это?

— В Лондоне служит наш русский кузен. Сотрудник советского посольства. Племянник матери. Юрий Петрович Шульгин. Может, помнишь, она рассказывала о нем. Ему еще часть пальца оторвало в 1917 году, юный герой-революционер. Она ему подарки ко дню рождения посылала, только, похоже, они не доходили.

Редж мигом проглотил кусочек сыра, по величине пригодный разве что для мышеловки, глотнул крепчайшей водки и заел черствым хлебом. Беатрикс пожирала его любящим взглядом: брат загорел, но страшно осунулся, кисти рук пестрели тонкими шрамиками, как от кошачьих когтей.

Потом она сказала:

— Министерство обороны — это тебе не гибралтарская база. Когда туда назначили Дика Уэггетта, все вздрогнули. Ты этого еще не знаешь, в Англии сейчас полно русских, их привезли из Нормандии. Одни служили немцам добровольно, другие были рабами "Тодта".

— Что значит были рабами?

— Немцы использовали их как дармовую рабочую силу. Теперь наши не знают, что с ними делать. Военнопленными в строгом смысле слова их считать нельзя. Пока они просто перемещенные лица — русские, украинцы, кого там только нет. Даже несколько тибетских пастухов оказалось. Забрели со своими овцами, сами того не ведая, на советскую территорию, а их в Красную Армию забрали, — в результате попали к немцам. В военном министерстве решили привезти их сюда и разместить в лагерях, освободившихся после отправки союзников в Нормандию. Они даже не военные, по крайней мере большинство из них. Много женщин и детей. И каждый день привозят новых. Тихий ужас!

— А я-то тут при чем?

— Лагерям срочно требуются переводчики, вот при чем.

— Так, значит, ты устроила мое повышение и командировку в один из этих лагерей?

— Это сделал Уэггетт. Он шустрый старичок, несмотря на свою деревяшку.

— Но ты ведь даже не сотрудник военного министерства.

— Нет, но этим вопросом в первую очередь занимается министерство иностранных дел. Как же иначе? Это же перемещенные советские граждане, их посольство имеет дело с нами.

— И какова позиция посольства?

— Они, конечно, сбиты с толку. Трудно поверить, что некоторые их соотечественники, попав в плен, добровольно перешли к немцам, чтобы воевать с режимом, который они, оказывается, считали хуже нацистского. Поэтому Советы хотят заполучить их назад, причем всех: виновных и невиновных, попавших к немцам добровольно или по принуждению, включая рабов "Тодта", короче говоря, всех.

— Чьих рабов?

— Ты что, не слушаешь? Это я тебе уже объяснила. Так вот, многие русские не хотят возвращаться, боятся, что Сталин всех без разбору расстреляет только за то, что они побывали на Западе и теперь станут бол-

тать, что райская жизнь — отнюдь не в Советском Союзе. Я выступила с предложением разрешить тем, кто не хочет возвращаться на родину, остаться здесь, но старик рассудил иначе, у него на то свои резоны.

— Какой старик?

— Да ты что, с луны свалился? Винни-Пух[1], наш славный предводитель. Дело в том, что многие из наших и американских пленных находятся в восточной части Рейха и неизбежно попадут в руки русских. Винни уверен, что Сталин будет держать их в качестве заложников до тех пор, пока мы не отдадим ему русских, — вот мы и вынуждены считаться с мнением старика, тем более что это касается лично нас.

— Кого это — нас? Извини, но я умираю от голода.

— Ничего, не умрешь. Нас, тебя, меня и матери с отцом. Дэн в немецком лагере около Роггена на Одере. Мы с опозданием получили эти сведения от швейцарского Красного Креста. Ты что, хочешь, чтобы Дэн остался заложником у русских?

— А что, язык он знает. Какая ему разница. Если ему еще и рыбку время от времени подбрасывать, он и вовсе возражать не будет, а в Одере рыбы навалом.

— Ну и ублюдок же ты! Дэн один стоит десяти таких, как ты. Он в Италии воевал, пока ты апельсинами обжирался.

— Все думают, что на Гибралтаре только и дел, что апельсины лопать. Надоело мне это до смерти.

— Извини, что позабыла о бананах. Не понимаю, что это я вдруг расчувствовалась, вспомнила, что ты мне брат. Ладно, слушай: неспокойное место — лагерь возле Иктона в Суффолке, в двенадцати милях к северу от Ипсуича, и ты отправляешься именно туда, немедленно.

— Откуда тебе это известно?

— Я заведую спецотделом, который занимается советскими гражданами на британской территории. В Иктоне далеко не все гладко. Местный викарий — большой любитель Достоевского, читает в подлиннике. Он знает, что в округе полно агентов НКВД. Избивают добропорядочных советских граждан в пивных. Он собирался обратиться в прессу и начать громкую кампанию, но нам удалось его остановить.

— То есть его тоже избили? А что такое — НКВД?

— О господи! Все тебе нужно объяснять! Народный комиссариат внутренних дел. А викария не били, просто предупредили о последствиях разглашения государственной тайны. Тебе предстоит непростая работа в Иктоне: подыгрывать Сталину ради наших пленных на востоке. Помни, что в их числе — твой брат Дэн.

— Отлично. Я готов. После того как эта сука со мной так поступила, сложное поручение — это то, что мне нужно.

— Дурак ты, Редж. Кто же вламывается без предупреждения, хотя бы и к собственной жене?

— На то она и жена, чтоб хранить верность. Муж — другое дело.

— Ну разумеется, мужья имеют право на удовлетворение похоти, жены — никогда. А если мужья испытывают угрызения совести из-за совершенной ими измены, они оправдываются тем, что представляли на месте первой попавшейся шлюхи свою жену. Молчи лучше, а то меня стошнит.

1. Имеется в виду У. Черчилль.

— Стошнит? А от безногих неврастеников тебя не тошнит? Или, может, тебе нравится, когда кого-нибудь тошнит? Погоди, когда-нибудь и тебя проймет.

— В самом деле?

— Вот увидишь. Встретишь кого-нибудь, кем не сможешь просто *пользоваться*, тогда поймешь. Влюбишься по уши, как я, вот тогда помучаешься. А я подаю на развод.

— Долго ждать придется, очередь больно длинная. Лучше займись делом. Постой. Напиши ей, извинись за неожиданное вторжение, скажи, что впредь будешь тактичнее. И не смей даже заикаться о том, что ты ее прощаешь. И еще, не удивляйся, если она первая потребует развода.

— Что за ахинею ты несешь! Просто уши вянут.

— Откуда тебе знать, а вдруг она любит этого трубача? Легче любить человека, когда он рядом. Если долго не видеть мужа, он превращается в абстракцию.

— Да что ты знаешь о любви? Ты же никого в своей жизни не любила.

— Я люблю тебя, как ни странно. И Дэна люблю. Мне трудно совместить любовь с сексом. Секс есть секс, сначала возбуждение, потом расслабление. Послушай, сейчас не время рассуждать о банальностях. В Сент-Панкрасе тебя ждет офицер, у него получишь билеты и командировочное удостоверение...

— Ничего себе банальности! Да в твоих жилах не кровь, а застывший лед. Как ты живешь? Что это за шум?

— Секретное оружие Гитлера. Не бойся, на сей раз далеко. Застывший лед, говоришь? Так вот, знай: только благодаря этому я еще жива.

— Ну ничего, погоди, и с тобой стрясется...

Лежа на нарах в казарме в Олдершоте, я видел очень яркий сон. Мне снилась Беатрикс. Если сны вообще что-то значат, их смысл не просто в отражении неосуществленных желаний, а в том, что они предвещают события, которые произойдут в нужное время в нужном месте, хотя тот, кому они снились, может и не стать их участником. Как человек, чье взросление пришлось на тридцатые годы, я никогда не сомневался, что сны предсказывают будущее. Мне приснилось, что я заплатил ненастоящими, а теми, которые используют на сцене, деньгами за карточки на приобретение одежды. Купил я их в олдершотской пивной у какого-то гермафродита с усиками щеточкой. Зачем купил, стало ясно из продолжения сна, когда я вдруг перенесся в огромный гостиничный номер. Точно такую же комнату я увидел наяву гораздо позднее, в Рио-де-Жанейро. За окнами лежал снег, и на большом календаре, висевшем на стене, был январь, — видимо, по ассоциации с названием города, который мне еще предстояло увидеть.

Совершенно голый, покрытый темным загаром, я стоял посередине этого номера. Напротив сидела одетая Беатрикс и с насмешкой глядела на мою обрезанную плоть. Кровати в комнате не было, только ковер на полу, сшитый из звериных шкур, пятнистых, полосатых и белых. Я бросился на Беатрикс и стал срывать с нее одежду. Она сопротивлялась, но я был сильнее. Я сорвал с нее изящный маленький пиджачок — такой фасон в 1944 году еще не носили, — потом разорвал блузку. Зубами пере-

кусил застежку лифчика, который в этом сне военных лет назывался Büstenhalter[1], и обнажил роскошную грудь. Зубами я сорвал с нее шелковые трусики и взял ее стоя. Я брал ее много раз, куда ни попадя, даже в подмышки, поросшие золотым волосом, почти насиловал, пока она не стала податливей. Потом мы упали на шкуры, обнялись, как настоящие любовники, и я подарил ей карточки на одежду.

Ее ответ на мою щедрость оказался неожиданным. "Война закончилась, — сказала она, — карточки отменили, полная свобода, — и потребовала, чтобы я сделал ей больно, унизил, искусал ее, выпорол и заездил как животное. — Я твоя рабыня, — твердила она. — Помни главное — теперь полная свобода, так что можешь даже съесть меня, если хочешь". Проснулся я весь в поту.

Редж рассказывал, что примерно в то же самое время ему снилась Ципа, исполнявшая все партии ударных в "Весне священной". Редж прошел в оркестровую яму и по кивку дирижера, которым был сам Стравинский, вырвал из рук своей неверной жены барабанные палочки и принялся ими ее дубасить, но Ципа оказалась сильнее, отобрала их у него и превратила мужа в неизвестный доселе ударный инструмент, издававший всю гамму звуков ксилофона. Публика смеялась от души. Сон Реджа ни в малейшей степени не был пророческим.

Pedwar[2]

Стояло сырое январское утро 1945 года.

— Пора вставать, — сказала Мария Ивановна Соколова.

Она повертела в руках дешевые часики, которые Редж подарил ей к английскому, а не русскому Рождеству, с радостью убедилась, что они идут, и стала будить Реджа. Промычав что-то спросонья, он попытался ее обнять, но Марии Ивановне, одной из двоих лагерных врачей в Суффолке, надо было спешить на утренний осмотр больных: неизлечимых сифилитиков и трипперников, страдающих болями при мочеиспускании, поносников, симулянтов, которые считали похмелье болезнью, заслуживающей обращения к врачу, и покалеченных драчунов. Реджу не хотелось отпускать ее. Проснувшись, он стиснул в объятьях ее хрупкое тело и сказал, что любит. Она ответила, что тоже любит, — на долгие объяснения в любви времени не было, — потом звонко шлепнула по спине, обозвав лежебокой, и вскочила с кровати. Натянула армейские брюки, рубашку, шоферскую кожанку и мужские ботинки на несколько размеров больше, так что приходилось набивать их старыми газетами. Русские давно уже использовали газеты вместо портянок, а выдаваемыми им английскими носками подтирали носы — в общем, использовали не по назначению. Черные как смоль волосы Марии, стянутые резинкой, скрылись под трофеем — немецкой пилоткой, какие носили в концлагерях эсэсовские охранницы.

После безобидной любовной перебранки с Реджем она забежала выпить чаю в столовую для перемещенных лиц офицерского звания, хотя

1. Бюстгальтер (*нем.*).
2. Четыре (*валл.*).

среди официально лагерного персонала признавались лишь британцы. Редж остался один на узкой койке в полагавшемся ему по званию отдельном бараке, курил и нежно водил рукой по простыне, которая еще хранила тепло ее тела. Каждое утро, после первой близости, он говорил все о том же: она свободная женщина и может остаться в Англии. Он обучит ее языку — и он уже начал давать ей уроки, хотя она не относилась к этим занятиям всерьез. После войны они поженятся. Забудь об этом, в который раз отвечала она: я жена Петра Лаврентьевича Соколова, инженера-электроэнергетика из Свердловска, и хочу вернуться к мужу. Его и в живых-то уже нет, жестоко утверждал Редж, но она его не слушала, женское сердце не обманешь. Что до любви — есть любовь короткая, а есть на всю жизнь, как в супружестве, объясняла она. Когда в Красной Армии не хватало врачей, Марию Ивановну призвали, повысив до лейтенанта. Расставаясь с Петром Лаврентьевичем, вспомнили, что брак — буржуазный предрассудок, а клятвы в вечной физической верности были уместны в век Пушкина — и теперь, когда все на волосок от смерти, в разлуке можно позволить себе короткие связи. Редж — чудный мальчик, пьет меньше, чем Петр Лаврентьевич, и пахнет от него лучше, но нет в нем русской души, несмотря на русскую мать. Но я же люблю тебя, люблю, орал Редж, точь-в-точь как его мать, когда, бывало, зацеловывала маленького сыночка по-русски, до потери пульса. “Я вас люблю” по-русски звучит протяжно и гораздо естественнее, чем английское I love you, — у Реджа не возникало и тени сомнения в искренности своих чувств, и к черту Ципору, пусть трахается с барабанными палочками. Он даже не написал ей, где находится. С ней все кончено.

Когда рассвело, он перечитал письмо от Уиткомба, которого успели повысить. Испанский период завершился. Теперь задачей разведки стало формирование фотоархива, доказывающего зверства нацистов в концлагерях. От документов СС, захваченных союзниками, многих тошнило, и один гибралтарский капеллан даже выступил с публичным протестом. О правилах игры уже не вспоминали: хороший немец — мертвый немец. Сейчас бы Редж получил благодарность за поступок, свидетелем коего невольно оказался Уиткомб. В Ла-Линеа тогда арестовали какого-то мужчину, зарезавшего своего тестя, и тот добровольно взял на себя убийство немца, так что дело благополучно замяли. Сочли, что оба убийства — следствие пьяного разгула, и оба были признаны спровоцированными, так что убийца отделался небольшим тюремным сроком. Вот такие новости.

Редж побрился, облачился в мундир, отутюженный бывшим портным по фамилии Постоев, и пошел в офицерскую столовую, хотя, кроме него, в лагере было только три офицера, из них один капрал и один интендант. Последний при появлении Реджа укоризненно произнес “ай-ай-ай”, намекая на то, что знает, чем занимается сержант в своем изолированном жилище. Конечно, лейтенант здесь старший по званию, ему видней, но сожительство с одной из трех русских женщин чревато неприятностями. Начнутся необоснованные жалобы со стороны лагерников, мол, завелись любимчики у начальства, и станут требовать больше мяса, а может дойти и до личных оскорблений. К тому же русские совершенно непредсказуемы: того и гляди кто-нибудь предательски пырнет ножом в спину. Пути мести неисповедимы, туманно намекнул интендант, подразумевая подвиг Реджа в Ла-Линеа. “Хоть русских и на-

зывают нашими славными союзниками, но, помяните мое слово, никому из этих негодяев доверять нельзя".

За завтраком, состоящим из каши, пирожков с жирным мясом и чая, заведующий дисциплинарным отделом лагеря младший сержант Скаммелл доложил, что накануне пятеро бородатых русских залезли в дом престарелой вдовы миссис Левинсон и похитили пять фунтов и десять шиллингов, а также бронзовые настенные часы. Конечно, это дело полиции, но полиция в последнее время смотрит сквозь пальцы на мелкие преступления, совершаемые перемещенными лицами, которых нельзя отнести ни к военным, ни к гражданскому населению. Кто они, в конце концов, эта беспокойная людская масса, которая замаялась ждать, когда ее наконец погрузят на корабли и отправят в Россию-матушку? Перевоспитать их было невозможно. Почти четыреста из тысячи с чем-то на прошлой неделе удрали из лагеря под Нориджем и теперь промышляют грабежами и разбоем по всему Норфолку и Саффолку. Чья эта обязанность, позвольте узнать, изловить мерзавцев, поставить их на место и призвать к порядку?

— Сдается мне, русские нас опередили, — сказал интендант. — Чужаки в шляпах и плащах уже рыщут в округе и пытаются завести тут свои порядки. Вчера наткнулся на троих в "Короне". Спросили водки, а когда им сказали, что водки нет, стали буянить, а доброе английское пиво выплевывали прямо на пол. Не нравится мне все это.

— Боятся, — повторил Редж слова сестры, — что русские насмотрелись на британский капитализм и он им пришелся по вкусу. То, что для нас нужда военной поры, для них — изобилие. Советский рай конкуренции не выдержал.

Сержант Кросс, худой и вялый парень, грустно покачал головой и произнес:

— А вот нам дома про Россию другое рассказывали. Мой отец ездил в Москву с профсоюзной делегацией и говорил потом, что там замечательно. Изобилия никакого, не считая дешевой пропаганды, зато все делится поровну. А это и есть великий идеал, за который мы все боремся. Отец так всегда и говорил, пока его грузовик не переехал.

— Не стоит себя дурачить, — сказал Редж. — В этой войне нет правых. Защищаем плохих от худших, как сказал бы поэт.

Его подчиненные смущенно уставились в пустые тарелки: не нравилось им слушать о поэтах, тем более от командира.

— За работу, — сказал Редж, вставая из-за стола, на что младший сержант проворчал себе под нос: "Какая же это, к чертям, работа?"

Утро выдалось хмурое, и большинство лагерников сидели по баракам, не удосужившись даже вымыть миски после утренней каши. Лодыри и есть лодыри. Редж, одетый в офицерский плащ, поднял воротник, чтоб прикрыть шею, и заглянул в несколько бараков. Двое русских особенно выделялись своими почти театральными лохмотьями, несколько мужчин стонали с похмелья, другие дулись в карты. Он пересек грязный двор и прошел на бывший склад боеприпасов, где разместили двух женщин и пятерых детей. От восьмисот мужчин их отделял забор из колючей проволоки, вооруженный патруль. На посту в это утро был рядовой Доуз, угрюмый молодой человек в шлеме домашней вязки и кожаных жокейских перчатках. "Простите, сэр, холод собачий", — пожаловался он лейтенанту и доложил, что рано утром отогнал штыком одного рус-

ского, пытавшегося проникнуть к женщинам. Вера и Евгения, Редж не запомнил их отчества и фамилии, топили печку обломками стула. Дети, которым велели звать его "дядя", подбежали, требуя шоколад. Он дал им пачку мятной жевательной резинки, подарок американцев. Вера и Евгения, рыхлые некрасивые женщины, были одеты в армейские юбки и ворованные джемперы. Только двое из троих детей были родные, прижитые от поляков, как и они работавших на "Тодт". О происхождении неродного никто понятия не имел. Женщины хотели остаться в Англии и в который уже раз просили Реджа сказать, когда же им дадут на это разрешение. "Скоро", — безнадежным голосом ответил он. После этого короткого визита он пересек плац, на котором больше не устраивали военных проверок, и направился в сторону единственной трубы, дымившей над административным зданием. Около сорока грязных небритых обитателей лагеря ждали у дверей снаружи. Сержант Скаммелл и капрал Крэнкшоу тщетно пытались выстроить их в очередь, но те будто о дисциплине слыхом не слыхивали. Домой, к коммунистам бы их поскорей, живо бы вспомнили, как себя вести.

Подполковник Секкер никак не мог вникнуть в суть жалобы одноглазого, дурно пахнущего пропойцы по фамилии Хмельков, который клялся, что служил майором танковых войск, и требовал привилегий, соответствующих его званию. Капитан Марри, адъютант подполковника, по-русски понимал еще меньше своего начальника. Увидев входившего Реджа, он с облегчением вздохнул, но не преминул заметить:

— Опять опаздываете, сержант.

— Проводил осмотр бараков, сэр. Меня задержал вопросами женский контингент.

— Да-да, конечно, женский контингент, — иронично повторил подполковник Секкер. — Мы всё понимаем, правда, Марри? — У подполковника были совершенно невинные голубые глаза, хотя в его послужном списке значился выговор за нецелевое использование казенных средств.

— Выясните-ка, чего хочет этот, э-э, товарищ, — велел подполковник, почерпнувший свои скромные познания в русском на двухнедельных ускоренных языковых курсах.

Редж внимательно выслушал Хмелькова, потом долго говорил с ним по-русски и наконец доложил по-английски:

— Он ничем не может подтвердить свое офицерское звание, поэтому я предлагаю дать ему задание, прежде чем давать привилегии. Пусть организует из этой толпы у дверей команду уборщиков.

— Отлично, лейтенант. Так ему и скажите.

— Уже сказал, сэр.

Самозваный майор Хмельков вышел, ругаясь и потрясая кулаками.

— Проваливай к чертовой матери, — по-английски бросил ему вслед Редж и обратился к подполковнику: — Я хотел бы знать, сэр, что вы имели в виду, иронизируя по поводу женского контингента?

— Не забывайтесь, лейтенант. Вы не столь уж незаменимы, хотя сами, вероятно, придерживаетесь другого мнения. Вас проинструктировали о допустимых границах общения с перемещенными лицами? Боюсь, вы нарушаете эти границы. Но сейчас мы это обсуждать не будем, верно, Марри?

Адъютант Марри, страдавший нервным тиком после контузии, стоял позади стула своего начальника. Раньше он служил в шотландской гвардии. Он взглянул на Реджа и, моргнув, поддакнул:

– Так точно, сэр. – После чего снова дернул глазом и, глядя в грязное окно, выходившее на плац, добавил: – Рановато они сегодня заявились.

Надев фуражку и зажав под мышкой стек, он пошел к выходу. Редж – за ним. Во дворе три русских офицера и человек в штатском вылезали из джипа. Облик штатского привлек к себе внимание Реджа. В нем сквозило что-то знакомое, даже родное: такие же глаза, как у матери, и изуродованный большой палец. Беатрикс предупреждала об этой возможной встрече. Юрий Петрович Шульгин, определил Редж, заметив изуродованный большой палец, и решил не афишировать родство. В присутствии трех угрюмых офицеров это выглядело бы неуместно. Один из лагерников, отбившийся от команды уборщиков, которая в это самое время тузила самозваного майора, уставившись на приехавших, ахнул: "Матерь божья, никак царь вернулся!" Виной тому оказались новые погоны, которые Сталин ввел совсем недавно. Гостей провели к подполковнику Секкеру. Он встал, приветствуя их по-русски, и протянул руку для пожатия, но этот жест остался без ответа. Полковника Боголеева, майора Лимонова и лейтенанта Шаргородского, членов советской военной миссии в Лондоне, сопровождал переводчик – сотрудник советского посольства Шульгин. Полковник Боголеев потребовал выстроить весь лагерь на плацу. Ясно, что на это нужно время, но ему необходим поименный список, и он должен осмотреть жилые бараки, кухню, отхожие места и информационный уголок.

То, что говорил полковник Секкер, переводил Редж:

– У вас нет полномочий инспектировать лагерь. Мы могли бы позволить это в порядке жеста доброй воли, но мой полковник просит разъяснить вам, что это – военное учреждение британской стороны, которое управляется британской военной администрацией. Поскольку советские власти отвергли предложение о формировании на британской территории советских войсковых подразделений из советских граждан по примеру французов, поляков и чехов, с выдачей им вооружения, советские власти несут ответственность за своих граждан только по окончании процесса репатриации.

Полковник Боголеев, ростом ниже Реджа, но намного шире в плечах, хмуро ткнул пальцем в нашивки на его правом рукаве и потребовал объяснить, что значат эти имперские символы.

– Я полагаю, что офицеру союзной армии следует разбираться в знаках различия соратников по борьбе с германским фашизмом, – вызывающе заявил Редж.

– Я не понял, что вы ему сказали, но мне кажется, вы зарываетесь, – забеспокоился подполковник Секкер.

– Он требует поименный список наших подопечных, – ответил Редж.

Сержант Кларк, с карандашом за ухом, принес отпечатанный на двух языках список. Щеголеватый лейтенант Шаргородский с аккуратно подстриженными усиками, похожий на офицера царской армии времен Первой мировой, внимательно изучил все четыре страницы.

— Список поступивших в лагерь включает женщин и детей, однако около ста пятидесяти человек здесь уже не находятся. Мы не можем считать их дезертирами, так как они не имели статуса военнопленных и не числились в регулярных войсках. У нас свободная страна, и лица, находящиеся здесь, могут свободно покидать территорию лагеря. Их перемещения контролируются только министерством внутренних дел.

После такого разъяснения полковник Боголеев вскипел, а Юрий Петрович Шульгин, говоривший по-английски грамотно, но с сильным акцентом, сообщил подполковнику Секкеру, что полковник Боголеев крайне не удовлетворен позицией британцев. Напрасно дипломат пытался сгладить ярость полковника. Брызгая слюной, Боголеев перекричал его:

— Вранье! Это — самые что ни на есть дезертиры, которых всех до одного переловят и привлекут к ответственности.

— Мы знаем, СМЕРШ уже работает и на нашей земле, — спокойно сказал Редж.

Полковник Боголеев готов был удушить Реджа и несколько раз ткнул его толстым пальцем в живот. Редж сказал, чтобы тот прекратил тыкать ему в живот, иначе, несмотря на звание, получит в ухо. Пытаясь разрядить обстановку, подполковник Секкер приказал рядовому Уаттсу, совмещавшему должность писаря и горниста, протрубить общий сбор и построить лагерников на плацу. Уаттс озабоченно заметил, что люди сбегутся, решив, что их зовут на кормежку, — они на любой сигнал горна выходят с мисками и ложками. Тогда подполковник велел оповестить каждый барак отдельно, предупредив, чтоб посуду с собой не брали, и построить лагерников на плацу, потому что к ним хотят обратиться представители высшего командования русских.

Прежде чем обратиться к народу, представители советской военной миссии пожелали осмотреть информационный уголок. В плен к немцам, объяснили они, попали политкомиссары, не поддавшиеся нацистской пропаганде. По мнению советских властей, их можно использовать в подобных лагерях для политпросвещения в духе марксизма и для информирования о положении на фронтах, в первую очередь, разумеется, на восточном, потому что на западном фронте и на Тихом океане ничего серьезного не происходит, капиталисты играют в войну. Редж сообщил, что вынужден огорчить гостей: единственный политкомиссар, попавший в их лагерь, Павел Андреевич Викторов, по достоинству оценил преимущества демократии и сейчас проживает у одной ирландки в Бангэйе. На сей раз не выдержал майор Лимонов. Несмотря на тщедушную комплекцию, он взорвался как вулкан и долго продолжал бушевать в комнате, порядок в которой поддерживали двое оборванных лагерников, вероятно истинно верующих православных русских. Их усилиями информационный уголок был превращен в часовню: алтарем служил стол, накрытый одеялом и уставленный изготовленными в лагере иконами. Посередине красовалось аляповатое изображение Богоматери с младенцем, нарисованное цветными карандашами на бурой бумаге и украшенное бумажными цветами. Редж с особой гордостью рассказал о набожности многих обитателей лагеря. Из Лоустофта регулярно приезжает русский священник, а местный викарий оказывает ему всяческое содействие, позволяя проводить православные службы в англиканской церкви. В такие дни там собирается почти весь лагерь. Для грамотных

викарий даже помог собрать небольшую русскую библиотеку. Майор Лимонов мрачно покосился на дореволюционные издания Толстого, Достоевского, Гоголя, Чехова и в ярости отшвырнул сочинения эмигрантских авторов Дубенкова и Бадина.

— Эти книги нужно сжечь, — сказал он.

— Тот, кто сжигает книги, — ответил Редж, — вскоре начнет сжигать людей. Эти книги нам дороги еще и потому, что это подарок нашего викария.

Майор Лимонов, опустив глаза, принялся сдирать со стены плакаты британского министерства информации, демонстрировавшие красоты сельской Англии.

Едва сдерживая негодование, советские представители отправились осматривать кухню, где в это время повар-капрал с двумя русскими помощниками варил британское подобие русского борща. Редж сообщил, что борщ — любимое блюдо обитателей лагеря: они готовы есть его дважды в день. К счастью, со свеклой перебоев нет, ее в изобилии выращивают в Суффолке.

Послышался горн, и спустя минуту гости увидели своих оборванных соотечественников, которые, гремя мисками, штурмовали столовую. Потребовались немалые усилия, чтобы вытолкать их обратно и построить на плацу. Некоторые, заметив трех разъяренных офицеров Красной Армии, попытались ретироваться. Как назло начался дождь. Сквозь туманную морось полковник Боголеев втолковывал построенным в грубое каре голодным скептикам, что главнокомандующий Сталин не забыл про своих товарищей по оружию и сейчас предпринимаются все усилия для их скорейшего возвращения на родину. Этому препятствуют интриги английских капиталистов, забастовки докеров и буржуазные привычки к хроническому безделью, приводящие к задержке морских транспортов. Находясь вне поля зрения полковника, Редж пытался дать понять людям, что все это лживая пропаганда. Обеспокоенные лагерники оценили его усилия и принялись тяжело вздыхать, а некоторые даже решились на грубый хохот. В конце концов те, кто побойчее, стали выкрикивать: конечно, главнокомандующий нас не забыл, ждет не дождется, как бы до нас добраться, накося выкуси, товарищ Сталин, маршал хренов, пусть уж лучше свободная Англия о нас позаботится.

— Не позаботится, — сказал Реджу чуть позже Юрий Петрович Шульгин. — Ваши господа Черчилль и Иден уж не знают, как услужить Сталину, а заодно избавиться от этой обузы. Будет установлен новый мировой порядок.

Он говорил с Реджем по-русски. Редж имел возможность внимательно рассмотреть этого довольно симпатичного плотного телосложения седеющего блондина с короткой стрижкой, коротковатой шеей, тяжелым мужественным подбородком и широко расставленными, как у матери Реджа, голубыми глазами. Они стояли под утихающим дождем, пока в столовой представители советской военной миссии наблюдали, как выдавались карманные деньги: по кроне на человека в неделю, обычно двумя монетами по полкроны. Получить пособие в шиллингах или флоринах считалось счастливой приметой, особенно если попадалась монета в восемь шиллингов, которая для многих обладала мистической притягательностью, наверно, потому, что никак не вписывалась в советскую десятичную систему. Юрий Петрович подарил Реджу две бу-

тылки водки: теперь вся семья, кроме бедного Дэна, спиртным обеспечена.

– Я всегда с теплотой вспоминаю вашу матушку. Она была очень добра ко мне в то недолгое время, что гостила у нас, и революции не испугалась, – сказал он. – И сестра у вас красавица и умница, безусловно далеко пойдет. А вам следует держать себя в руках. Стоит ли наживать врагов? Вы уже решили, что будете делать после войны?

– Может, стану преподавать испанский. Честно говоря, времени еще не было подумать.

– Лучше идите преподавать русский. Это несомненно язык будущего, и он вам более близок как язык вашей матери.

– Вы действительно уверены, что будущее за русскими? – спросил Редж, хотя и понимал, что вопрос дурацкий.

– Конечно. Но я за борьбу противоположностей. Я не приемлю идеи Троцкого о мировом социализме. Россия должна утвердить себя в качестве положительного образца, но для этого ей необходим антипод, отрицательный пример – Запад. И Запад существует, и я прибыл сюда, но ненадолго.

– Возвращаетесь в Москву?

– Да, на работу по линии культуры. Не просто пропагандировать советскую культуру, а содействовать культурному обмену между странами. Балет, музыка, футбол.

– А литература?

– Литература – отдельный вопрос. Литература – зеркало идеологии. А вот и военные товарищи возвращаются.

Он расцеловал Реджа в обе щеки, не обращая внимания на неодобрительный взгляд полковника Боголеева. Казалось, Шульгин никого не боится. В машину он сел первым. Редж отдал честь, то же сделали подполковник Секкер и капитан Марри. Представители советской военной миссии угрюмо ответили подобием воинского приветствия. Визит их разочаровал, но они еще не знали, что их ждет в Ипсуиче. Лагерники проводили делегацию отборными казарменными шутками.

Вечером, вернувшись к Реджу, Мария Ивановна несказанно радовалась водке, особенно бутылке перцовой. День у них с доктором Ноздриным выдался тяжелый. Санитар выпил почти пол-литра медицинского спирта и пытался отхаркнуть наконечник от желудочного зонда, которым закусил. А один из пациентов Марии Ивановны, недавно прооперированный по поводу прободного аппендицита в военном госпитале Нориджа, в приступе крайней депрессии сорвал швы с раны. Евгения беременна, на пятом месяце: кошку хоть в чулане запри, все равно окотится. Так что сегодня глоток водки для Марии Ивановны – спасительный эликсир. Потом, раздевшись, она одарила Реджа горячими поцелуями, пахнувшими перцовкой. "Я люблю тебя, люблю", – твердил Редж. "Я тоже люблю тебя, – отвечала она, – но это скоро пройдет". Прижимаясь к ее узкому, милому лицу и вдыхая запах смоляных волос, Редж подумал, что именно так, наверно, пахнут непроходимые леса.

Рядовой Дэниел Тэтлоу Джонс находился далеко к востоку от Одера в немецком лагере В-339 возле Роггена, бывшего польского городка Жито. Несмотря на название, совпадающее по значению в обоих языках, рожь в

округе не колосилась. Все, что могли в январе 1945 года видеть узники за колючей проволокой и сторожевыми вышками, — бесконечная снежная даль, уходящая за горизонт. Schnee[1]. Snieg. На востоке едва виднелся одинокий церковный шпиль Роггена. В лагере содержались тысяча двести пленников, в основном британцы, американцы и чудом уцелевшие солдаты из французских колоний. Старшим среди офицеров был полковник Хебблтуэйт из Ланкастерского королевского полка, в котором служил и Дэн, но только в другом батальоне. Комендант лагеря старый полковник Фрессер соблюдал все правила содержания военнопленных. В прошлую войну он пострадал от своих, когда во время боя при Сомме внезапно переменился ветер и выпущенный на французов газ понесло обратно в немецкие окопы. Вопреки фамилии, обжорой Фрессер[2] не был. Как и Дэн, он предпочитал рыбное меню и несколько раз посылал его под охраной двух Unteroffizieren[3] поудить карпов в городском пруду Роггена. Бежать никто не пытался — некуда, хотя майор Сомс создал для порядка подпольный комитет, разработавший несколько смехотворных вариантов побега: подкоп под колючую проволоку, симуляция болезни с целью попасть в госпиталь в Роггене, а потом бежать оттуда, похищение пистолета у фельдфебеля с последующим захватом коменданта. Всерьез к этим планам не относились — так, фантазии, досужая болтовня, чтоб убить время. Все знали: ждать осталось недолго, война скоро кончится. Полковник Фрессер это тоже знал. Он получал неофициальные новости с фронта от друзей и слушал Би-би-си, что воспрещалось под страхом смерти. Пленные гуляли или вяло гоняли в футбол на расчищенном от снега плацу, играли в шахматы и в бридж, некоторые учили русский под руководством Дэна, хотя учитель из него был никудышный. Язык он впитал с молоком матери, но существительное от глагола отличить не мог.

22 января Дэн проснулся спозаранок. Одиннадцать его товарищей по бараку еще спали: кто-то храпел, кто-то стонал, выкрикивая во сне имя жены или сестры. Он не стал зажигать свет — во внеурочный час это запрещалось — и чиркнул спичкой, чтоб зажечь свечу, подарок Красного Креста. Потом растопил печку дощечками от ящика из-под посылки и доел остатки сардин из банки, открытой накануне. Не бог весть что, конечно, но все же лучше тушенки. Потом он втянул спертый воздух барака и почувствовал, что что-то случилось. За спиной зевнул рядовой Шоукросс. Дэн прикурил два бычка, припасенных с вечера, и протянул один товарищу.

— Чую, что-то неладно, — сказал он.

— Да? По-моему, все как всегда. Тьма кромешная, хоть глаз выколи, а ставни откроешь — от снега ослепнешь.

— Говорю тебе, что-то не так. Прислушайся. Ухает где-то. Далеко. Вот опять. Слышал?

— Ничего я не слышу, кроме храпа.

— Черт возьми, грохочет где-то вдалеке. Я же слышу.

Он надел шинель, вышел во двор и услышал грохот отчетливее. Казалось, звук нарастал вместе с солнцем, не спеша выкатывавшимся из-за серых туч. В дверях соседнего барака стоял капрал Честер и тоже вгляды-

1. Снег (*нем.*).
2. Fresser — обжора (*нем.*).
3. Унтер-офицеры (*нем.*).

вался в даль. "Денек будет нескучный", — молвил Дэн и пошел к забору из колючей проволоки. Поскользнувшись на расчищенной от снега ледяной земле, он заметил, что на сторожевой вышке никого нет. До ворот лагеря было неблизко, и он, чертыхаясь, несколько раз падал, прежде чем до них добрался. Широкие брусчатые ворота в паутине из колючей проволоки были распахнуты, охраны не видно, сторожевая будка пуста. Удрали, гады, ночью, смылись немцы поганые. Поняли, что русские наступают, и смотали удочки. Около трех часов ночи Дэн слышал рев грузовика, но не придал этому значения — мало ли чем немцы ночью заняты: может, польских проституток привезли, а может, свинины раздобыли в ближайшей деревне со смешным названием Бигунька, попировать решили. Еще он расслышал свисток паровоза на станции в Роггене в трех милях отсюда, но и в этом ничего необычного не усмотрел. Дэн решил, что обязан явиться в офицерский барак и доложить о бегстве фрицев. Он постучал в дверь, за которой спал второй по старшинству майор Пилпел, американец. В ответ послышался храп. Он постучал сильнее. Сообщение Дэна живо согнало майора с постели.

Утренней Appell[1] не было. Полковник Хебблтуэйт собрал всех на плацу, чтобы сообщить то, о чем все уже знали. Дэна всегда впечатляло зрелище толпы из тысячи двухсот человек. Считай, четыре батальона, построенные в каре, слушали полковника, вставшего, чтобы всем было слышно, на пустой ящик в центре. Ни у кого не оставалось сомнений: грохот и вспышки на востоке — это наступление Красной Армии. Полковник Фрессер уехал, не сказав никому ни слова. Кабинет начальника лагеря пуст, документов не осталось, портрет фюрера повернут лицом к стене. Немцы все делают основательно. Продовольствие со склада, животных из хлева увезли, гараж тоже пуст. Все до последнего велосипеда забрали — и даже строчки на прощанье не черкнули.

Люди испуганно задрали головы, когда над лагерем на бреющем полете пролетали два самолета с красными звездами на крыльях. Разведчики покружили на малой высоте над Роггеном и повернули назад, на восток.

— Что ж, джентльмены, друзья мои, похоже, плен наш окончился, но бог его знает, что нам делать с нашей свободой. Мы можем остаться здесь и ждать русских, да только русским сейчас не до военнопленных, они предпочитают добить немцев, а не нянчиться с военнопленными. Никаких международных конвенций они не подписывали, своих западных союзников никогда не видели и понятие о нас имеют весьма смутное. К счастью, у нас есть британский и американский флаги, а наши друзья-лягушатники, точнее офранцуженные темнокожие братья, которые вряд ли понимают наш язык, а значит, и то, что я говорю, имеют свой триколор. Как предусмотрительно было со стороны Красного Креста поднять наш дух с помощью этих патриотических символов! Итак, мы свободны — так зачем нам оставаться в тюрьме? Ворота открыты, мы можем двигаться на запад вдоль железной дороги, хотя, вне всякого сомнения, Красная Армия нас опередит. Предлагаю послать кого-нибудь на рекогносцировку в Рогген. Интересно, что там творится.

— Кругом еще может быть полно фрицев, полковник, — возразил майор Пилпел.

1. Перекличка (*нем.*).

— Поспешно покинувший нас комендант был настолько любезен, что успел ознакомить меня с положением на фронте. Немецкая линия обороны находится самое меньшее в ста милях к востоку отсюда, и при необходимости немцы отступят за Одер. Здесь линия обороны у них довольно узкая, ведь им теперь приходится воевать на два фронта. Думаю, что гарнизон Роггена покинул город, а население эвакуировано на поездах, грузовиках и любых других средствах передвижения. Есть надежда, что там остались кое-какие припасы. Наши пайки, полученные от Красного Креста, скоро кончатся, а новых не предвидится. Добровольцы на разведку — шаг вперед.

Рогген был знаком Дэну по походам на рыбалку. Может, еще разок удастся порыбачить — только лед пробить, а самодельная удочка всегда при нем. Дэн, за с ним рядовые Шоукросс, Мэссинджер, капрал Моксли, носивший свои лычки несмотря на то, что звание уже упразднили, рядовой Леонардино, американский капрал Шварц, знавший идиш, близкий к немецкому, и сержант Кобб из Королевского инженерного полка вызвались идти первыми. Старшим назначили американского пехотного лейтенанта Свенсона — янки везде верховодят.

Перед уходом их напоили крепким растворимым кофе, а рядовой Форкнер из Южной Каролины пожертвовал фляжку совершенно убойного спирта, который собственноручно изготовил из картофельной шелухи. Скользя по льду и беспрестанно чертыхаясь, они двинулись вперед. Вокруг простирались безбрежные поля, ни единого деревца. День выдался безоблачный, но ветреный. Восточный ветер больно хлестал по лицу. Солнце тускло и бесполезно краснело, не давая тепла. На перекрестке, не доходя до Роггена, они наткнулись на поваленный дорожный знак, так что нельзя было определить, в какую сторону Гожув, в какую — Сквежина. В мертвом снежном поле насмешливо заблеяла заблудившаяся коза. На окраине Роггена они обнаружили гараж, принадлежавший некоему, судя по надписи, Шмидту. Хозяин сбежал, в гараже остался только сломанный трактор. Затем пошли улицы с кирпичными домами под заиндевелыми черепичными крышами. Двери заперты, хозяева бежали. Навстречу им, дружелюбно махая хвостом, затрусил лохматый пегий пес. Извини, приятель, нечем тебя угостить. Городок обезлюдел. На главной улице с магазинчиками тротуар был очищен от снега и посыпан песком. В мясной лавке "Бюргер" мяса сегодня не продавали, в булочной "Зальбёль" не завалялось ни крошки хлеба. В витрине магазина детских игрушек "Шпильцойг" красовались восковые куклы и фигурки солдат СС со вскинутой в нацистском приветствии рукой. Своих детей фрицы любят баловать, чего не скажешь о чужих. "Даже поживиться нечем", — заключил сержант Кобб. Дэну не давала покоя мысль о карпах в городском пруду. Наверно, их разводили там еще во времена Тридцатилетней войны. Он сообщил лейтенанту Свенсону, что немецкие охранники, сопровождавшие его на рыбалку, рассказывали о небольшом монастыре за прудом. Монахи, в основном поляки, давно оттуда сбежали, и в монастыре устроили военный склад. "Вон ту церквушку, что виднеется, немцы называют кирхой Святого Бенедикта, и монахи принадлежали к ордену бенедиктинцев, ну знаете, еще ликер такой есть "Бенедиктин", сладкий и крепкий, с какими-то травами, попробуйте как-нибудь, если денег не жалко". "Скла-ад, — протянул сержант

Кобб, – да вряд ли там жратва осталась". Капрал Шварц, отличавшийся острым слухом, вдруг услышал кудахтанье. "Наверно, птичник поблизости", – сообщил он командиру. Кудахтанье доносилось из узкого проулка, на одном доме было написано "Kurzwarenhandlung"[1], черт его знает, что это значит, на другом висела вывеска "Zahntechniker"[2]. "Это, наверно, зубной техник", – сказал капрал Шварц, оскалив для убедительности зубы. В конце проулка позади небольшого дома они обнаружили курятник, а в нем – пять кур и одного красного петуха. "Ну, этих мы сами съедим, если вы не против, сэр, – сказал сержант Кобб, обращаясь к старшему. – Кто-нибудь может свернуть им головы?" Капрал Шварц сказал, что привык резать птицу кошерно, перерезая горло, чтоб вся кровь вытекла. А лейтенант Свенсон предложил сначала проверить, что находится в здании с надписью "Kriegsvorräte"[3]. "Верно, – согласился сержант Кобб и повернулся к Дэну и рядовому Шоукроссу: – Разведайте, ребята, что там в этом обезьяннике".

Рядовой Шоукросс настаивал, чтобы все сначала зашли в церковь. Дэн с удивлением наблюдал, как он, войдя, сунул руки в сухую купель, стоявшую у дверей, и перекрестился. Католик, значит. Следуя за Шоукроссом, Дэн видел, как тот собирался преклонить колени, но вдруг обнаружил, что алтарь совершенно пуст и похож на мясницкую колоду. На стенах, где прежде висели лики святых, зияли темные прямоугольники. Нетронутым остался только витраж над алтарем с изображением лысого монаха, двуперстием благословлявшего всякого входящего. Изнутри церквушка была выбелена, только колонны были позолочены. Шоукросс направился в ризницу. "Там небось ящики с вином для причастия. А может, и настоящая огненная вода, что монахи гнали". Но в ризнице лишь суетилось семейство мышей, доедая хлебные крошки. "Тоже Божья тварь, – умилился Шоукросс. – Жизнь продолжается, несмотря на войну и запустение".

Он еще раз окинул церковь наметанным глазом. Слева, позади алтаря, под хорами (органа в церкви не было, значит, здесь звучали григорианские песнопения) они заметили сводчатую дверь.

– Это ход на колокольню. Давай поднимемся, может, увидим оттуда наших непредсказуемых, грубых, но славных союзников. И если колокола не переплавили на пушки, я просто обязан в них зазвонить. У меня аж ладони чешутся. В детстве я воспитывался в братстве Святого Ботольфа. Может, слыхал про такое? В большие колокола звонил, но и этой церквушкой не побрезгую.

Он толкнул незапертую дверь и пошел наверх по винтовой лестнице, за многие века истертой ногами звонарей. Наверху они обнаружили слегка покачивавшийся на ветру бронзовый колокол доброго немецкого литья. Шоукросс ухватился за веревку и, раскачав язык, ударил в колокол. Счастье затуманило его прикрытые очками глаза. Гармония чистого звука манила, звала назад покинувших город людей, но – напрасно. Дэн поглядел вниз. По переулку бежал сержант Кобб, за ним, размахивая курами со свернутыми головами, – остальные. А потом он увидел русских.

1. Галантерея (*нем.*).
2. Зубной техник (*нем.*).
3. Военный склад (*нем.*).

– Погляди, что ты наделал, – сказал Дэн.

Около пруда остановился автомобиль, похожий на джип, и трехтонка с красными звездами на капоте.

– Пошли вниз. Чувствую, мне сейчас придется поговорить по-русски.

Дэн не мог определить звание офицера и позавидовал его меховой шапке, украшенной звездой. В машине сидел гигантского роста русский, который издалека почудился Дэну бородатым, но, оказывается, не все русские великаны носят бороды. Он мрачно наблюдал за группой англичан и американцев с курами в руках. Офицер держал наготове пистолет. Капрал Шварц заговорил на идиш, но офицер не опустил оружие. Из кузова грузовика выпрыгивали солдаты в добротных серых шинелях и валенках. Тогда заговорил Дэн. Офицер оторопел, не веря своим ушам.

– Вы не должны говорить по-русски, – прервал он Дэна.

– Это почему же?

– Вы же английский солдат, а говорите по-русски. Здесь что-то не так.

– У меня мать русская, отец – валлиец. Это что, запрещено?

– Никогда ничего подобного не слышал.

– Теперь услышали.

– Что вы здесь делаете?

– Я думал, что это и наша война, не только ваша, – ответил Дэн. – По крайней мере, воевать мы начали раньше. А сюда мы только что пришли. Мы из лагеря военнопленных, здесь неподалеку. Немцы сбежали, бросили нас. Там полно британских и американских солдат. Что нам теперь делать?

Офицера больше интересовали немцы и их склады. Одному взводу он приказал осмотреть квадратное здание за церковью, предупредив, что оно может быть заминировано. Остальным разрешил для забавы побить окна и двери соседних домов и стал благодушно наблюдать, как они принялись крушить все подряд. "Огонь! Большой огонь", – сказал он сидящему рядом с ним гиганту.

Шестьдесят их в ветрожоге,
Смуглых, зло-веселых лиц.
По машинам! По дороге!
На Европу – навались![1]

– О чем это он так складно лопочет? – спросил Дэна сержант Кобб.

– Похоже, стихи читает. Я понял, что у него в отряде шестьдесят смуглых и веселых парней, которые сейчас рассядутся по машинам, поедут в Европу и разнесут все, что по пути попадется.

– Да они же только что вылезли из машины, дурень, к тому ж они и так в Европе, Россия же в Европе – или нет?

– Ну, это же не взаправду, сержант. Так, поэзия.

– Поэзия, говоришь? – сержант плюнул на заледенелую мостовую.

Гигант протиснулся сквозь двери автомобиля и, прихватив канистру бензина, устремился к ближайшему дому. Тут-то стало ясно, что значит "большой огонь". Пламя вырвалось на заиндевелую траву у пруда. Уви-

1. А. Солженицын. Прусские ночи.

дев возбужденных, перепачканных сажей русских, Дэн понял, что значит "зло-веселые лица".

– Возвращайтесь в лагерь, – сказал Дэну офицер.

– А что мы есть будем? Друг друга, что ли?

– Ничего, поголодаете чуток, не помрете. Ленинград не так голодал.

– А мы тут при чем? – ответил Дэн по-английски.

В подтверждение его слов сержант Кобб, капрал Моксли и рядовой Леонардино, успевшие ощипать кур, принялись жарить их на большом огне, нанизывая на щепки от разбитых прикладами дверей и оконных рам. Несколько русских, веселых и злых, грея растрескавшиеся руки над огнем, затянули песню, которой их учили приветствовать западных союзников:

– О'кей, Британия энд Россия, о'кей, Ю Эс Эй.

Вся песня состояла из многократного повторения одной строчки. Шоукросс отметил, что поется она в минорном ключе, и расценил это как дурной знак. Он не мог понять, почему русские сидят у огня под открытым небом, а не погреются у камина в городской управе, откуда они сорвали флаг со свастикой. Похожи на переростков-бойскаутов, но души у них огрубевшие. Дэна это нисколько не занимало: он повернулся ко всем спиной и, пробив каблуком лунку во льду, принялся удить рыбу. В качестве наживки он предусмотрительно захватил с собой кусочек сардины, завернутый в вырванный из общественной Библии листок. В это время русские нашли более ценную поживу – свинью. С громкими победными криками забили ее прикладами и поволокли тушу к огню. Гигант вытащил из багажника ящик водки. Получилась импровизированная пирушка. Западные союзники не были уверены в том, что их пригласят, хотя они первыми застолбили это место. Дэн поймал двух карпов и щуку. Русский великан бесцеремонно отобрал у него улов и сожрал, выплевывая кости, сырую рыбу. Вернувшийся с задания взвод ничего ценного не обнаружил, кроме больших ящиков с какими-то бумажками и церковной дребеденью. В подтверждение они приволокли два ящика с собой. Крышки и упаковочную солому бросили в огонь. Как рассказывал позднее Дэн, среди трофеев оказалась пара распятий, дароносица и заржавленный меч, который вынули из ветхих деревянных ножен, и один из солдат принялся им размахивать. Офицер без всякого любопытства глядел на кипу старых пожелтевших бумаг. Зато Шоукросс живо заинтересовался ими.

– Это музыка, – сказал он, – старинные ноты. О боже, возможно, это подлинный Вольфганг Амадей Моцарт, "Der Hausfreund" – Singspiel[1]. Отдайте их мне.

Но русский офицер оставил их у себя.

Пора уже было разобраться, кто здесь хозяин, и лейтенант Свенсон обратился к Дэну:

– Скажите этому офицеру, что немецкая собственность в этом городе переходит в собственность отряда, который я возглавляю. Мы сюда пришли первыми. У нас есть приказ старшего офицера лагеря конфисковать ценности, оставленные противником.

1. "Друг дома" – комическая опера (*нем.*).

Дэн, как умел, перевел. В ответ русский разразился длинной тирадой.

– Он говорит, что это их фронт, а не наш, – объяснил Дэн своим. – Мы – военнопленные, а не действующая армия. Он говорит, что для нас война окончена и лучше нам не соваться куда не надо. Говорит, что все оставленное немцами добро будет отправлено к ним в тыл. И еще он сказал, чтоб мы убирались в лагерь подобру-поздорову на свои голодные пайки.

– Скажи ему, что за предложение покорнейше благодарим.

Дэн снова перевел. Русский вежливо кивнул в ответ, но Шоукросс сказал, что таким типам доверять не следует. Ему не понравилось, как русский обошелся с партитурами. Для него это нацистский мусор, достойный лишь огня. Когда русский офицер листал пожелтевшие бумаги, Шоукросс мог поклясться, что увидел автограф Людвига ван Бетховена на рукописи концерта для клавира.

– Помните те ящики, что везли вместе с нами из Италии? Я уверен, они здесь. Их и разгружали вместе с нами. Были нацистские трофеи, теперь стали советские, – не отставал Шоукросс от лейтенанта Свенсона.

– С этим мы ничего поделать не можем, – ответил лейтенант Свенсон, – этим пусть начальство занимается.

– Да вы только посмотрите, что он вытворяет!

Русский офицер подносил угол горящего манускрипта Моцарта к торчавшей у него изо рта папиросе "Беломорканал". Рядовой Шоукросс бросился к нему, но путь преградили русские винтовки. "О Господи Иисусе, помоги нам", – простонал Шоукросс.

– Сматываться надо поскорее, – сказал сержант Кобб, – по-моему, мы здесь лишние.

– Да, я предполагал, что произойдет что-нибудь в этом роде, – сказал полковник Хебблтуэйт, выслушав вернувшихся разведчиков. Мы все еще в плену, но теперь у наших славных союзников. Никто нас здесь не задерживает, но куда нам идти? Что касается припасов, полюбуйтесь, чем нас осчастливили. – На земле перед офицерским бараком выросла горка из консервных банок. – Я почти ничего не понял из того, что говорили любезно посетившие нас союзники, но и они меня, конечно, вряд ли поняли.

Дэн повертел в руках консервную банку явно американского происхождения, с грубо наляпанной русской этикеткой поверх первоначальной, и сказал:

– Это свиная тушенка, сэр. Моя мать всегда говорила, что порядочные русские не станут есть свинину, если в ней нет лаврового листа. Наверное, янки туда лаврового листа не положили, вот русские нам ее и спихнули, сэр.

– Ясно. На те, боже, что нам не гоже. Ладно, пойдемте в тепло. Как говорится, будет день – будет пища.

На следующее утро Дэн напек пирожков с начинкой из свиной тушенки для своих двенадцати соседей по бараку. Погода к лучшему не изменилась. Фронт подходил все ближе. Полковник Хебблтуэйт не приказывал трубить сбор, однако около полудня все вышли из бараков: по заледенелой дороге к лагерю подъехал джип с двумя русскими офицерами.

– Хорошенькое дело, разъезжают на джипах, сняв все приметы их американского происхождения. Да еще красными звездами украсили, будто его в Сталинграде собирали, – возмутился полковник Хебблтуэйт. – Ну что ж, посмотрим, чего им нужно.

Русский офицер, высокий мужчина со скошенными к длинному сизому носу глазами, говорил с полковником, недоверчиво поглядывая на переводчика. Алкоголик, наверное, у русских это обычное дело, решил Дэн.

– Сэр, они гонят сюда две тысячи пленных немцев, – перевел он, – и хотят разместить их здесь. Нас просят очистить территорию.

– Ерунда. Мы занимаем эту территорию как представители двух государств. Покажите ему флаги.

Британский и американский флаги висели на заборе из колючей проволоки, как вывешенные сушиться одеяла.

Заявление полковника развеселило русского офицера, и он решил пообщаться с Дэном.

– Я так понимаю, что ты наш, русский, обученный пехотинец. Можешь присоединиться к нам в нашем славном походе на запад. Ты и по-американски и по-английски могешь?

– Нет, я уж лучше тут со своими останусь. Спасибо за приглашение.

– И куда же они предлагают нам двинуться? – спросил полковник Хебблтуэйт. – На север, на юг или к черту на рога, причем в дикую стужу? А немцы, значит, пусть греются под нашими одеялами?

Русский говорил долго. Дэн передал главное:

– Сэр, нам предлагается идти на юг. На севере и на западе мы попадем в самое пекло.

– Да куда на юг-то, пусть объяснит, бога ради?

Русский ответил, не дожидаясь перевода.

– К Черному морю, – озадаченно повторил за ним Дэн, – убейте меня, сэр, если я знаю, где это.

– Силы небесные, он что, рехнулся? – полковник взорвался. – Черное море – это же край света!

– Он говорит, сэр, что не собирается с вами спорить, – снова перевел Дэн. – Это приказ. Мы должны убраться отсюда к завтрашнему утру.

– Господи, да он и впрямь чокнутый. Вы слышали, Пилпел?

– Я полагаю, надо взглянуть на карту, полковник. Мне кажется, нам действительно предстоит чертовски долгий путь.

В бараке Дэна все сгрудились вокруг атласа в энциклопедии Пира, одной из дюжины книг, присланных какой-то частной благотворительной организацией вместе с Библией, специально изданным для военнопленных молитвенником, поваренной книгой и сборником добрых советов с красноречивым названием “Любовь и мужское одиночество”. Рядовой Шоукросс показал пальцем предполагаемый маршрут.

– Мы сейчас примерно здесь, верно? Гораздо южнее, чем Латвия, или Эстония, или бог знает что, – там, наверно, совсем задубеешь от холода.

Собравшиеся так разволновались, что стали отпихивать друг друга: “Убери башку-то, не видно, да убери же ты свою толстую репу, кому говорят”.

– Идем на юго-восток. Ченстохова, Львов, Тернополь, – продолжал Шоукросс. – Когда доберемся до Черного моря, деревья зацветут, красота.

– Да пока туда доберешься, окочуришься на этом долбаном снегу, это же мили и мили, всю зиму!

– А вы смотрите на это как на прогулку от Дувра до Северной Шотландии, просто накиньте еще пару сотен миль, вот и все.

Для многих это был первый в жизни урок географии, но спор разгорелся, как в бюро путешествий. "А поезда туда не ходят?" – "Размечтались! Да все железные дороги взорвали к чертям собачьим". – "А если и ходят, деньги где возьмем?"

В барак неожиданно вошли полковник Хебблтуэйт и майор Пилпел. Все встали.

– Вольно, ребята. Джонс, где Джонс? А, вот вы где. Потрясающе, что вы говорите по-русски. Один на весь лагерь, поэтому пойдете в первой группе.

– Что это за группы, сэр? – смело спросил рядовой Шоукросс.

– Мы должны продвигаться как военное формирование, повзводно, под командованием младших офицеров и сержантов. В первой группе, которую возглавляю я, пойдут старшие офицеры. Джонс нам необходим в качестве переводчика.

– Я бы хотел идти со своими, – расстроился Дэн.

– Вы нам очень нужны, мы не можем позволить себе... э-э... разбрасываться такими людьми.

– Тогда мой барак пойдет со мной, – твердо заявил Дэн.

– Я знаю, – сказал полковник, – что лагерная обстановка ослабляет воинскую дисциплину. Однако сейчас речь идет о жизни и смерти, так что это приказ, Джонс, и я надеюсь, он будет выполнен. Завтра на рассвете всем построиться на плацу, взяв с собой лишь самое необходимое. Нам предстоит долгий поход.

Он вышел, а майор Пилпел, прежде чем последовать за ним, издевательски отсалютовал всему бараку.

После их ухода барак отвел душу: старый дурак, мать его так-растак, дисциплину ему подавай, кто он вообще такой, послать его подальше – и точка.

– Тогда нам остается только одно, – предложил наконец рядовой Шоукросс, – уйти по-тихому, после захода солнца. Теперь полнолуние, не заблудимся. Опередим их. Что нам за дело до дисциплины? Война по большому счету окончена. Через пару месяцев на Черном море нас уже будут ждать корабли, на которых мы поплывем домой. Что скажете, капрал?

Шоукросс имел в виду капрала Моксли, единственного в бараке младшего офицера, юношу с продолговатым лицом, не слишком умного, но отлично разбиравшегося в технике. До производства в капралы он служил шофером.

– Все равно они до нас доберутся. Всегда так бывает, – ответил тот.

– Предлагаете отправиться вместе со всеми?

– Нет, я с вами. Только отвечать ни за что не хочу. Удивляюсь, как я эту нашивку еще не спорол?

— Да уж, ни богу свечка, ни черту кочерга, — согласился Шоукросс. — Что ж, тогда давайте собираться, — бросил он остальным, как будто они отправлялись на воскресную экскурсию.

— Похоже, прогулка эта будет самой длинной в моей жизни, — сказал рядовой Бакли, воображения которого хватало лишь на то, чтоб представить себе поход с привалами и кружкой горячего чая из Ливерпуля в Манчестер. Жизнь еще не научила их смотреть на географическую карту как на картину человеческих страданий.

Подполковник Секкер собрал весь личный состав лагеря, за исключением рядового Доса, безуспешно охранявшего женщин, и объявил:

— Ситуация прояснилась окончательно. Вы, лейтенант, конечно, будете негодовать, но ничего не поделаешь. Все наши подопечные должны готовиться к репатриации. Никакие заявления на предоставление британского вида на жительство приниматься не будут. Приказ поступил из высочайших инстанций. Исключений ни для кого не предвидится.

Собрание проходило в кабинете Секкера. Все, кроме хромого интенданта Брофи, слушали стоя. Адъютант стоял за стулом начальника в своей обычной позе, зажав под мышкой стек. Из окна, приоткрытого, чтобы проветрить прокуренную комнату, пахло весной. Редж попросил слова:

— Прошу прощения, сэр, но это совершенно противозаконно. Любой иностранец, находящийся на территории Великобритании, имеет право подать прошение о виде на жительство и даже о предоставлении гражданства. Закон не делает исключения для русских.

Адъютант, неоднократно перечитавший странный приказ, ответил:

— Наверно, это связано с ялтинскими соглашениями. Европу разделили на два лагеря. Сталин получит все, что хочет, при условии, что он не преступит, если можно так выразиться, великого рубежа. Простите, полковник, вы, кажется, что-то хотели сказать?

— Благодарю вас за разъяснения, Марри. Я хотел бы добавить, что как солдаты мы не вправе подвергать сомнению решения, принятые на министерском уровне, тем более на уровне премьер-министра. Уинстон Черчилль совершенно недвусмысленно заявил, что репатриация должна начаться, как только будут выделены транспортные суда. Насколько мне известно, они уже предоставлены, и часть репатриантов отправлена в Мурманск. Наши подопечные отплывают из Ливерпуля в Одессу 14 марта на "Герцогине Бедфорд".

— В Одессу, — повторил Редж, не веря своим ушам, — но это же самый дальний маршрут из всех возможных. Почему в Одессу?

— Понятия не имею, лейтенант. Знаю только, что Одесса — русский порт. Русские, вероятно, не придают большого значения скорости доставки — главное, чтоб их соотечественники как можно быстрее покинули британскую землю. Думаю, есть еще одна причина: в Одессе скопилось огромное количество британских и американских солдат, освобожденных русскими из немецкого плена. Так что намечается своего рода обмен: они получают своих, мы — наших, причем одно зависит от другого. Интендант, надеюсь, обмундирование для репатриируемых получено?

– Первая партия, сэр. Столько всего прислали, причем им выделили куда больше, чем нам: по четыре пары ботинок и белья, две шинели и шесть пар носков...

– Таково требование советских властей, интендант. Наверно, чтоб вырасти в собственных глазах, они хотят видеть своих прилично одетыми.

– Одетыми в форму британских солдат, сэр?

– Они заикнулись было, чтоб мы перекрасили хаки в серый или синий цвет, но тут, говорят, даже Черчилль не выдержал, встал на дыбы и сказал, пусть будут рады тому, что дают.

– Мало сказать рады, сэр. Счастливы должны быть.

– Сэр, – спросил младший сержант Скаммелл, – а как же нам собрать тех, что удрали? Их же полно, беглых, по всей стране, нам их ловить не с руки, полиция ими тоже не занимается, это по другому ведомству.

– Знаю, сержант. Русские сами уже принимают меры для их поимки, и надо сказать, у них неплохо получается.

– Но это полностью противоречит британским законам, – вставил Редж. – Карательные органы иностранной державы не имеют права действовать на нашей территории.

– Ялта, – бросил в ответ адъютант.

– Вы знаете про СМЕРШ! Здесь орудуют НКВД и СМЕРШ, и еще...

– Что еще за СМЕРШ? – раздраженно спросил подполковник Секкер.

– "Смерть шпионам!" Русские считают шпионами всех, кто находился на западе, а значит, попал под разлагающее влияние капитализма. Их просто уничтожают, без суда. Ума не приложу, почему это до сих пор не попало в газеты. Взять хотя бы случай, когда на железнодорожном разъезде в Бангэйе было найдено пятеро убитых...

– Из соображений безопасности, – разъяснил подполковник Секкер. – Есть вещи, о которых лучше не знать даже просвещенной британской общественности. В конце концов, война еще не окончена.

– Стало быть, британское правительство, ссылаясь на войну, покрывает подлое убийство? – возмущался Редж.

– Не следует так откровенно демонстрировать свои чувства на публике, – понизив голос, произнес адъютант.

– Для нас главное, – продолжил подполковник Секкер, – выполнить приказ самого высокого начальства: наши подопечные не должны знать о месте своего назначения. До самого отплытия. Никаких разговоров о насильственной репатриации, особенно при погрузке в поезд до Ливерпуля. Мы сообщим, что их переводят в другой лагерь, поскольку этот требуется для немецких военнопленных. Правду они должны узнать не раньше, чем взойдут на борт. – Он окинул взглядом своих немногочисленных подчиненных и добавил: – Дело очень деликатное, и нам придется немного им подыгрывать. Все свободны. А вы, лейтенант, останьтесь.

Редж остался.

– Я не хотел говорить этого в присутствии младших чинов, лейтенант, – сказал полковник, глядя на подчиненного как можно строже, – ваши слишком теплые чувства по отношению к русским и знание их языка превращают вас в угрозу национальной безопасности.

Редж побагровел.

– Полагаете, сэр, что я могу ослушаться приказа и проговориться?

– Именно. Советская военная миссия заваливает наше военное министерство жалобами на переводчиков в лагерях для перемещенных лиц. Русские считают, что большинство из них недостаточно симпатизируют советской власти, а в некоторых случаях, как, например, в вашем, даже открыто выражают враждебность. Наш лагерь у них на самом плохом счету. Сюда прикомандированы двое русских, они не эмигранты царского времени или их потомки, а нынешние советские, из военной миссии. По-английски, правда, ни один не говорит, зато уж по-русски – очень бойко. А вас, лейтенант, приказано перевести в другую часть, причем немедленно.

– Вот как.

– Такое нынче время, лейтенант. С этой минуты вы лишаетесь допуска к секретной информации. Марри, будьте добры, вызовите тех двоих.

Адъютант вышел.

– Я даже попрощаться ни с кем не могу? – с дрожью в голосе спросил Редж.

– Исключено. Входите, – кивнул он появившимся в дверях сержанту и капралу военной полиции, которые отсалютовали по всей форме. – Сержант Кларк уже оформил вашу командировочную. Вот она. Помогите, пожалуйста, лейтенанту Джонсу собрать вещи, а я тем временем подпишу.

– Куда меня направляют?

– Вам следует явиться на 6-й транзитный пункт, вокзал Марилебон в Лондоне. Жаль, что придется отправить вас с сопровождающим. Такое нынче время.

– Вы уже говорили это, сэр.

– Я помню и, с вашего позволения, повторю еще раз. Благодарю вас за помощь, в определенных обстоятельствах она оказалась неоценима – я думаю, Марри, вы согласитесь со мной, – и мне очень жаль, что все так вышло. Разница между нами, Джонс, если забыть про звания и опыт, состоит в том, что я держу свои чувства при себе. Удачи вам.

– Удачи, – повторил адъютант.

Редж отдал честь, повернулся кругом и вышел, чеканя шаг. Окружающий мир вдруг исчез, он не замечал сопровождавшего его конвоя. Только когда все трое сели в поезд в Иктоне, Реджа словно прорвало, он сыпал проклятьями от Ипсуича до самого Лондона. Посторонних в купе не было. Сержант военной полиции сочувственно кивал и наконец по-братски спросил:

– За что они вас так, командир?

– А вам об этом что-нибудь сказали? – не отвечая, спросил Редж.

– Ничего. Нам велели быстро собраться и сопровождать вас до транзитного пункта, а там сдать на руки кому полагается.

– И следить, чтоб я не сбежал?

– Ну, это само собой. Вы же не сбежите, командир?

– Все равно поймают. Второй раз не сойдет.

– А что, уже бывало такое?

– Первый раз, представьте, за то, что я немца убил. А теперь – за то, что русских пытался от смерти спасти.

Сообразив, что расспрашивать далее едва ли стоит, сержант угостил Реджа сигаретой. На вокзале он и капрал старались держаться как можно ближе к Реджу, а в поезде метро зажали его с обеих сторон. На 6-м транзитном пункте, том самом, куда вашему покорному слуге в свое время велено было вернуться не позднее полуночи, дежурный лейтенант тихо сообщил Реджу, что завтра ему приказано сопровождать группу в Эйвонмут, а там сесть на судно до Гибралтара. Никаких увольнительных. Дежурный сержант внимательно изучил лицо и приметы Реджа и только потом разрешил подняться наверх, в отдельную комнату, полагавшуюся ему по званию. Редж снял фуражку, пригладил волосы, сел на грязную койку и, облокотившись о свернутые одеяла, докурил подаренную на прощание сержантом военной полиции сигарету и стал думать, что делать дальше. В этот поганый Гибралтар он, конечно, не вернется. Ему нужно попасть в Ливерпуль, откуда через неделю отплывает "Герцогиня Бедфорд". И он сделает все, чтобы Мария Ивановна Соколова не попала на этот борт. Она-то, наивная, верила, что родина ждет ее с распростертыми объятиями, а любящий муж Петр Лаврентьевич Соколов, живой и здоровый, тоскует о ней в Свердловске. Она отметала уверения Реджа о том, что маршал Сталин, большой друг Уинстона Черчилля, чтоб им обоим ни дна ни покрышки, записал в изменники всех, кто запятнал себя пребыванием на Западе. Взгляд на советскую действительность изменился у всех, даже у несчастных, угнанных в рабство, не говоря уж о тех, которые добровольно перешли к немцам. В советских лагерях по ним нары плачут. Мария этому не верила, она лечила больных и раненых сначала по одну сторону фронта, затем — по другую и хранила верность клятве Гиппократа, ведь для врача не существует партийных, идеологических или национальных границ. В глубине души она таила надежду, что Родина, которая создавала героев, но и сурово казнила изменников, по достоинству оценит ее скромный, но, в сущности, героический труд. Она охотно отвечала на поцелуи Реджа, но слушать его не желала.

Редж спустился вниз и попросил разрешения позвонить в министерство иностранных дел. "Не положено", — ответил дежурный. Редж тихо выругался. Все это здорово смахивало на его возвращение из Гибралтара, только сейчас он нормально одет и чином выше, да что толку. Увольнительной ни тогда, ни сейчас не дали. Армия Его Величества Реджа не жаловала. Уж коли так, к дьяволу Его Величество и всю королевскую рать — только и умеют, что врать и лицемерить, прямо как русские, только с немецкой педантичностью. Безжалостная точность исполнения сегодняшнего приказа потрясла Реджа: прямая противоположность полной достоинства британской безалаберности. Он пришел к выводу, что вправе освободить себя от присяги на верность стране и короне. Его идеалы не здесь, но потребуется время, чтобы разобраться, где именно.

Теплое месиво, которое в столовой выдавали за горячий обед, в горло не лезло, и он сделал попытку выйти, чтобы перекусить где-нибудь на улице. Охранник только грустно улыбнулся. Всю ночь Редж провел, не сомкнув глаз, а в четыре часа утра вышел из комнаты для того, чтобы узнать, когда сменяется караул. После завтрака он попытался улизнуть через кухню, но вчерашний сержант снова задержал его. В 8:00 он вышел с вещами к дежурному и был представлен группе из пяти сержантов учебного корпуса. Реджа назначили старшим. На улице у входа, кроме

пяти жен, которые все махали и махали руками своим подкаблучникам, было еще человек десять родственников с мокрыми от слез лицами и трое маленьких детей. Малыши не то что не плакали, а выражали полное равнодушие к происходящему. Редж не испытывал сочувствия к их отцам — все они перед этим служили во внутренних войсках, жили как у Христа за пазухой. Маршрут следования одного из них, сержанта Берджеса, выглядел в глазах Реджа развлекательным путешествием за три моря: он следовал на Фолклендские острова с остановками в Гибралтаре, Суэце, Адене и Кейптауне, а его груз состоял из трех комплектов одежды: для тропиков, умеренного климата и заполярья. Рядом с их шестеркой выстроилась группа из саперов и военной полиции во главе с младшим офицером — последние не спускали с Реджа строгих глаз.

Группу, следующую в Гибралтар, первой отвезли в армейском грузовике на Паддингтонский вокзал. Редж обрадовался, когда узнал, что в поезде на Эйвонмут едут не только военные: докеры возвращались из отпуска к эвакуированным женам и просто штатская публика, коротавшая время до Бристоля и других мест на западном побережье за чтением газет. Перед остановкой в Рединге он пошел в туалет, но военная полиция следовала за ним до самой двери, а через окно удрать было невозможно. Морской воздух Эйвонмута показался Реджу спертой духотой тюремной камеры. Морские офицеры приказали группе Реджа не расходиться и ждать своей очереди на погрузку. Первыми запустили батальон пехотинцев. Поднимаясь по трапу, Редж прикидывал план побега. Не окоченеть бы только в холодной воде.

На побывку в Лондон я приехал через день после отъезда Реджа. На вокзале патруль снова охотился за дезертирами, мою увольнительную тщательно проверяла военная полиция. В Лондоне мне необходимо было встретиться с одним человеком. Я получил от него письмо, подписанное первой буквой еврейского алфавита “Алеф”. Он отрекомендовался одним из моих бывших инструкторов в Южном Уэльсе, где меня учили технике пыток и убийств, и писал, что хотел бы меня увидеть. Кроме него, на встрече в здании на Гудж-стрит, подремонтированном на скорую руку после бомбежки, присутствовали еще двое моих бывших инструкторов, называвшие себя соответственно Бет и Гимел. Осунувшиеся и до крайности озлобленные лица этих двоих отражали их намерения. Начали они с того, что с угрозой в голосе дали мне понять: сейчас они вынуждены скрываться под псевдонимами, но скоро их имена станут широко известны. Алеф прочел мне длинную лекцию о декларации Бальфура[1], предательстве как англичан, так и арабов и будущем расцвете сионистского государства. Мне предложили принять участие в формировании особых частей полиции, в дальнейшем получивших название Моссад. Только и всего.

Будто по иронии судьбы, после разговора я отправился в пансион Ассоциации христианской молодежи. В самом деле, хорошо бы самому разобраться, что вообще входит в понятие “еврей”? В Сохо я проглотил некошерную котлету из конины, а потом зашел выпить в таверну “Фицрой”. Там, в клубах табачного дыма, среди гомосексуалистов и окололи-

1. В 1917 г. Артур Джеймс Бальфур, министр иностранных дел Великобритании, выступил с Декларацией о создании “национального очага” в Палестине.

тературной богемы, я увидел Беатрикс Джонс, одетую элегантно, насколько позволяло военное время. Она потягивала пиво в компании человека в американской военной форме. Вначале я принял его за ее брата Дэна, но, присмотревшись, понял, что это не Дэн, у того нос поменьше и кожа светлее. Он представился: Ирвин Рот. Уже после нескольких минут общения я понял, что этот нью-йоркский еврей гораздо умнее и образованнее Дэна, с которым я его спутал. Мечтая написать роман о войне от лица простого солдата, он отказался от военной карьеры и, даже окончив Колумбийский университет, предпочел остаться рядовым. Недостатка в деньгах он не испытывал – его отец был совладельцем известной биржевой компании. Об этом Беатрикс рассказала мне позже. Я не понимал, как можно написать роман о войне, если весь армейский опыт человека ограничивается пребыванием в американских и английских учебных лагерях да плаванием на "Куин Мэри" с одного материка на другой. "Давайте выпьем", – предложил Ирвин и сообщил, что на будущей неделе его часть отправляют в Германию для участия в окончательном освобождении Европы.

Каково же было мое удивление, когда я понял, что отношение Беатрикс к этому американскому солдату, еврею в придачу, свидетельствует о коренном перевороте в ее сексуальной жизни. Равнодушная к чувствам мужчин, следовавшая всегда лишь своим желаниям, Беатрикс наконец влюбилась, и это бросалось в глаза. Она не отрывала взгляда от его лица, пытаясь предугадать малейшее желание в его взгляде, она сияла, когда проходившие мимо пьяницы грубо толкали ее, так что она невольно прижималась к нему. Извинившись, она вдруг взяла его за руку, якобы для того, чтобы узнать, который час, – ее часы остановились, – хотя я-то видел: теперь она часов не наблюдала, ей нужно было ощутить пульс страсти. Я отказывался верить своим глазам. Парень так себе, ничего особенного: гибкий, но не мускулистый, очень волосатый, далеко не красавец. Что ее привлекало – тело, запах, жесты? И тут я подумал о Редже и моей сестре Ципе, о супружеской неверности которой я тогда еще не знал. Почему эту русско-валлийскую семью так тянет к семитам? А если уж тянет к семитам, то почему к нему, а не ко мне? Я тоже смуглый еврей, но гораздо привлекательнее, чем рядовой Рот из Нью-Йорка. Может, я не столь экзотичен. От женщин часто слышишь: "Он не в моем вкусе". Значит ли это, что в нем нет того уникального сочетания флюидов, благодаря которому он становится для нее одним-единственным?

Когда-то я читал комментарий к "Деяниям апостолов" (не помню зачем, возможно из любопытства, чтоб узнать, как иудей может превратиться в христианина), где говорится, что Бог выбрал Савла, позже ставшего Павлом, потому, что нуждался в его разрушительной энергии. Вера этого человека осталась непоколебимой – просто он безоговорочно принял набор иных теологических догм. Наверно, преображение Беатрикс было того же рода. Сексуальная энергия осталась прежней, только стимул для ее освобождения стал другим. Гром грянул внезапно, почти как на пути Павла в Дамаск. Раньше Беатрикс сама отдавала приказы, которые с готовностью исполнялись ее любовниками, – так ей было удобней. Но женской природе свойственно подчиняться, хотя порой женщине необходимо приложить большие усилия, чтоб заставить сексуального партнера подчинить ее себе. Мне на самом деле не следовало удивляться такой внезапной смене ролей. Главное для Беатрикс – полу-

чить сексуальное удовлетворение. Сейчас она заявляла всему миру, в том числе и окружавшим ее пьяницам, что она счастлива. А я был шокирован, потому что видел ее такой впервые в жизни.

Мне вспомнился мой сон в Олдершоте: январь, спальня без кровати и превращение гордой, холодной девушки в трепетную рабыню. Может быть, во сне я играл роль мужчины, которого ей еще предстояло встретить? Они не сразу сообразили, о чем речь, когда я спросил, давно ли они знакомы. Ответил рядовой Рот: "Около двух недель, верно, Бити? — Для нас она всегда была Трикс. — А может быть, и дольше. Странно, что вы спросили об этом. Знаете, со мной уже случалось что-то похожее. Остановился я как-то на одном постоялом дворе в Глостере, и вдруг входит парень, смотрю на него и понимаю, что мы где-то уже встречались. И он тоже уверен в этом. Мы попытались выяснить, где же мы могли друг друга видеть раньше. Он британец, никогда не был в Штатах, а я впервые попал в Европу с тех пор, как был младенцем. Я подумал, что, возможно, спутал его с каким-то британским киноактером. Я не очень-то верю в переселение душ, но, видимо, что-то такое существует. Возможно, мы, американцы, сильнее приросли к лону Европы, чем думаем. Помните "океан, где каждый находит свое отраженье"? Эндрю Марвелл. Или если не отраженье, то другую свою половинку". Начитан, ничего не скажешь. Беатрикс ловила каждое его слово, несмотря на резкий нью-йоркский выговор.

Таверна уже закрывалась, американцу надо было поймать такси до Ханслоу. Он готов был платить втридорога, чтоб довезти Беатрикс до дома. Как рядовой он не имел права ночевать вне казармы, поэтому остаться у нее не мог. Зато мне эта весть принесла некоторое облегчение, сравнимое с отрыжкой после пинты дурного пива. Прирос к лону Европы, черт возьми, — не иначе как и к ее лону тоже. При мысли о прежней гордой повелительнице мне стало жаль Беатрикс. Рыбка попалась в сети. Любил ли я ее? Наверно, любил, прощая то, что вряд ли бы простил любой другой женщине. Вот и пришло время с облегчением послать любовь подальше. Хотя лучше не зарекаться. Я вернулся к себе в гостиницу.

Если бы у рядового Рота и была увольнительная на всю ночь, ему все равно не светило провести ее с Беатрикс. Придя домой, Беатрикс, еще вся во власти прощальных поцелуев — пока счетчик такси нетерпеливо отсчитывал секунды, — с изумлением обнаружила там голого Реджа, который, завернувшись в одеяло, стоял над газовой конфоркой и хлестал водку.

— Чтоб согреться, — сразу объяснил брат, глядя на сестру мутными глазами. — Твоя домохозяйка... апчхи... пожалела меня, дала ключ, прости, что помешал... апчхи!

Мокрый мундир, сапоги и нижнее белье сушились тут же.

— Господи боже мой, опять ты, — только и смогла вымолвить Беатрикс.

Редж, чихая и кашляя, рассказывал ей, как его в два счета, лишив допуска к секретным документам, спровадили из лагеря, что очень огорчило и даже возмутило русских, и хотели отправить назад в Гибралтар. Испугались, что он устроит бунт, зная, что репатриированных русских арестуют или расстреляют. Беатрикс села на смятые простыни и осторожно спросила:

— Откуда тебе это известно?

Ему не терпелось рассказать о своем побеге, но он ответил:

— Господи, да это же яснее ясного. Чертов СМЕРШ прочесывает округу, отлавливая беглых. То в лесу, то у пивной кого-то прикончат — жалеют, что не могут порешить весь лагерь вместе с британской охраной. В моем лагере те, кто пограмотнее, прекрасно знали и открыто об этом говорили. Им свои же так прямо и объяснили: попал в плен — значит, изменил родине. В лучшем случае отправят в Сибирь, а то и расстреляют. Уверен, что в твоем, чтоб его, министерстве иностранных дел прекрасно об этом знают.

— Действительно, кое-что нам известно, но не все. Мы получаем рапорты. Но нас это не касается. За советских граждан мы ответственности не несем.

— Даже... апчхи... на британской территории?

— Ялта.

— Опять это проклятое слово! Всюду только и слышно: Ялта, Ялта. О господи, мне плохо. Пришлось искупаться в Бристольском заливе. Несколько лет в воду не входил, а тут не помню, сколько пробарахтался в мазуте и дерьме.

— Рассказывай, я слушаю.

— Пришлось сесть на корабль, выхода не было. Заперли меня в каюте с кананиром. Вечно ко мне канониров приставляют, точно я пушка какая. Ни слова из него не вытянешь — будто сам Господь Бог, а не конвоир. Корабль отплывал в полночь. Рядовых отправили спать в гамаках, а мне, как и другим офицерам, разрешили прогуляться по палубе. Как только я увидел, что лоцманский катер уже отчаливает, сиганул с нижней палубы за борт. Ну, эти, на катере, вытащили меня, когда заметили человека за бортом, но не знали, что дальше делать. Сначала хотели обратно на корабль посадить, потом решили, что на берегу разберутся, имто что за дело. В конце концов, они просто подобрали утопающего, и это правда, пошел бы ко дну, как пить дать: ногу свело, вода ледяная. Дали мне немного просохнуть у огня в лоцманской будке. Ты только взгляни на мундир — весь в мазуте и говне. Апчхи, апчхи! Вот еще наказание! Поймал я попутку из Бристоля в Илинг, да только шофер, узнав мою историю, высадил меня, не доезжая до Суиндона, побоялся, что его накажут за помощь дезертиру. Никто не хотел меня такого грязного брать, пришлось тащиться пешком. Потом одна очень славная девчонка подбросила меня на армейском грузовике до Хаммерсмита. Ну вот и все. Апчхи, черт, апчхи!

— Что собираешься делать?

— Мне нужно в Ливерпуль.

— Прямо сейчас?

— Нет, не сейчас. Корабль отходит 14 марта.

— Ясно. Собираешься сорвать план, о котором договорились британское и советское правительство. Ты, братец, рехнулся.

— Там есть один человек, который ни за что не должен попасть на борт. Других мне спасти не удастся.

— И этот человек — женщина.

— Женщина, врач. Совершенно наивное создание. Наверно, глупо звучит, но это чистая правда. Мне нужна гражданская одежда.

– Ты уверен? Офицер еще может удержать британских солдат от стрельбы в непокорных русских. А вот безвестного штафирку в соплях даже близко к причалу не подпустят.

– Откуда ты знаешь? Что, бывало уже такое?

– Случались стычки. Самоубийства тоже бывали. Все это, конечно, смахивает на грязный сговор, но нам надо вернуть своих пленных. Их сюда на тех же самых судах и привезут.

– У тебя только Дэн на уме!

– Конечно. На востоке всех наших пленных уже освободили. Это нам точно известно. Мы сможем доставить их назад из любых портов, лишь бы они сумели туда добраться, но только в том случае, если сначала отдадим русским их собственных перемещенных. Пустым судам причаливать не позволено.

– Значит, мы идем на поводу у Сталина?

– Можешь называть это как хочешь. Утром я отнесу твой мундир в чистку. Тут недалеко, за углом, поляки открыли. И еще попробую раздобыть какие-нибудь штатские тряпки.

– Значит, поможешь мне?

– Не уверена. Просто понимаю, что тебе уготована какая-то безумная роль в этом немыслимом бардаке, и не знаю, как тебя уберечь. Если уж так сложилось, постарайся сыграть эту роль как можно лучше. Отправляйся на север в гражданской одежде. В Ливерпуле переоденешься в мундир. Не представляю, что будет, если тебя схватят...

На следующий день Редж облачился во фланелевые серые брюки, голубую рубашку с галстуком выпускника Итона, шерстяной пуловер и спортивную светло-коричневую куртку. Одежда пришлась ему впору. Беатрикс наплела одному из своих сослуживцев в министерстве, что ее брат, неожиданно прибывший в отпуск, в темноте угодил в бомбовую воронку, полную грязной дождевой воды, и, пока мундир в чистке, ему нужно во что-то одеться. Сослуживец, не задавая лишних вопросов, сходил в обеденный перерыв к себе на квартиру и принес одежду, а Беатрикс отправила ее Реджу с курьером. Все просто. Для Беатрикс мужчины готовы на все. Редж, уже во второй раз терявший свой вещмешок, пошел купить бритву, но долго не мог найти лезвий. Он смело зашел в чайную, выпил слабого чаю и съел пирожок с джемом из брюквы. Вечером сходил в кино и посмотрел американский фильм с Тайроном Пауэром в главной роли про дезертира британской армии, попавшего в Лондоне под бомбежку, потрясающе снятую. В конце концов его арестовывает военная полиция в щегольской форме на четвертом перроне безымянного вокзала. У Беатрикс на этот вечер были свои планы. Промаявшись без сна, Редж наутро купил большой пузырек микстуры от кашля и проглотил содержимое залпом. После этого он два дня спал без просыпа на кровати Беатрикс, так что ей пришлось перебраться на пол. Едва оправившись от простуды, с впалыми щеками и воспаленными глазами, он уехал в Ливерпуль, прихватив бумажный сверток с офицерским мундиром.

"Герцогиня Бедфорд" отправлялась от северного причала. Редж переоделся в мундир в общественной уборной, завернул в бумагу штатское платье и стал ждать поезда, который должен был подвезти обреченных прямо к сходням. По крайней мере так он предполагал, ведь никогда не знаешь, что придумают наверху. Может быть, для сохранения у русских

иллюзии перевода в другой лагерь их выгрузят на вокзале, а потом доставят к причалу в крытых грузовиках или автобусах с завешенными окнами. Под моросящим дождем Редж добрался до причала без особых трудностей, лавируя между грузовиками и порой оскальзываясь на мокрой брусчатке. Моросило. Пассажирский перрон охраняли шотландцы в полевой форме. Он смело представился их лейтенанту переводчиком, что выглядело правдоподобно, учитывая галуны корпуса разведки на мундире, и спросил, в котором часу ожидается поезд. Уже смеркалось. Морской ветер и крики чаек, обычно сулившие новые приключения, на сей раз навевали совсем иные мысли. "Герцогиня Бедфорд" стояла у причала с пригашенными огнями. Прибытие поезда ожидается, да только кто ж его знает когда. Реджа никто ни в чем не заподозрил, а ему удалось еще узнать у лейтенанта, что никто из его подчиненных по-русски не говорит. Они курили и ждали. Шотландцу было не по себе. Он приставал к Реджу с вопросами: ну не придется же им стрелять в этих русских? разве они сами не хотят вернуться в матушку-Россию? Он был наивен, этот молоденький, страдавший туберкулезом лейтенант. Ему ни разу не доводилось участвовать в таких операциях. Он вообще никогда ни в кого еще не стрелял. Они ведь наши союзники, верно? Они с немцами воевали за нас, потери большие несли. И что же теперь?

Подъехал фургон Армии Спасения, привезли чай и бутерброды для взвода охраны. Они еще ели, когда раздался гудок паровоза. Поезд подошел к перрону и остановился, выпуская клубы пара. Ну, ребята, теперь их надо выгнать наружу и построить для погрузки на борт. Редж первым ворвался в поезд и закричал по-русски: "Где доктор Соколова?" Вагонные коридоры пустовали. Все были в новеньких шинелях, только пуговицы поленились надраить. Русские сидели по местам, прижимая к себе набитые под завязку вещмешки. Выходить из купе никто не хотел. Они давно уже учуяли морской ветер и поняли, что их обманули, но они и раньше не сомневались, что их обманут. Лейтенант с криком "Господи Иисусе" устремился за Реджем, не успев ответить капралу, спросившему, можно ли подгонять упирающихся людей штыками. Лейтенант впервые видел русских. Что за издевательство — вырядить их как английских солдат, да надень на них хоть красные гвардейские мундиры, они на британцев похожи не станут. "Давай выходи", — нерешительно скомандовал он. Выходить никто не пожелал. И доктор Соколова на крики Реджа не отзывалась. Может, она прозрела без его помощи? Со стороны хвостового вагона к Реджу приближался британский сержант с двумя невооруженными солдатами. "Доставили эту ораву сюда из Ипсуича, только что с ними теперь делать? Нам было велено следить, чтобы русские не спрыгивали на ходу с поезда и не причиняли себе увечий, вот и все. Доктора ищете? Ступайте к вагону охраны, там медпункт". В поезде погасли огни, словно нарочно для того, чтоб усилить панику. Редж услышал выстрел прямо у себя за спиной. "Простите, сэр, эта чертова штука сама выпалила", — промямлил какой-то солдатик. Некоторые русские стали выходить, одни рыдая, другие громко матерясь. Были и такие, кто набрасывался с кулаками на британских рядовых, а те настолько растерялись, что даже не пытались пустить в ход штыки и приклады.

В вагоне охраны Редж спотыкался о валявшиеся в беспорядке тела людей. Загорелся тусклый свет, и он увидел Марию Ивановну, метавшуюся от одного раненого к другому. Один порезал себя разбитой бутыл-

кой, другой пытался с разбега размозжить череп о стенку вагона. Не имея при себе никаких медицинских средств, она была не в силах им помочь. Мужчина, перерезавший себе горло, тихо умирал. Другие стонали, кричали, матерились, и трудно было понять, кто из лежавших на полу жив, а кто уже мертв. Мария Ивановна узнала Реджа. "Где ты был, почему уехал?" – "Иди за мной", – приказал он. В это время в вагоне появились лейтенант с сержантом: "Господи Иисусе, а этих-то куда девать?" – ужаснулись они, увидев кровавое людское месиво. Вскоре стало ясно куда: на помощь подоспели члены советской военной миссии, майор, капитан, рядовые в шинелях и несколько человек в штатском, явно из тайной полиции. Когда они поволокли раненых прямо за ноги, Редж кинулся им наперерез. Услышав, как он ругается по-русски, они, не колеблясь, набросились на него с прикладами. Редж пытался вырваться, чтоб спасти Марию Ивановну, но ее оттолкнули в сторону.

Жадно глотая морской воздух на причале, Редж видел, как всех живых, кроме двоих, грудью бросившихся на штыки охранников, уже гонят на борт. Несколько человек бились в мнимых припадках эпилепсии. Трое с шумом бросились в воду. Стонущих раненых, среди которых оказался один убитый, впихнули в тесную толпу. Здоровые как могли втаскивали их по сходням на борт. Редж снова закричал по-русски, и его, одетого так же, как и все несчастные, в британскую шинель, не обратив внимания на офицерскую нашивку на рукаве, отправили на борт. Когда он вместе с лагерниками очутился на палубе, человеческие голоса перекрыл низкий гудок парохода, и, как в классическом кадре Эйзенштейна, Редж видел только немо орущие рты и стиснутые кулаки. Потрясенный зрелищем, британский морской офицер решил бежать без оглядки, но двое мрачных русских из военной миссии перекрыли ему путь. Редж каким-то уголком оглушенного сознания вспомнил свой побег в Эйвонмуте и готов был уже спрыгнуть в воду, но его оттеснили от борта. Ничего не оставалось, как только смириться со своей принудительной погрузкой, но тут один тип, явно из НКВД, наорал на него за то, что тот якобы потерял свой вещмешок, и вырвал из рук Реджа чудом уцелевший пакет с цивильной одеждой. В ответ Редж огрызнулся по-английски, и его тут же затолкали в кают-компанию, где притаился перепуганный насмерть стюард в грязной белой куртке. В кают-компании воняло мазутом, блевотиной и подгоревшей рыбой. Редж спустился в трюм, битком набитый плачущими, потерявшими волю к сопротивлению русскими. Они сидели и лежали прямо на полу – гамаков им не предоставили. Многие его узнали. Послышались смешанные возгласы гнева и сочувствия: "Шкура британская, предатель!" – "Да нет, это его предали, друг ты наш, батюшка". – "Шпион, провокатор, лизоблюд советский, шакал капиталистический". Одни тянули к нему руки с мольбой, другие указывали на него пальцами с черными полосками грязи под ногтями. Он кричал всем без разбора, даже тем, кто был из других лагерей, что он с ними. Когда Редж собрался вернуться наверх, оказалось, что люк трюма задраен.

Корабль отчаливал. Гудки заглушали стоны, проклятия и молитвы запрещенному русскому Богу. Только после того, как они отошли на три мили от берега, люки открыли и разрешили выйти на палубу. В последний раз в свете неярко сиявшей сквозь облака луны люди увидели ливерпульский причал и стоящий за ним разрушенный, но свободный город. Редж пробился к дверям кают-компании, где его остановил офицер тор-

гового флота. “Сюда нельзя, товарищ”, — сказал он. Редж крепко выругался по-английски. “Прости, приятель, я думал, ты один из них”, — удивился британец. Редж спросил, где каюта капитана. “Не знаю, дружище. Вот он знает”. Теперь Редж стоял лицом к лицу с равным ему по чину и видел себя будто в кривом зеркале. Пожилой, уже весь в морщинах корабельный мичман, считавший дни до демобилизации, глядел на Реджа с не меньшим удивлением. Редж выложил все как есть.

— Нас это не касается, — ответил мичман осипшим прокуренным голосом, — я уже дважды ходил в такой рейс, и нам строго-настрого приказано держаться от таких проблем подальше. Русские сами о своих заботятся, если все это можно назвать заботой. Двадцать один год служу — такого никогда не видел. Нас как будто и нет вовсе по пути в Россию. Мы снова становимся людьми только тогда, когда грузим наших и янки. У вас, наверно, на Джо Сталина большущий зуб. Понимаю: русские приклады прошлись по голове офицера королевских вооруженных сил. Не смывайте кровь с лица, пусть наш старик полюбуется. — Он имел в виду капитана корабля, в каюту которого проводил Реджа. Первым делом Редж спросил, будет ли остановка в Гибралтаре, и с облегчением узнал, что следующий порт — Генуя.

Сняв китель, капитан, усталый бледный старик в изящных подтяжках, прослуживший всю войну во внутренних войсках, отдыхал за стаканом рома. Он спокойно выслушал Реджа.

— Правила устанавливаем не мы, — сказал он. — Нам приходится помалкивать. Мы вступаем в свои права только на обратном пути. Тогда корабль снова становится британским. Такого и в горячечном сне не приснится. Мы их кормим, одеваем, лечим их раны и трипперы, а они здесь командуют и слова нам сказать не дают. Ничего не попишешь, если считаешь это наказанием за то, что мы вовремя второй фронт не открыли. Ну, вы хоть и нежданное пополнение, но дело мы вам найдем. Будете отвечать товарищам на их языке, когда им приспичит на меня орать.

— Что делать с ранеными, которых приволокли на борт, сэр? — спросил Редж, наблюдая, как капитан трясущейся рукой подливает себе рому.

— Наш костоправ о них позаботится. В отличие от русских он относится к нашим пассажирам по-человечески. Но на этот раз у нас и русский доктор имеется. Причем женщина, представляете? Кроме нее, на борту еще шесть женщин. И дети есть. По пути ожидается прибавление — одна женщина на сносях. Ничего подобного в жизни не видел. К женщинам не приближайтесь, получите штык в живот. И от советских гостей подальше держитесь. Найдите себе каюту, сидите там и не рыпайтесь. Я вас позову, если майор Кизитов, или как его там, вздумает на меня орать. В кошмарном сне такого не привидится.

Избранный старшим группы капрал Моксли, рядовые Эдди, Бакли, Кресс, Кроссбоу, Эванс, Гоу, Хэндли, Джонс, Найтон, Шоукросс и Тимсон еще не успели пересечь границу Польши, когда “Герцогиня Бедфорд” снялась с якоря. Кто б мог подумать, что Польша такая огромная. Им казалось, что впереди только заснеженные поля, заледенелые трупы людей и животных, но оказалось иначе: то и дело они натыкались на прочесывавшие местность советские войска, на вереницы изможденных, заросших щетиной пленных немцев. Перед самым бегством рядо-

вому Шоукроссу пришла в голову мысль прихватить большой британский флаг, висевший на лагерном заборе, чтобы русские не приняли их за немцев, хотя русские наверняка любой флаг, кроме советского, воспринимали как вражеский. К тому же они не тратили время на долгие разбирательства и стреляли во всех подряд, кроме своих. Мало кто из них видел раньше британский флаг. Им явно понравилась кумачовая ткань с пестрыми полосами, но для острастки они пальнули повыше голов Бакли и Гоу, которые несли флаг без древка, взявшись за верхние углы полотнища, отчего он стал похож на занавес, прикрывавший остальных участников побега. На этом участке британцам повезло: из Земняка в Капусту, так, кажется, назывались эти городки, их подвезли русские на порожнем грузовике. Необходимо было опередить полковника Хебблтуэйта, хотя одному богу известно, как далеко могла продвинуться его огромная пешая колонна по ледяным равнинам, продуваемым колючим ветром. Русские угостили их американской тушенкой без лаврового листа, претившей пролетарскому вкусу, и заставили принять по доброму глотку спирта. Британцы не переставали мечтать о кружке горячего английского чая.

Снег, который для русских был родной стихией, для британцев оказался сущим наказанием. В первую ночь они то и дело падали, но упорно продвигались вперед, стремясь оторваться от полковника Хебблтуэйта. К рассвету, когда им удалось преодолеть только три мили, они обнаружили заброшенную деревню под названием Четкица. Около часа они подремали в пустом коровнике, пропахшем навозом. Капрал Моксли, обладавший особым нюхом на технику, нашел грузовик, брошенный отступающими немцами, исправный, но с пустым бензобаком. Дорога шла под гору, и они проехали около мили с выключенным двигателем, потом наткнулись на одноколейное полотно железной дороги, на котором стояла одинокая ручная дрезина. На ней, поочередно нажимая на рычаг, они добрались до разрушенной станции Смутны. Здесь покореженные бомбежкой шпалы встали дыбом. В Устепе они впервые встретили поляков, освобожденных из немецкого рабства. Они не понимали того русского, на котором с ними пытался говорить Дэн, однако с радостью признали британский флаг, выкопали из снега пару замороженных кур и сварили суп с мерзлой картошкой и какими-то травами. Это была польская семья: престарелые отец и мать, которую била лихорадка, и двое сыновей-близнецов. Парни с завистью рассматривали английские шинели, а британцы были счастливы, что могут погреться у огня в деревенском доме, хотя и полуразрушенном, пожевать курятины, хотя и жесткой, и попить горячего бульона. По прикидкам рядового Шоукросса они преодолели около пятидесяти миль. До украинской границы оставалось не менее пятисот. Картами он запасся, вырвав их из энциклопедии в лагерной библиотечке. Им предстояло идти дальше на юго-восток, на Глогув и Легницу, — путь неблизкий. У огня сушились ботинки и носки. Все воротили носы от ног капрала Моксли. “В нашей семье у всех ноги воняют”, — оправдывался он. У каждого в вещмешке было припасено по свежей паре носков и ботинок на будущее.

Когда успевшие обрасти бородами британцы покидали Устеп, начался снегопад, и лед предательски скрылся под мягким пушистым покровом. Они без конца скользили и падали. Рядовой Кресс не переставая ныл и жаловался, что им никогда не дойти. Шоукросс припугнул его пол-

ковником Хебблтуэйтом и пресловутой воинской дисциплиной. До следующего привала необходимо было пройти не менее двадцати миль. Казалось, дорога вела в никуда. Их окружал только снег, мертвые деревья и едва различимое из-за туч солнце. Отряд попробовал идти в ногу и даже взбодрить себя песней про каптенармусовых крыс, но ничего не вышло — слишком часто они скользили и падали. Добравшись до разрушенной фермы на окраине деревни Поземка, они рухнули вповалку на солому в чудом уцелевшем после немцев и русских сарае, напоминавшем коровник. Рядовой Кроссбоу сказал, что его левая нога онемела, и тогда Шоукросс нашел в себе силы встать и развести огонь из поломанной мебели. Спичек было достаточно, курева тоже, только вот еда кончилась. Кто-то нашел банку постного масла. Дэн сказал, что оно не похоже на русское масло, но, может, сгодится для жарки. Каждый выпил из банки по глотку, от чего многих затошнило. Рядовой Эванс вспомнил, как в детстве мать заставляла его пить теплое оливковое масло от простуды, и это было куда менее противно. Доели остатки свиной американской тушенки из банки с русской этикеткой. Открывать консервную банку было легко: янки снабдили ее прикрепленным ко дну ключом. Труднее оказалось поддерживать огонь. Они тщетно пытались разжечь толстую ножку полированного дубового стола. Потом уснули. Среди снегов Дэну снилось другое путешествие: он умирал от жажды по дороге из Рима через Флоренцию, Болонью и Трент в Австрию. Попасть в плен легче, чем выбраться из него.

Утром Дэн добыл наживку — полную мух паутину — и спрятал ее в банку из-под тушенки. Его самодельная удочка торчала из вещмешка как антенна. Мерзлая дорога шла вдоль речушки, вероятно притока большой реки, но лед на ней был слишком крепок, ботинком не пробьешь. Вскоре они набрели на заброшенную деревню с прудом, и пока остальные рыскали по домам в поисках съестного, Дэн без особых усилий пробил во льду лунку и порыбачил, — к сожалению, в пруду водились только мелкие ерши. Еды не нашли, но капрал Моксли снова разнюхал след к почти исправному грузовику, но бензина снова ни капли. Он слышал, что иногда люди хранят бензин про черный день в укромных местах, под кроватью или еще где-нибудь, и после долгих поисков, к всеобщей радости, нашел под кучей мусора в разрушенном сарае полканистры тошнотворно пахнувшей жидкости, смутно напоминавшей бензин. Он залил в бак это загадочное топливо и с большим трудом, едва не надорвавшись, завел машину с помощью ручки. Им удалось проехать около двенадцати миль. Дальше дорога пошла в гору, и мотор, зачихав, заглох.

Среди безлюдья они стали забывать о ежеминутной смертельной угрозе, но война напомнила о себе громкими взрывами и грязно-желтым заревом: русские очищали от немцев Скжипце и Пшекрочене и что-то еще столь же непроизносимое для англичан. Заметив марширующих вдоль холма немцев под командованием громко кашлявшего офицера, они догадались, что приблизились к линии фронта. В это же время резко усилился ветер, и отряд решил укрыться в землянке. "Осторожней надо, ребята, — сказал капрал Моксли, хотя это и так все понимали. — Спрячьте-ка флаг подальше". Рядовой Кроссбоу снова пожаловался, что совсем не чувствует левой ноги. "Давай, давай, шевелись!" Он с трудом продвигался по снегу, но ноги не ощущал. Эддл и Бакли волоком дотащи-

ли его до очередного убежища, сняли ботинок и носок и увидели иссиня-багровые пальцы. Шоукросс принялся растирать ему ноги, пока не вспотел, и, похоже, восстановил кровообращение, хотя цвет кожи еще был далек от нормального. Как на беду, и правая нога Кроссбоу потеряла чувствительность. Силы у всех иссякли, а ведь прошли всего ничего. Стали думать, из чего бы соорудить носилки. Хорошо бы найти старую дверь или что-то в этом роде. "Я вижу, ребята, как вы на меня смотрите, и знаю, вы думаете, я не дойду, — с усилием проговорил он. — У нас в семье у всех проблемы с сосудами. Сейчас бы таз горячей воды, и я бы встал на ноги". Все на миг размечтались об уютной кухне с кипящим котлом.

— С тобой все будет в порядке, Фред, вот увидишь, — успокоил капрал Моксли.

— В этом бесконечном походе вы, капрал Моксли, доказали, что не зря носите свою нашивку. Вы настоящий командир, — сказал вдруг Шоукросс. Никто, в том числе сам капрал, его не понял. — Мне кажется, если мы будем следовать приметам весны, мы придем к свободному от снега югу быстрее, чем думаем. Таласса, таласса. Помните греческий анабасис[1]? Все посмотрели на него как на помешанного, а капрал Моксли поднял всех на ноги и повел дальше.

Ночью они пришли в деревню, где были люди. Большая часть домов на единственной улице уцелела. Дойдя до середины улицы, капрал Моксли, ободренный рядовым Шоукроссом, постучался в один из домов и спросил: "Есть тут кто-нибудь?" Из дома тут же вышли трое в немецкой форме и с поднятыми руками. Увидев дюжину невооруженных, обросших бородами британцев с флагом, они опустили руки и, раскрыв рты, задвигали челюстями, показывая, что хотят есть.

— Мы в таком же положении, как и вы, — сказал капрал Моксли, — жратвы ни крошки.

Рядовой Шоукросс перевел это на немецкий, добавив от себя:

— Вы уж извините нас, джентльмены.

— Давайте хоть воды вскипятим, — предложил рядовой Кроссбоу.

Вместе с немцами они вошли в убогий домишко, казалось целиком состоящий из кухни. В очаге горел огонь. Один немец, тяжело больной, неподвижно лежал на земляном полу. Рядовой Шоукросс нашел большую закопченную сковородку. "Господи, — ужасался он, — вы только поглядите на эти мелкие косточки. Они же мышей ели!" Он вычистил сковородку, нагреб в нее снега и поставил на огонь. Но вначале все напились кипятку из котелков, а потом уже дали рядовому Кроссбоу попарить в сковородке ноги. Заметив, что у немцев есть ножи, рядовой Шоукросс сказал, что побежденным ножи не полагаются. Чтоб отнять ножи, пришлось применить силу. Огнестрельное оружие немцы побросали при отступлении из Клопота и Сподне. Потеряв теперь и ножи, они готовы были расплакаться как дети. Вряд ли Шоукросс решился бы отрезать рядовому Кроссбоу схваченные гангреной пальцы. Нож ему требовался, чтоб добыть пропитание: окоченевшую лошадь в снегу или резвого козлика, наслаждавшегося первой травкой на проталине.

1. Поход Кира Младшего против Артаксеркса.

Судно бороздило Лигурийское море. На горизонте появилась Генуя. Майор Машук обратился к соотечественникам со словами ободрения.

— Товарищи, — говорил он в микрофон, — соратники по борьбе с фашизмом, этой крайней формой капитализма, от которого наша страна понесла огромные потери и против которого наш народ так долго сражался в одиночку. Я хочу развеять внушенный вам необоснованный страх. Некоторые из вас боятся наказания за преступления, которых они не совершали. Попасть в плен в бою — не преступление. Быть насильно угнанным в рабство фашистской военной машиной — не преступление. Быть может, тем из вас, кто сдался в плен и пошел служить фашистам из малодушия или вследствие временного умопомрачения, есть чего бояться. Измена есть измена, и это — тяжкое преступление. Но наш великий вождь дал честное слово, что всем вам, как виновным, так и невиновным, прощается ваше прошлое, потому что сейчас, товарищи, нам надо думать о будущем. Нашему народу необходимо восстановить разрушенную страну. Восстановление Советского Союза, чьи новые достижения нанесут окончательный удар капиталистическому миру, требует огромного труда.

Мы останавливаемся в итальянском порту Генуя, чтобы принять на борт еще пять советских граждан, которые из-за необоснованного страха, о котором я уже говорил, бросились за борт во время предыдущего рейса на Родину. Их спасли, и советское консульство в Генуе все это время заботилось о них, как мать о своих детях. В Стамбуле мы подберем семерых заблудших советских граждан, которые также пытались бежать. Советские власти в Турции и о них не забыли. Вы видите, что, несмотря на ваши страхи, Родина готова поддержать каждого. Вам выдали теплую одежду и удобно разместили на судне. Если вам не нравится пища, то в этом виноват британский торговый флот. Скоро Родина встретит вас хлебом-солью, тогда вдоволь наедитесь настоящего борща. Не забывайте также и о ваших товарищах, которые все еще воюют, ведя наступление на Берлин. Помните об их героизме и о лишениях, которые они терпят. Многие из них охотно поменялись бы своей долей с вами. Годы тяжелой борьбы позади. Сейчас мы видим яркий свет в конце туннеля. Не забудем! Не простим! Кровь за кровь!

Редж тоже слушал эту речь. Приятная перспектива, ничего не скажешь: не забудем, не простим, кровь за кровь. Его поместили в отдельной каюте, но находился он под неусыпным контролем старшины Ноукса. Тот страдал язвой двенадцатиперстной кишки, поэтому большую часть дня лежал на верхней полке, но безропотно сопровождал Реджа в гальюн. Соседями по каюте они стали по решению советских и британских представителей на корабле после того, как трое русских, якобы по совету Реджа, прыгнули за борт в Бискайском заливе. Один русский по собственной инициативе попытался перерезать себе горло столовым ножом. Нарушителей дисциплины выловили матросы. Ножи и вилки отобрали, люди ели ложками. Майор Машук потребовал высадить Реджа в Генуе. Британское командование находило это требование обоснованным, но капитан не согласился из принципа: британские власти и так предпринимают достаточное количество жестов доброй воли и не могут позволить русским диктовать, как им поступать с британскими военнослужащими.

Марию Ивановну Редж видел только однажды, перед тем как к нему приставили Ноукса. Он доставил в медпункт беременную Евгению, которую увидел на палубе. Она прогуливалась в сопровождении худосочного советского солдата в очках и, заметив Реджа, бросилась к нему с криком "Началось!", будто он был отцом ребенка. Тревога оказалась ложной. Скорее всего появления ребенка следовало ожидать сразу после остановки в Стамбуле. Увидев Реджа, Евгения разрыдалась, называя его отцом родным. Тогда-то Редж и Мария Ивановна смогли немного поговорить.

– Вот это по-русски! – сказала она. – Ты из любви ко мне пошел на такой риск, и есть в этом что-то от героев Пушкина и Лермонтова. Это подвиг. Мы больше не увидимся, но станем писать друг другу письма. Мы пережили идиллию в тяжкие времена. Теперь все кончено.

– Ты так ничего и не поняла, – говорил Редж. – Я не просто хотел обнять тебя в последний раз, хотя и это для меня значит многое. Я хочу спасти тебя. Мне ничего не грозит. Меня не расстреляют и даже в тюрьму не посадят. Война почти окончена. Но у людей и в лагере, и здесь, на корабле, верное чутье. Они не зря боятся самого худшего. Их страх вполне обоснован. Для меня невыносима мысль о том, что по прихоти Сталина ты попадешь в подвалы Лубянки или в какой-нибудь лагерь. Я хочу, чтобы ты осталась в Англии, целая и невредимая.

– А Петр Лаврентьевич? Мало же ты знаешь о любви. Уходи, мне надо лечить мужика, который хотел себе глаз выколоть.

– Святая наивность, – беспомощно воскликнул Редж, глядя в иллюминатор на пенящиеся волны Средиземного моря.

– К тому же мне теперь нечего бояться. Я стала любовницей майора Машука.

– О боже! Только на время плавания?

– На время плавания и еще насколько понадобится.

– Бог мой! Опять измена.

– Для советского человека главное – быть верным Родине. Тебе, представителю английского капитализма, этого не понять.

– О господи!

Долгими бессонными ночами, под стоны мучившегося язвой Ноукса, Редж мастурбировал, воображая обнаженную Марию Ивановну, чей образ иногда сливался с образом моей сестры, его жены. Иногда обе женщины представали как персонаж "Пира Валтасара", хотя эта гравюра из старой Библии давно уже утратила для него эротическую привлекательность и лишь напоминала о доме, о семье.

После разговора с Марией Ивановной он был совершенно раздавлен. Будущее представлялось пустым и никчемным. Единственным утешением могло служить то, что многим оно, после шести лет войны, рисовалось таким же. В одном из горячечных видений, вызванных бессонницей, перед ним возник улыбающийся Черчилль в котелке и галстуке-бабочке, с гаванской сигарой в углу улыбающегося рта. Толстыми растопыренными пальцами он показал латинскую букву V. Жест, которым древние римляне приветствовали друг друга, правящий класс превратил в знак победы, а доктор Геббельс толковал как verloren[1]. Редж мечтал заткнуть эту сигару горящим концом в глотку негодяю Черчил-

1. Побежденный (*нем.*).

лю. Ему не давали покоя хихикающие Черчилль и Сталин. Облизывая жирные пальцы, они уплетали жареного поросенка и обсуждали передел Европы. Редж считал своим долгом написать письмо в самые крупные газеты и рассказать о соучастии Британии в массовом убийстве русских, но что толку — такое письмо никто не опубликует. Да и не мастер он писать такие вещи, другое дело стихи — тут он мог похвастаться несколькими переводами из Лорки. Вспомнив об этом, Редж принялся сочинять что-то на почтовой бумаге, взятой у Ноукса. Он написал о безжалостном мече, имя которому Амор, но, перечитав, с отвращением разорвал листок. Ноукс видел, как Реджу скверно и как он подавлен, и старался разговорить его. Рассказывал, как скучает по своему крошечному огороду позади городского дома, где выращивает всякие коренья, и даже стал называть Реджа корешем, а в конце концов так расчувствовался, что выпалил:

— Что за идиотизм держать человека взаперти! Пошли лучше прогуляемся.

Они вышли на палубу. Корабль приближался к Мессинскому проливу.

— Как ваша язва?

— Покоя не дает, иногда будто ножом меня режут. Демобилизуюсь, придется операцию делать. Мне за нее нашивка, как за ранение, полагается. Война во всем виновата.

Они поднялись на верхнюю палубу. Корабль не спеша продвигался в узких водах между Калабрией и Сицилией. Дул свежий весенний ветер.

— Между Сциллой и Харибдой, — сказал Редж.

— Что-что?

— Сцилла — это шестиголовое чудовище на двенадцати лапах. Лает, как собака, а из тела волчьи головы растут. А Харибда — чудовище с противоположного берега. Море трижды в день заглатывала, к вечеру извергала его назад и отдыхала под смоковницей. По преданию именно здесь они и обитали.

— Где ты нахватался такой бредятины?

— У Гомера и Овидия. Именно это называется классическим образованием. Что вы вдруг скисли — язва беспокоит или образованных презираете?

— Образование у меня у самого есть. Но только всей этой ерунде меня не учили. В мирное время нужно военное образование получить, тогда быстрей карьеру сделаешь.

— Эта бредятина, как вы выразились, есть точный образ времени, в котором мы живем. Шестиглавые чудища, бесконечно плодящие волков.

— Белены объелись твои фантазеры.

— Все мы белены объелись.

— Слушай, кореш, все-таки странные мысли тебе в голову лезут.

Когда ночью проходили через Ионическое море, Ноукс с криком пробудился от ночного кошмара. Редж не спал.

— Что, опять язва?

— Приснилось, будто шестиглавое чудище и волки грызут мои внутренности. Зря ты всякие ужасы мне рассказывал. Лучше помоги прикурить.

Пройдя остров Китиру и лавируя между Кикладами, они выходили в Эгейское море. Греки создали самые яркие образы чудовищ, предоставив будущему их материализовать. Они же изобрели логику. Два этих обстоятельства тесно связаны. Свесившись за борт, Редж наблюдал за бьющимися о корму волнами. Чарли Ноукс с удивлением отметил, что язва почти не дает о себе знать с тех пор, как ему приснились грызущие его волки. Появившийся на палубе майор Машук приказал Реджу вернуться в каюту. Редж ответил, что не подчиняется приказам большевистских убийц. Майор Машук оскалил гнилые зубы, свидетельствовавшие о слабости советской стоматологии, и, подтолкнув его в спину, повторил приказ.

– Это, товарищ майор, острова греческого архипелага, где пела и любила пылкая Сафо. А вы унаследовали от греков лишь изуродованный алфавит и извращенную сократовскую диалектику и пользуетесь ими для того, чтобы плодить монстров. Одним своим видом вы оскверняете этот дивный пейзаж. Убирайтесь с глаз долой, а не то я плюну вам в рожу.

Майор Машук взбеленился и полез на Реджа с кулаками. Но не тут-то было: Ноукс не для того столько лет прослужил в британской армии, чтобы равнодушно взирать на то, как чужак с сомнительными полномочиями бьет британского офицера. Он помнил визит последнего русского царя в Лондон.

– Отставить! – рявкнул Ноукс.

Майор Машук вздрогнул и смиренно попятился, словно перед ним сам царь, но прежде чем уйти, злорадно прошипел: "Ревность, это все ревность". Мария Ивановна, видно, успела порассказать ему о сексуальной несостоятельности британцев.

– Я бы тебя в карцере сгноил, да на вашей лоханке он не предусмотрен, – прорычал напоследок майор и удалился, потрясая кулаками.

– Шестиглавый ублюдок, – сказал Чарли Ноукс.

– Я ему покажу. Дайте срок, – встрепенулся вдруг Редж.

– Очередная бредовая идея?

– Я сойду на берег в Одессе. Выясню, что там в действительности происходит.

– Я тебе сам могу сказать, что там происходит. Встречают с духовым оркестром, а на берегу снимают с них английское барахло и прямо в исподнем угоняют куда-то. Потом наших грузят, по крайней мере мы снова на это надеемся. Красивый город Одесса. Лестница там прямо к гавани спускается.

– Я сойду на берег.

– Не сойдешь. Русские запрещают.

– Я говорю по-русски, меня пропустят. Мир должен узнать правду.

– То, что там происходит, это их собачье дело. Не суйся туда, послушай старика. Пожалеешь потом. В странные времена мы живем.

– В чудовищные времена.

– Тут я с тобой не могу не согласиться.

Ранней весной поредевшая группа Дэна пересекла Польшу, а может, и Восточную Пруссию и, следуя вдоль чехословацкой границы, достигла Украины. То ли во Вчорае, то ли в Жутро им пришлось надолго застрять – у рядового Кроссбоу началось заражение крови. Рядовой Шоу-

кросс никак не мог решиться ампутировать омертвевшие пальцы. Сам он страдал от поноса после того, как съел вареные побеги бука. Кроссбоу стонал, лежа на грязном диване в заброшенном, полном крыс деревенском доме. На кухне стояла крысоловка, но никакой приманки, кроме гнилых пальцев рядового Кроссбоу, не предвиделось. Шоукросс так и не решился ампутировать пальцы Кроссбоу — его последние силы ушли на пережевывание буковых прутьев. Дэн нашел дохлую крысу и решил использовать ее как наживку. Лед на речушке недалеко от хутора взломала поваленная ветром ель. Там он промерз около часа, выудил только двух плотвичек и голавля. Сварили их целиком, но Кроссбоу даже есть не мог. Он бредил, бормоча что-то про детскую лошадку, которую выточил его отец-плотник, а когда у нее отломалась нога, отца уже не было в живых, чтоб починить. Все понимали, что недолго ему осталось мучиться. Рядовой Эванс изнемогал от расстройства желудка. У рядового Тимсона, далеко не красавца, лицо покрылось нарывами.

Раньше они боялись, что их настигнет группа полковника Хеббльтуэйта, — теперь они об этом мечтали. Без офицера трудно было решить, что делать с рядовым Кроссбоу. О военврач капитане Морли, который наверняка шел нога в ногу с полковником, теперь грезили как о спасителе. Но никто из своих не встретился им по пути на юго-восток: только разрозненные группы побитых немцев да редкие русские грузовики, которые шли в противоположном направлении. А что, если немцев разместили в другом месте и все их товарищи остались в лагере? Едят себе свиную тушенку и спокойно ожидают отправки на запад. Или, может, русские успели переправить их в Москву, под крылышко посольств? Сидят там в тепле, слушают по радио новости об окончании войны, икрой угощаются. А может, никого уже и в живых нет.

Наутро, проснувшись, они увидели застывшую гримасу боли на мертвом лице Кроссбоу. Похоронить его возможности не было: для того чтобы вырыть могилу в мерзлой земле, требовалась дрель. Тело накрыли старыми мешками и положили на заднем дворе, предварительно сняв медальон, удостоверяющий личность. Следовало бы похоронить его по христианскому обычаю, но среди них не было верующих. Рядовой Шоукросс произнес нечто вроде молитвы, звучавшей примерно так: “О Боже Всемогущий, если ты есть, пусть он спит спокойно. На земле он натерпелся сполна. И если ты есть и слышишь нас, дай нам, оставшимся в живых, сил дойти до конца”. После паузы он заговорил стихами:

Когда исчезли небеса
И содрогнулась твердь,
Он дань свою отдал Тебе —
И рай, и ад, и смерть.

Все смущенно произнесли “Аминь” и отправились дальше. Желязо, Рджа, Сталь, Медзь — эти названия на чужом языке ничего для них не значили. Шоукросс водил растрескавшимися пальцами по мятой карте Центральной Европы. Должно быть, где-то близко большой город: может, Бжег, а может, и Краков. Они шли уже шестую неделю и износили первую пару ботинок. Снег таял, воды было хоть залейся, но пищи никакой. Дэн рыбачил, но пруды и ручьи рыбкой не баловали. Около Нисы

они наткнулись на холмик и с радостью обнаружили под снегом замерзшую лошадь. У них едва хватило сил отковырять отнятыми у немцев ножами твердое, как камень, мясо и добрести до видневшегося на горизонте сарая. Развели огонь и зажарили куски дохлой конины. У рядового Гоу была соль: он нашел смерзшийся кусок в одном сарае милях в тридцати отсюда. Они с трудом жевали сладковатую конину, запивая ее талым снегом. Желудки наполнились, но к горлу подступила тошнота. Рядовой Шоукросс старался отвлечь их сказками братьев Гримм, но, услышав далеко не диснеевскую версию "Белоснежки", где в конце злую королеву заставляют плясать на свадьбе в раскаленных железных сапогах до тех пор, пока она не падает замертво под радостные крики гостей, все пришли в ужас. Следующим рассказчиком, ко всеобщему удивлению, стал Дэн Джонс. Он вспомнил про гунна Аттилу.

— Случилось это где-то здесь, в этих краях. Аттила нашел меч, торчавший острием из земли. Тот, кто владел этим мечом, не знал поражения в бою. На этом мече Аттила повелел выбить или нацарапать гвоздем букву "А", инициал владельца. Именно по этой земле он прошел с огнем и мечом, как русские сейчас. Но до Англии, которая тогда называлась землей бриттов, он не дошел. А потом меч достался королю Артуру, валлийцу, и теперь "А" означало уже его имя. Уверен, этот самый меч мы видели в ящиках у русских тогда, в Роггене. Только теперь "А" уже ничего не значит.

— Откуда тебе известно про Аттилу? — произнес Шоукросс, подозрительно глядя на Дэна.

— У моего отца есть книга про этот меч. Ее написал один человек, с которым он познакомился в госпитале в прошлую войну. Моего брата Реджа, паршивца вороватого, назвали в его честь. Отец всегда очень ценил этого Реджинальда и в детстве читал нам его книгу вслух.

— Так говоришь, ты видел этот меч? — усмехнулся Шоукросс.

— Ты тоже его видел. Я заметил букву "А", выбитую на клинке, только сразу не придал этому значения, а теперь вспомнил.

— Мечи ржавеют, — сказал Шоукросс, — и просто рассыпаются. Ни один меч не проживет столько.

— Я его видел, и ты его видел.

Рядовые Эванс и Хэндли выскочили во двор, их стало рвать. Переели тухлой конины, сладковатый привкус не удалось отбить солью. У Эванса снова начался понос. Он продрог на снегу, со стонами вернулся обратно и, проклиная небеса, скрючился на корточках прямо в углу сарая. Услышав его брань, Шоукросс разразился столь гневной речью, что все решили, что он, самый разумный из них, тронулся умом.

— Верно! Ты прав. Да будь он проклят! Я звонил в колокола, взывая к нему, я причащался, не понимая, кто кого создал — он нас или мы его, иногда я сомневался в его существовании, но теперь я вижу, что он есть. Только сам божественный творец мог придумать все муки этого мира! Так слушай же, проклятый Бог! Мы узнали тебя по делам твоим, а теперь требуем твоего явления. Явись, убей нас или дай нам утешение! Ты привел нас из лучезарной Италии в мир гуннов. Мы пробираемся обратно на юг, чтоб увидеть свет солнца и цветущие поля, а земля гуннов не кончается. Теперь я знаю, кто скрывается под именем Аттила — посланец своего отца. Авва, или Атта, отец всего сущего, явись нам сквозь мрач-

ные тучи, Бог-громовержец! Довольно нас испытывать! Если нам суждено выжить, подай нам знак!

Рядовой Найтон, родом из Шропшира, испуганно попросил:

— Ты уж поосторожней, Шоки. Не дразни его. Я хоть сам в церковь не ходок, но всему же есть предел.

— Если нам суждено погибнуть, подай нам знак, сокруши меня, непокорного слугу твоего, мечом карающим.

Но в отсвечивавших металлом небесах ничто не изменилось. Наверно, в этот день Бог прятался в мерзлой плоти палой лошади, чтобы всю долгую зимнюю ночь терзать и выворачивать наизнанку их внутренности.

Доктор Соколова не ошиблась. Новый советский гражданин явился на свет, грозя ему своими красными кулачками, когда судно проходило Мраморное море. В Стамбуле они простояли одну ночь, приняли на борт еще нескольких напуганных немолодых русских. Чтобы приветствовать новичков, на палубу согнали около ста мучившихся морской болезнью советских граждан. Среди них нашлись и такие, кто взмахнул рукой в фашистском приветствии. Мраморное море было неспокойно. Впереди чернели родные воды, над которыми гуляли приветливые марксистские ветра, светило сталинское солнышко, а ближайший порт благоухал дешевыми апельсинами. Мидье, Игнеада, Ахтополь. В Бургасе сошли на берег чехи, которые все время в пути держались особняком, но на прощанье выпили водки с майором Машуком и капитаном Чепицыным и от имени своего правительства, хотя, скорее всего, были простыми аппаратными чиновниками, пригласили посетить Чехословакию. "Мы туда придем и без вашего приглашения", — процедил сквозь гнилые зубы майор Машук, наблюдая, как они сходят по трапу. Редж слышал эти слова с верхней палубы, но майор Машук, находившийся на нижней палубе, видеть его не мог. Реджу удалось побывать в каюте майора, когда тот в очередной раз сидел в радиорубке, призывая людей не щадить врагов и строить светлое будущее. Судовой стюард в белом кителе, которого майор Машук заставлял убирать каюту и утюжить мундир, не выносил этого властолюбивого наглеца и с радостью впустил Реджа внутрь. На багажной полке Редж обнаружил меховую шапку и зимнюю шинель майора, лежавшие там с тех пор, как потеплело. Редж примерил шинель. Она пришлась ему впору. Отлично, вскоре он ими воспользуется. Большую часть вещей, находящихся в каюте, майор вез из Лондона: бутылка виски "Блэк энд уайт", по нынешним временам редкость, шерстяной пуловер, шотландское овсяное печенье, глиняный горшочек с апельсиновым джемом, пачка презервативов, причем использованных, они были аккуратно сложены, видимо, из экономии. На глаза Реджу попался и дубликат списка несчастных русских, которым предстояла высадка в раю. Люди были разбиты на группы по двадцать человек, очевидно для упрощения процедуры. Услышав по трансляции заключительное "Кровь за кровь!", Редж поспешил вернуться в свою каюту и пересидеть час, который команда по привычке называла полдником, хотя кроме чая с сухарями ничего не давали.

Позади осталась Варна, скоро ее переименуют в Сталин. В Констанце спустилась на берег вторая группа чехов — видимо, политические противники первой. Миновали Сулину и устье Дуная, реки Аттилы. Ран-

ним безоблачным утром они приняли на борт лоцмана и медленно вошли в Днестровский лиман. На горизонте появилась изогнутая линия одесской набережной. Чарли Ноукс, у которого опять обострилась язва, скрючившись, вышел на палубу, чтоб на пару с Реджем восхищаться великим портом, основанным греками, разрушенным в русскую революцию и восстановленным сталинскими ударными пятилетками. "На удивление дивный город. Даже не верится, что мы в России. Больше похоже на Неаполь, с борделями и винными погребками. Ты только взгляни на нее! Видел фильм, где эту лестницу показывают? Там еще по ней женщина с коляской бежит".

В гавани на рейде стояли линкор и транспорт с металлоломом. "Герцогиня Бедфорд", очень осторожно причалившая к одному из пирсов, казалось, боялась испачкать юбку в пролетарском порту. Усатые загорелые татары и украинцы принимали швартовы и подтаскивали сходни. Откуда-то издалека ветер доносил запах заплесневелого хлеба. Пассажиры не спешили. По трапу на борт, как к себе домой, поднимались гражданские чиновники и два офицера. "Все верно", — повторял про себя Редж. Утро выдалось теплое. Он пошел в каюту и обрядился в заранее припасенные шинель и шапку майора Машука. Эта скотина скоро коечего недосчитается. Неумело замаскировавшись под русского майора — русская шапка не изменила кельтского лица, а из-под серой шинели торчали брюки цвета хаки, — Редж притаился в проходе рядом со сходнями, соединявшими Россию и Британию. На берегу собрался духовой оркестр под управлением тощего капельмейстера. Над портом на малой высоте кружили три истребителя. Невдалеке слышался странный шум, напоминавший лесопилку. Оркестр грянул новый советский гимн, а не коминтерновское старье вроде "Интернационала", но музыку заглушал рев самолетов. По сходням погнали первую партию из двадцати человек. Майора Машука с ними, к счастью, не было: наверно, на пару с капитаном Чепицыным он занимался сортировкой остальных. Конвой целиком состоял из береговой охраны. Редж сделал несколько глубоких вдохов и пошел вслед за первой партией, которую конвоировал молоденький очкарик. Обернувшись, Редж увидел, что вторая партия готова к высадке: исхудавшие темные лица и глаза, в которых угас последний огонек надежды. Людей пригнали к дверям ближайшего портового склада. С палубы стали доноситься крики. Очкастый рядовой, рассмотрев наконец майорские погоны, остановился в нерешительности. "Делай свое дело, парень!" — рявкнул на него Редж, сам не понимая, что имел в виду. Окрик советского офицера вразумил солдата, и он, вернувшись к сходням, погнал вторую партию к соседнему складу. Тяжелые двойные двери склада захлопнулись прямо перед носом Реджа. В небе по-прежнему кружили самолеты, где-то шумела пилорама, а на причале продолжал играть духовой оркестр. Редж понял, что должно произойти, и побежал вдоль стены складского сарая, невольно примечая на ней похабные надписи и рисунки мелом. У задней двери он увидел то, чего ожидал: усталые солдаты под наблюдением горластого сержанта забрасывали в грузовик английские шинели, ботинки, серое шерстяное нижнее белье и даже столовые приборы. Из приоткрытой двери сквозняк доносил запах порохового дыма. Заглянув внутрь, Редж увидел двадцать распластанных обнаженных тел. Некоторые еще шевелились. Расстрельная команда состояла из мальчишек, на вид не старше четырнадцати, — во-

енная форма была им велика. Командовавший ими лейтенант, увидев Реджа, вытянулся по стойке "смирно", приказал перезарядить винтовки и стал оправдываться. Конечно, он понимает, нехорошо промахиваться, но они еще молокососы, до шинелей не доросли, только учатся стрелять. Невооруженная группа таких же мальчишек поволокла трупы наружу. Один из расстрелянных ожил, и его отбросили в сторону и добили двумя выстрелами в упор. Редж едва сдерживался, чтоб не завопить от ужаса. Ударом сзади его оглушил рассвирепевший майор Машук, хвативший шинели и шапки. Ему помогали двое. Никого из них Редж различить не успел, потому что потерял сознание и провалился во мрак.

Когда Редж пришел в себя, он обнаружил, что на судах британского торгового флота вместо карцера имеется камера для буйнопомешанных с обитыми матрасами стенами. Голова, на которой он нащупал несколько кровавых шишек, раскалывалась. Уголком еле теплившегося сознания Редж понял, что сходит с ума.

Если бы это был роман, а не хроника реальных событий, я бы с удовольствием поместил на это же судно Дэна, брата Реджа, дождавшегося родного корабля. Дэн и остатки его поредевшей группы, состоявшей из доходяг с патриаршими бородами, мечтали пусть и без советского оркестра, но поскорее добраться домой. Здесь стояла весна, а люди говорили на языке, который Дэн едва разбирал. Пройдет еще много времени после отплытия Реджа, пока Дэн и его товарищи, вместе с другими бывшими солагерниками, среди которых уже не было полковника Хебблтуэйта, сидя на ступенях одесской лестницы, наконец увидят кружащие над одесским портом самолеты и британский корабль, капитан которого отчего-то не торопится принять на борт своих.

Капитан Айзенауг, психиатр Королевского военно-медицинского корпуса, вывел Реджа, одетого в синюю больничную пижаму, на прогулку. В госпитальном дворе Крэнфорд-лоджа неподалеку от Солсбери цвели бледные нарциссы.

— Поглядите, — говорил доктор, — этот мир состоит не только из ужасов и убийств. Послушайте, как чудно щебечут птицы.

Его фиалковые мечтательные глаза никак не соответствовали фамилии[1]. Говорил он с легким тевтонским акцентом, четко, словно оперный певец, артикулируя окончания. Вену покинул почти одновременно с Зигмундом Фрейдом, хотя не был евреем, но не одобрял арийские методы психиатрии, которые разработал брат рейхсмаршала Геринга. Айзенауг не являлся последователем Юнга, но и не во всем соглашался с Фрейдом, несмотря на то, что последний лично поручился в профессиональной честности и аполитичности доктора при получении им британского подданства. Этот немец добровольно пошел служить в британскую армию и начинал как врач-терапевт в чине лейтенанта, а когда британские военные эскулапы с неохотой, но все-таки признали существование души в смысле, отличном от того, что имели в виду армейские капелланы, он получил возможность заняться своей темой — эклектической психиатрией. По его мнению, проблема Реджа не имела отношения к Эдипову комплексу. Если Редж и хотел убить Уинстона Черчилля и Энтони Идена, то не потому, что испытывал к ним сыновью нена-

1. Eisenaug — железный глаз (*нем.*).

висть. К Реджу, которого понизили до сержанта, он не обращался по званию, а называл его Реджинальд и просил говорить ему "доктор", а не "сэр".

– Итак, вы видели тот же самый сон, только более ярко и отчетливо? – спросил доктор.

– Скорее это был не сон, а попытка вообразить желаемое.

– Вам никогда не удастся осуществить этот план, Реджинальд.

– Я представлюсь сотрудником фирмы "Винзор и Ньютон". Продаю акварельные краски. Скажем, старый боров кормит в саду своих золотых рыбок, а я спокойно подхожу и вонзаю нож в его заплывшую жиром спину.

– Это – месть.

– Да, это – месть.

– Месть – это только идея. В реальной жизни ей нет места. Так считают христиане, хотя вы, вероятно, иного мнения. "Мне отмщение, и аз воздам", – говорит Бог. Вам, должно быть, известно, что того, кто мстит, ожидают вечные муки в аду. Конечно, такого места, как ад, не существует, но это верный образ возмездия нравственного. Злодей должен осознать свое злодеяние. Если он не способен на это, ничто его не спасет, а его физическое уничтожение никому не принесет пользы. Государство мстит преступникам. Они отвечают тем же. Бесконечное мщение – это замкнутый круг. Вы исполнены ненависти, Реджинальд.

– Да, ненавижу, и ненавижу все больше и больше.

– Я хотел бы, чтобы вы задумались, возможно ли действительно ненавидеть или любить нечто, оставшееся в прошлом? Можно ли, скажем, любить женщину, которая умерла? Оправданна ли ненависть к гунну Аттиле?

– Безусловно оправданна, если взять его нынешнее обличье. Сталин, например. Я ненавижу Сталина.

– И поэтому вы хотите его убить?

– Конечно. Но до него мне не добраться. А вот до Уинстона Черчилля и Энтони Идена я скоро доберусь.

– Пользы от этого не будет. Вы вправе предать гласности их преступления, хотя даже преступление может быть истолковано как жест доброй воли. Положим, они заблуждались, отправляя русских на родину, где тех ждала верная смерть, но это был единственный способ вернуть на родину наших пленных. Забота о благополучии и безопасности британских подданных сама по себе не является преступной, равно как и передача русских Советскому Союзу. Поймите наконец, русские – наши союзники, а Сталин – руководитель дружественной нам страны.

– У тех, кто поступает по справедливости, друзей не бывает.

– Вы в самом деле так считаете? Полагаете, что вы и есть воплощенная справедливость? Неужели вам до сих пор не ясно, что такая позиция граничит с паранойей?

– Ясно. Я – сумасшедший, поэтому я и здесь.

– Вы – не сумасшедший. У вас нервный срыв. Здесь вы не по вашей вине. Вы поправляетесь. Никто не привязывает вас к койке и не кормит из ложечки. У вас хороший аппетит, и спите вы спокойно.

– Я сплю долго, но вовсе не спокойно. Кошмары замучили.

– Ночной кошмар – своего рода предохранительный клапан. Ночные кошмары бывают у всех. Война в Европе окончена, а кошмары еще

долго будут нас преследовать. По-немецки ночные кошмары называются Alpdrücken. Вам снится, что на вашу голову низвергаются Альпы. Вы просыпаетесь в холодном поту и удивляетесь изощренности человеческого мозга, терзающего нас, когда мы совершенно беззащитны. Но это — природа, воевать с ней бесполезно. Даже кошки и собаки вздрагивают во сне от ночных кошмаров. Ничего не поделаешь, с кошмарами надо уживаться.

— Значит, вы советуете мне уживаться с этим прогнившим насквозь миром? И как только я стану равнодушен к несправедливости, я сойду за нормального?

— Отчего же? Беспокоиться нужно, и пытаться изменить этот мир нужно, но только не с помощью мести. Куда разумнее преодолеть желание мстить, перенести эту энергию на что-то другое. У нас, в немецком, есть слово Demütigung[1]. Обычно оно переводится как "унижение", но в немецком унижение, то есть снижение в степени уважения, обозначается глаголом erniedrigen. Представьте себе маршала Сталина, с которого насильно стащили китель и голого, с толстым брюхом и сморщенным от страха пенисом выставили напоказ на Красной площади, и вы поймете, что значит Demütigung. Вот если бы вы похитили у него нечто очень дорогое его сердцу, то это было бы для него erniedrigen. Союзники были правы, когда стали изображать Адольфа Гитлера на карикатурах.

— Чтобы легче было закрыть глаза на его злодеяния.

— Будьте справедливы. Разве его злодеяния не представлены всему миру?

— С некоторым опозданием, когда уже ничего не изменить. — Редж вдруг застонал. — Когда вы выпустите меня отсюда?

— А если мы вас выпустим, куда вы пойдете?

Редж молчал.

— Вы пойдете к своей жене и совершите первый акт возмездия, не так ли?

— Она унизила меня в моих собственных глазах, только и всего. Мне просто не следовало этого видеть. Всегда лучше не видеть.

— Верно, лучше не видеть — так легче выжить. Как сказал ваш Эдмунд Берк, надо стараться жить в свое удовольствие.

— Не наш Эдмунд Берк. Он ирландец.

— Неужели для вас так важно национальное происхождение? Разве не расовые и национальные распри привели нас совсем недавно к величайшей трагедии?

— Благодарю Бога, что я не англичанин.

— Бросьте. Мы говорим с вами по-английски. Прекрасный язык, по выразительности почти не уступает немецкому. Я сам чувствую себя наполовину англичанином — уже не могу обходиться без традиционных чаепитий. Есть земли и народы куда хуже. Теперь Великобритании придется смириться с второстепенной ролью на международной арене, но она дала миру много хорошего. Понятие терпимости, например.

— Терпимости ко злу.

— Ничего не поделаешь. Если мы говорим о терпимости, терпимым следует быть ко всему. Вы тоже обладаете способностью быть терпимым. Я уверен, вы готовы к примирению с женой. И это хорошо.

1. Надругательство (*нем.*).

Через больничный двор шла женщина в белом халате поверх лейтенантской формы военно-медицинского корпуса. Ее длинные черные волосы развевались на летнем ветру, как флаг. Знамя женственности. Казалось, она сознавала, что ее густые, ничем не стянутые волосы символизируют свободу, конец войны. На пациентов госпиталя, преимущественно мужчин в глубокой депрессии, вид ее роскошных волос наверняка действовал лучше всякой терапии.

— Давайте присядем, — предложил капитан Айзенауг. Он был небольшого роста, полноватый, одетый по строгой форме, со стеком под мышкой — на солдат это производило особое впечатление. Сняв фуражку, он обнажил обширную не по возрасту лысину.

Они присели на скамейку у кадушки с дождевой водой.

— Ваша жена прислала мне письмо, — сказал доктор, сверкнув толстыми линзами очков, за которыми синели близорукие глаза.

Редж, будто не слыша его слов, продолжал о своем:

— Знаете, весь этот ужас усугубляется полным отсутствием информации. Я хотел бы знать, всех они расстреляли или нет? Что стало с женщинами, детьми и тем новорожденным? А что с ней? Я даже боюсь ей письмо послать. Если ответа не будет, я не знаю, что и думать.

— Забудьте об этом. Спишите все на войну. Скорее всего, она разделила участь остальных. К тому же она лишь временно занимала место вашей жены. А ваша жена, — повторил Айзенауг, — прислала мне письмо.

— Вы, конечно, первый ей написали.

— Естественно. Она для вас самый близкий человек и имеет полное право знать, что с вами и где вы находитесь. Она хочет вас навестить. Что вы на это скажете?

— Мне придется начать с извинений. Она-то извиняться не станет.

— А почему она должна извиняться за то, что вы сами себе позволили увидеть? Вам этого видеть не полагалось.

— Что ж, начнем новую жизнь слепыми.

— Ну, это слишком сильно сказано. Для начала закроем глаза на некоторые недоразумения. Жить-то надо, или, по крайней мере, попытаться жить. Il faut tenter de vivre[1], как сказал французский поэт. Думаю, вам следует ей написать.

— Я уже пробовал. Порвал. Похоже, я разучился писать по-английски. Представьте, я написал еще одно письмо по-русски, скорописью, как учила меня мать. Мне было страшно его отправлять. Я ведь не знаю точного адреса. Знаю только, что муж у нее в Свердловске. Я и это письмо разорвал. Нет, я не буду писать. Передайте ей, пусть приезжает.

— Я уже пригласил ее.

Этот разговор состоялся за неделю до приезда моей сестры Ципоры в Крэнфорд-лодж. День выдался дождливый, мокрая листва шумно шелестела на ветру. Женщины, обладающие интуицией, умеют менять облик, когда того требуют обстоятельства. Ципа похудела. Ее средиземноморская округлость сменилась английской угловатостью, подчеркивающей зрелость. Она отрастила волосы. Их черный как смоль цвет удачно сочетался с красным плащом, и Редж отметил это, как только она откинула капюшон. Он судорожно сглотнул. В руках она держала сумку,

1. Надо попробовать жить (*франц.*).

когда-то подаренную Реджем. Сильные, уверенные пальцы профессионального музыканта растерянно перебирали складки плаща.

— Ну, вот и я, — сказала она голосом, который ничем не напоминал о юной девушке, поразившей Реджа семь лет назад.

Он запахнул больничный халат, одетый поверх синей пижамы, и поцеловал ее в мокрую щеку. Это был поцелуй не мужа, но брата.

— Ну, вот и я, — эхом отозвался он. — Если хочешь, пойдем выпьем чаю на террасе.

Предложение оказалось неудачным. На террасе, печально глядя на дождь, сидели четверо больных. По радио звучал шлягер "Я иду, куда ведет меня сердца зов". У одного из больных так сильно тряслись руки, что сосед поил его чаем из ложечки. На первый взгляд все они выглядели как контуженные, хотя капитан Айзенауг считал, что причины их недугов следует искать в детстве и сексуальных проблемах.

— Нет, не надо чаю, — попросила Цина.

Они вернулись в пустую палату, и Редж наконец обнял ее.

— Вот так гораздо лучше, — сказала она.

— Они нам здесь внушают, что жизнь только начинается. С Японией покончат уже в этом году. Знаешь, я ведь люблю тебя.

Улыбнувшись, она ответила:

— Я что-то не улавливаю связи.

— Ну, ты и я, мы все-таки муж и жена. Мир, кажется, поумнел, да и мы тоже. У тебя ведь нет никого, правда?

Она заметила, что у него дрожат руки.

— Если честно, было, и немало. Почти со всем оркестром переспала. Надоела мне вся эта музыка. Хочу отдохнуть.

— Все разладилось из-за войны, верно?

— Наверно, из-за войны.

— Меня скоро выпишут. А в ноябре демобилизуют.

— Когда тебя выпишут?

— Скоро. Думаю, я уже поправился.

Он горько расплакался.

— Прости, прости меня, прости, — твердил он, утирая мокрый нос рукавом халата.

— Скверные были времена.

— Ужасные! Но теперь все позади, — и он завыл, задрав голову к потолку.

Она похлопала его по спине, потом прижала к себе, да так крепко, что клеенчатый плащ затрещал.

— Сними ты его к чертовой матери! — продолжая рыдать, выкрикнул он.

— Нелегко вдруг почувствовать себя как бы дома. Стоит ли себе позволять все сразу?

— Ты можешь позволить себе все, что пожелаешь. Это мне нужно держать себя в рамках дозволенного. Я люблю тебя.

— Ты это уже говорил. Тебе теперь работу искать придется. Я надеюсь, тебе хоть часть отпуска оплатят?

— Я могу преподавать испанский. А ты навсегда бросишь оркестр, да?

— Нет, не навсегда. Слишком много сил вложено. Просто мне надо отдохнуть от барабанов и тарелок. Я подумала, может, нам ребеночка завести или что-нибудь в этом роде?

Он улыбнулся сквозь слезы:

— Что-нибудь в этом роде?

— Поселиться где-нибудь в тихом месте. И ребеночка родить.

— Русско-валлийского еврея. Интересная комбинация. Народы всех стран, соединяйтесь! Знаешь, я действительно очень тебя люблю.

— Ну и славно. Любовь — это прекрасно. Теперь я бы не отказалась от чая.

— Наверно, он уже остыл.

— Так пусть подогреют. Настаивай. Требуй. Ну и времечко мы пережили.

— Страшнее не придумаешь.

Она наконец сняла свой красный плащ.

Окончание в следующем номере

Доминик де Вильпен
Крик горгульи

Главы из книги

Перевод с французского Нины Кулиш
Вступление Ю. Рубинского

Франция: власть и общество

В мае 2002 года на витринах парижских магазинов появилась небольшая книга под интригующим названием "Крик горгульи", посвященная отношениям между властью и обществом в современной Франции. Ее автор Доминик де Вильпен имел все основания высказать на сей счет свое мнение: в течение последних семи лет он занимал ключевой пост генерального секретаря Елисейского дворца, то есть руководителя администрации президента Ж. Ширака. Как раз в момент выхода книги в свет Ширак был переизбран главой государства на второй срок, а автор, кадровый дипломат, стал министром иностранных дел нового, правоцентристского кабинета. Уже это должно было привлечь к книге внимание читателей.

Вместе с тем все критики, независимо от их политических симпатий и антипатий, признавали, что размышления де Вильпена, облеченные в обычную для Франции форму политико-философского эссе или памфлета, отличаются редкой для профессионального чиновника эрудицией и блестящим литературным стилем. Неудивительно, что книга сразу же вошла в список бестселлеров.

Горгульями называют во Франции типичные для архитектуры средневековых готических соборов каменные водостоки на кромке крыш, заканчивающиеся головами уродливых химер, через разинутые пасти которых льется дождевая вода. На протяжении веков горгульи собора Парижской Богоматери были немыми свидетельницами славных и драматических событий бурной истории Франции. И вот теперь одна из них по воле автора наконец заговорила.

Де Вильпен исходит из того факта, что в наши дни требования к государству со стороны различных социальных слоев, групп, отдельных граждан возрастают, тогда как его возможности, резко ограниченные реалиями глобализированного мира, сокращаются. Результатом оказывается разбухание размеров чиновничьей машины, которая обходится налогоплательщикам все дороже при неуклонном снижении ее эффективности. Это общее для многих стран противоречие усугубляется спецификой французской государственности, которой всегда были присущи вертикально-иерархическая структура власти и централизация ее административного аппарата.

Находясь в самой сердцевине механизма принятия государственных решений, де Вильпен не понаслышке знает ее пороки. Всемогущая, казалось бы, вертикаль власти в Пятой республике, выкованная генералом де Голлем, сплошь и рядом оказывается ныне по существу бессильной. Ее парализует порочная

© Éditions Albin Michel S. A., 2002
© Н. Кулиш. Перевод, 2004
© Ю. Рубинский. Вступление, 2004

практика "сожительства" президентов и премьеров разной политической ориентации, растаскивает целая лестница посредников, обслуживающих корпоративные системы лоббистов, разъедает коррупция.

Особую горечь у де Вильпена вызывает деградация роли французской интеллигенции — былых "властителей дум", мысли и перо которых формировали некогда умы целых поколений.

Другая, не менее важная проблема, которая поднимается в книге, — конфликт между культурным наследием Франции и мощным унифицирующим влиянием глобализации. Этот конфликт усугубляется снижением удельного веса страны в мировом балансе сил, утратой многих привычных атрибутов великой державы, не раз решавшей некогда судьбу Европы в целом.

Очевидно, что автор, преданный соратник Ж. Ширака, остается верен основополагающим постулатам голлизма — политического течения, которое глубоко отметило элиту Франции второй половины XX столетия. Книга де Вильпена продолжает и дополняет размышления о судьбах Франции и ее народа, с которыми выступили бывшие президенты В. Жискар д'Эстен, Ф. Миттеран, бывшие премьер-министры Р. Барр, Э. Балладюр, Л. Жоспен.

Нетрудно заметить, что многие из поставленных в книге вопросов стоят сегодня и перед российским обществом. При всех различиях исторического пути, пройденного Францией и Россией, в их судьбах есть немало общего. Это прежде всего решающая роль государства не только в становлении общества, но и в формировании нации, чего не было ни в Германии, ни в Италии, ни тем более в США. Отсюда сходство некоторых специфических черт французской и российской государственности: вертикальная структура, административная централизация, роль идеологического фактора, активное вмешательство в экономику и т. д. Неудивительно, что многие трудности, с которыми сталкиваются сейчас обе страны, в какой-то мере сравнимы, что делает французские попытки их преодоления интересными и для нас.

Ю. Рубинский

Эпоха смятения

Одиннадцатого сентября 2001 года терроризм, обрушившись на Нью-Йорк, изуродовал самый гордый пейзаж в мире. Ужас случившегося затмевал наистрашнейшие фантазии. Но очень скоро изображения, передаваемые через Интернет, едва не поставили под сомнение реальность террористических атак. Для миллионов людей, наблюдавших трагедию на расстоянии, на экранах своих телевизоров, один кадр вытеснял другой, так что сама реальность начала расплываться и исчезать. Сон и кошмар больше уже не скрываются "за вратами из слоновой кости или из рога, отделяющими нас от невидимого мира", как сказал Нерваль. Теперь сон и кошмар — часть реальности, словно те великолепные восточные дворцы, что на мгновение вырастают среди пустыни, смущая разум заблудших путников.

Прежде реальность была неотделима от векового уклада жизни, давних обычаев, священных традиций, которые иногда жестоко стесняли нас, но тем не менее указывали путь, служили опорой в каждую минуту жизни. Любой наш поступок встречал ощутимое сопротивление

реальности — так подтверждалось ее присутствие; время тянулось медленно и было подчинено строгому ритму: день чередовался с ночью, весна сменяла зиму, а осень — лето; религиозные и светские праздники следовали друг за другом; расстояния воздвигали преграды; зачастую люди почти не покидали родной деревни, а отправиться на ярмарку в соседний городок было все равно что совершить дальнее путешествие. Сегодня же реальность стала легкой и нестойкой, словно облако; благодаря могучей технике, побеждающей время и пространство, она готова выполнить любое наше желание, а когда отказывает нам в повиновении, мы тут же призываем на помощь виртуальные миры, которые создают для нас безупречные иллюзии. Туман, окутывающий границы реальности, скрывает от нас и ориентиры. Наша планета, став абсолютно податливой, подвижной, текучей, словно бы уже не признает никаких законов.

Оробевший, растерянный, в мгновение ока перенесенный в мир, где действуют новые правила игры, человек затаив дыхание взирает на величие машин, транссибирского экспресса или чертова колеса. Мир, который выходит из любых испытаний "с помадой на губах и кружевами на заднице", как ехидно замечает Блез Сандрар, — это дразнящий мир потребления, мир безделиц и мимолетностей, в котором здравый смысл и идеалы сгорают на костре тщеславия; мир, над которым вновь нависли древние грозные призраки: войны, эпидемии, апокалипсисы — и где вновь слышится хриплый лай Цербера, завывание фурий и нет больше Орфея, чтобы зачаровать их музыкой. Кончилось время человека, настало время систем; сотворение уступило место воспроизводству. Время, когда существует только настоящее — вчерашнее, сегодняшнее, завтрашнее, время бессонницы, стирающей привычную триаду: прошлое — настоящее — будущее. Возникают и множатся промежуточные пространства, не привязанные к конкретному месту; образы дробятся, раскалываются на куски, подобно болидам Маринетти. "Как нам бороться, если наше оружие невидимо?" — восклицает поэт Салах Стетие.

Какой разительный контраст: с одной стороны, человек, боязливо съежившийся, во всем изверившийся, с другой — колоссальная жизненная энергия; с одной стороны, дымящиеся развалины, бесформенные обломки, с другой — мосты, связующие воедино века, достижения науки и континенты, яркие кометы в небе разума, сияющие с экрана сигнальные огни, которые то вспыхивают, то гаснут! Человек мечется: он растерян, но его одолевает воля к действию, он разрывается между толпой и одиночеством, "между средоточием и пустотой", его разносит в клочья, в нем рушатся внутренние барьеры, и одновременно он становится винтиком какого-то нового механизма. С одной стороны, безграничное расширение кругозора, незыблемые завоевания науки, энциклопедическое знание, информация, получаемая в реальном времени, зримые образы со всего мира; с другой — крушение морали, обесценивание этики, размывание самого понятия "смысл жизни". Мы на рубеже двух эпох, скоро увидим новый мир, а у нас старые, негодные дорожные вехи, разбитые компасы и хронометры; наши алтари опустели, мы в плену у абсурда, как бывало всегда при великом переломе, крушении империй или когда всходила последняя заря перед наступлением Ренессанса.

В такие переходные периоды человек чувствует ужас перед безднами своей души, откуда ушло все возвышенное, в нем нарастает глухая тревога, о которой написал Анри Мишо: "Прежде, когда земля была твердой, я танцевал на ней, я доверял ей. А сейчас разве это возможно? Поднимешь песчинку – и весь пляж провалится, ты ведь сама знаешь".

Мы, французы, ощущаем это с особой остротой, ведь мы всегда испытывали к нашей стране, к ее бесконечно разнообразным пейзажам, к ее изменчивому небу, к ее таким непохожим друг на друга историческим областям почти физическую привязанность, и каждый из нас чувствует, что крепко врос корнями в родную землю.

Сегодня, впервые со времен войны, французы опасаются, что в ближайшем будущем их жизнь станет менее благополучной, а их детям придется еще хуже. Неудивительно поэтому, что они склонны искать прибежище в консерватизме. Главное – ничего не менять, пусть все остается, как есть, а то вдруг почва уйдет из-под ног. Но должны ли мы довольствоваться чахлой травой с нашего луга, глядя, как мимо проносятся последние поезда истории? Вокруг нас кипит лихорадочная деятельность, осваиваются пустыри, продается недвижимость, предприятия переходят из рук в руки, открываются все новые представительства фирм – от Лондона до Багамских островов. Иностранцы в насмешку предлагают превратить Францию в один большой музей, огромное кабаре, парк развлечений в центре Европы, куда люди будут приезжать смеяться и петь, кутить в "Фоли-Бержер" и в "Лидо"... Ах, прелестные парижанки, чудная страна моего детства, счастливое время, когда так радостно было жить! Но такая Франция будет радовать разве что бразильского богача из "Парижской жизни"[1].

Но даже в самой черной ночи всегда светит хоть одна звезда, и мы наконец-то пришли к единому мнению о том, какие насущные проблемы следует решать в первую очередь: занятость, безопасность, образование – вот триада, вокруг которой начинает заново складываться наша политика. Теперь по вопросам религии, школьного обучения, межнациональных отношений уже нельзя, как раньше, обращаться за помощью к идеологии. Игра в идейное противостояние перестала забавлять французов, они все решительнее отвергают догмы, после разочарований последней четверти века им нужны конкретные результаты. Этот зарождающийся прагматизм несовместим с покорностью судьбе, мыслью о неизбежности упадка. Он заставляет искать нужные решения, возвращая ценность таким понятиям, как убежденность, воля, а главное – эффективность.

Истина очевидна для всех. Но как правильно выбрать цель, не переоценивая собственных сил? По мере возможности сглаживать противоречия, гасить конфликты между кланами, между одной Францией и другой – или все же проявить мужество и попытаться собрать воедино энергию нации, даже если до сих пор это удавалось сделать лишь при угрозе иноземного нашествия или в упоении победой? У французов еще сохранилась вера в политику, так неужели они не мечтают о том, чтобы вновь, как когда-то, объединиться во имя общих ценностей и коллективным усилием вызволить страну из тяжелой ситуации?

1. "Парижская жизнь" – оперетта Ж. Оффенбаха (1866). (*Здесь и далее – прим перев.*)

Между тем эта очевидная мысль смущает умы многих людей, облеченных властью; они боятся взять на себя ответственность, ибо ответственность грозит наказанием — скорым, суровым и зачастую несправедливым. Политика — это "мир, где нет прощения", и ее театр жестокости особенно безжалостен по отношению к реформаторам. Тюрго, Наполеон, де Голль не встретили понимания у современников, но принесенные ими жертвы не пропали даром: имя Тюрго, пусть и отстраненного от дел, стало для нас синонимом реформатора; декреты, изданные Наполеоном во время Ста дней, стали предвестием будущего либерализма; де Голль в 1968 году указал путь пробуждающемуся обществу. То, что вчера было подвигом одиночки, завтра становится завоеванием всей нации. Новые идеи, которым предстоит стать новыми ориентирами, пробираются к нам окольными дорогами или подземными ходами.

Быть может, гражданин теперь уже не такой, как прежде? Быть может, изменилась самая суть демократической жизни? Ответы, которые мы сегодня получаем на эти вопросы, по большей части рождены отнюдь не внутренним озарением; чаще в них проглядывает забота о том, чтобы случайно не высказаться в пользу какого-нибудь непопулярного решения. Когда-то народный избранник нес вахту на недосягаемой высоте, словно марсовой матрос, теперь же он спустился на омываемую волнами палубу и на равных со своими современниками борется с ненастьем. Что это — крестный путь или дорога в Дамаск? Вместе с ними он наблюдает за событиями, которые, как ему казалось, подготовил он сам, и безуспешно пытается понять, что он упустил, чего не предусмотрел. <...>

На всем протяжении XX века Францию мучили конвульсии, мировые и колониальные войны, социальные, экономические или политические кризисы: раздираемая разногласиями, расколотая, переживающая постоянные потрясения страна неспособна была обрести стабильность. И всякий раз взлет казался еще более трудным, а долгожданная передышка — еще более краткой. Сфера действия политической воли становится все более узкой. Люди словно бы измельчали, их стремления выглядят до обидного ограниченными. От чего теперь зависит будущее Франции: от решений, принимаемых в Елисейском и Бурбонском дворцах, или от настроений брокеров на международных финансовых рынках? Какая политика поможет вновь придать смысл нашей судьбе, вернуть власти ее достоинство?

Достижения послевоенного времени: Тридцать славных дней, экономический подъем, демографический бум, прогресс науки и техники — все это объясняется не только благоприятным сочетанием материальных факторов, но и тем, что тогда люди снова поверили в будущее и, как следствие, стали активно стремиться к социальному росту. Этот порыв нашел свое воплощение в новом политическом проекте и в обновленном представлении о месте Франции в мире, с которыми связано возвращение к власти генерала де Голля в 1958 году. Но силы скоро иссякли — тут сыграли свою роль и хронические болезни, и острые кризисы. Начиная с 1968 года обретенная гармония пошла трещинами, выявилось противоречие между традиционными ценностями, унаследованными от прошлого века, и теми, что стали смутно вырисовываться как порождение новой социальной и экономической реальности. К этому добавился извечный конфликт между поколениями, между "ста-

риками" с их страхом перед войной и "молодыми", желавшими поскорее стряхнуть с себя оковы общества, в котором они, по их словам, задыхались и в котором попирались их права. Такой неожиданный раскол вызвал растерянность власти. И выражением этой растерянности следует считать добровольный уход генерала де Голля. Он понял, что времена изменились: как Наполеон I в 1815 году, как Наполеон III в 1870-м, президент, несправедливо обвиняемый в консерватизме, ускоренными темпами провел смелые реформы. Однако, глубоко оскорбленный поднятым против него мятежом, не питая больше иллюзий насчет своей "любимой старой родины", он лишь разочаровал многочисленных сторонников, а новых союзников приобрести не сумел. Противники де Голля отказывались верить в то, что этот "консерватор" действительно переменил свои убеждения, они подозревали, что таким образом он лишь пытается удержаться у власти. После провала чересчур реформаторского референдума коннетабль бросает вызов — он удаляется со сцены, чтобы много позже излить свою горечь в "Мемуарах надежды".

Жак Шабан-Дельмас, предложивший проект "нового общества", также попытался объединить расколотую Францию; он рассчитывал, что ему в этом поможет улучшение конъюнктуры: оживление экономики благодаря контактам с передовыми индустриальными странами, самый высокий в Европе показатель промышленного роста, быстрый подъем уровня жизни, стремительный переход в общество потребления и подвижность социальных границ. Даже останься он у власти, его проект все равно провалился бы — из-за скачка цен на нефть в 1973 году, которым ознаменовалось начало затяжного экономического кризиса. Последующие трудные годы оставили на Франции свою отметину: это потеря доверия к власти, всеобщий страх потерять работу, боязнь рецессии, стремление к закрытости в стареющей стране, где иммиграция все чаще воспринимается как тяжкое бремя. Франция цепляется за свои социальные завоевания, охотно слушает демагогов и готова взорваться, чуть только ей покажется, будто от нее требуют жертв. Власть использует все традиционные решения одно за другим, а выбор их между тем неуклонно сокращается. Во французской политике наступает ледниковый период, в то время как на Западе восходит бледное и холодное солнце глобализации.

Каждые выборы оставляют стойкое, все усиливающееся ощущение, что ставки падают, а пространство для маневра сужается. Нам без конца обещают перемены, но инерция всегда возьмет верх, не так ли? От романтизма с его прометеевским бунтом и страстным желанием переделать мир французская политика скатилась к саморекламе, к созданию видимостей, ради успеха она готова без конца обрабатывать свою аудиторию, воздействовать на нее то агрессивно, то исподволь, через подсознание. Люди хотят другой политики, они все еще верят в светлое завтра — это доказывает победа левых на выборах в 1981 году; однако новые замыслы, такие, как Картель левых партий или Народный фронт, разбиваются о стену неумолимой реальности, а присоединение социалистов к программе рыночной экономики похоронило надежды на возможность третьего пути. В 1986—1988 годах еще одна попытка политического обновления, на сей раз под либеральными лозунгами, распылила силы в уличных манифестациях, затем споткнулась о биржевой

крах и, наконец, бесславно сгинула в избирательных урнах. Неужели любое проявление политической воли обречено на провал? Фатализм, обида, недоверие и нетерпение — из этого складывается синдром отторжения, свидетельствующий о резком ухудшении общей обстановки — все новые скандальные "дела", участившиеся случаи протестного голосования и неявки на выборы. Этот постоянно усугубляющийся политический кризис влечет за собой другой кризис — моральный. В результате разверзается пропасть между властью и народом, они оказываются в гибельном противостоянии. Мало того, что власть уже не способна избавить народ от его страхов — она теперь сама охвачена страхом; законность этой власти становится все более шаткой, власть боится действовать, боится слишком смелыми реформами вызвать бурю негодования, которая сметет ее прочь. Но эта инертность лишь усиливает раздражение избирателей, в чем мы можем убедиться после очередных выборов.

Разочарование приводит к апатии, человек уходит в себя. Сколько раз могучее воодушевление масс пропадало впустую из-за недостатка воображения у лидеров, их неспособности строить четкие планы. Первая мировая война вызвала величайший подъем национального самосознания, вплоть до общей готовности к самопожертвованию; а в 1940 году патриотический порыв всколыхнул лишь горстку отважных; на отпадение колоний в метрополии реагировали вяло и равнодушно. Оплаченные отпуска, введенные в 1936 году правительством Народного фронта, породили настоящую цивилизацию досуга, и работа зачастую перестала быть для трудящихся смыслом жизни; руководители предприятий продолжают свято верить в диплом, в такой рычаг, как карьерный рост, но для самих работников эти ценности становятся все более сомнительными. Жизненные горизонты заволокло туманом. Отказ от прошлого влечет за собой неуверенность в настоящем, тревогу за будущее. С другой стороны, безвозвратно уходит время коллективных догм, мышления по системе и объединения под идейным знаменем. В этом мире, полностью излечившемся от иллюзий, уже не будет ни крестовых походов, ни даже настоящих мятежей. Сосредоточившись на собственных интересах, забыв об обществе и о своем долге перед ним, гражданин становится балованным ребенком демократии индивидуумов.

Понятно, что французы боятся глобализации, ведь она в наше время играет роль козла отпущения, того самого, который, согласно Ветхому Завету, уносил с собой в пустыню все грехи Израиля. При содействии двойной технологической революции — в области информации и в сфере массовых коммуникаций — она перенаправляет потоки инвестиций и капиталов, одно упрощает, другое делает сложнее, устанавливает единообразие и разнообразие, вносит порядок и неразбериху, создает и умножает парадоксы. Наше представление о мире меняется и искажается, время бежит все стремительнее, ритм становится все напряженнее, а пространство словно бы сужается. Информации много, слишком много, но привычные смысловые критерии начинают размываться. Человек боится, что он ничего не поймет — при том, что он может познать все; боится, что его создания перестанут ему повиноваться — при том, что они дают ему все большую власть над природой. Разгорается ожесточенная конкуренция между людьми, между предприятиями и даже между континентами, ведь теперь границы национальных государств переста-

ли быть ей преградой, и можно не опасаться вмешательства официальных инстанций. Для такого народа, как наш, долго сопротивлявшегося рыночной экономике, – большое потрясение: кажется, надо всем, что мы привыкли почитать, восторжествовал закон джунглей. На сцене появляются новые действующие лица: многонациональные корпорации, неправительственные организации, мегаполисы; они устанавливают между собой связи, минуя целые страны. И в то же время усугубляется неравенство – не только между государствами, но и внутри этих государств. Мафиозные структуры растут как грибы. Вместо прежних, знакомых и понятных противоречий – между богатыми и бедными, сильными и слабыми, "добрыми" и "злыми" – появляется бесчисленное множество новых, которые легко спутать, которые накладываются друг на друга: такое смешение красок образует большое серое пятно, вызывает недоверие и тревогу.

Французская модель общества, еще вчера представлявшаяся самой современной, с трудом выдерживает натиск новой эпохи. И прогресс, заявленный как цель нашей позитивистской Республики, и модернизация, которую осуществляли генерал де Голль и его последователь Жорж Помпиду, – все наши лозунги устарели: "Слова, слова, слова", – могли бы мы посетовать вместе с Гамлетом. Слова, лишенные плоти и страсти. Слова, которые уже не подкрепляются действиями, теперь, когда даже сама реальность не может нас отрезвить. После взрыва первой атомной бомбы и ужаса концлагерей лик прогресса перестал казаться нам благожелательным. Скорость, с какой одна за другой появляются технические инновации, все больше затрудняет контроль над ними. Биотехнологии и опыты по клонированию вселяют не только надежду, но и опасения. Наше постижение мира не поспевает за нашими знаниями, и если мы не призовем на помощь мораль, знания могут обернуться против нас.

В то время как наука укрощает природу, заставляет отступить болезнь и смерть, люди с каждым днем все больше боятся потерять над ней контроль, в их душах оживают древние страхи: страх перед концом света, страх перед повседневностью, страх перед болезнью. За свою долгую историю наш народ нередко испытывал страх, но сейчас, пожалуй, впервые настал момент, когда власть не знает, как справиться с этим страхом. Растерянность власти кажется особенно глубокой потому, что перемены в окружающем мире застали ее врасплох. И она принимает поспешные, непродуманные меры. Сейчас уже недостаточно знать об опасности, чтобы суметь ее избежать: мы знаем об эффекте глобального потепления, но не перестаем хищнически эксплуатировать природу нашей планеты и не можем остановиться на этом гибельном пути. Привычные рычаги власти не помогают решить проблемы, которые затрагивают все человечество. Чувствуя бессилие в новых сферах жизни, таких, как генетика и биотехнология, информационно-коммуникационные технологии, государство взамен пытается оправдать свое присутствие на старых территориях, которые все больше съеживаются, пока, наконец, не исчезнут у него из-под ног, подобно раздробленному королевству в пьесе Ионеско "Король умирает". Власти не хватает гибкости, чтобы мощным прыжком переноситься то в одну, то в другую область постоянно расширяющегося нового пространства.

И по мере того как люди убеждаются, что шанс на спасение невелик, все сильнее становится соблазн консерватизма. Общество пребывает в унынии, его терзают загадочные судороги, хотя большинство наших крупных предприятий в прекрасном состоянии, хотя мы получаем нашу долю от всемирного прогресса. Франция теряет свои позиции в Европе, отступая на место в последнем ряду, скоро она покажется лавкой древностей, где бережно хранят выцветшее знамя Народного фронта и поклоняются всякой рухляди. Миражи сменяются разочарованиями, вызревает подлинный кризис доверия к народным избранникам и к государству, безработица не снижается, неравенство ощущается все сильнее. Собственность, социальная среда, положение в обществе, пол, род деятельности создают перегородки, которые кажутся людям неодолимыми. Страхи ухудшают положение: загнанная в угол страна отчаянно сопротивляется реформам. К этому добавляется потеря ориентиров, кризис ценностей. После Мая шестьдесят восьмого года было решено все начать с нуля, отречься от прошлого и не признавать авторитет власти, а новых идеалов не появилось. Устои Республики были поколеблены: принципы светского государства дрогнули под напором фундаменталистских тенденций в иммигрантских общинах; национальные меньшинства навязывают свои порядки молчаливому большинству; школа уже не открывает перед каждым учеником реальные перспективы успеха; армия больше не способствует сближению различных социальных слоев. Все, что издавна обеспечивало единение нации, разбилось вдребезги, а заодно и сплоченность общества, и желание жить вместе, которое, по словам Ренана, и составляет сущность нации.

К извечной французской двойственности теперь прибавились неуверенность и смятение, когда каждый боится наихудшего, когда вместо лифта, поднимающего наверх, людям мерещится люк — и провал в нищету. “Когда-то, — сокрушался Поль Целан, — человек думал о высоком”. Сегодня успех — это дело случая либо торжество цинизма, а падения могут быть столь же ошеломляющими, сколь и взлеты. Эпохе, в которой все взаимосвязано, одно непременно дополняет другое, недостает глубины, перспективы. <...>

Дети Сопротивления, у которых после падения Берлинской стены не осталось врагов, мы уподобились разочарованным героям Мюссе из “Исповеди сына века”: “Молодежь, охваченная тревожными раздумьями, сидела на развалинах рухнувшего мира”, не зная, куда идти, созерцая “навеки погибшее прошлое, чьи тени еще мелькают среди руин, <...> перед ними над необъятным горизонтом вставала заря, <...> и между этими двумя мирами <...> настоящее, время, которое отделяет прошлое от будущего, не принадлежит ни тому, ни другому, но соединяет в себе их черты, и при каждом шаге нельзя понять, ступаешь ли ты по росткам нового или по обломкам старого. Им оставалось настоящее, дух времени, ангел сумерек, который не принадлежит ни дню, ни ночи; они нашли его сидящим на мешке с известью, полном костей, он был закутан в плащ эгоиста и дрожал от лютого холода. Смертная тоска наполнила их души при виде этого призрака — то ли мумии, то ли эмбриона”.

Наше общество, долгое время сохранявшее ясность ума, сейчас впало в смятение. Оно пытается вновь обрести смысл существования, утрачен-

ный в бешеной гонке, навязанной современностью. Где оно, это естественное, врожденное чувство — чувство осмысленности своей жизни, которое когда-то было у каждого, которое подпитывалось памятью поколений, традициями, родной почвой, культурой? Где смысл понятий, привитых с детства или усвоенных самостоятельно, таких, как трудолюбие, верность данному слову, честь, жертвенность? Где смысл всех этих духовных ценностей, убеждений, которые помогали выстоять, идти вперед без страха и колебаний? Как вернуться ко всему этому, если человек не хочет делать усилий, поступиться личными интересами ради общих идеалов, ради высших целей, ради личного благородного призвания? <...>

Некоторые находят спасение в одиночестве или превращаются в циников, другие катятся по наклонной плоскости — от недовольства к протесту, от протеста к ненависти, от ненависти к насилию; еще кто-то одурманивает себя настоящими или духовными наркотиками либо впадает в дешевый мистицизм. Секта заменяет им семью, "гуру" — наставника. Они замыкаются в своих общинах или погружаются мечтами в идеализированное прошлое. Растерянность усугубляется тем, что люди, призванные говорить от лица многих — политики, священнослужители, философы, — практически не способны определить болезнь и найти от нее лекарство.

Когда школа теряет авторитет, когда республиканская традиция выдвигать людей во власть за заслуги кажется надувательством, общество становится на скользкий путь — путь остракизма, поиска виноватых. Сначала — проклятия, следом — насилие. Средний класс превращается в мишень для нападок как снизу — нижним слоям он близок, но граница его неодолима, — так и сверху, где культивируется презрение к деньгам, а иногда и к труду. Демонизация богатства воскрешает давнюю тоску по всеобщему равенству, но не в либеральном смысле, не в смысле равенства возможностей, а с эгалитарных позиций санкюлотов и Бабёфа — чтобы все уравнялись в бедности.

С каждым днем ширится пропасть между отцами и детьми. Дети отвергают отжившие, окостеневшие понятия, отцы не могут спокойно смотреть, как обесцениваются ценности, которыми они так дорожили; дети преодолевают трудности, стремясь войти в активную жизнь, отцы ждут пенсии, чтобы напоследок пожить на всем готовом. Эта финансовая трещина представляется тем более угрожающей, что она рушит семейные связи, ставя под сомнение извечный незыблемый принцип: младшие заботятся о старших, у которых прежде сами находились на иждивении. Продолжительность жизни заметно увеличилась, и в сегодняшней Франции живут бок о бок четыре поколения: два из них пережили войну, третье, послевоенное, бунтовало в Мае шестьдесят восьмого, а самое юное, поколение кризиса, росло в обстановке всевозрастающей безработицы и ослабления социальных гарантий. Сейчас у кормила власти пребывает третье поколение, оно изначально было склонно к утопическим иллюзиям, но увидело гибель своей мечты, когда рухнули тоталитарные режимы и обнаружились их чудовищные преступления. А на подходе уже следующее поколение: оно станет поколением надежды, если только не заразится скептицизмом от старших и сохранит в себе стремление к идеалу и волю к действию. Ему придется содержать всевозрастающее число пенсионеров и престарелых — тако-

ва расплата за ошибки минувших десятилетий, ошибки, которые мы никак не решимся признать.

Пропасть между богатыми и бедными тоже растет, что крайне неприятно для государства, которое заставляло граждан раскошелиться, оправдывая это высокими расходами на социальные нужды. Сейчас беднейшим гражданам активно помогают частные ассоциации и объединения на местах: они заменили собой службы государственного социального обеспечения, которым не хватает средств и сотрудников — такая работа нынче непопулярна. Теперь трудно объяснить, зачем мы платим налоги. Раньше считалось, что налогообложение теоретически позволяет сгладить имущественное неравенство, теперь же все уверены, что налоги тормозят экономический рост и мешают обновлению, что они тяжелое, несправедливое бремя. Однако степень неравенства с трудом поддается объективной оценке, тут все зависит от того, как сам человек оценивает свое имущественное положение, ведь люди с одинаковым достатком могут ощущать себя как богатыми, так и бедными, то есть к вопросу социального расслоения граждане подходят субъективно: в их недовольстве своим положением проглядывает больное самолюбие, чувство беспомощности, страх сойти с дистанции, потерять уважение окружающих, скатиться на дно жизни. С распадом общества послевоенной мечты, общества, где основную массу составляли наемные работники, открылись новые трещины: между работающими и безработными, между теми, кто давно потерял работу, и теми, кто потерял ее недавно, между теми, кто получил постоянное место, и теми, у кого оно временное, между теми, кто производит экспортную продукцию, и теми, кто зависит исключительно от внутреннего рынка. А также между рабочими-французами и иммигрантами, жителями центра города и жителями предместья, между горожанами и селянами. Вдобавок антагонизм между элитой и народом, который осложняется всевозрастающей взаимной неприязнью тех, кто недавно считался средним классом, этим новейшим третьим сословием, и узким кругом современной аристократии, в руках которой по-прежнему сосредоточены образование, наука и власть. В обществе, с одной стороны, существуют особые прослойки, надежно защищенные от современных проблем, с другой — растет толпа изгоев.

Перед лицом этого распада национальная самобытность становится для людей чем-то вроде спасательного круга. А национальные меньшинства делают ее боевым знаменем. Это явление приобрело большой размах во Франции: тут сыграли свою роль и наше пристрастие к догмам, и наша тяга к абсолютному, к истине и справедливости — ценностями, которые так легко превратить в оружие. Пользуясь пассивностью большинства, терпимостью современного общества, они диктуют свои требования, организованные национальные меньшинства делят между собой территории, оставленные властями без присмотра. Каждый индивид, каждая группа предъявляют свой счет обществу, невзирая на то, каков был их реальный вклад в общее дело. Общество становится инфантильным: у людей есть права, но нет обязанностей, есть свобода, но нет ответственности. <...>

Нация как поезд — много вагонов, но мало переходов из одного в другой. Стоит ли удивляться отчаянию обездоленных, изгоев нации, вытеснен-

ных на окраины городов, их объединяет одно — одинаково скудные доходы, они попадают в сети преступности, вязнут в болоте маргинализации. Ответственность за это ложится на политиков, которые силятся сбить температуру у больного, вместо того чтобы найти причину болезни.

Сегодня многие категории граждан, обеспокоенных своим положением: водители грузовиков, служащие, медицинский персонал больниц, железнодорожники — надеются на единственную силу, какая еще осталась в стране, — на государство, ждут помощи или признания только от него. Они участвуют в массовых уличных шествиях, жалуются на свои невзгоды, и зачастую их поддерживает большинство французов, которым кажется, что речь идет об их собственных бедах и что безжалостный мир уже не так страшен, если против него можно выступить плечом к плечу. И все же за этой внешней солидарностью таятся противоречия, опасные именно своим скрытым характером. Когда французы выступают единым фронтом, в едином порыве требуют соблюдения общих прав, защиты социальных завоеваний, они в душе надеются, что это поможет преодолеть разлад между работниками государственного и частного сектора — неявный, но вполне ощутимый разлад, который вписывается в систему более серьезных противоречий — между глобальным и локальным, между европейским пространством и внутренними проблемами страны, разрывающейся между самостоятельностью и зависимостью. У нашей эпохи три лозунга: "темп", "перемены" и "способность к адаптации". Кто не успел, тот опоздал. Есть две Франции: та, что выходит на простор, готова рисковать сама и подвергает риску других, — и та, что прячется под крылом государства. Многие французы, зачастую плохо разбираясь в современной экономике, вовсю ругают чиновников, а сами втайне мечтают о надежном месте государственного служащего.

В этих обстоятельствах приходится вспомнить о том, что существуют две концепции демократии: демократия Руссо (абсолютная власть Республики) и демократия Токвиля (не ущемляющая права отдельной личности). Извечная французская двойственность снова и снова ставит власть перед тяжелым выбором, осложняет принятие каждого решения. Власть обязана двигаться вперед, но ее движение напоминает путь на Голгофу. Политик неотрывно следит за результатами опросов общественного мнения и знает: если он будет говорить то, что думает, это лишит его популярности, в то время как наигранный оптимизм и опора на мнение большинства вызовут бурный восторг у консерваторов, которые пользуются страхами и недовольством толпы, чтобы приковать к позорному столбу последних сторонников обновления. Возникает соблазн забыть о защите интересов всей страны в целом и сосредоточиться на заботе об отдельных категориях граждан. Хотя выход по-прежнему только в одном — в усилении власти государства, это предлагают поочередно то правые, то левые. Тривиальное решение, которое привлекает либо циников, либо людей без иллюзий, побуждаемых к этому застарелыми идеологическими рефлексами или сословными предрассудками. Слишком часто мы выбираем путь наименьшего сопротивления, позволяем личным амбициям восторжествовать над общими интересами, оппортунизму — над собственными убеждениями.

Инертность власти, ее неспособность увидеть ситуацию в перспективе и выработать планы на будущее — все это тяжело действует на лю-

дей, усугубляет их страхи и сомнения. Жизнь становится все более опасной, контроль государства ослабевает, и преступность поднимает голову все выше. Множатся факты вандализма, неуважения к национальным святыням, бессмысленного насилия. В больших городах возникают все новые сообщества людей, которых объединяют отчаяние, ярость или принадлежность к мафии. В темных щелях, в закоулках мегаполисов идет своя жизнь — "жизнь в складках", как назвал одно из своих стихотворений Анри Мишо: там гнездятся группировки, которые признают только собственные законы и вступают в контакт с остальной частью общества только затем, чтобы излить на него ненависть и агрессивность. Неуверенность в завтрашнем дне, точно зараза, проникает через открытые переломы и зияющие раны в самое сердце города и предместий, поражая одиноких, заброшенных, несчастных людей, живущих неизвестно на что, отданных на растерзание хулиганам, наркодилерам, рэкетирам. Насилие порой является выражением подлинного, крайнего отчаяния, оно бросает вызов власти, выбирая мишенью ее символы — полицейских, пожарных или общественный транспорт. Государство оказалось неспособным выполнить свою первейшую миссию, которая оправдывала его укрепление и возвышение, на которой был основан его авторитет, — обеспечить безопасность граждан и социальный мир, прежде всего для самых беззащитных, чтобы они не упрекали его в предательстве. Государство не разработало планов на будущее, поэтому молодежь все чаще не видит для себя перспектив; ей только и остается, что сравнивать неприглядность своего повседневного существования с роскошной жизнью, какую ведут современные кондотьеры, главари вооруженных группировок — они разъезжают в дорогих автомобилях, вершат свой закон там, куда не дотягивается рука закона, и плюют в лицо власти. <...>

Сейчас проблема молодежи — одна из самых серьезных. На семью, часто неполную, растерявшую авторитет, подточенную индивидуализмом, рассчитывать трудно; семья, как и школа, не выдерживает конкуренции с улицей, с миром насилия, о котором нам каждый день рассказывают с экрана; она уже не в состоянии защитить, не может подготовить к взрослой жизни. Церковь утратила прежнее влияние: в последнее время на нее смотрят равнодушно, осуждающе или с сомнением, и теперь она неспособна играть роль наставника, то сурового, то ласкового, открывавшего людям высшие истины, воспитывавшего нравственные чувства. Армия стала профессиональной и в этом качестве уже не может служить плавильным тиглем для нации.

Мощный прилив новых знаний и технических достижений, бесконечная череда модных поветрий, неясное будущее — все это оставляет у человека горькое ощущение недостижимой мечты, к которому прибавляются зависть, обида, унижение, и возникает неудержимое желание обокрасть, ударить, разбить, поджечь. <...>

Какой бы курс ни избрало государство — экономить силы или использовать их максимально, следовать старым, проверенным принципам или пересмотреть их, — оно должно придерживаться этого курса. Что довольно трудно, ведь в нашей политической жизни власть то и дело оказывается "в клещах": на нее одновременно оказывают давление сторон-

ники крайних, взаимоисключающих мер. В своих напыщенных речах они называют реальный взгляд на вещи малодушием или неспособностью к действию, подкидывают опасную мысль: арсенал подлинно демократических средств исчерпан, пора принимать самые крутые меры, а для этого надо сознательно обострить ситуацию — чем хуже, тем лучше. Демократия сама способствует развитию заболевания, которое ее подтачивает. <...>

В прошлом каждая из двух Франций, каждая семья имели свой идеал и свое представление о жизни. С одной стороны, гуманистическая традиция: все, что мы видим, родина, мир — все выстроено вокруг человека; с другой стороны, традиция порядка: долг человека — всецело отдать себя служению идеалу, высшему принципу, будь то Бог, нация, государство или армия, то есть одномерный, максималистский подход к человеку, полное подчинение личности принципу. Две Франции столкнулись в деле Дрейфуса — две противоборствующие концепции морали и политики, справедливость и священные права человека против государственного интереса и безоговорочной преданности родине. Именно тогда стали особенно четко обозначаться противоречия между левыми и правыми — процесс, который с появлением коммунистов и возрождением либерализма принял крайне острый характер и сохранял его очень долго.

Такая двуполярная система помогала каждому осознать свои убеждения, найти свою правду, предлагала ориентиры, предоставляла опору, чтобы выбрать для себя полосу движения по бесконечной магистрали французского дуализма. Отсюда и постоянная, регулярно обостряющаяся конфликтность, усугубленная чисто французским пристрастием к идеологическим конструкциям, а также пиететом перед равенством и иерархией ценностей; не следует забывать и про наш вечно живой революционный дух. Этот дуализм проявлял себя во всем и всякий раз призывал в арбитры государство как единственную силу, способную разрешать конфликты.

Пора перестать заниматься выяснением отношений и тратить время в бесплодных перепалках. Сегодня необходимо подумать о реформе власти. Единая воля людей, осознавших свою свободу, может опрокинуть эту власть, как прежде разрушила Берлинскую стену. Власть, которой граждане делегировали свои права и которая часто бывала просто пышной декорацией, должна исчезнуть, уступив место обществу, где ответственность будет поделена между всеми, где каждый избранный будет подлинным, достойным представителем народа, не станет превышать свои права, злоупотреблять или пренебрегать ими. Мы должны осознать, что принятие того или иного решения неизбежно влечет за собой перемены в самом человеке. Нам предстоит заключить новое соглашение, новый договор, непохожий на прежний, заключенный в незапамятные времена между запуганным народом и Левиафаном. У нас разовьются другие рефлексы, другие привычки, будет меньше стереотипов и больше аппетита к жизни. Мы будем по-другому мыслить: прагматизм возьмет верх над идеологией. Мы должны и сможем побороть догматизм, стремление к неправомерным обобщениям, к неоправданной унификации; научимся принимать в расчет требования сегодняшнего дня, все разнообразие свойств, присущих людям и обстоятельствам; преодолеем

наш исконный дух противоречия и желание втиснуть все и вся в прокрустово ложе разума, эстетики и приличий.

Мир не стоит на месте, и люди постоянно меняются. Прежде в обществе царил дух порядка и надежности, который оправдывал многие злоупотребления власти, сегодня настало время хронического беспорядка, снова и снова нарушаемого равновесия. Чтобы контролировать ситуацию, власти приходится применять различные средства — постоянно приспосабливаться. Вчера государственная машина была огромной, тяжелой и неповоротливой, сегодня ей придется стать мобильной, гибкой, оперативной, близкой к человеку — только тогда она вернет доверие к себе.

Только вперед

Власть обретает законность благодаря выборам, но сохранить ее сумеет только в том случае, если будет идти вперед, все время предлагать и пробовать что-то новое. "Чтобы обеспечить стабильность демократии, надо все время быть в движении", — говорил Эдуар Эррио. <...> Власть должна призвать на помощь воображение, чтобы не очерстветь, чтобы хватило энергии на каждый день. Недаром ведь короли, правители, главы государств окружали себя шутами, поэтами, философами, художниками и магами, людьми странными и, по мнению придворных советников, подозрительными: эти маргиналы позволяли перевести дух, стимулировали мысль, высекали искру, от которой загоралась воля. Сегодня дворцы опустели, двор и придворные канули в Лету. Неужели Франция, "мать искусств, воинской славы и законов", оказалась в ловушке бесплодного консерватизма, неужели она утратила свой национальный гений, этот волшебный сплав благородных помыслов, умов и талантов, служивший единой, общей цели?

Инертность теперь воспринимается как роковая неизбежность: мы не можем ничего сделать, потому что уже не отвечаем за происходящее, все решается без нас. А если мы ничего не можем, значит, нечего и беспокоиться. Как быть? Руководить Францией по заведенному порядку, подобно равнодушному управляющему, или перестать считаться с расходами? В мире, охваченном движением, пассивность подобна смерти...

Но можно ли приручить новую реальность, которая стучится в нашу дверь, а подчас и вламывается к нам без предупреждения? Или придется терпеть ее присутствие? Или в отчаянии бежать куда глаза глядят? Сегодня все ускоряется: мир преобразился, за пятьдесят лет он изменился больше, чем за долгие столетия. Нашему изумленному взору открылись новые пространства, которые надо исследовать, новые времена, которые надо осмыслить, новые территории, которые надо обмерить. Новые модели, новые границы времени и пространства; отрезанные от прошлого и будущего, они воспринимаются в чистом виде; забыты корни, никто не мечтает и не строит планов. Понятия "здесь" и "сейчас" смешались в некое подобие бесславной вечности. "Здесь" — значит везде, благодаря новым средствам связи и распространения. "Сейчас" — значит всегда. Это общество и цивилизация, где царят эфемерное, взаимозаменяемое, сиюминутное, одноразовое. <...>

Пространство неудержимо расширяется, его границы беспрестанно раздвигаются, отступают, наш взгляд больше не встречает вех, которые помогли бы ему сориентироваться. Это нарушает привычное чувство реальности — единственной, осязаемой, непреложной, — зеркала, где мы видим наше отражение, такое знакомое и умиротворяющее. Как убедить французов принять глобализацию, которая ничего не обещает в ближайшем будущем, вступить в новое время, которое утратило связность, в эпоху, у которой нет идеала, а смысл только один — выжить в условиях усиливающейся конкуренции?

В такой момент политика как никогда призвана соединить оборванные нити памяти, помочь стране сделать рывок, придумать новые правила жизни, открыть новые цели, не забывая при этом успокаивать людей и внушать им веру в будущее. Но эти задачи представляются исключительно трудными потому, что решать их придется в условиях экономического соревнования. Кое-кто уже сошел с дистанции, не выдержав гонки, ведь условия ее — нестабильность, законы джунглей и очевидная невозможность стать лидером. Как воскресить национальное единство, пробудить коллективную волю к действию в мире, где господствуют виртуальность и конкуренция, где главное правило — "каждый за себя", где человек обречен на одиночество и все больше замыкается в себе, в своей тоске и тревоге?

С одной стороны, новые достижения науки и техники позволяют победить бытовые трудности, болезни, старость, успешно продолжать исследования космоса, совершать дальние путешествия, расширять возможности интеллекта. Никогда прежде мир не знал такой изменчивости, способности к усовершенствованию, таких скоростей. Люди на ходу приспосабливаются к новой эпохе — ее многообразию, сложности, гибкости, подвижности. Но эта заря не безоблачна: появились новые неосуществимые желания при неудовлетворенных прежних, что-то ускользнуло, что-то оказалось блефом. Тотальная и мгновенная доступность даже того, что раньше было абсолютно недосягаемым, вызывает у нас ответную реакцию и, парадоксальным образом, порождает тревогу, комплексы, обиды. Мир наполнился грохотом, суетой, одышкой, не осталось тихого уголка, где можно укрыться и подумать, побыть наедине с собой, помолчать. Словно по закону о сообщающихся сосудах, все, что присваивает себе индивид, оказывается отнятым у общества. Избыток личного — нехватка коллективного. Мы больше не передаем свои знания, не делимся советами и впечатлениями. Я — это теперь только я, с грустью думает каждый. Новый мир не подпускает нас к вековечной тайне другого человека: мы научились говорить на множестве языков, понимать множество знаков, но наши ближние так и остались для нас чужими, непонятными, непроницаемыми.

Когда все так быстро меняется, а текучесть и подвижность становятся законом, приходится дорого платить за колебания и медлительность. Теперь не так важны долговременные стратегические решения, требующие расходов и значительных людских ресурсов, как быстрая реакция на сиюминутные проблемы: в общем, это скорее похоже на Венецию, чем на Рим, скорее напоминает нравы финикийцев, нежели афинян. Как в эпоху городов-государств, сейчас в цене главным образом прагматизм, мобильность, умение приспосабливаться. Это победа Англии над

Францией, острова над материком, моря над сушей, открытости над границами, торговли над войнами. Так надо ли нам опять строить линию Мажино и объявлять ее неприступной?

В этом отношении континентальная Европа оказалась на распутье: богатейшее прошлое позволяет ей как замкнуться в себе, так и осуществить синтез старого и нового, как погрязнуть в консерватизме, так и решиться на перемены.

Мы покидаем Великую эпоху, вступая в эпоху Новую: она полна противоречий, в ней есть только настоящее время, оно длится вечно — и убивает Время; и есть пространство, которого осталось совсем мало. Эта эпоха угрожающе надвигается — эпоха виртуальных ликов будущего, то ускользающих, то возникающих снова, эпоха, словно застывшая в нерешительности, бесстрастная и заряженная энергией, разрываемая страхом и жаждой риска.

Сейчас, когда колесо вертится все быстрее, нас не может не тревожить контраст между высочайшим развитием техники и душевным омертвением. Сколько силы и воли потребуется, чтобы воздействовать на эту целину?

Момент сложный, и цель должна быть поставлена новая: сперва понять реальность, чтобы попытаться приручить ее... Древний человек осмыслял мир, покрывая рисунками стены своей пещеры, так и мы будем размышлять над книгами и перед экранами наших знаний, нашей культуры, используя все возможности нашего воображения... Надо убрать барьеры и перегородки, добиться гармонии старого и нового, вернуться к гуманистической концепции, согласно которой человек — мера всех вещей и которая наделяет каждую вещь смыслом.

Но как сохранить волю к действию, не поддавшись страху? Ведь страх всегда охватывал человека в переломные эпохи, но никогда еще к страху не примешивалось такое чувство обреченности, такая растерянность перед непомерной задачей. Никогда еще пламя сердца и разума не горело так робко. Никогда, даже во времена Эразма, глупость не казалась столь всевластной. Это означает, что нам нужна моральная и интеллектуальная революция, подобная той, какую в поэзии совершили романтики: Гюго, в чьих стихах зазвучал голос улицы, голос жизни с ее контрастами; Бодлер, пировавший за одним столом с пьяницами, бродягами, проститутками... Та революция опрокинула все табу, как строки Джона Донна, в которых он воспевает блоху на груди у возлюбленной, или как стихи Шарля Кро о копченой селедке. Еще одну революцию совершили сюрреалисты, которые возвели банальное в ранг исключительного, взорвали границу, отделяющую мусор от искусства и поставили бессознательное выше разума. Которые даже в самом безнадежном тупике, в самом безумном бреду, в самой лютой тоске повторяли за Андре Бретоном: “Выбираю жизнь”...

Во многих отношениях набор наших представлений об экономике, обществе, политике, человеке сегодня слишком консервативен; во всем, что касается информации, науки, законов, мы скованы окостеневшими правилами, предрассудками. Европа должна совершить рывок, сравнимый с Ренессансом, когда взаимодействие культур превратилось в великий праздник разума: из Фландрии явился Эразм, из Англии — Томас Мор, из Италии — Леонардо да Винчи, из Нидерландов пришла терпимость, из Германии — идеи Реформации; и все это Франция сумела слить

воедино, а символом единства остается трехъязычный коллеж, основанный Франциском I... Сумеем ли мы отказаться от какой-то части самих себя, чтобы расширить наши взгляды и в новом контексте сохранить верность прежним идеалам? Сумеем ли мы, проще говоря, научиться мыслить по-другому?..

Новая революция ставит перед нами три задачи.

Первая задача — синхронизация: сократить разрыв между бешеным ритмом перемен в мире и внутренней эволюцией человека, которая совершается слишком медленно, а также между природой и культурой, неодушевленным предметом и живой душой. Чтобы избежать диктатуры науки, мы должны воссоздать образ мысли, философию, которые помогут контролировать науку. Чтобы управлять большим кораблем — человечеством и маленькой лодкой — человеком, должны постоянно согласовываться все действия, надо обеспечить справедливость распределения, но и отказаться от отжившего свой век материализма.

Вторая задача — примирение этики с прогрессом, экономики с моралью, индивидуального с коллективным, духовного с преходящим, власти с народом, страсти с разумом, верности традициям с многообразием культур... Нам предстоит вернуться к политике, которая ставит на первое место человека как творца собственной судьбы.

Третья задача — приобщиться к новой культуре риска и свободы, научиться принимать мир таким, какой он есть, воспитать в себе интерес к этому миру, подавив страх перед ним. Для определения места человека в обществе раньше существовали только две прямо противоположные модели: французская и американская; с одной стороны, вертикальная, централизованная и иерархическая схема интеграции, с другой — децентрализованное общество, постоянно стремящееся к компромиссу. Поиск абсолюта — и относительные, случайные истины; религиозный идеал — и человеческие идеалы; две разные культуры: одна превратила идеализм чуть ли не в идеологию, другая выбрала реализм и господство индивидуума. Нам предстоит найти третий путь, путь примирения двух этих моделей.

Кроме этого, нам еще нужно возродить стремление к счастью, мечты о нем, даже само представление о счастье, чтобы не сосредотачиваться только на том, что поддается измерению, подсчету, переводу в денежные единицы, чтобы сберегать вечное, но при этом не забывать взглянуть на календарь, чтобы ирреальное держало реальное на поводке, чтобы мечта охраняла пути разума, помогая человеку в трудную минуту найти выход, чтобы святое вновь вызывало у нас благоговение, а не равнодушие; надо хранить ключи от врат сна — они далеко, по ту сторону всех виртуальных образов будущего, этих расписных потолков, которые сегодня проносятся над нами, над белыми экранами наших компьютеров. <...>

Завтрашний день будет днем прорыва, дальновидности и гибкости. Вот почему мы должны выбраться из капкана консерватизма и одновременно побороть нетерпимость. Когда проходит эйфория и смолкают аплодисменты, на политика-реформатора набрасываются те, чьи интересы пострадали из-за реформ, — это вечная борьба между традициями и современностью, между твердолобыми и новаторами...

Во Франции реформа выглядит чем-то противоестественным; всем кажется, будто одна только революция способна сдвинуть с места неповоротливую государственную машину и обеспечить обновление. Как только намечается робкая тенденция к движению, враждебные ей силы мгновенно объединяются и переходят в наступление: общество взрослых детей, привыкших полагаться на всесильное государство и мудрую власть, — против общества, основанного на принципе равенства, которое превыше всего ставит индивида; общество недоверия, выстроенного по вертикали, — против общества доверия, выстроенного по горизонтали.

Эволюция — это не революция; поэтому надо уметь различать основополагающие, незыблемые ценности и структуры, которые постоянно нуждаются в усовершенствовании. Для косности не может быть оправданий. Из-за того что у нас нет настоящего опыта в проведении реформ, мы снова и снова принимаем все те же рутинные меры. Те, кого вполне устраивает сложившаяся система, пугают нас расколом в обществе, нарушением социального мира; на самом же деле они попросту боятся, что от них потребуют жертв, не хотят поступиться кастовыми интересами во имя общего блага.

В борьбе против преобразований сложившаяся система пользуется недозволенными методами. У неповоротливости и эгоизма всегда найдутся союзники — это страхи, недовольство, подозрения; они широко распространены в обществе, а гибкий ум и живое воображение чаще всего остаются в одиночестве. Вот поэтому во Франции так трудно проводить реформы. Сразу возникает дилемма: добиваться массовой поддержки — но тогда реформы могут заглохнуть, или же действовать командными методами либо использовать эффект неожиданности — но тогда противники выступят единым фронтом и спровоцируют взрыв всеобщего гнева. Единство — это не движущая сила, а заветная цель. Апостолы консенсуса требуют, чтобы реформаторы проводили разъяснительную работу, но такая работа чаще всего не приносит результатов — из-за того, что часть населения не знает и не желает понимать экономических реалий. Неудивительно, много столетий подряд власти держали людей в неведении — удобный способ скрыть трудности. Так пусть сегодняшняя власть откроет им глаза — если, конечно, осмелится это сделать.

Разумеется, в нашей стране были великие реформаторы: Филипп Красивый и Людовик XI, Ришелье и Кольбер, Мопу и Тюрго, Наполеон и Шарль де Голль, — можно даже говорить о традиции авторитарного реформизма, когда реформы проводятся во имя общего блага, на основе четкого плана, могучим волевым усилием, когда жажда новизны совпадает с требованиями необходимости, когда есть готовность приносить жертвы и следовать великим примерам. Реформа может быть неотложной или нацеленной на будущее, но она всегда основана на убеждении реформатора, что он способствует общему благу и может рассчитывать на разум, самоотверженность и практическую заинтересованность граждан. Она ставит себе целью преобразовать общество, пользуясь централизацией как рычагом и репрессиями как оружием. Этот "просвещенный деспотизм" всегда был наиболее эффективным и часто применяемым методом реформаторства в иерархическом обществе: он основан на убеждении, что власть, уверенная в своей силе, может все.

Потом наметился другой метод, более приемлемый для современного индивидуализма, — реформа, подготовленная путем переговоров, которая стремится убеждать, а не навязывать, рассчитывает, что "время возьмет свое", а не торопит события, хочет преобразовывать общество поэтапно, а не сразу, надеясь, что рано или поздно такая мягкая политика приведет к позитивным сдвигам. В этой скромной лаборатории не хотят слышать звон клинков, а, наталкиваясь на сопротивление, проводят консультации, стараются привлечь своих оппонентов к участию в начавшемся процессе. Поскольку в наше время развитие средств массовой информации позволяет людям выражать свой протест в мягкой форме, в последние тридцать лет у нас практикуется второй метод реформаторства, и, судя по всему, он благосклонно воспринят французами.

Но есть ли еще у нас время, остались ли средства, чтобы "поспешать медленно"? Можем ли мы, при такой важности и таком объеме стоящих перед нами задач, удовлетвориться реформированием в пастельных тонах, когда власти боятся задеть чужое самолюбие, заигрывают с общественным мнением и готовы отступить при первых же признаках опасности? Итог работы наших последних правительств — все усиливающееся отставание Франции; кто в этом виноват — люди или все-таки метод? Есть основания опасаться, что умеренных реформ мало, чтобы страна сделала серьезный шаг вперед. Поиск консенсуса и поэтапность имеют важное преимущество — они позволяют сохранить социальный мир, но если мы верим в высокую миссию нашей страны, стоит ли экономить силы, когда глобализация стучится в обитые кожей двери наших тихих кабинетов?

Чем объяснить эту ситуацию, как ни тем, что у нас нет единой воли? Перемены возможны только тогда, когда в стране есть люди, готовые взять на себя ответственность, люди с ясными, твердыми убеждениями. Импульс реформам может дать только политик, ибо для преобразований необходимы полномочия, данные народом, а также динамизм, вера в прогресс, заставляющая людей отбросить колебания, забыть страх. По своему характеру французы неспособны самостоятельно осознать драматизм ситуации, для этого им необходим спасительный электрошок.

"Мы верим, что у политики может быть честь, и еще мы твердо верим, что бывает политика чести, — утверждал Бернанос в 1939 году. — Но мы также знаем, — продолжал он, — что для чести трудность состоит не в том, чтобы проявить себя, а в том, что ей не дают времени это сделать". Дух Двора[1] сегодня представляется главным препятствием на пути к реформе...

Сейчас, как в 1789 году или в начале 1848-го, нам некуда отступать: обострение социального неравенства, которое проявляется уже в школе, разгул насилия, оскудение государственной казны, губительный общественный климат. На фоне массового недовольства теперешнее поколение политиков с головой уходит в партийные склоки, игры вокруг

1. Под этим выражением автор подразумевает типичные недостатки людей, обладающих властью и близких к власти: честолюбие, своекорыстие, эгоцентризм, удаленность от народа.

средств массовой информации, в дворцовые интриги. Все трещит и разваливается, законы существуют отдельно от реальной жизни, народ — от своих представителей. Тяжелая атмосфера напоминает последние дни Июльской монархии, о которых рассказывает Токвиль: "В этом политическом мире, так устроенном и так управляемом, больше всего, особенно к концу, не хватало самой политики". Однажды, быть может, какой-нибудь мемуарист, описывая нашу эпоху, сможет принять на свой счет слова автора книги "О демократии в Америке": "Некоторые возмутительные факты коррупции, о коих случайно узнала страна, позволили ей предположить, что имеется еще множество других, нераскрытых, и она пришла к убеждению, что коррупцией поражен весь правящий класс; и тогда она стала испытывать к этому классу спокойное презрение, которое принимали за доверчивое одобрение и покорность. Страна тогда была разделена на две неравные части: в верхней, где должна была сосредотачиваться вся политическая жизнь нации, царили апатия, бессилие, оцепенелость и скука; а в другой, нижней части, напротив, начали появляться неравномерные, лихорадочные симптомы политической жизни, легко различимые для внимательного наблюдателя".

Некоторые государственные деятели сегодня убеждают себя в том, что французы, пресытившись политикой, дадут им еще долго "разогревать их маленькие котелки на маленьких печках", как иронически выражался генерал де Голль. Говорят, однажды в момент досады он даже воскликнул: "Французы — лентяи и бездельники!" Будь он прав, каким счастьем это обернулось бы для наших политиков! Их давняя мечта о демократии без народа стала бы явью. Однако участившиеся случаи отказа от голосования никогда не были признаком равнодушия — они всегда были выражением презрения. Если, как сказал Виктор Гюго, "у всеобщего избирательного права есть то неоценимое достоинство, что оно отбивает охоту бунтовать, ибо, давая мятежнику право голоса, тем самым отнимает у него оружие", то нам следует опасаться, что за отказом граждан явиться на избирательные участки последует прилив насилия. Апатия парализует большие территории, разверзаются пропасти, разгорается тлеющий под пеплом огонь: посмотрите хотя бы, что у нас происходит с безопасностью, здравоохранением, образованием, пенсиями, государственной реформой.

И все же в нашей стране появляются первые симптомы обновления, робкие признаки единства мнений и даже некоторое оживление. Сегодня французы единодушны в том, что Франция нуждается в переменах. Они хотят жить в другой Франции, верной себе и своему предназначению. Намечается и единство в определении целей, они уже не противоречат друг другу, а дополняют друг друга: государства не должно быть меньше, оно должно быть лучше; больше инициативы, но при большей ответственности; надо содействовать личному успеху каждого, но при этом оберегать самых незащищенных. Остается вопрос о характере реформы и ее рычагах: Европа или нация, государство или общество? Когда доходит до этих трудных вопросов, с одной стороны слышатся воинственные речи, а с другой — крики зазывал, но кто всерьез думает, что Франция может порвать со своими партнерами, превратиться в остров, в святилище, в музей? Только часть наших левых по старой памяти либо из ностальгии, а также пытаясь преодолеть кризис самосознания, все

еще делает вид, будто верит во всемогущество национального государства. Французы не без удовольствия принимают обременительные для них подарки, но остаются при своем мнении. Итак, второй, самый мучительный вопрос: как преодолеть порог и сможет ли общество, живущее в таком напряжении, без риска новых травм встать на путь необходимых преобразований?

Наша история научила нас тому, что ответы на наболевший вопрос не следует искать в идеологии, среди готовых решений, разложенных по полочкам. Только воля людей сможет сдвинуть французское общество с мертвой точки...

Ведь нам и вправду предстоит перейти из мира, чьи корни кажутся нам уже чужими, из старого мира, тяжелого, неповоротливого, с ненадежным рулем, в мир, открытый всем ветрам, в мир надежд. В этом новом мире, на полной скорости несущемся вперед, все зависит от умения опережать события и от эффективности. Когда уходит одна эпоха и занимается заря другой, нужны не просто посредники между властью и обществом, между противоборствующими силами в обществе — нужны провидцы, такие, как Вийон, Гюго, Бодлер, Рембо или Аполлинер, которые сумели обновить поэзию; как Латур, Делакруа, Сезанн или Пикассо, опередившие свое время; как Рамо, Берлиоз, Дебюсси или Равель, совершившие революцию в музыке; как Декарт, Руссо, Токвиль или Бергсон, которые воспитывали человека; нужны проводники, протягивающие одну руку достаточно далеко назад, чтобы собрать людей вместе, а другую руку — вперед, тоже достаточно далеко, чтобы бросить причальный канат, поставить буй; нужны люди-мосты, люди-перекрестки, люди, которые всегда на посту. <...>

Качества, какими должен обладать высший лидер, этот проводник из проводников, практически остались неизменными. Он должен быть независим, должен быть одним из тех, кто делает историю, а не тащится у нее в хвосте, должен уметь рисковать, презирать власть ради власти. А стало быть, он должен быть вне политических партий — это необходимо, чтобы иметь право объединять вокруг себя людей. И тогда его связь с французами будет его личной связью, за границами всевозможных лобби и группировок. И соответственно проводник не должен быть адептом какой-либо идеологии, даже если в его мышлении сочетается несколько идеологий, образующих неповторимый синтез, который впоследствии самовольно превратят в доктрину. Однако он не может рассчитывать только на свою харизму, то есть не просто быть для них авторитетом, оставаясь при этом близким и понятным, — нет, он должен еще обладать ви́дением будущего, редким качеством, сочетающим в себе интуицию, смелость анализа и прагматизм. И наконец, его способность к выживанию во враждебном окружении позволит ему не упустить удобный момент и начать действовать — быстро, смело, решительно. <...>

Вопреки мрачному мифу, настоящий проводник — это антипод диктатора. В условиях кризиса он вынужден сосредоточить в своих руках всю власть, а затем распределить ее снова, как сделал Клемансо после перемирия или де Голль после регионализации и университетской реформы. Это не присвоение власти, но сплав многих воль в одной воле, чтобы двигаться к цели. Его миссия не в том, чтобы тащить за собой

обессилевшее общество или пинками гнать его вперед, но в том, чтобы помочь обществу самому найти в себе движущую силу. И в этом случае он рассчитывает не столько на свои действия, сколько на пример, который он ими подает...

В тяжелые времена проводник на какое-то время вбирает в себя энергию и чаяния целого народа. Но стоит ему выбраться на противоположный берег, как на него ополчаются консервативные силы, чтобы в конце концов погубить. "Салоны лгут, а надгробия говорят правду", — заметил Гейне. В такой момент подлинное величие проявляется в самоотречении, в желании достойно уйти, скорее пожертвовать собой, чем согласиться на бесславный компромисс. Проигранное сражение в Ронсевальском ущелье, как и Сто дней, как и Май шестьдесят восьмого, овеяны легендой и славой. Проводник, которого остановили на полпути, не дав закончить начатое, так или иначе остается "тем, кто дал выход национальной энергии", своим примером осветил дорогу в грядущее. Его посмертная слава засияет тем ярче, чем трагичнее был его уход: мирная смерть Ришелье или Тьера не сделала их популярнее, а кинжал Равальяка или ссылка на остров Святой Елены довершают превращение Генриха IV или Наполеона в персонажей легенды...

Что стало с тем обширным полем деятельности, которое исследовал Макиавелли? Есть ли еще пространство для маневра у *государя*, находящегося в тисках жестких обстоятельств, под давлением разных норм, процедур, стереотипов, — нагого, беззащитного государя, открытого для всех взоров, атакуемого со всех сторон? Государя, от которого требуют отчета, которому приходится читать между строк, разбирать каракули — и все это терпеть по доброй воле, покорно. Чтобы устоять под натиском ветров, дующих с разных сторон, чтобы не потерять ориентиры на американских горках власти, нужны воля и мужество — и это еще слабо сказано. Но нужна еще магия слова, убедительность жеста или символа, сила поступков, чтобы побороть интриганов, привлечь сторонников, вызвать восхищение — священное миро политики, с которым опытные, ловкие руки способны творить чудеса; и наконец — непостижимая тайна, превращающая одного из многих в одного надо всеми, в того, кто ведет за собой остальных. <...>

Как и всегда, для возрождения требуется новый основополагающий принцип. А также жизненная сила и аура, которые позволят нам распознать проводника. Но при каких бы обстоятельствах ни занял он свое место — по воле случая или по необходимости, — его прежних заслуг мало, чтобы оставаться там надолго. В нем должно быть нечто такое, что убедит нас: он безраздельно предан нации и готов самоотверженно ей служить. Что возносит избранника на высоту? Макиавелли, впервые затронувший эту тему, приходит к поразительному выводу: политика и мораль несовместимы. Как бы ни обернулась его судьба, государь должен быть двуликим: одна сторона медали — сила, энергия или отчаянная храбрость, оборотная — проницательность и хитрость.

Долгое время политики успешно пользовались этой своей привилегией — свободой в выборе средств, которую заранее оправдывали стоящие перед ними грандиозные задачи, а также суровые правила борьбы за власть. Но если театр сохраняет свои чары, даже когда исполнители устали, то актеры политической сцены поставлены в куда более неблагоприятные условия.

К счастью, теперь идет другая пьеса: нет больше темных углов и закоулков, всяких там хитрых приспособлений и потайных ящичков, из-за которых затевались изощренные интриги или банальные заговоры, случались перевороты и придворные скандалы... Сегодня эти увлекательные игры существуют лишь в воображении скучающего обывателя. Вообще в этой новой пьесе вчерашним властителям отведена жалкая роль: теперь они сами игрушки в руках безжалостных партнеров-противников, которые предпочитают оставаться в тени и тем успешнее проворачивают свои грязные дела.

А может, и не надо ничего предпринимать, просто молиться, чтобы наш корабль благополучно проскочил подводные рифы, делать вид, будто мы не замечаем, как растет грозное чудовище? Громадный зал ожидания уже понемногу наполняется толпой — под благосклонной улыбкой доктора Гильотена; может быть, пора вспомнить об участи Шенье, Сен-Жюста и Демулена — и затаиться, когда позовут в свидетели, опустить глаза, когда жулик будет обирать простаков?

Если власть хочет остаться властью, она должна вернуть себе ауру, обеспечить опору... Сейчас проблемы становятся все сложнее, а времени для их разъяснения остается все меньше. Но таков закон жанра: власть не может рассчитывать на снисхождение, она должна уметь удивлять, притягивать к себе внимание, не давать о себе забыть, не теряться в потоке информации, который обрушивается сегодня на человека. Когда в лицо бьет яркий свет, словно на жестоком допросе, нет смысла щуриться — это не поможет. Народный избранник должен найти свое лицо, отличиться в своей роли, не прибегая к помощи режиссера или гримера, а только благодаря воле, силе убеждения и вере в мечту, подобно Наполеону, который однажды признался: “Я составляю план сражения из сновидений моих солдат”. <...>

Мы должны не просто желать реформ, а по-настоящему проникнуться реформаторским духом. Для этого надо создать благоприятную обстановку: меньше принуждения — больше убеждения, меньше догм — больше конкретных моделей, меньше правил — больше принципов. Ибо речь идет о том, чтобы изменить взгляды, воспитать себя по-новому, по-новому осознать свой гражданский долг — отказавшись мириться с несправедливостью и пассивно плыть по течению: возьмем за образец пастора Жюрье, призвавшего единоверцев к восстанию, когда государь решил силой навязать им католицизм; Лабрюйера, обличавшего неравенство, губительную власть денег и злодеяния войны, или Фенелона, который призывал короля быть милосердным и уважать законы, созывать Генеральные штаты и считаться с общественным мнением, напоминал ему о его долге перед человечеством: “Каждый из нас обязан роду человеческому, нашей общей, большой родине гораздо больше, чем тому отечеству, где он родился”. Этот дух реформаторства нам жизненно необходим, если мы не хотим ограничиваться реформированием одного только государства или системы власти; поэтому он должен захватить все общество в целом, войти в наш менталитет, чтобы, как говорил Мишле, “человек мог стать сам для себя Прометеем”. <...>

Для исполнения этого плана нам потребуется что-то вроде электрошока. Ведь политике придется обновить пути, которых она избегает сегодня, предпочитая идти в обход, а не напрямую, проявляя нервозность вместо смелости. Вспомним, что некогда прежде власть была священ-

ной, ее представителей носили в паланкине под восторженные крики толпы. И сравним это с нашим временем, когда власть, утратившую священный ореол, тащат на веревке, осыпают оскорблениями, обливают грязью. Чтобы все стало иначе, демократию надо подвергнуть испытанию правдой, потребовать от всех ее действующих лиц строгого соблюдения ответственности. Власть должна уяснить себе раз и навсегда: у нее нет больше отвлекающих средств, мишуры и фейерверков; нет даже права прикрываться тайной, как во времена Макиавелли; у нее осталось только одно забытое преимущество: возможность снова выказать доблесть и благородство, какими она блистала прежде. И четко осознать свой первейший долг: служить интересам общества.

Разумеется, не все представители власти выдержат этот экзамен: карлики, взобравшиеся на ходули и притворившиеся великанами, будут разоблачены. Не делая ставки на верноподданические чувства, не идя на сомнительные сделки и компромиссы, опираясь лишь на свои силы и нравственные основы, власть снова станет истинно народной властью.

[246]
ИЛ 2/2004

Жак Дюпен
Пространство другими словами

Перевод с французского и вступление Бориса Дубина

После дебютной, опубликованной в 1953 году заметки о живописи Макса Эрнста Жак Дюпен написал за полвека десятки стихотворений об искусстве (включая поэму "Малевич", 1975, которой особенно дорожит), множество предисловий и послесловий к каталогам выставок, эссе и монографий о художниках XX века. Еще бы, ведь его первые книги оформляли Массон, Миро, Джакометти; он дружил с Пикассо и Браком, Бранкузи и Колдером, Сима и Ламом, Бэконом и Мишо; был секретарем влиятельного художественного журнала "Кайе д'ар"; руководил издательской деятельностью в известной парижской галерее "Маг". Кажется, всех этих биографических обстоятельств вполне достаточно, чтобы объяснить многолетнее пристрастие одного из виднейших и уважаемых — наряду с известными русскому читателю Ивом Бонфуа, Филиппом Жакоте, Андре Дю Буше — французских мастеров слова к трудам своих современников — живописцев и скульпторов. Но нет. Я бы решительно поменял тут местами причину и следствие и, напротив, сказал, что неотступным вниманием к работе художников Дюпен обязан именно своему первородному складу поэта. Каковым он остается, даже когда пишет вроде бы прозу.

Крупный лирик следующего поколения, Жан-Кристоф Байи, увидел в том, как Дюпен формует словом стихии камня и огня, воздуха и света, неукротимую ярость, напомнившую ему Сезанна. И в самом деле, поэтическая материя у Дюпена до того плотна, что ее лексико-синтаксический строй ощутим физически — мышцами, кожей. Как будто поэт ощупывает, гнет, вспарывает, дробит и мучит слова, чтобы добраться до дна, где мир и речь неразрывны в одном содрогании живого. И, выходя за любые предустановленные границы, устремляется не к мифическому истоку жизни и юности, а к темной (или ясной? и есть ли на такой глубине разница между ними?) несомненности предсуществования. Он знает: искомая точка недостижима. Но не это ли питает, бередит, подхлестывает его страсть? Подобных ей нет, поскольку эта страсть и сама не ищет подобий, а добивается единственной достоверности, "тождества стены и бреши", как сказано в эссе о Тапиесе ("...завершение труда: тождество стены и бреши"). Если продолжить метафору Байи о крутой сезанновой дороге дюпеновских стихов, горе Сент-Виктуар его поэтической манеры, то поэт у Дюпена не Нарцисс, а Сизиф. Его путь невозможен и (потому) бесконечен:

© Jacques Dupin, 1982
© Б. Дубин. Перевод, вступление, 2004

Писать, словно ты не родился.
Удостоиться, чтобы слова исчезали, едва возникнув.
Писать, не разбив немоты.

Та же сила заставляет Дюпена снова и снова пытаться передать мускульным усилием слова работу руки и воли художника. И влечет его не какая-то особая "живописность" или "выразительность" изобразительного искусства (он ведь и пишет о мастерах нефигуративных, не подражающих внешним формам реального), а сама энергия творческого свершения — желание застать, ухватить ее в момент воплощения, переплёска стихии в форму. За миг до утраты, на волосок от исчезновения.

Кружение вокруг пустоты
Эдуардо Чильида[1]

I. *От пустоты к пространству*

По-настоящему Эдуардо Чильида родился в 1951 году, на кузнице в Эрнани, встретившись лицом к лицу с пустотой.

Он переживал глубокий кризис. Круглая скулытура и образ, объем и фигура, сама непреодолимость, сама непрозрачность ему не давались. После длинного крюка в Мадрид, где он занимался архитектурой, и в Париж, где были новые опыты и столкновения, Чильида возвращается в Край Басков, к своей одинокой борьбе. Он открывает возможности железа. И отказывается от изображения — не избегая трудностей, а, напротив, стремясь уйти в них с головой и одолеть, найти выход, найти се-

Эдуардо Чильида. Lurra G 188. 1990

1. Эдуардо Чильида (1924–2002) — испанский скулытор, график, художник книги, близкий друг Ж. Дюпена.

бя. Железо — прорыв в пустоту, скульптура — как событие. Но в силе сопротивления, которое выковано железом — из-за него, сквозь него, — открывается другое, куда более грозное в своей инертности, куда более плодоносное в своей притягательности сопротивление, силы которого выдвигает против скульптора пустота.

Пустота не просто небытие, пустота — это лоно пространства. Она определяется только через внешнее, оставленное в стороне. Но можно почувствовать и ее саму — почувствовать на опыте, во взлете и в крахе, в отсутствии и в головокружении, в любви. Однородная, косная среда, она притягивает — сама одержимость, му́ка, исходная материя скульптора. Неодушевленная и чуткая разом, она взывает к форме, чтобы породить пространство. Скульптор тем и занят: он замещает воплощенную негативность пустоты живой позитивностью пространства, преображая материю и внося в нее форму.

Пространство существует лишь формой, исходящей из пустоты: от пустоты ее плотность и мощь, туда она возвращается, там собирается в одно, пустоту она обнимает, оставаясь открытой, приберегая для нее входы и подступы. Скульптор всегда перед бездной, ее он штурмует, а след его атаки и есть форма — только она создает и разворачивает пространство, так что пространство и форма неотделимы, как две стороны медали.

Все связанное со скульптором не затрагивает пустоты, но впрямую касается пространства: мысли, чувства, химеры скульптора, время и место, его жизненные обстоятельства — все, чем он располагает, вместе с неуловимым событием творческого шага, частью, принадлежащей богам и ночи. Во всем этом скульптура черпает неповторимость, своеобразие, сложность. Все это придает пространству разнородность, создавая в нем узлы, желваки, невидимые воздушные препятствия, которые и порождает форма, но в которые она тут же упирается сама и которые заставляют ее разрываться, гнуться, ветвиться. Скульптура — это непредсказуемое развертывание, разрываемое в точках перелома, на которые она натыкается и силу которых должна в себя вобрать, — рваный маршрут в пространстве, прокладываемый формой.

Но ее разрывы предстоит восполнить непрерывностью материи, тяжестью, плотностью. Это противоречие, не упраздняя его, а поддержи-

вая, должна разрешить конструкция. И вот железо — возьмем для примера его — гнется, мягчея под касанием пилы, круто изгибается под углом или плавно стекает по кривой, раскалывается или рвется, распадается на куски или затягивается в узел. Подчиняясь требованию непрерывности со стороны пространства, которому иначе не сбыться, Чильида пускает в ход весь запас формальных противопоставлений, оптических иллюзий и действительных подобий — подобий, реально работающих, чем их существование и удостоверено. Он должен до предела стискивать пространство в форме, утеснять его туже и туже, иными словами, постоянно рассекать его просветами, огибать тень, закручивать немыслимую спираль, оборудовать пустоту. Как только его рука готова сжаться, она тут же разжимается. Ловит и освобождает, когтит и отпускает, гнет и прямит. Последнее слово всегда за разрывом: там, где кончается жесткая конструкция и ритмическое чередование, именно разрыв придает пространству и его разворачиванию ту пульсацию, без которой нет скульптуры.

II. *Возвращение, или Изначальная двойственность*

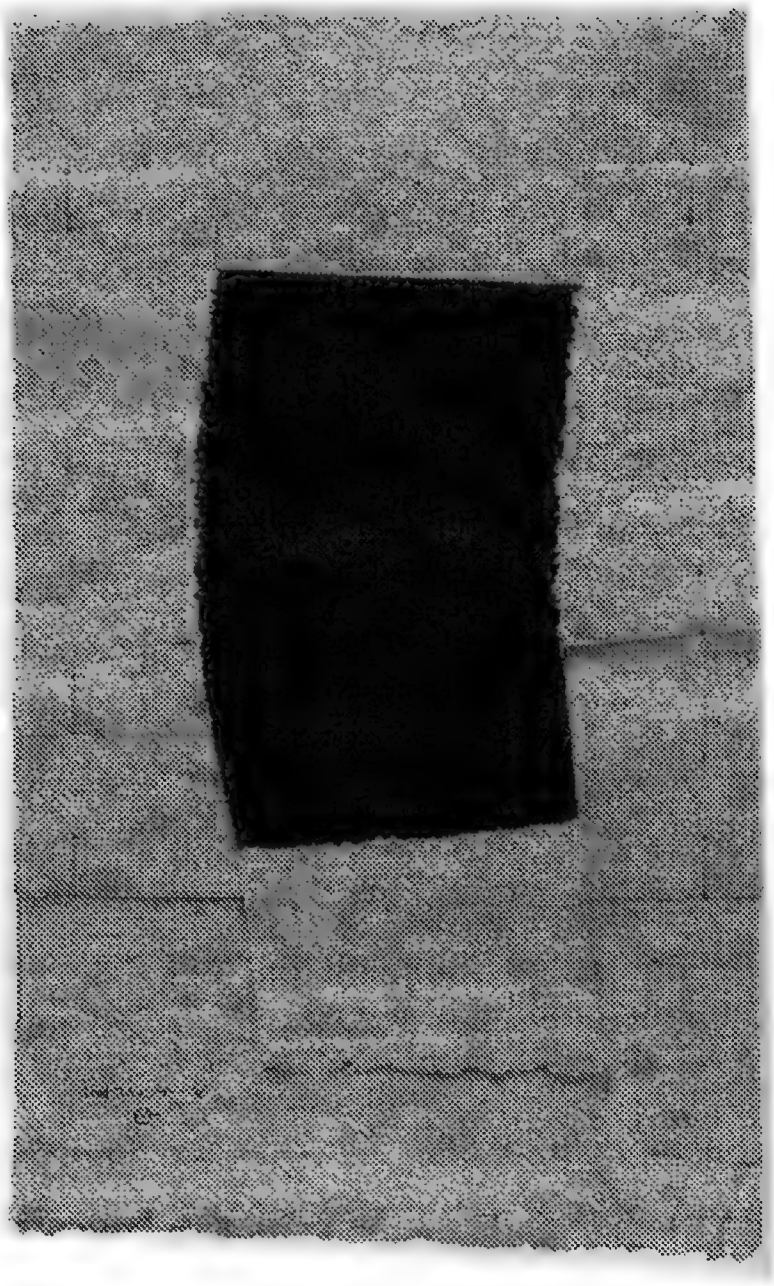
Если ради простоты и удобства выделить на правах привилегированной какую-то одну перспективу — а выразительные средства скульптуры, предполагая неограниченное множество точек, с которых ее можно рассматривать, это вполне позволяют, — то можно сказать, что Чильида идет от изначального противопоставления или от некоторого их набора, которые отзываются во всем его творчестве столкновением противоположностей и служат ему источниками энергии. Пустое и наполненное, замкнутое и открытое, черное и белое (в рисунках тушью, в гравюрах), форма и пространство, безмолвие и музыка, материя (укрощенная формой) и энергия (ищущая выхода) — все эти противопоставления дополняющих друг друга и одно без другого не существующих понятий вовлечены у Чильиды в единое действие. Это стиснутые и неразлучные пары, слитые и разделенные энергией зазора, волосяной пустоты между ними. Чильида не устает сближать и связывать и высвечивать эти противоположности, которые избиты, но без которых не может начаться, в трех измерениях разом, путь формы. Чем больше преодолено препятствий, чем больше противодействий побеждено, тем опаснее усомниться и поскользнуться. Чем серьезней угроза, тем крепче техническая, пластическая, духовная непоколебимость скульптора. Но чем лучше он вооружен, тем беззащитней. Его сила растет только вместе с формой, противостоящей тому, что она обрисовывает.

Этой двойственностью, за которую мы слишком поспешно ухватились, увидев в ней ключ, один из подходов к искусству Чильиды, пронизана вся его работа над вещью. Но она до такой степени обостряется, вступая во взаимоотношения или в противоборство с противостоящими ей всякий раз полюсами, что каждую секунду необходимо вносить бесчисленные поправки, диктуемые новым и новым поворотом ее извилистого маршрута. Ограничимся одним: эта двойственность предстает не столько конфликтом, сколько расколом. Чильида не останавливается перед противоположностями; напротив, он выставляет их напоказ, насыщается их энергией и, движимый ею, продолжает штурм. Он не станет пассивно терпеть, томиться ожиданием или брать его в союзники. Он приходит к открытиям действуя, кидаясь вперед с вытянутыми руками, распахнутыми объятиями. Он продвигается, на каждом шагу уничтожая только что сделанное, идя путем молнии. Он отвергает дилеммы и порождаемое ими замешательство. И доверяется порыву, пускай противоречивому, броску, пускай преждевременному, динамизму неустойчивости и несоразмерности, из которого во всей своей неприкрытой дрожи, первородной напряженности, неудержимом кипении и ударяет форма.

Все, что занимает Чильиду, вложено в динамику броска, в тепло разворачивающегося жеста. Оно — и секундная завороженность с ним вместе — высвечивается на гребне, а не в истоке действия.

III. О *схватывании и раскрытии*

Всем своим впечатляющим превосходством и парадоксальностью произведения Чильиды обязаны этому головокружительному падению, кото-



Эдуардо Чильида. Гравитация. 1990

рое их влечет и которое они каждый раз наново себе подчиняют. Пластический язык необычайной строгости, жесткости, плотности, ставящий своей задачей прояснить, оживив, то, что предстает предельной нерешительностью и промежуточностью, непрерывным вопрошанием о форме, — пространство. Речь о том, чтобы поймать, сохранив подвижность, его пульс, осязаемость, безграничность, саму его неочерченность в тиски несомненного, в переплетение безоговорочно материальных линий.

Основа, исходное условие подобного предприятия — отказ от изображения, от трехмерности, от смысла (внешнего смысла). Тройной разрыв, тройной вакуум, дающий начало пространству. С этой пропасти и начинается работа — начинается преследование. Форма кружит вокруг пустоты, вокруг отсутствующего центра — он и есть скрытый источник пространства в рудных жилах пустот. Вездесущий и недостижимый исток, который везде и нигде, самим отсутствием подталкивающий и направляющий руку скульптора. Начиная с этой исходной и основополагающей пустоты, несбыточное пространство в порыве, падении, нащупывая и теряя путь, ищет себя за пределами языка и открывается себе, поверяя свой язык скульптору. Этот отсутствующий центр притягивает как магнит и не подпускает как пламя. Он подстрекает, тут же рассеиваясь в летучести фата-морганы. Потому что, откликаясь на его зов, на его ожидание, форма должна удовлетворять двум взаимоисключающим требованиям. С одной стороны, она точна и сжата, четко отграничена от окружения, уверенно очерчена, подчинена порождающему ее единому порыву. Но с другой, если иметь в виду весь проходимый ею путь целиком, — она состоит из разрывов и повторов, развилок и узлов, обходных троп и многократных разветвлений, отвесных уступов и скрытых каверн, так что пространство просачивается через тесные проломы и узкие бойницы. Неудержимая энергия выброса накапливается и удерживается сложнейшей конструкцией схватывания и раскрытия.

IV. В*нутреннее и внешнее*

В истонченности и взрывчатости форм, их узловатом схлесте и разбеге, как и в тесноте скважин, сверлящих тяжеловесную массу, в обнаженности живых разломов и вздыбленных ребер, двойственности границ открывается конструкция, то тяжеловесная, то воздушная, и в каждый миг, в любой из своих частей, как и во всем вместе, подчиненная двойному диктату замуровывания и высвобождения. [251] ИЛ 2/2004

Поскольку в ее основе разрыв, то структура целого упраздняет старинное и убаюкивающее различие внутреннего и внешнего. Никакая стена их не разгораживает, никакие слова не разделяют. Таинственной притягательностью тяжеловесные, замкнутые и проницаемые разом скульптуры Чильиды обязаны этому открытию. Их затворившаяся, казалось, в себе и проглядывающая из кавернозных глубин пустота, их внутренность на самом деле и есть поверхность, животворящая распахнутость, которая засасывает, как воздушная воронка. Это – пространство во всей своей мощи и затаенной дрожи, тяжестью труда и натиском форм стиснутое для накопления энергии.

Чильида выворачивает и показывает скрытое, иначе говоря, еще не видимое, не с помощью мистики утаиваний и озарений, а точностью стискивающих и размыкающих форму действий, продиктованных своеобразной поэтикой ясности и яви. Каждый жест схватывания и раскрытия подчинен тому, чтобы выпустить наружу, до осязаемости вывернуть пространство, заставить его работать. Перед нами не мир запредельного, а тайна посюстороннего, скрытого пустотой и раскрытого формой, которая делает его явью в живом пространстве – в нагой простоте пространства и неистощимом излучении его мощи.

V. Б*есплотность, живое пространство*

Прошло то время, когда Башляр мог замкнуть сделанное Чильидой в формулу “мир из железа”. Рядом с железом заняли свое место свинец и сталь, дерево, бетон, гранит и алебастр, бумага рисунков и коллажей, литографский камень, гравировальная медь. Да, Чильида – повелитель и сообщник материалов, которые использует. Да, его беспримерная чуткость к живому, к возможностям и сопротивлению материального отточены постоянной практикой. И все-таки его интуитивное знание и углубленный опыт работы с железом, камнем и деревом настолько же условие его творчества, насколько и его составная часть.

Исходный материал его трудов – пустота, конечный результат – пространство. Его власть над материей из того разряда, которые не даются ни ремеслом, ни традицией кустаря, ни многолетним упражнением руки и инструмента. Ее источник – сила, действующая с неумолимостью и суровой убежденностью, ее начало – неуклонное стремление раскрыть то, что содержит и утаивает пустота. Потому что пустоту надо суметь услышать и разглядеть. Здесь не за что схватиться, не на что опереться – ее можно лишь облечь и одушевить, безупречно стиснув ее бестелесность формой, к которой она взывает, чтобы сказаться пространством, завязать диалог, запустить ход драмы. Подчиняясь этой властной

решительности, форма пропитывает или обтекает пустоту, та чужда и форме, и аморфности, но ее отрицательная энергия, затаенная страсть пробуждаются от прикосновения формы и наполняются жизнью в рождающемся пространстве. Это накопление энергии, это ее высвобождение требуют неимоверной чуткости к материальному. Нужно очистить живую плоть вещи от сушняка, свести к главному. Свободой от лишнего, сжатостью, насыщенностью скульптура Чильиды наиярчайшим образом проявляет движущие силы и законы пластики как таковой. Без малейшего показного динамизма, без претензий на украшательство и на, в узком смысле слова, эстетику она высвечивает чистое единение формы и пространства, разворачивает протяженное и сложнейшее, в своей несравненной краткости, повествование об их непримиримом противостоянии и неразлучных перипетиях.

Дыхание

Брам Ван Вельде[1]

Картина — или ничто... Все та же, единственная... Другая, которая за ней следует — и этим укрепляется, окрыляется... С каждым взглядом все более свободная, с каждым вопросом все более молчаливая, но черпающая новую власть в молчании, которое отстаивает, в ничто, которое отказывается предать, извлекая из безоглядного забвения всего на свете непреложное утверждение живописи.

Брам Ван Вельде. Без названия. 1966

1. Брам (Абрахам) Ван Вельде (1895–1981) — французский живописец нидерландского происхождения.

Выплеск, энергия, непреднамеренность... Один красочный потек соприкасается с другим, без причины, без цели, располагаясь рядом, как органы тела, двурогая матка, вещи или отблески, невиданные или предначертанные... Их нахлест, неуправляемое их взаимопроникновение — и особенно этот как бы прилив жидкого воздуха в зазорах между их удушливыми массами...

Ничего натужного — неподдельное замешательство, мучительная скованность, опасная и неизбежная шаткость. По мере того как перечеркиваемое, распыляемое на холсте время приближает взгляд к полотну, оно беспощадно освобождается от всяческих подземелий и формул, в которые его загнали прежние привязанности. Над вскрытой формой и разверзшимися красками веет живой ветер. Из-под обломков лабиринта проглядывает неустрашимое, невиданное письмо вывернутых внутренностей. Все пребывает, и разрешается, и дышит в этом медленном круговороте, в движении крови, которую останавливает и гонит полотно — его безнадежная, непреднамеренная, неустранимая загадка...

Я не описываю, я цитирую: оболочку синего, камнепад желтого, рубец красного — энергию, поддержанную, подхваченную дрожью всего этого сновиденного устройства и пульсацией пустоты, сотрясающей стены, в которых она замурована...

Без возможности отсюда выйти, без желания куда бы то ни было выходить, поскольку все, что в конечном счете остается, происходит здесь и должно происходить именно так, — распад, танец, страх перед пустотой, затаенная и шаткая поступь света, любого перечеркиваемого здесь света, который, кроме того, бьет из тела, колотящегося в невероятном сопротивлении изморю и гнету.

Работа тела над телом, слепое, неуверенное и безошибочное исследование рухнувшего порядка, от которого доходит только дыхание... Подступы к тому беспредельному и неведомому, чье тело — последний приют и тяжелейшее облегчение... Язык, разворачивающийся и обнажающийся, разжигает в себе костер цвета, заново, как любовь, открытого в ожесточении против пустоты, которая его разделяет и перетасовывает, — и черпает неимоверную свежесть в этой закалке бездной...

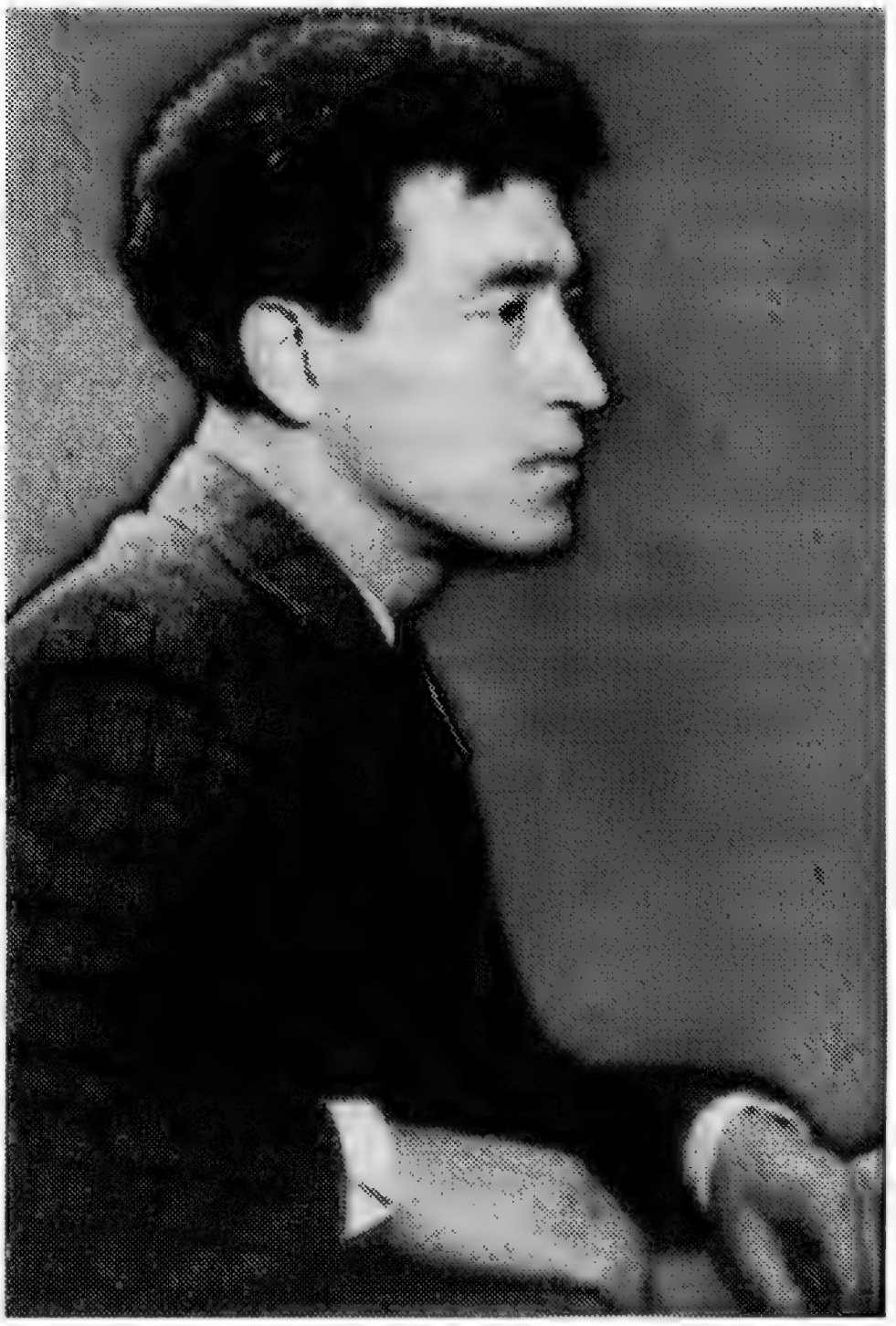
Только сквозь непрозрачность, чужеродность, предельную отдаленность собственного тела я вижу, нет, скорее предощущаю, полноту этого полотна, попадаю в западню его безукоризненной неумелости — западню настороженную, как полуприкрытый глаз.

Невозможная реальность

Альберто Джакометти[1]

Вряд ли кто еще из современных художников доискивался реальности с таким упорством, неистовством и завороженностью, как Альберто Джакометти. Один, наперекор всем, он снова и снова устанавливал модель в

1. Альберто Джакометти (1901–1966) — швейцарский живописец, график, скульптор итальянского происхождения; большую часть жизни работал в Париже.



Ман Рей. Портрет Альберто Джакометти. 1934

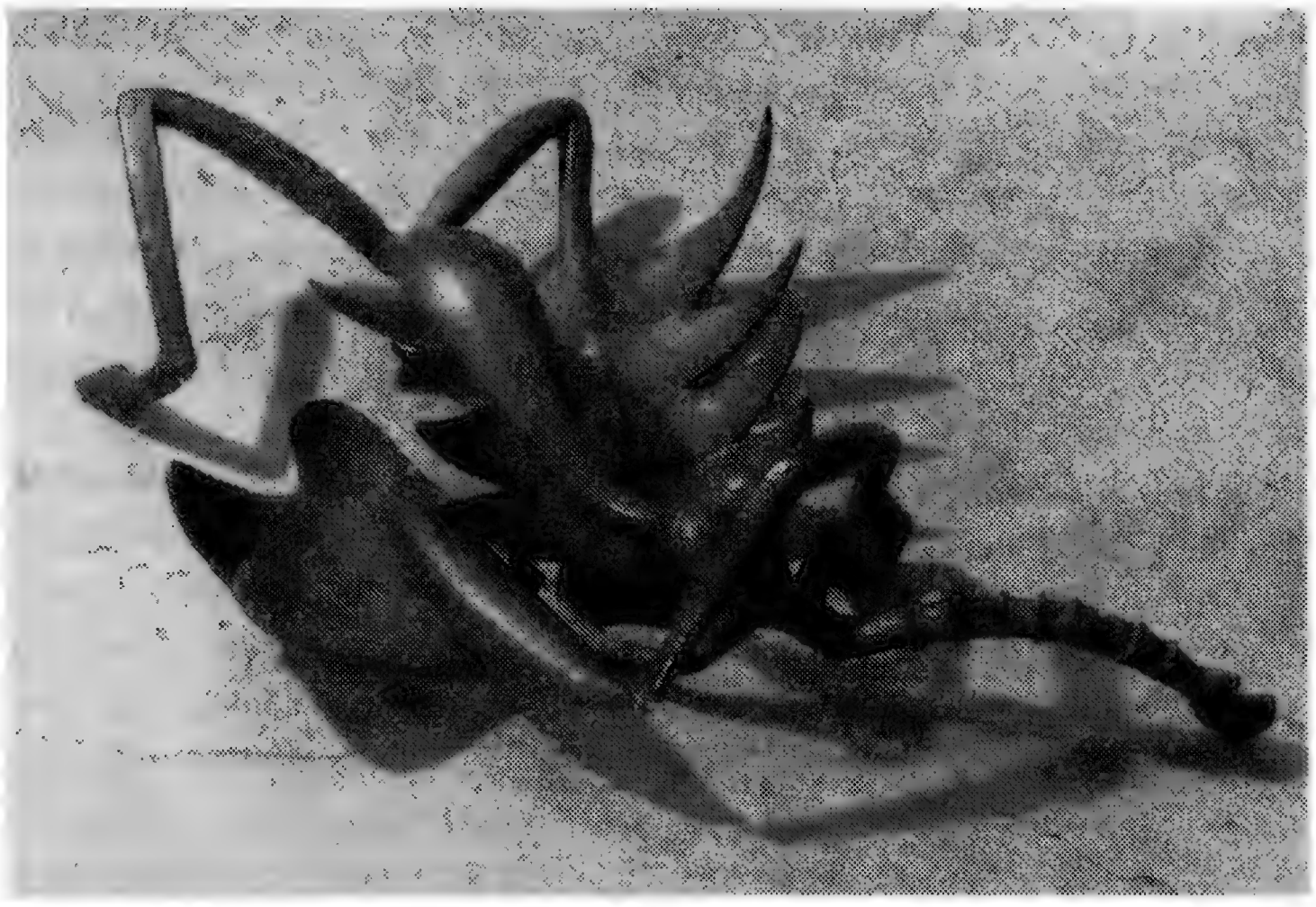
той же крошечной, пыльной мастерской, где проработал больше сорока лет. Даже в годы, когда он, казалось, отошел от этого всепоглощающего поиска, он его по-прежнему продолжал. Джакометти сжег себе глаза, сжег свою жизнь. Он отдал в ежедневном сражении все силы, без остатка, как будто от победы, которую сам он считал недостижимой и смешной, зависели смысл его жизни и судьба искусства.

Погоня за реальностью, за целостностью реального в любом из его осколков позволяла ему не отрываться от пространства мастерской, от головы или торса брата, жены, привычной модели, от бутылок на столе, дома через дорогу или дерева в окне. Исследуемые неутомимо и с той сосредоточенностью, которую Джакометти вкладывал в каждый шаг, в каждый взгляд, любая вещь или человек становились незнакомыми, абсолютно незнакомыми и превращались в предмет бесконечного подступа, неослабевающего удивления, безостановочного поиска.

В те двенадцать лет, когда Джакометти после бесплодных попыток в мастерской Бурделя как будто порывает с реальностью, он с ней на самом деле ни на минуту не расстается. При каждом возвращении в Стампу, вдохновленный примером отца и обстановкой его мастерской, отошедший от парижской лихорадки, он лепит и пишет головы и бюсты, для которых ему позируют близкие. В Париже он отворачивается от реальности из-за любовных перипетий, признавая собственную несостоятельность. Он не может взяться за лепку головы, поскольку видит, как та, утрачивая объем, истончается до гладкой пластины, так что подробности лица выглядят простыми знаками впадин и выступов, чуть заметно моделирующих поверхность. Не в силах передать целое и деталь разом, он выбирает целое и создает стилизации поразительного пластического совершенства, соединяя в них уроки первобытного искусства с

находками старших собратьев – Лорана, Бранкузи, Липшица[1]. Джакометти усваивает перестройку пространства кубистами. Доискивается движения. Переводит собственные душевные конфликты в динамическое противостояние форм и объемов или питает фантазмами судороги своих металлических конструкций. На место конкретной реальности у него встает внутренняя модель, и сюрреалистические скульптуры и объекты как будто углубляются в темноту снов, эроса, воображения, образы которых не сближены долгим поиском, а пойманы и закреплены на лету. Загадочные объекты, чья символическая жизнь так и притягивает, в отличие от стольких других, чьего магнитного заряда не хватает и на минуту, кажется, таят в ослепительных лучах просчитанную до миллиметра тайну глубин. Беспощадные орудия, эмблематические фигуры, окаменелости страстей, вкрадчиво развешенные ловушки, неотвязные круги, хрупкие постройки, облюбованные смертью, – во всех них та же точность руки и глаза, та же напряженность столкновения внутреннего с внешним, как в любой работе с натуры.

Позднее Джакометти обращается к миру воображаемого всякий раз, как только отходит от модели и начинает работать по памяти. Пользуясь стилем и языком, которые подсказала и навеяла ему работа с реальностью, он создает вещи более фантастические, похожие на неотвязный сон, вроде "Повозки", "Фигуры в коробке", "Шатающегося человека" или "Кошки" и "Собаки" (эта последняя представляет собой, по признанию скульптора, своеобразный автопортрет). Теми или иными конкретными обстоятельствами, чувствами, виде́ниями внушены и "Голова на стержне", этот вопль перед лицом чужой смерти, и набор героев "Площади", "Поляны" и "Чащи", так что гигантский массивный цоколь, куда взобрались четыре фигурки, по-своему передает огромную, ослепительную раму, которая отделяет посетителя от обнаженных прислужниц Сфинкса. Эта часть созданного Джакометти, а также части че-



Альберто Джакометти. Клетка. 1930–1931

1. Анри Лоран (1885–1954) – французский скульптор-кубист, художник книги, Джакометти принадлежит эссе о нем; Константин Бранкузи (Брынкуши, Брынкуш, 1876–1957) – французский скульптор румынского происхождения, один из наиболее гармоничных мастеров авангарда; Жак Липшиц (1891–1973) – французский скульптор-кубист, выходец из России (род. в Литве), с 1909 г. работал во Франции, с 1941 г. – в США.

Альберто Джакометти. Голова на стержне. 1947

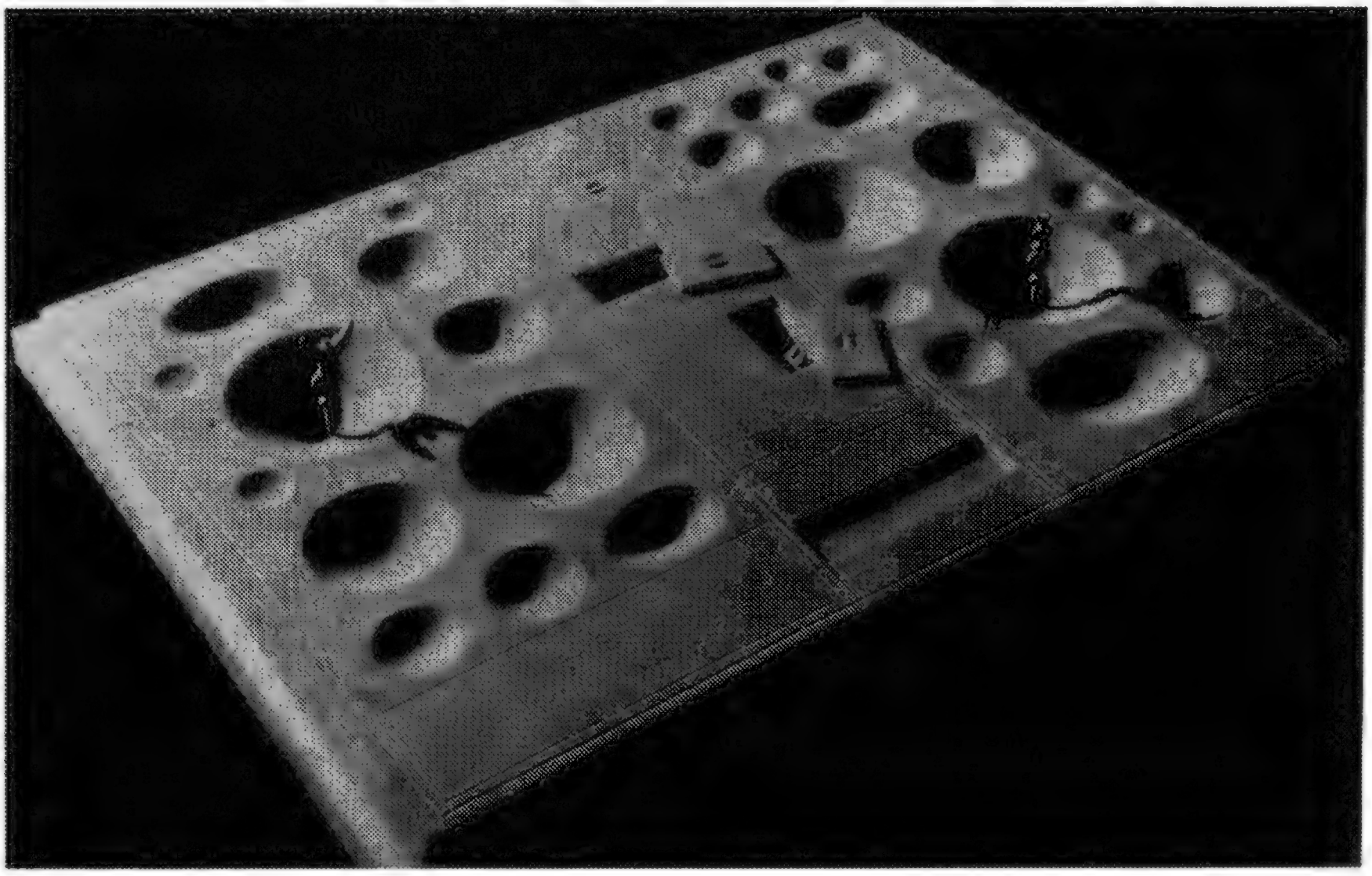
ловеческих тел, предстающие у него в виде отдельных скульптур, таких, как "Рука" или "Нога", перекликаются с фантастическими работами сюрреалистской эпохи: источник у них общий.

Видеть реальность для Джакометти значит открыть глаза на мир, как будто явившийся в первый раз. Создать новое зрение, освобожденное и очищенное от условностей, — зрение, подчиняющее понятие переживанию, а знание — видению. Подобной чистоты взгляда и ответной свежести мира добиваются в постоянном и неистовом столкновении с реальностью, в жаркой, бесконечной и безнадежной борьбе, связывающей противников особой нитью, которая только и может измерить расстояние между ними, подчеркнуть их глубочайшее несходство.

Дело в том, что реальность, воспринимаемая глазом, открывается лишь издалека: она погружена в собственное пространство и окружена отсекающей ее от нас пустотой. Глаз должен диктовать рисующей — пишущей, лепящей — руке, каким способом донести и пластический знак предмета, и то, что отделяет, замуровывает предмет в собственном пространстве, замыкает в глубине и не дает его правде проявиться иначе как на расстоянии и в отдалении. Взгляду предстоит не просто схватить отличительные черты предмета, но и передать его отдаленность, угрозу, призыв и всю сложность связей, которые к нему приковывают, так и оставляя его недостижимым. Создаваемый образ должен соединить знаки яви и признаки ее отдаленности.

Из этого парадоксального требования следуют особенности и вещей Джакометти на разных этапах опыта, и самого́ подхода к ним, самой реальности. Взгляд на человека издали, неотрывный от замуровавшей его пустоты, объясняет удлиненные и вытянутые фигуры, маленькие головы, массивные ступни или громоздкий цоколь, из которого скульптуры вырастают, уходя в него корнями. Объясняет хаотичную, рваную поверхность скульптур, чью форму со всех сторон осаждает неистовая пустота, всякую секунду подтачивая, вздыбливая, пронизывая их.

Если говорить о рисунках, то этой связанной с приближением и отдалением неточностью в них продиктована множественность линий, которые ищут и утверждают друг друга, добиваются подобия, не очерчивая контура и не замыкая формы; она требует прерывистой черты, боль-



Альберто Джакометти. Мы больше не играем. 1932

ших чистых пространств, взывает к прикосновениям ластика, открывающим в переплетении линий просветы для круговращения пустоты и просачивания воздуха.

Но точно так же на полотнах серая и охряная краски, цвета отдаленности, омывают, оглаживают лица, углубляются в лица, выступающие из клубка линий и множества пятен лишь для одного — чтобы показать свою отдаленную власть через судороги глубин.

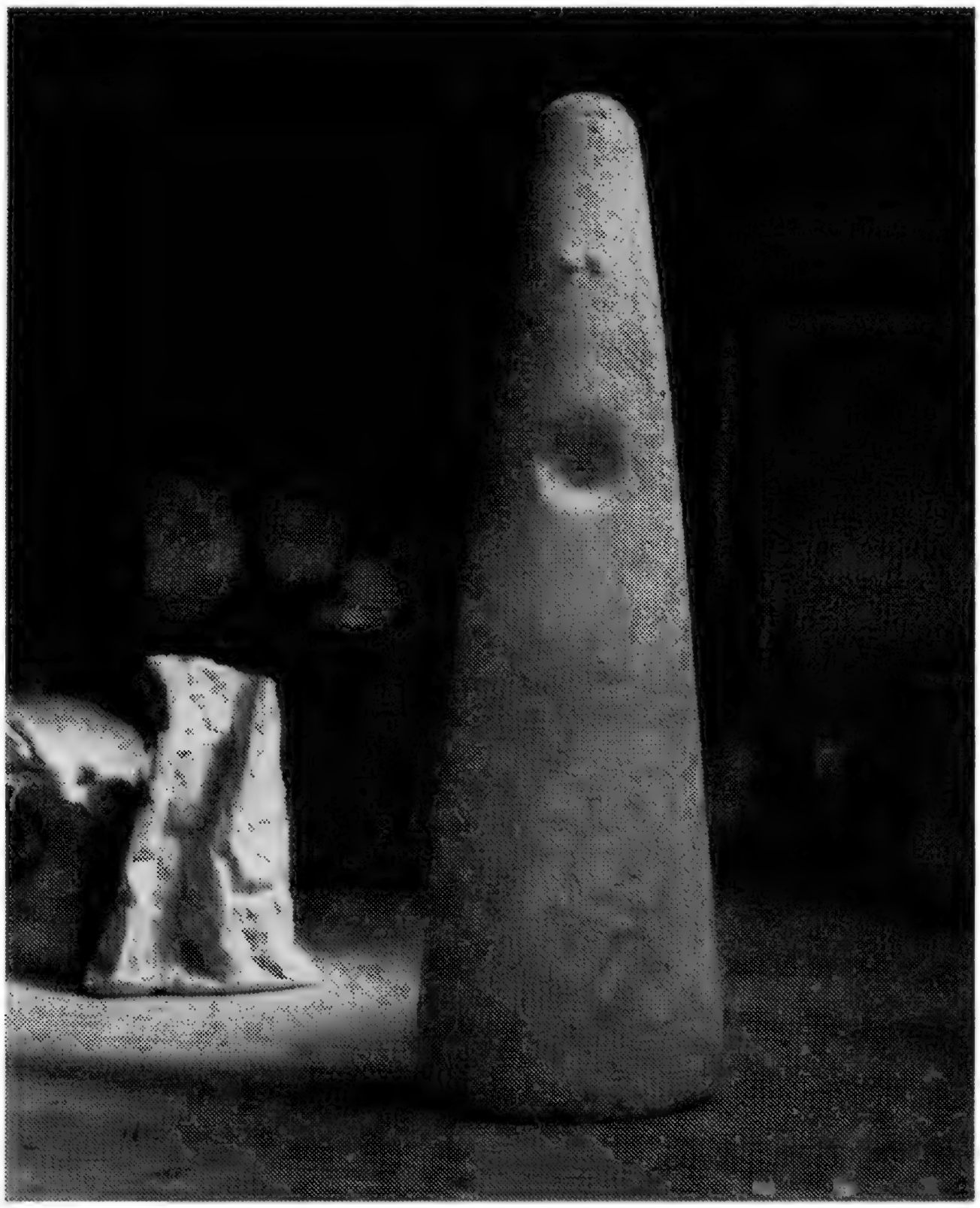
Все созданное Джакометти, все целое его искусства так или иначе восходит к рисунку, который подчиняет себе живопись и скульптуру, а то и воссоединяет, смешивает их. Главное найдено уже с первых прикосновений карандаша, но находка должна быть тут же оспорена, опротестована переплетением штрихов, ткущих своего рода сквозную сеть, из которой во всей своей воплощенной глубине проступает живой и свободный образ. Линия соединяет быстроту броска с повторением атаки, так что реальность, уступая двойному и противоречивому напору, предстает и захваченной врасплох посреди глубокого сна, и вместе с тем еще более утвердившейся в себе при каждом новом натиске этой соблазняющей ее издали жаркой речи.

Тончайшей ли кисточкой на полотне, мнущими ли глину пальцами или кончиком резца, но Джакометти рисует постоянно, сыпля дротиками штрихов, чей убийственный натиск растворяется в бесконечном повторении. Бешенство здесь гасится числом, как монотонность предотвращается остротой каждого укуса.

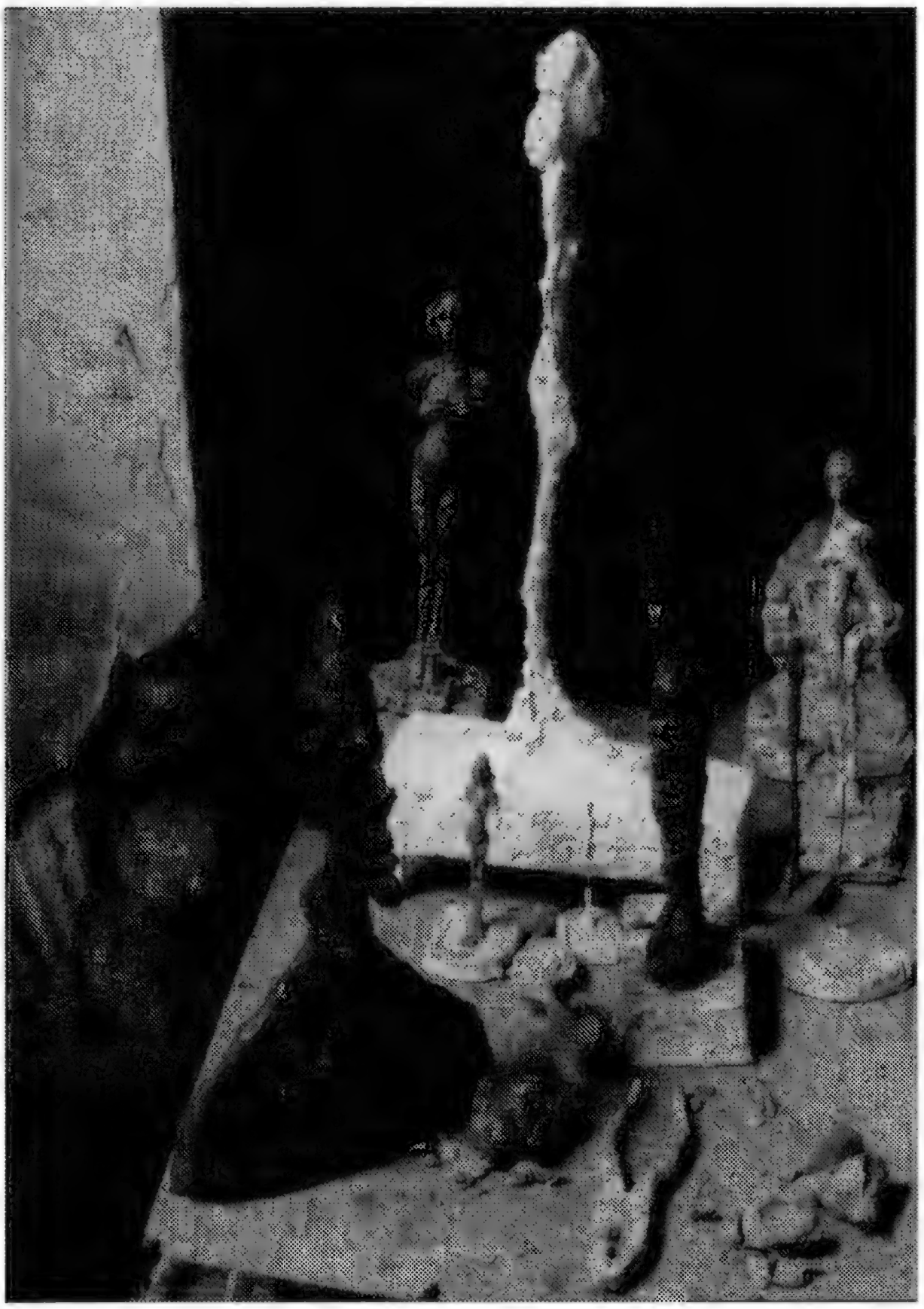
Его скульптуры — это рисунки, помещенные в трехмерное пространство. Им чужда и полнота объема, и гладкость поверхности. Всего массивного, весомого они избегают. Не допуская неспешного кругового обхода, они требуют чтения в лоб. Подставка или подножье фигур подчеркиваются ради одной задачи — высвободить и показать силу их выплеска, их легкость, пространственную хрупкость. Кажется, чего только год за годом ни придумывал Джакометти, чтобы извести скульп-

турное начало, чтобы вытравить его, до конца не устраняя. В 1927-м головы уплощаются до тонкости лезвий и упраздняют объем. Потом конструкции начинают зиять, сквозить, играть с пустотой. Еще позднее символические предметы ставят под вопрос сам язык скульптуры. А после возврата к моделям фигуры становятся крошечными, потом до невозможности вытягиваются, так что в конце концов масса если и сохраняется, то на глазах подается, и холод бронзы несет на себе знаки тектонических колебаний, то здесь то там вздыбливающих скульптурную поверхность.

Но такими же рисунками остаются у Джакометти и живописные полотна, особенно портреты, где относительная устойчивость грунта позволяет художнику перенести свой вечный спор с моделью в запредельные пространства неизмеримого. С самого начала игры изображение уже перед нами: портрет похож, пространство обозначено. Но это лишь начало постоянно пришпориваемой погони, и на ее протяжении образ будет то целиком исчезать, то вдруг опять появляться. Тысячи брошенных наугад, тут же переделанных, налезающих друг на друга, снятых скребком мазков и линий – беглых, неистовых, метких, призрачных – упрямо лезут на холст, оставляя после своего нечаянного вторжения лишь обжигающие следы подступа. Первоначальная яркость красок быстро скрадывается серым, сквозь который теперь лишь слабо просвечивает, как угли из-под пепла. Портреты, натюрморты, пейзажи не столько пишутся красками, сколько рисуются линиями – серыми, черными или белыми линиями, которым порой сквозь кисею серого кое-где отзы-



Альберто Джакометти.
1+1=3. 1934



вается то красный цвет платья, то синева неба. Ровная окраска тут запрещена, но и красочные контрасты неведомы. Писать картину для Джакометти означает снова и снова забрасывать лот линий, ни одна из которых не в силах остановить образ, означает добавлять к любому штриху следующий, который его перечеркивает, с тем чтобы из этого их единодушного взаимоуничтожения только и смогло проступить лицо другого.

Увиденное и написанное, будь то женщина, мастерская или цветок, неотделимо от омывающей и подтачивающей их пустоты. Но этого мало. Оно должно внедриться в пристальный взгляд художника, чтобы дойти в нем до истоков жизни, заронить семя в глубину зрения, добраться до перепутанных корней его существа, чтобы вернуться оттуда с новой жизнью. Эта рана, нанесенная взгляду предметом, взглядом другого, есть погружение в себя, оплодотворяющее углубление образа внутрь и немедленный выплеск на грунт холста, который его на секунду принимает, не в силах удержать. Это обнажение мгновенно высвечивает связь между двумя столкнувшимися существами, внутреннюю напряженность двух одиночеств, всматривающихся в другого поверх зияющей пустоты или бросающих друг другу хрупкий мостик взаимопотрясенного взгляда.

При любом способе выражения (а Джакометти без волнения и усилия переходит от бумаги к холсту или куску глины) его манера остается прежней, его погоня — неповторимой, осатанелой и гибельной, хотя она всегда связана лишь с одним видом искусства, но доведенным до по-

Альберто Джакометти в своем ателье. 1960

следних пределов, нередко даже до самоубийства скульптуры или картины. Не говоря о гигантской гекатомбе вещей любых сортов и разных времен, о пустыре обломков, на который порою походит его мастерская, упорная борьба художника за сходство приводит в конце работы к полному исчезновению образа. Сколько раз в его поздних портретах лицо улетучивалось с холста... Неразличимое на поверхности, погружаясь в серое, вписываясь в филигрань линий, оно тем не менее остается живым и готовым открыться при ближайшей же атаке глаза и руки, в которую поэтому нужно снова идти, от которой поэтому нельзя отказываться, даже если она невозможна.

В бесконечном споре художника с моделью единственные силы, на которые ему стоит рассчитывать, чтобы не спасовать и не уступить ни пяди того, что он по кусочку вырывает у неподатливого неведомого, — это силы самого разрушения, высвобожденные его безумной затеей. Каждое движение, каждый взгляд пробивают в непрозрачности видимого, в стене привычек и условностей новую брешь. Ветхий человек и ветхая скульптура должны быть разбиты разом, чтобы истина обнаженного образа смогла обжечь нас, как незримое пламя из разверстой и закаменевшей глины. Только кромсая, только непрестанно вылущивая, можно воздвигнуть строение человека и дать представшему на холсте лицу, столько раз умиравшему и так долго заслоненному от нас, новую, насыщенную и подлинную жизнь.

Альберто Джакометти бросался на все проходящее у него перед глазами с аппетитом людоеда, с ненасытной страстью. Его завораживали акации на улице Алезиа[1]. Потрясала кофейная чашка и одноногий столик. Он перекопировал все шедевры в истории искусства. Накидывался на любые газеты. Смертно тосковал по рассказам других, знакомых и незнакомцев, — все они были для него внове, каждый увиден в первый раз. Он пожирал новое с такой жадностью не для того, чтобы напитаться и обогатиться, а чтобы сжечь и усвоить. И так же, как он ходил смотреть, а потом пробовал на себе все открытое и показанное "дикими", кубистами, дада и сюрреализмом, чтобы вобрать и растворить их наследие, — так он снова и снова подстерегал и ловил простую, неисчерпаемую реальность, которая не уставала ему позировать. Она его увлекает, приковывает, поражает на каждом шагу и не дается в руки. Он хочет ее тем сильней, чем чаще она от него уходит и оставляет неутоленным. Он гонится за ней, запирает в мастерской. Невозможно быть недоступней, невозможно быть желаннее. Он жаждет ее всю целиком, но жаждет такой, какой видит, — свободной, далекой, недосягаемой. Стремится создать ее в себе и независимо от себя, самому воплотиться в ней и независимо от нее. И воссоздать в изображении близкую и привычную явь вместе с невозможностью подступиться, которая и делает ее такой завораживающей, бесчувственной, богоподобной. Стремясь к абсолюту, он может прийти только к краху. Но краху осознанному и подстегивающему, краху, который бередит рану, оживляет иллюзию и желание, опять подталкивает к бесконечной погоне.

Буравя внешний мир, который он видит и которым живет, очищая его от случайного и наносного, идя в обнажении реальности до самого конца, Джакометти не может так или иначе не коснуться самой сердцевины, не коснуться смерти. И тогда пространство каменеет. Раскрывшийся цветок обращается прахом. Стул как будто повисает в пустоте и безмолвии могилы. А на лице сидящей модели вдруг прорезаются дыры глазниц, выпирают кости, и в неподвижном луче поблескивают зубы умершей. Трагизм идущего мужчины и стоящей женщины, существа и предметы, повисшие на его холстах, отмечены подобным взглядом, подобным опытом. Но Джакометти на этом не останавливается. За суровостью черепа и костей, в огне чужого взгляда он обнаруживает и дает выход сказочной энергии живого, силам преодоления, которыми измеряет неисчерпаемые залежи в других и в себе. Разве можно в воздвигнутых им фигурах и нарисованных лицах, за трагическим свидетельством и следами гибельного распада не различить знаки и мощь подъема, отрывающего их от постамента и загрунтовки как образы утверждения и пробуждения?

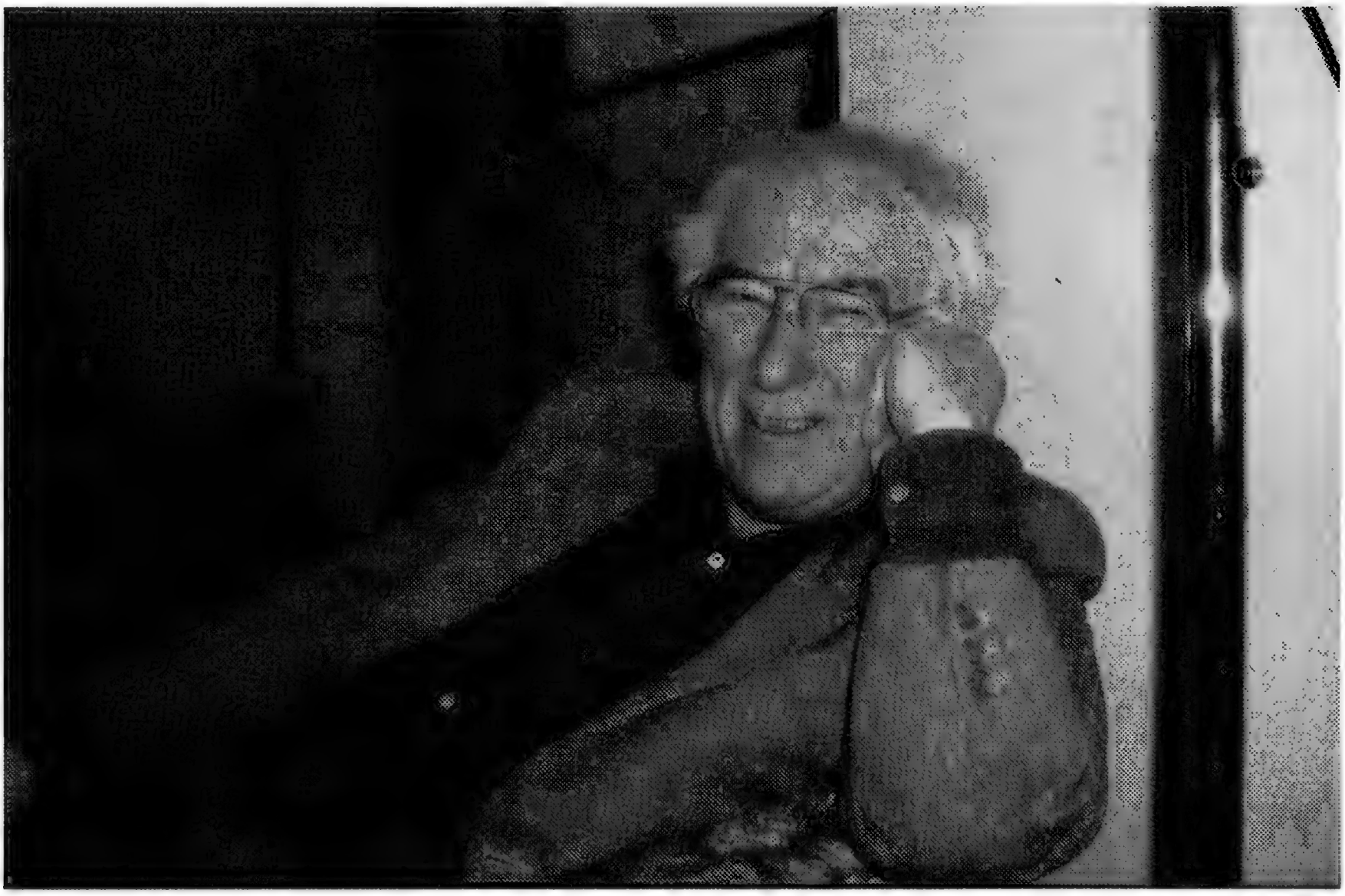
1. Парижская улица на холме Монпарнас, где была мастерская Джакометти.

[262]
ИЛ 2/2004

Григорий Кружков

Изба-писальня

В гостях у Шеймаса Хини

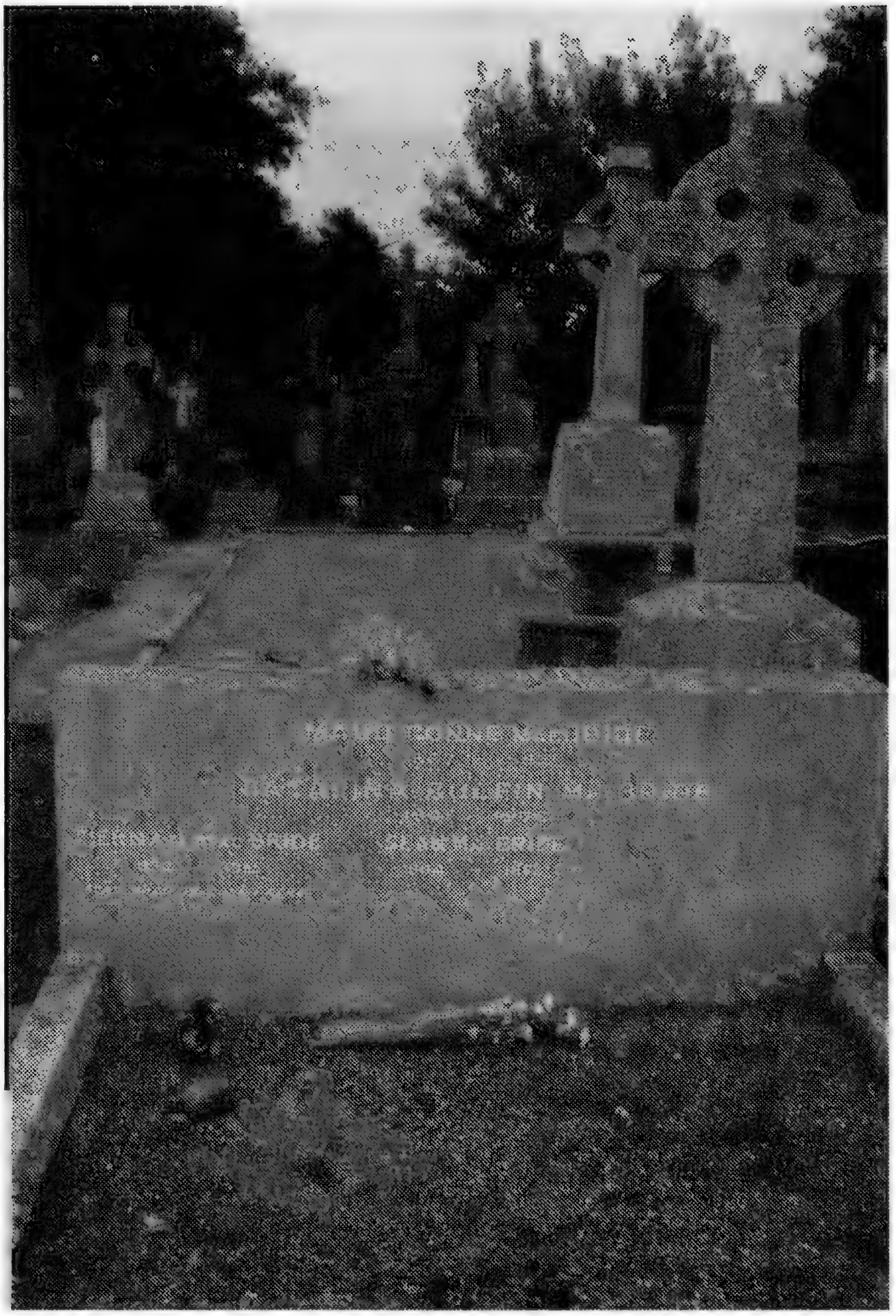


Шеймас Хини

I

Это интервью я взял у Шеймаса Хини во время своей недавней поездки в Дублин, организованной Ирландским поэтическим обществом. Целью поездки был наш совместный с Хини вечер стихов, в котором я выступал как его переводчик на русский язык. Чтение, между прочим, прошло на ура. А на другой день улыбающийся Шеймас ждал меня в машине у гостиницы, чтобы покатать по Дублину и окрестностям. Водит он отлично и с немалым удовольствием – особенно после того, как приобрел подержанный "мерседес". "Купить такой роскошный автомобиль подвиг меня, честно сказать, никто иной, как Джозеф Бродский, – признался Шеймас. – Помню, что, когда он прикатил в Гарвард на своем "мерсе", это показалось чем-то не принятым в нашей среде, дурным тоном. Но вот, несколько лет назад, вспомнив Джозефа, я тоже купил "мерседес" и не

© Г. Кружков, 2004



Могила Мод Гонн на Глесневинском кладбище

могу им нахвалиться. Удобно! Катаюсь туда-сюда по всей Ирландии и Мэри катаю". Хини был одет в уютный синий свитер ирландской вязки с продранным локтем. Плащ (снаружи временами накрапывало) лежал на заднем сиденье. Он надел его, когда мы припарковались у ворот Глесневинского кладбища; прежде всего, Хини хотел показать мне могилу поэта Джерарда Мэнли Хопкинса (1845–1889), который, вместе с Тедом Хьюзом, оказал на него наибольшее влияние в годы его поэтической молодости. "Хопкинс помог мне раскрепостить строку". Мы стояли как бы перед братской могилой или кладбищем внутри кладбища: центральный обелиск и тесаные камни по сторонам участка были сплошь покрыты именами усопших. Это и было братской могилой; здесь хоронили иезуитов, одним из которых был брат "Джерардус Хопкинс".

Я наклонился, чтобы положить свой букет к подножию памятника. "Сохрани что-то для Мод Гонн", – сказал Хини. Я развязал букет и разделил его надвое.

...Она так и не вышла замуж за Йейтса, несмотря на все посвященные ей стихи и многократные предложения. В 1902 году она стала женой Макбрайда, кумира ирландских патриотов, пьяницы и вояки, – расстрелянного англичанами четырнадцать лет спустя, после Дублинского

восстания. Их брак продолжался всего-то несколько месяцев, после чего Мод вынуждена была сбежать от буйного мужа. Но, будучи католиками, они не могли быть официально разведены. И вот — такова сила ирландского брака — роковая возлюбленная Йейтса, его "Сокровенная Роза" покоится под плитой с надписью "Мод Гонн Макбрайд".

В этой части кладбища похоронено много борцов за освобождение Ирландии: солдат, погибших в боях с англичанами и друг с другом (у ирландцев ведь тоже была своя гражданская война), жертв политического насилия и репрессий. По надписям на надгробьях Шеймас Хини читал мне краткий курс истории Ирландии, и вспоминались строки Китса:

Вином — роса на лепестках,
Свечой ей месяц был,
А книгами — надгробья
Заброшенных могил.

То была мудрая лекция человека, много думавшего о разделении людей, о вражде и примирении. Человека, органически чуждого всякого пафоса, ибо ирландский юмор с ним несовместен. И всплески этого юмора среди могил были порой весьма неожиданны. Так он заметил, закончив рассказ о гражданской войне: "Когда в 1923 году в Ирландии наконец-то произошло замирение, Йейтс сразу получил Нобелевскую премию. В 1994 году ИРА пошла на прекращение огня в Ольстере, и на следующий год я тоже получил Нобелевку. Конечно, это всего лишь параллель... но кое-какие подозрения у меня возникают!" Надо было видеть, с какой великолепной ухмылкой он это произнес!

II

Десятилетие мирного процесса в Ольстере совпало с периодом небывалого экономического подъема в Ирландской Республике. В Дублине это заметно, что называется, невооруженным глазом. Люди выглядят счастливей и самоуверенней, чем пятнадцать лет назад. Тогда молодежь после колледжа или университета эмигрировала, потому что дома не было рабочих мест, — сейчас, наоборот, Ирландия манит иммигрантов из многих стран мира. Туризм процветает. В Дублине строят все новые торговые центры, по вечерам в кафе и ресторанах не найти свободного места. Я жил в самом центре Дублина на О'Коннелл-стрит, в двух шагах от так называемой "Милленеум-Спайер" — высоченной иглы из светлого металла, воздвигнутой в честь нового тысячелетия. Выйдя утром из отеля, я сразу увидал ее, удивился и спросил первого встречного: "Что это за штука?" Пожилая женщина, к которой я обратился, моментально ответила с густым дублинским ("укающим") акцентом: "Уэйст о'муни!" ("Деньги на ветер!") и добавила: "Лучше бы они истратили их на больницы". Героический порыв и трезвая практичность причудливо сочетаются в характере нации. В стихотворении "О'Рахилли" Йейтс писал об инсургентах, погибших во время Кровавой пасхи и знавших, что они приносят себя в жертву Ирландии. Каждая строфа заканчивается саркастической репликой обывателя, озабоченного совсем другим:

— Как там погодка нынче?

Кто-то сказал, что на Генри-стрит, где в "последнем уличном бою" погиб тот самый О'Рахилли, кровью написавший на стене собственную эпитафию, есть памятная доска. Я нарочно ее искал, но обнаружить не смог. Трое полицейских, совершавших утренний обход, недоуменно пожали плечами. Зато повсюду висели огромные рекламные паруса: "Лучший шоппинг — на Генри-стрит!"

Рядом, практически на том же углу, здание Центрального почтамта, бывшее штабом восставших. Внутри памятник древнему воину Кухулину, который погиб стоя, привязав себя к скале. Помню по прошлому моему приезду: Кухулин стоял между столиками для посетителей и операционными окошками, люди озабоченно сновали вокруг, занятые своими делами. Теперь статую решили перенести в сторону, к окну. Получилось еще чуднее: умирающий Кухулин с черным вороном на плече выставлен в витрине почтамта как реклама — не то героическому прошлому Ирландии, не то почтовому делу.

Джойс, бежавший отсюда в Европу в 1904 году, чтобы никогда больше не возвращаться в Дублин, тоже расположился неподалеку: на другой стороне улицы, в начале Талбот-стрит, виднеется его выразительная фигура с чаплинской тросточкой в руке. На низком постаменте целыми днями сидит рыжеватый чудик, никуда не спешащий и ничего ни у кого не просящий, только лишь бормочущий что-то себе под нос, — не столько нищий, сколько одинокий.

В следующем году исполняется столетие Дня Блума — того самого, увековеченного писателем дня 16 июня 1904 года, когда Джойс повстречал на улице свою будущую жену Нору. Читатели "Улисса" и просто праздношатающиеся со всего мира приедут в Дублин, чтобы отметить то, что давно стало легендой и живет отдельно от текста замысловатого романа. Тысячи паломников усердно повторят блуждания Леопольда Блума и Стивена Дедалуса по дублинским улицам — от вывески к вывеске, от паба к пабу...

И я приобщился к этому странному культу! Вот в этой "Аптеке Суини" Блум купил мыло для Молли — точно такое же пахучее желтое мыло в форме маленьких лимончиков в деревянной коробке купил и я, слегка посудачив с продавщицей на литературные темы. У Дейви Барна, где Блум вкушал стаканчик вина с сыром ("Приятное спокойное место. Красивая деревянная панель на стойке...") и где вчера в присутствии министра спорта, туризма и культуры прошла презентация юбилейного конкурса на лучший рассказ, я прикарманил коробок спичек с надписью "Дейви Барн".

Дублин — маленький город. Рядом с гостиницей "Финн", где трудилась горничной Нора Барнакль, стоит дом, в котором родился Оскар Уайльд, — вон он в сквере через дорогу разлегся на пригорке с зеленой гвоздикой в петлице! А кварталом дальше, в сером георгианском доме в 1920-х годах, в пору своего сенаторства, жил Уильям Йейтс; то есть здесь жила его грубая материальная оболочка, а духовная составляющая пребывала далеко отсюда, в старинной башне Тур Баллили, воспетой им в сборниках стихов "Башня" и "Винтовая лестница".

Григорий Кружков. Изба-писальня

III

Не о том ли писал и Шеймас Хини в эссе "Приют писателя"? Вот эта цитата: "Бóльшую часть жизни Йейтс прожил в домах, которые были просто машинами для жилья. Дом, в котором он родился на Сэндимаунт-авеню в Дублине, – обычный двухподъездный викторианский дом с эркерами, крылечками и полуподвальным этажом, в своей респектабельной буржуазности вряд ли поддавался мифологизации. То же самое относится к лондонской квартире в Блумсбери и дублинской на Меррион-сквер, бывшей его главной резиденцией в то время, когда поэт заканчивал свой цикл стихов о башне. Адреса, ничего не значившие в мире его воображения. Дома, которые не могли стать символами. В них Йейтс навсегда остался бы наедине со своим прозаическим Я".

Ага! Отметим про себя: Сэндимаунт-авеню. Место рождения Йейтса. Но ведь Сэндимаунт – постоянный дублинский адрес Хини. Случайно ли поэт, рожденный в год смерти Йейтса, избрал это место для своего дома?

Пригородный поселок Сэндимаунт расположен вдоль побережья – так полого уходящего в море, что во время отлива залив чуть ли не до горизонта превращается в плоскую болотистую равнину. Дом Хини, значительно расширенный после получения шведской премии, – семейное гнездо, из которого уже выпорхнули на волю дети: Майкл, Кристофер и Кэтрин-Энн. Два кабинета: нижний для рутинной работы – счета, письма, бумаги (у Шеймаса нет секретаря) и верхний – для более творческих занятий. В нижнем над столом висит красочный портрет коровы, в верхнем на рабочем столике перед окном – миниатюрные глиняные фигурки: та же коровка, свинка, собачка, лошадка. Шеймас Хини, как в свое время Роберт Фрост, не прочь напомнить о своем крестьянском происхождении.

И, конечно, вокруг множество сувениров. Прежде всего, Шеймас достал и позволил мне поколупать свою нобелевскую медаль. ("Подумаешь, – сказал я, – у меня тоже дома есть золотая медаль. За отличную учебу и примерное поведение".) Потом я сфотографировал Хини с ватерпасом в руках ("Ватерпас" – название одного из его последних сборников стихов). В ответ Шеймас предложил сфотографировать меня в шляпе Джорджа О'Брайана, знаменитого актера голливудских вестернов. И я с удовольствием снялся в ковбойской шляпе на фоне все той же священной коровы.

Попив чаю на кухне, где я заметил на буфете портрет Бориса Пастернака с Ольгой Ивинской – мой подарок Мэри и Шеймасу в нашу прошлую встречу, и забрав целую кучу подаренных мне книг, мы отправились в графство Уиклоу, где Хини обещал мне показать Гленмор-коттедж – свой главный "писательский приют". Там, в тишине и уединении, мы рассчитывали подкрепиться, для чего заранее была сложена целая коробка харчей – благополучно забытая нами на столе в прихожей. Обнаружено это было лишь по прибытии на место, после долгого окольного пути по сельским дорогам Уиклоу – живописного гористого края, выглядевшего, как и многие другие места Ирландии, изумительно девственным и изумрудным.

И вот наконец Гленмор-коттедж – легендарная "изба-писальня" (так я решил в конце концов перевести выражение "the place of writing"), место, которое мне давно хотелось увидеть. Двухэтажный сельский дом, простой и какой-то задумчиво-пустой, как наши дачи, в которых живут

только наездами. Хини сразу обратил мое внимание на грубую коричневую скамью, похожую на ларь с мукой. "Это скамейная кровать — старинная вещь, ее мне подарила, вернее, завещала одна старая крестьянка. Вот так в ней спали". Откинув крючки по бокам, Шеймас разложил скамью и лег внутрь — прямо на доски. Потом снова сложил немудреную конструкцию и улегся на нее сверху. Я сфотографировал обе фазы демонстрации. А стихотворение Хини про эту скамью я перевел уже дома, в Москве. Вот тебе и первая польза! — как говаривал киплинговский Питон Слоненку. Не увидев такого воочию, ни за что не поймешь.

Скамейная кровать
(The Settle Bed)

Вещь завещанная, жданная и вставшая намертво
В угол: громоздкая как ларь или телега, прямая
Как церковная скамья, раскладная, с крючками.

Лягу внутрь, в этот короб тесовый, сосновый,
Вроде люльки или ладьи погребальной;
Он придется мне впору — как мерку снимали.

Слышу, древние волны плещут в мое изголовье,
Монотонные ритмы наших ольстерских гимнов,
Долгих охов и ахов — деловитых, настырных,

Протестантских ли с библией, католических с четками
Повечерий, разговоров вполголоса в свете
Догорающего очага... Дальний колокол

Или крик петуха над ребристою кровлей —
Это ль наше наследие? Неказистое, темное,
В дальний угол задвинутое, оно возвращается

Вновь и вновь, как корабль, тяжело нагруженный
Несговорчивым грузом, — держащийся прочно
На шипах и пазах своих. Вот я и подумал:

Если б вдруг небеса, ради шутки, низвергли
Целый ливень кроватей скамейных — чтоб люди,
Этой местью безвредной застигнуты, поняли,

Что, каким бы нелепым ни казалось приданое
Наших бабушек, но предать его нам обойдется
Слишком дорого. Помните старую байку,

Как на мачте дозорный матрос, долго вглядывавшийся
В даль туманную, слез — и вдруг обнаружил,
Что корабль-то его в это время украли?

IV

Здесь, в маленьком коттедже вдали от благ цивилизации я и взял у Шеймаса это интервью. Все равно больше заняться было нечем: полбутылки

Хини демонстрирует свою скамейную кровать

виски, нашедшиеся в буфете, мы допили, а коробка с едой — как я уже докладывал выше... Естественно, мой первый вопрос был о доме.

— *Как ты оказался в Гленморе?*

— Если коротко, то благодаря случаю. В 1971—1972 годах я собрался оставить свою работу в Белфастском университете. К тому времени я преподавал уже шесть лет, выпустил три книги стихов. Но я не чувствовал себя действительно поэтом. Ну, три книжки, ну, похвалили. В общем, я решил, что настало время удалиться в пустыню, чтобы испытать себя[1]. И вот мы с женой и двумя детьми вознамерились уехать из Белфаста и поселиться где-нибудь в деревне в Северной Ирландии. Одна наша знакомая, живущая в Канаде, прослышала про наше решение и написала мне письмо в феврале 1972 года: "У меня есть домик в Уиклоу. Поезжайте туда и посмотрите: вдруг вам понравится. Если захотите, вы можете его снять". И вот мы всей семьей отправились смотреть этот домик. Женщина, которой он принадлежал, Энн Седдлмайер, была специалистом по Джону Миллингтону Сингу[2] и издателем его произведе-

1. Ходили упорные слухи, что Хини был внесен в черные списки террористов ИРА за свою "непатриотическую позицию": он отказался написать предисловие к стихам ирландского боевика, умершего в тюрьме во время голодовки. В интервью Хини аккуратно обходит эту тему, и я соответственно воздерживаюсь от расспросов.

2. *Джон Миллингтон Синг* (1871—1909) — драматург, друг Йейтса, автор знаменитой пьесы "Удалой молодец — гордость Запада" (1907).

ний. Предки Синга владели поместьем в этих местах, частью которого был этот домик, так что у нее был тут свой интерес. А до нее домиком владела миссис Джеффарс, мать профессора Нормана Джеффарса, биографа и комментатора Уильяма Йейтса. Так что у этого места была литературная аура, и по этой причине, как я думаю, Энн Седдлмайер и предложила его нам. Мы жили здесь четыре года, платя очень-очень низкую арендную плату, и когда я переехал в Дублин, у меня было чувство, будто я предаю что-то важное в себе. Я покинул Север, друзей, я не был уверен в том, что я пишу, хотя и четко понимал, что именно в поэзии мое призвание. В общем, здесь я провел четыре самых важных творческих года в моей жизни. Но родился еще один ребенок, а домик, как вы видите, небольшой, и тут еще Майкл и Кристофер подрастали, Майклу в 1976 году исполнилось десять, нужно было думать об их учебе. Мы переехали в Дублин, в более просторный дом, дети пошли в школу. Я знал, что для блага семьи это был правильный шаг, но для моей внутренней жизни покинуть этот домик, где я чувствовал себя так уверенно и уютно, было очень трудно. Так что, когда Энн Седдлмайер в 1987 году предложила мне купить Гленмор-коттедж, это было как дар свыше, настоящее счастье. Она продала нам домик очень дешево. И вот уже шестнадцать лет он остается для меня моей дачей, "избой-писальней" и спасательной лодкой для моей писательской жизни. Здесь нет телефона, я приезжаю сюда на два, на три дня, чтобы в полном покое и тишине что-то написать или закончить. Это для меня больше, чем убежище, это — как подключиться к розетке и вновь зарядить свои батареи.

— А когда вы с семьей сюда приехали, ты зарабатывал на жизнь рецензиями в газетах?

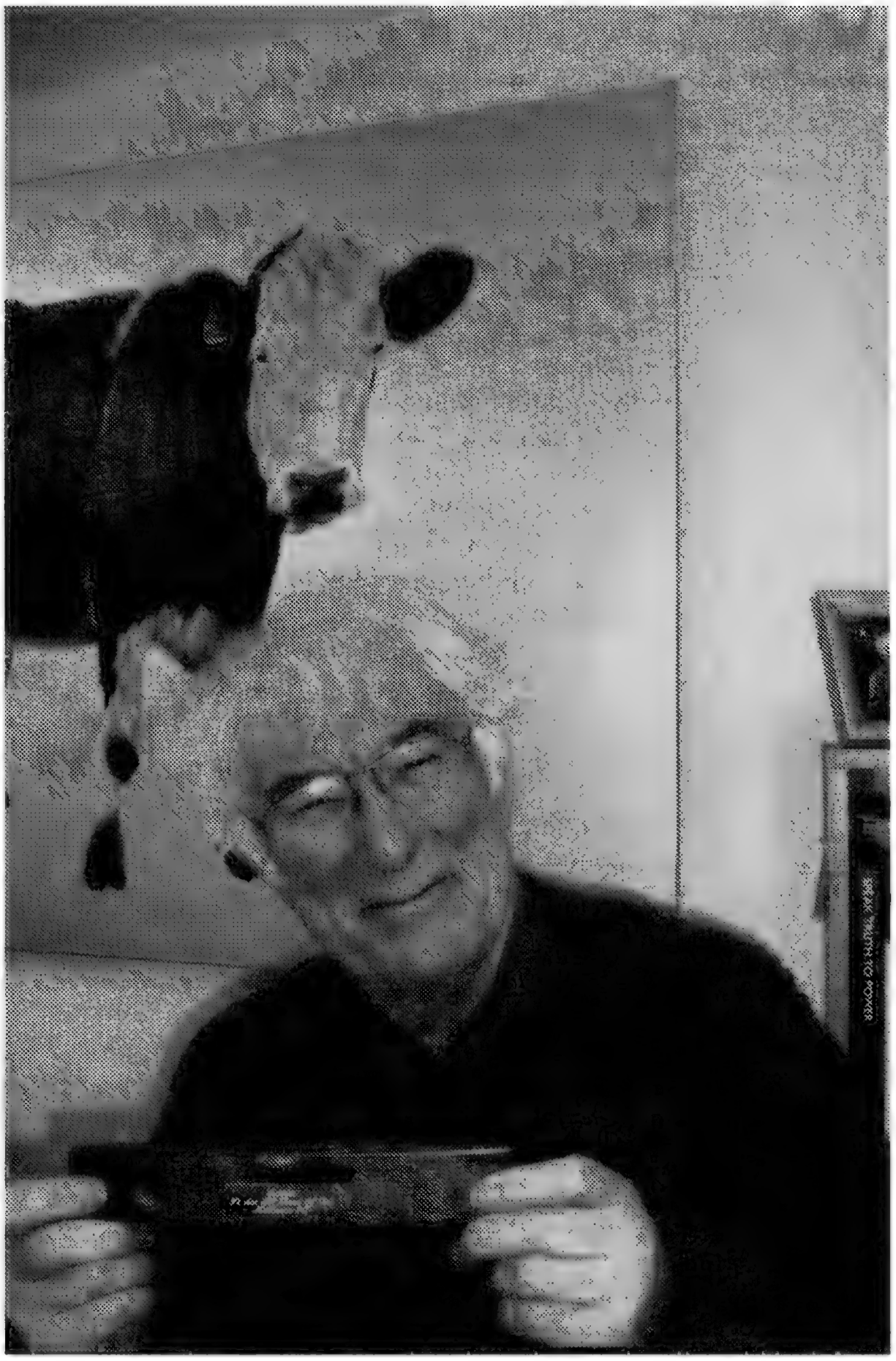
— Кроме рецензий, у меня была еще еженедельная радиопрограмма, за которую я получал 25 фунтов. Мы жили очень экономно, за домик платили 20 фунтов в месяц, всего ничего, кроме того, я выступал, писал рецензии, делал еще кое-какую работу на радио, и нам хватало, вполне хватало. Но когда со временем я осознал, что на мне трое детей, пришлось снова вернуться к преподаванию — в Дублинском педагогическом колледже. Потом, в 1980-х годах мне повезло, меня пригласили в Гарвард. Десять лет подряд я четыре месяца в году проводил в Гарварде, отучивал семестр и возвращался в Ирландию. Эти четыре месяца кормили нас целый год. Все изменилось и, надо сказать, приятно изменилось с получением чека от Шведской академии. Пошла совсем другая жизнь. Я смог оставить преподавание.

— Сборник "Север" написан здесь?

— Совершенно верно. И перевод "Скитаний Суини". Дело в том, что когда я очутился здесь, без работы, без всякого постоянного дела, я сначала немного растерялся. Все-таки десять лет учительства, привычка... Я не знал, чем буду заполнять каждый день. Так появились "Скитания Суини" — повесть, которую я нашел в "Трудах Общества по изучению древнеирландских текстов". Текст был двуязычный: на левой странице разворота — ирландский, на правой — английский. Я знал, что эта работа займет меня надолго. Я отдал ей целый год. Шесть лет спустя я вернулся к ней снова.

— А первая версия? Это был поэтический перевод или переложение?

— Это был как бы перевод с английского научного перевода. В книге моих избранных статей "Чур, мое" есть рассказ об этом, который я на-



Шеймас Хини у себя в кабинете

звал "Право на рифму". В первый раз, когда я приступил к переводу, я интерпретировал его очень вольно. Кое-где я следовал близко к ирландскому тексту, а в других местах добавлял от себя, по интуиции.

— *Пересказывал по-своему?*

— Да. К тому же, есть еще проблема строфы и ритма. Ирландская форма очень строгая. Те же ритмы и каденции, которые я употреблял, были весьма свободными. Вообще, в этой первой версии была какая-то вялость, приблизительность. Это было не совсем правильно. Я знал, что мне придется переделать перевод. Но, с другой стороны, хотелось докончить уже начатое, дойти до конца. Только шесть лет спустя я уселся за переработку.

— *Эта первая версия опубликована?*

— Нет. Но в "Праве на рифму" есть примеры, показывающие разницу между двумя версиями.

— *Что тебя привлекло в "Скитаниях Суини"?*

— Впервые я наткнулся на фрагменты этой вещи в романе Флэнна О'Брайана "Две уточки на плаву". Там Суини выведен как комический персонаж. Некоторые из приведенных там стихов решены в утрированно комическом ключе, но в них есть чувство природы, дух старинной ирландской поэзии. Второе место, где я встретился с этой вещью, была "Кельтская антология" Кеннета Джексона. Там были эти маленькие отрывки о природе, настоящие жемчужины, напоминающие шедевры китайской или японской поэзии. Они меня вдохновили. Кроме того, должен признаться, была еще большая доля отождествления себя с героем, поэтического эгоизма, ибо повесть рассказывает о короле, который бежал с поля битвы и скитался по Ирландии. Этот король правил на Севере, в местах очень близких к тем, откуда я родом. Напрашивалась аналогия: вот я здесь, в Уиклоу, бежавший с Севера от крови и насилия.

— *Как бы изгнанник "с милого севера в сторону южную".*

— Ну, да. Здесь было, конечно, залезание на котурны. Но было и совсем другое. Эти места... Если поглядеть в окно, увидишь траву, листву, обвитые плющом стволы. Если жить здесь круглый год, однажды заметишь, как деревья начинают желтеть и облетать или как набухают почки. На смену лету идет осень, потом зима... После многих лет, проведенных в Белфасте, это было для меня как новое обретение мира. И поэзия Суини давала возможность прямого отклика на эту природную, первобытную радость. Так что, в определенном смысле, вдохновила меня сама жизнь в этих местах, среди этих полей...

— *Наверное, был важен и контраст. Не просто природа, а бегство от шума мира в тишину природы...*

— Согласен. Чувство оторванности от мира было очень сильным. Много лет спустя я написал здесь еще один цикл стихотворений, включенный в сборник "Остров Покаяния" под названием "Sweeney Redivivus"[1], там есть пара стихотворений, герой которых наполовину Суини, наполовину я сам — беглец с Севера. Как бы там ни было, Суини и Хини хорошо рифмуются.

— *Помнится, в этом цикле есть еще стихи про древних писцов, про чернила из ягод остролиста...*

— Совершенно верно. В конце повести Суини попадает в Сент-Молинс, к югу отсюда, на границе графства Уэксфорд. Я был в тех местах, посетил расположенный там древний монастырь. Суини появляется там, садится верхом на стену, и святой Молинг ему говорит: "Живи с нами в монастыре, мы запишем твою историю". И вот Суини, как у меня и описано в стихах, прилетает каждый вечер к монахам и рассказывает свою историю. А они, наслушавшись, целый день ее прилежно записывают. Мне увиделась аналогия со мной, улетающим в Гарвард, и другими ирландскими писателями, остающимися дома. Тема литературной ревности, всяческих обид...

— *В связи с этой аналогией... Значит, ты допускаешь, что бывает ситуация, когда поэт предпочитает говорить не от себя, а как бы устами другого поэта, чтобы лучше объяснить то, что происходит лично с ним? Объяснить не впрямую, а посредством аналогии или параллели. Короче говоря, когда хочется зашифровать свои мысли.*

— Вот именно, зашифровать. Да, порою так бывает. Но не всегда. Видишь ли, иной раз хочется что-то сделать из естественного сочувствия. Не в этом ли главная прелесть перевода, чтобы бескорыстно вдохновиться и сказать: "Поглядите, какое чудо! Такое непохожее и такое прекрасное!" Я не утверждаю, что всегда так получается. Двадцать лет назад у меня было сильное искушение перевести "Божественную комедию", в частности, "Inferno". Не решился лишь потому, что недостаточно знал итальянский и не чувствовал себя вправе. Но когда я перечитывал ее, она неожиданно соединились с моим паломничеством на озеро Лох-Дерг. Так возникла поэма "Остров покаяния", написанная терцинами, — она и есть, в некотором роде, мое переложение дантовской "Комедии".

— *Кстати, вопрос о комедии. Он также имеет отношение к Суини. Многие места в этой повести явно имеют комический оттенок.*

1. "Суини воскресший" (*лат.*).

— Согласен.

— *Так вот. Мне кажется, что, хотя в жизни ты безусловно обладаешь замечательным чувством юмора, но в поэзии ты, как правило, избегаешь иронического тона. Что-то в этом вордсвортианское, неправда ли? Или как Бодлер однажды написал: "Есть многое, что щекочет нёбо писателя. Доблесть в том, чтобы остановиться на пороге смеха, на грани искушения".*

— Начну с того, что на самом деле я написал много легких стихов на случай, неопубликованных стихов. Это — часть моего социального существования, социального поведения. Но поэзия — совсем другое. Это внутренний голос. Я писал в глубоко романтическом ключе, с точки зрения поэтического сознания, моего сознания. Я установил для себя планку, которой нельзя достичь просто так. Это какой-то скрытый кабель, к которому ты подключаешься. Вот, пожалуй, правильная аналогия. Когда возникает некое впечатление, или звук, или идея стихотворения и я чувствую, что здесь есть поэзия, я как будто подключаюсь к какому-то кабелю, недоступному в обычной жизни.

— *И ты, как мусульманин, снимаешь туфли перед входом в мечеть?*

— Я не хочу, чтобы это прозвучало слишком сакрально, но... Как бы это объяснить? Вопрос, действительно, хороший. Мне кажется, что чрезвычайно трудно внести это, то есть смех, в поэзию, если только у тебя нет природного комического дара. Он был у Байрона... наверное, у Одена, у Стиви Смит... может быть, у Пушкина, я не уверен...

— *Каванах умел посмеяться над собой. И даже Йейтс. Иногда. Чуть-чуть.*

— Да, иногда он мог.

— *Кстати, вопрос о Йейтсе. Мне видится глубокий разрыв между Йейтсом и последующей ирландской поэзией. Знаешь ли ты кого-нибудь, кто пошел по стопам Йейтса? Я не знаю...*

— Такого и нет... В творчестве Йейтса был героический аспект, почти как у основателя нации. Йейтс — это и начало, и конец. Конец эпохи. Ведь он принадлежал по своей сути к дореволюционной культуре. Он был современником символистов в России. Чуть постарше поколения Мандельштама, тем не менее, он был представителем элиты девятнадцатого века, оказавшимся в двадцатом демократическом столетии. Будь то советская власть в России или приход к власти католического крестьянского большинства в Ирландии... У Йейтса была вера в возвышенное призвание писателя. И трагическое ощущение, что что-то заканчивается. Не только в Ирландии, но вообще в Европе. И наряду с этим трагическим ощущением конца — ощущение, что начинается что-то новое в Ирландии, это тоже его привлекало. Я думаю, что такие большие, эпические, героические цели, возможности, переживания были просто недоступны писателям после Йейтса. Не говоря уж о разнице в масштабе таланта. У Йейтса был огромный природный поэтический талант, но главное, его крупный взгляд на мир и величие целей. Я не думаю, что кто-либо после него мог позволить себе иметь такие амбиции — героические, эпические амбиции. Господствует идея, что опасно быть национальной фигурой, поэтом национального призвания. После Д'Аннунцио, после коммунизма, после 1930-х годов с их политизацией возобладало скептическое отношение к героическим целям и амбициям в литературе. Каванах яростно их отрицал. И, вместе с тем, согласись, Каванах разбазарил изрядную часть своего таланта.

— *Пожалуй.*

— Величайшее достижение Каванаха было в том, что он пришел из деревни, из графства Монахан, без всяких связей и привилегий и сам сделал себя. "Великий голод" — великая поэма. Но потом он, я думаю, растранжирил свой дар. Между "Великим голодом" и поздними стихами ("Скамья у канала" и т. д.) он пятнадцать лет провел, прилежно пьянствуя... ну и сражаясь с другими, менее одаренными сверстниками. Я согласен, что Каванах — раскрепощающий пример, но хотелось бы, чтобы у него было больше того, что можно предъявить потомкам. Джон Монтегю как-то сказал о нем одну вещь — резкую, жестокую, но в чем-то верную. Он сказал: "Каванах освободил нас, но он освободил нас для невежества". В общем, он дал нам возможность писать о том мире, в котором мы живем, разрешил, так сказать, негероические стихи. Вот что он сделал. Йейтс освободил нас для благородных целей, для великих дерзаний. А стихи Каванаха, в особенности поздние с их горьким юмором, как будто говорят: расслабься, просто расслабься и смотри по сторонам, не нужно никуда стремиться.

— *Значит, ты считаешь, что аристократическая, возвышенная поэзия в духе Йейтса не может более существовать в Ирландии?*

— Нет, я этого не говорил. Нужно учесть, что Каванах и Макнис сформировались в исторической атмосфере после Первой мировой войны. Это было раненое поколение, раненый мир, поэтическая культура, в целом, была поколеблена. В наше время наследником Йейтса в некотором смысле, только в некотором смысле, может быть назван Дерек Махун. Прежде всего, Махун в ряде стихотворений применяет формальную строфику и, вместе с тем, благородный, торжественный тон с музыкальными каденциями. Я имею в виду, например, его знаменитое стихотворение "Заброшенный сарай в графстве Уэксфорд". В этих стихах есть пафос, красноречие, философское звучание. Он, по меньшей мере, пытается идти в этом направлении. Но больше я никого не вижу. Томас Кинселла скорее находится под влиянием Эзры Паунда. Хотя в нем есть немало от джойсовского стремления выковать в кузнице души "народа неоформленную сущность". Ему не чужд бич сатиры; он стремится бичевать материализм и заниженные цели, которые ставит перед собой культура коммерциализированной Ирландии, этого новоявленного "кельтского тигра". Но все это выражено во фрагментарной, паундианской манере.

— *Иначе говоря, ирландской поэзии не хватает величия.*

— Совершенно верно.

— *Мне вспоминается случай Мандельштама. Он происходил из буржуазной еврейской среды и в русской дворянской культуре (где антисемитизм был бытовым явлением) чувствовал себя не всегда уютно. В 1919 году в Крыму его чуть не расстреляли белые, заподозрив в нем красного шпиона. Но когда эта дворянская, офицерская культура была сломлена большевиками, когда пошла игра на понижение, на сведение нужд человека к физиологическим потребностям, он вдруг выступил ярым приверженцем старой, оказавшейся вне закона культуры: "Я пью за военные астры, за все, чем корили меня..." И, ностальгируя, перечисляет милые вещи ушедшей имперской России и отрезанной, недоступной для него Европы. Неправда ли, это напоминает "Усадьбы" Йейтса в его цикле про гражданскую войну? Символы величия, противопоставленные приметам ме-*

лочности и посредственности. Все это закончилось на Йейтсе. После него поэты, по-видимому, приняли тиранию большинства.

— Ну, Каванах презирал посредственность, окружавшую его. Он часто чувствовал себя — аутсайдером в Дублине — чудаком, посторонним. Вспомни: "Когда вам случится в Дублин попасть..." и т. д. Его проза полна яростного негодования.

— *Это важно для поэта – чувствовать себя аутсайдером?*

— Давай возьмем мой собственный пример. В Северной Ирландии, в Белфасте, где я жил, быть католиком автоматически означало быть на подозрении у власти, у правительства этого маленького юнионистского государства. Это было как ярлык. В то же самое время я мог разговаривать с министром по делам Северной Ирландии о своих литературных образцах. И в самом деле, мои литературные образцы были про преимуществу английские. А мои политическая и культурная ориентации были, конечно, ирландскими. В этом случае, как и в случае с многими другими северно-ирландскими писателями, например, Полом Малдуном, Майклом Лонгли, чувство особости, отделенности доминировало. Но я хотел бы вернуться к своему переезду в Уиклоу. Мне было уже тридцать с чем-то лет, и только в Уиклоу я впервые начал серьезно читать Йейтса. И все-таки я чувствовал себя немножко аутсайдером и в Ирландской Республике. По другому, чем в Северной Ирландии, и все же. Я и в Британии чувствую себя — несмотря на свою причастность ко всему — немножко чужаком. Повсюду я смотрю на мир отчасти изнутри, отчасти снаружи. В придачу, начиная с 1995 года, я кажусь себе какой-то декоративной фигуркой, как бы национальным "маскотом" — ну, знаешь, такой штучкой, которую прикрепляют к капоту машины...

— *Может быть, это чувство аутсайдера сохранило тебя как поэта.*

— О, да!

— *То, как поэт себя позиционирует, очень важно.*

— Как сказать... Что бы я ни сделал, на меня смотрят как на отлично устроившегося человека, как на часть истэблишмента. И это верно. Так уж получилось. Я делаю все, чего от меня ожидают. Но внутренне я по-прежнему чувствую, что моя хата с краю.

— *Мне вспоминается случай Теда Хьюза. Не странно ли, что такой человек, как Хьюз, носил титул поэта-лауреата и должен был писать официальные стихи к официальным датам?*

— Странно, но лишь отчасти. Шутка в том, что у Хьюза действительно было эпическое и мифологическое ощущение Англии. Когда он думал о королевской власти, он видел перед собой не эту маленькую женщину, Елизавету Виндзорскую или ее заурядного благонамеренного сына Чарльза. Точнее, он видел их как бы на сцене шекспировского театра. Старая Англия, Англия до Реформации для него была по-прежнему живой. Современность казалась ему домом, населенным призраками.

— *Какими призраками?*

— Призраками еще докельтских обитателей Англии, викингов, монахов, рыцарей, Чосера, Шекспира, и так далее. У него, если хочешь, был йейтсовский взгляд на страну — только не на Ирландию, а на Англию.

— *А можешь рассказать, как и когда вы познакомились с Тедом Хьюзом?*

— Прежде всего, я его прочел. Я прочел стихи Хьюза, и они произвели на меня очень сильное впечатление. Помню, как я впервые открыл его книгу в Белфастской публичной библиотеке. Особенно стихотворе-

ние о мертвой свинье. Я думал, что это запрещенная тема в поэзии XX века. Это было какое-то средневековье. Оно меня потрясло. Подействовали, во первых, материал, во-вторых, мощь языка. Можно сказать, что Хьюз разбудил меня как поэта и побудил писать. Впервые мы встретились в 1962 году в Херфорде, где я преподавал на учительских курсах, а Хьюз выступал со стихами. Затем, в 1967 году, в Дублине. Тогда я пригласил его в Белфаст, и на следующий год он приехал. С ним была Ася Гудман, женщина, с которой он жил после Сильвии Плат. Она тоже покончила самоубийством вместе с их маленькой дочерью Шурой, это случилось в начале 1969 года. А тогда было выступление, потом мы все четверо пошли в ресторан, оттуда к нам домой. Тед пригласил нас к нему в Англию, и в конце концов мы тоже съездили к нему в гости. В общем, постепенно завязалась дружба. Она была основана, прежде всего, на моем глубоком чувстве благодарности за его стихи. И за его статьи о поэзии. Он написал небольшую книгу для школ под названием "Как рождается поэзия". Ее передавали по радио, это была замечательная вещь. Как человек Тед производил очень сильное впечатление, его нельзя было не заметить, не обратить на него внимание. Кроме того, он был очень начитан и сведущ во всех областях. Люди в его присутствии как бы просыпались, он будил их от спячки...

— *Как Бродский?*

— Как Бродский, верно! Только Тед был поспокойнее, хотя производил такое же сильное впечатление. Джозеф был пламеннее, он вспыхивал и озарял вас, как молния. В то же время, как я уже писал в маленьком эссе, посвященном его памяти, Джозеф был дидактичней. Он любил устанавливать правила. Он был неожиданней и деспотичней.

— *Какие стихи Хьюза твои любимые? Или какие сборники?*

— Мне особенно близки его ранние книги. "Луперкалии". В какой-то степени, "Водво". Книга, которая называется "Река". "Болотный город". Добавлю, что во всех его книгах есть изумительно спокойные, совершенные по форме стихи о природе. Что касается его стихов прямого высказывания, предельно открытых... некоторые говорят, что он имел право, другие, что он был должен их написать. Но как читатель, я не убежден... "Письма на день рождения", конечно, имеют не только биографический смысл. Это важная книга Хьюза, прекрасная книга. Но является ли она выдающимся поэтическим достижением, я не знаю...

— *Итак, можно сказать, что все начиналось с Хопкинса и Хьюза... Но в дальнейшем, особенно, после твоего сборника "Север", произошла, кажется, смена направлений.*

— Следующая книга называлась "Полевые работы", и там я действительно сменил стиль. Причем сделал это сознательно. Это произошло от чтения поэтов, которых я называю поэтами прямой манеры. В то время я преподавал в университете таких поэтов, как Эндрю Марвелл, Томас Уайетт, Йейтс среднего периода (например, "Пасха 1916-го", "Рыбак" и т. д.). Это поэзия простая и неукрашенная, основанная на синтаксисе и метре, при этом метр служит как бы арматурой, вертикальным каркасом стихотворения...

— *Как интересно! Это ведь и мои любимые поэты. Эндрю Марвелл, Томас Уайетт... Я их много переводил и писал о них.*

— В "Полевых работах" есть стихотворение "Жертва". Это мой внутренний диалог, во всех смыслах, с "Рыбаком" и "Пасхой" Йейтса.

Передо мной, как прежде,
Веснушчатый человек
В простой коннемарской одежде;
Я вижу как он чуть свет
Идет закидывать мух
В ручей на склоне холма...[1]

А у меня:

Бывало, он пил один
И заскорузлой рукой
Стакан поднимал пустой,
Заказывал снова джин.
Или, красноречиво
Палец загнув крючком...

В то время во мне произошел сдвиг амбиций, целью стала простота — не в смысле содержания, конечно, а в смысле формы. Я хотел сделать язык похожим не на разноцветный витраж, а на прозрачное стекло. Это было прямым следствием расширения сферы моего чтения в поэзии.

— В это время, насколько я понимаю, наряду с влиянием старинной английской традиции, ты испытал и совершенно другое влияние, идущее с востока, точнее, из Восточной Европы.

— Это так. В 1970-х годах я много читал Данта и Мандельштама.

— Существуют ли адекватные переводы Мандельштама на английский язык? Я не встречал и подозреваю, что таких нет. Ответь, пожалуйста, только честно.

— Помню свое первое впечатление. Я почувствовал некое головокружение, но почти ничего не понял. Это были переводы Мервина. Свободные, без рифм и метра. Мне понравилось, в общем, но Джозеф предостерег меня, сказав, что переводы неправильные. Потом была книга моего хорошего знакомого из Беркли, Роберта Кейси, он переводил в рифму, но это едва ли можно назвать поэзией. Он перевел "Камень" целиком, с примечаниями и комментариями, необычайно полезными. Но, если честно... Я понял, что Мандельштам гениальный поэт, лишь когда прочитал его прозу. То же самое с Джозефом, между прочим.

— Тед Хьюз сказал о переводах Мандельштама (я слышал это от Дэниела Вайсборта): "По-английски тут ничего не остается".

— Большого впечатления действительно не остается. Взять, например, стихотворение об Адмиралтействе или "Нотр-Дам" из "Камня": чувствуется, что стихи состоялись, но что-то ускользает.

— Может быть, просто большого поэта должен переводить поэт равного масштаба?

— Джозеф однажды сказал, что это мог быть Йейтс, но я не думаю, что он прав. В Мандельштаме есть, по-моему, нечто от Хопкинса, когда фонетика слова и интеллект зажигаются друг от друга и начинают играть всеми красками. Я бы сказал, это скорее джойсианская поэтика,

1. Перев. А. Сергеева.

чем йейтсианская. Впрочем, мое невежество в русском не дает права судить.

— *Твоя собственная переводческая работа высоко оценена публикой. Я имею в виду перевод "Беовульфа", прежде всего.*

— Это чистая случайность, просто случайность. "Беовульфа" я полюбил еще со студенческих лет. Не то, чтобы я глубоко его знал — мне нравился музыкальный шум этой вещи, размер, аллитерации. Здесь я опять слышу Хопкинса, ведь Хопкинса можно назвать неоанглосаксонским автором. Вот это, например:

Thou mastering me
God! giver of breath and bread;
World's strand, sway of the sea;
Lord of living and dead;
Thou hast bound bones and veins in me, fastened me flesh[1],

Так оно и идет на два удара... Мне нравился этот размер, нравилось преодолевать сопротивление переводимой строки. Сейчас, перечитывая своего "Беовульфа", я вижу, что там действительно есть строчек сорок удачных во всей вещи, про которые можно сказать, что поэзия состоялась, перевод состоялся.

— Всего сорок строк? А я слышал от людей, что они зачитывались книгой, заканчивали ее в один присест.

— Преувеличение. Впрочем, она хорошо читается вслух. Я читал ее на Би-би-си.

The din of a loud banquet, a harp being struck,
And the clear song of the skilled poet
Telling with mastery of man's beginnings,
How the All-Mighty has made the Earth,
Gleaming plain, girdled with waters.
In his majesty he set the Sun and the Moon
To be Earth's lamplights, lanterns for men,
And he filled the wide lap of the Earth[2],

и так далее, и тому подобное. Я думаю, именно это нравится людям — мерная поступь рассказа, простого и торжественного. Но то, что случилось с "Беовульфом", предсказать было невозможно. В Америке книга попала в списки бестселлеров, четыре или пять недель она там красовалась. Я думаю, это не имеет никакого отношения к тому, что я сделал, тут сработали какие-то дополнительные рыночные факторы. Я не хочу принижать свою работу, с ней все в порядке, но сам знаешь: когда книга ухо-

1. Из стихотворения "Крушение 'Германии'".
2. В примерном переводе:

Громкий гул пира, и арфы звон,
И скальда славного мерная речь,
Сказывающая складно о начале начал:
О том, как Всевластный Твердь сотворил,
И край прекрасный опоясал водой,
И в небо Солнце вознес и Луну,
Чтоб людям лампадами были они,
И щедро усеял лоно Земли...

дит из твоих рук, она начинает жить какой-то новой непонятной жизнью...

— То, что ты пишешь в последние годы, встречается критикой более сдержанно, чем раньше. Но я-то как раз больше люблю твои последние сборники, я считаю, что они лучше прежних.

— Не знаю, не знаю... Я люблю сборник "Ватерпас". И, пожалуй, предыдущий — "Прозрачность". Что касается "Электрического света" — тут у меня сомнения. Я сильно рисковал, позволив себе расслабиться. Помню то, что однажды Бродский сказал мне об Одене (он глубоко почитал все им написанное). Мне случилось как-то похвалить ранние стихи Одена. Джозеф отреагировал резко: "Нет! Сила — это не все!" Мне бы хотелось сказать в утешение себе то же самое. Но я не уверен. Может быть, единственный раз в жизни Джозеф был не прав. Может быть, в конечном счете, сила — это все.

— Блейк, кажется, сказал, что Действие – Зло[1].

— О, Блейк сказал: "Действие — Вечное Блаженство!" Он еще сказал (тоже мое любимое): "Проклятие бодрит, благословение усыпляет". В "Электрическом свете" немножко больше благословения. Но, может быть, писать стихи значит вновь и вновь пробуждать свою молодость...

1. Energy, call'd Evil... (из "Бракосочетания Рая и Ада").

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Леонард Э. *Ла Брава*: Роман / Пер. с англ. Л. Сумм. – М.: Иностранка, 2003. – 399 с. – (Лекарство от скуки). 7000 экз. (п)

Курортный городок на юге Флориды. В нем живут эксцентричная кинозвезда, колоритный старичок-живчик, тупой громила, хитрый кубинец и бывший агент секретных служб, а ныне гостиничный фотограф Джонни Ла Брава. У каждого в этой истории своя роль, здесь будет пара убийств, попытка похищения и, конечно же, погоня. Действие романа, правда, начинается только с двухсотой страницы, до этого автор знакомит читателя с действующими лицами и общей обстановкой.

Вайсс Д. И. *Нет царя у тараканов*: Роман / Пер. с англ. И. Залогиной. – М.: ЭКСМО, 2003. – 368 с. 3000 экз. (п)

Царя у тараканов действительно нет, зато есть таракан Псалтырь, таракан Бисмарк, таракан Гёте и даже таракан Колумб. А все потому, что тараканья мама оставила кладку личинок не на кухне, а в книжном шкафу. Тараканчики росли, кушали книжки, и каждый читал книгу, которую ел. Вот и получились тараканы начитанные и умные. У автора этой книги Дэниела Ивэна Вайсса явно поехала крыша, но книга от этого получилась только интереснее.

Бэнкс И. *Бизнес*: Роман / Пер. с англ. Е. Петрова. – М.: ЭКСМО; СПб.: Домино, 2003. – 496 с. 5100 экз. (п)

Один их последних романов знаменитого шотландца Иэна Бэнкса. "Бизнес" – это тайная коммерческая организация, история которой насчитывает больше двух тысячелетий. Когда-то "Бизнес" на короткий срок захватил Римскую империю, но их ставленника быстро свергли. В конце XX века "Бизнес" вновь решил прикупить государство – это будет либо атолл Фенуа-Уа в Тихом Океане, либо княжество Тулан в Гималаях. Как осуществляются такие сделки, рассказывает высокопоставленная сотрудница "Бизнеса".

Ньютон Х. *Революционное самоубийство* / Пер. с англ. Т. Давыдова. – М.: Ультра Культура, 2003. – 544 с. 5000 экз. (п)

Хью Ньютон – борец за права негров эпохи Анджелы Дэвис. Только госпожа Дэвис боролась за мировую революцию, а мистер Ньютон старался исключительно ради своих чернокожих братьев. Для их защиты он создал знаменитую партию "Черная пантера". История непримиримого борца против американского правительства. Книга понравится антиглобалистам, коммунистам и рэперам.

Хорнби Н. *Футбольная горячка*: Роман / Пер. с англ. А. Соколова. – М.: Иностранка, 2003. – 335 с. (За иллюминатором). 5000 экз. (п)

Исповедь футбольного болельщика, у которого жизнь идет от матча до матча. В детстве главный герой пережил развод родителей. Чтобы справиться с тоской и отвлечься, он стал ходить на стадион. Так и заболел. И вот теперь, если выиграет лондонский "Арсенал" – значит все хорошо и у нашего героя. А если проиграет – значит и герою плохо. Особенно эта книга рекомендуется болельщикам со стажем. Может быть, и вы помните все эти матчи 1970-х?

Судзуки К. *Звонок*: Роман / Пер. с яп. Elena Baibikov. – СПб.: Афмора, 2004. – 363 с. 7000 экз. (п)

Страшная-престрашная история про журналиста, который нашел видеокассету. После получаса бессмысленных кадров на экране появилась надпись: "Всякий, кто увидел эти кадры, умрет ровно через неделю". Глупая шутка? Но дело в том, что погибло уже четыре человека, посмотревших кассету. Еще на кассете была записана формула, которая дает шанс выжить. Но формулу кто-то стер... По роману Судзуки поставлено два фильма ужасов, но книга все равно страшнее.

Хосе Луис де Вильалонга. *Король. Беседы с королем Испании доном Хуаном Карлосом I* / Пер. с исп. С. Чеботарева и И. Зорина. – М.: Диопринт, 2003. – 304 с. Тираж не указ. (о)

Испанский гранд беседует со своим королем о том, как Хаун Карлос дал своей стране свободу, и теперь испанцы не мыслят демократии без короля. Хуан Карлос родился в изгнании и впервые ступил на испанскую землю в тринадцатилетнем возрасте. Когда в 1970 году Франко умер, среди испанцев монархические идеи были непопулярны. Но Хуан Карлос добился всенародной любви, и теперь он король ВСЕХ испанцев – от националистов до либералов.

Эко У. *Баудолино*: Роман / Пер. с итал. Е. Костюкович. – СПб.: Симпозиум, 2003. – 544 с. 7000 экз. (п)

Знатный рыцарь заблудился, а маленький итальянский мальчик Баудолино помог ему найти дорогу. В благодарность рыцарь, оказавшийся Фридрихом Барбароссой, берет мальчика с собой. Баудолино получил прекрасное образование. Именно он написал письма Абеляра и Элоизы, придумал термин Священная Римская империя, да и вообще, именно благодаря Баудолино мы имеем представление о той эпохе. Очередная тонкая историческая игра итальянского профессора.

Гштрайн Н. *Британец*: Роман / Пер. с нем. Г. Снежинской. СПб.: Симпозиум, 2003. – 416 с. – (Австрийская библиотека в Санкт-Петербурге). 1000 экз. (п)

В первой главе нам рассказывают о покойном австрийском писателе Хиршфельде, как о человеке неунывающем и в себе уверенном. Во всяком случае, так вспоминают о нем близкие. А во второй главе мы видим самого Хиршфельда – робкого и забитого человека. В 1940 году он перебрался из оккупированной нацистами Вены в Лондон, но здесь его, еврейского беженца, объявили германским шпионом – только потому, что он говорил по-немецки... Драматическая история о том, как закаляются характеры.

Тэлботт С. *Билл и Борис. Записки о президентской дипломатии* / Перевод с англ. М. Немцова. – М.: 2003. – 528 с. 5000 экз. (п)

Бывший заместитель американского госсекретаря Строуб Тэлботт рассказывает о большой мужской дружбе между Биллом Клинтоном и Борисом Ельциным и о том, как эта дружба влияла на российско-американские отношения. Российская внутренняя и внешняя политика – взгляд из-за океана.

Италия

Десять заповедей для начинающих

Как написать хорошую книгу? Рецептов, конечно, можно придумать множество, однако тем, кто вступает в литературу, желательно придерживаться хотя бы десяти основных правил. Так считают К. Фруттеро и Дж. Лучентини, авторы книги "Орудия труда", недавно опубликованной издательством "Эйнауди".

Понятно, что у новичка обычно возникает масса трудностей. Так, если начинающему актеру мешают руки — он не знает, куда их деть, то начинающему литератору мешает местоимение "я": оно отягощает и засоряет текст. Пишите "мы" или используйте другие личные местоимения, советуют авторы, ибо полифония придает повествованию большую объективность и ироничность.

Но так ли важна ирония? Да, утверждают Фруттеро и Лучентини, поскольку язык шуток — это прекрасный способ поговорить о серьезных предметах. Другой важный момент, на который следует обратить внимание, — это диалоги. Речь персонажей должна звучать естественно и непринужденно. Разумеется, герои произведений общаются не в вакууме, и одна из главных задач сочинителя — придумать мир, в котором они обитают. По сути, всякий роман и есть сотворение такого мира.

Вообще, самим названием книги авторы хотели напомнить, что сочинительство — труд, и труд отнюдь не легкий, поэтому новичкам лучше сразу расстаться с амбициями и не рассчитывать на быстрый успех, ибо истинный писатель никогда не станет унижаться перед публикой и потакать ей, превращаясь в литературного хамелеона.

Другое качество, необходимое литераторам, — это любознательность, причем если интерес к окружающему миру обычного человека можно сравнить с целомудренной любовью, то любознательность сочинителя — особого рода: она должна превращать его в эрудита. Знать фильмографию Ж. Ренуара и знаменитые кафе на Монпарнасе, разбираться в гравюрах XVIII века и читать античных авторов в подлиннике — для литературной работы это может оказаться важным подспорьем. Однако, познавая мир, надо сохранять скепсис, поскольку излишняя восторженность заводит в тупик.

И наконец, писать желательно вдвоем. Тогда литературное занятие становится развлечением. Развлекая себя, соавторы, наверняка, развлекут и читателей. Эту десятую заповедь можно назвать "альфой и омегой" всего изложенного в этом "учебнике писательского ремесла".

Люксембург

Неизвестная классика

"Трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида оказали на европейскую культуру огромное влияние. И если бы вместо "Медеи", "Электры" и "Царя Эдипа" до нас дошли другие произведения древнегреческих авторов, возможно, западная мысль и наши представления о человеке были бы иными", — так считает немецкий режиссер Хансгюнтер Хайме, постановщик спектакля "Осколки", идущего на сцене Национального люксембургского театра. "Осколки" примечательны тем, что в них соединены семь трагедий Еврипида, дошедших до нас только во фрагментах: "Критянки", "Тесей", "Беллерофонт", "Сфенебей", "Эрехфей", "Фаэтон" и "Гипсипил". На мысль сделать такую постановку режиссера натолкнула книга, подготовленная немецким филологом Рихардом Каннихтом. "В моем распоряжении оказались тексты, которые в большинстве своем никогда ранее не публиковались, а некоторые были обнаружены лишь в последние годы. Из этих текстов мы с драматургом Хансом-Дитрихом Шмидтом отобрали реплики хора, диалоги, отдельные фразы".

Хайме перенес действие пьесы в кафе, где собираются бывшие военнопленные Второй мировой войны. Все роли исполняют семеро актеров — они же составляют хор, поющий a cappella.

Почти одновременно в Люксембурге прошла премьера спектакля, сделанного по мотивам пьес Эсхила, полные тексты которых также утеряны. В своей работе греческий режиссер Теодорос Терзопулос использовал уцелевшие отрывки из "Прометея

освобожденного", "Филоктета", "Ниобеи", "Ксиона", "Европы" и других трагедий, в каждой из которых действуют герои, преступившие грань дозволенного и за это наказанные богами. Спектакль носит название "Эпигоны". Это аллюзия на трагедию Эсхила "Семеро против Фив" о фиванском царе Этикле, который должен выйти на поединок с родным братом, приведшим к стенам его города чужеземное войско.

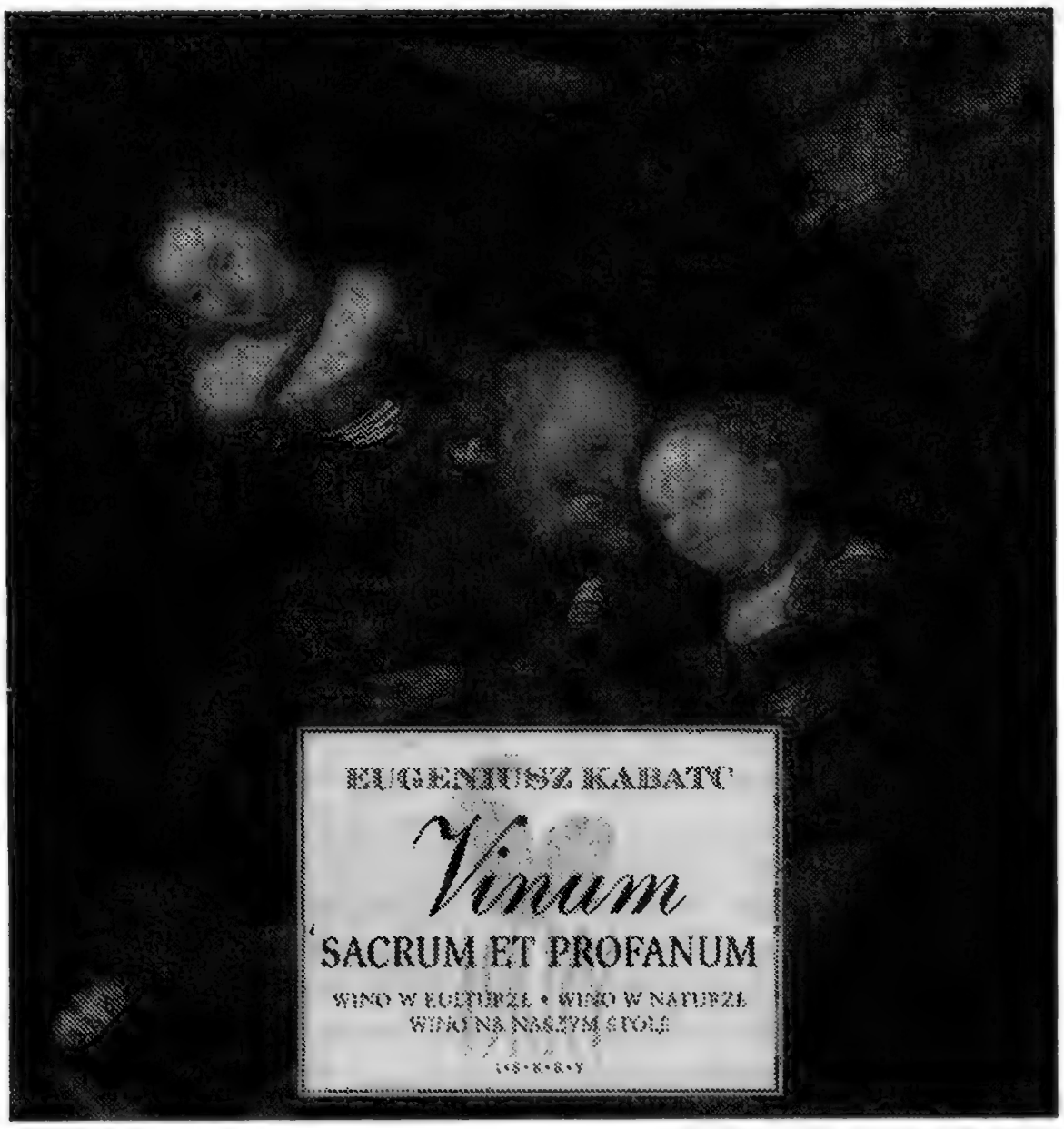
Теодорос Терзопулос, основавший в 1985 году в Афинах театр "Аттис", нашел совершенно новый подход к постановке античных трагедий, его режиссерский опыт изучается сейчас в тридцати университетах мира. Как и Хансгюнтер Хайме, Терзопулос использует современный антураж, стремясь приблизить классическую трагедию к дню сегодняшнему, придать ей большую злободневность.

Действие "Эпигонов" происходит в Греции в 1944 году. Главные персонажи — политические заключенные, попавшие в плен во время гражданской войны. Ключевую роль в спектакле играют монологи, которые произносят персонажи, рассказывающие свою историю и обвиняющие богов в своих несчастьях.

Польша

Литературная карта вин

"В вине есть свет и истина, здоровье и кровь" — так начинается книга Эугениуша Кабатца "Vinum sacrum et profanum" ("Вино священное и мирское"), выпущенная варшавским издательством "Искры".



Обложка книги "Vinum sacrum et profanum"

Эугениуш Кабатц известен в Польше как прозаик, эссеист и переводчик итальянской, русской и белорусской литературы, автор рассказов для молодежи, а также литературных очерков и биографий. Хотя на этот раз он коснулся непривычной для себя темы, его исследование стало очевидной удачей в жанре "виноведения", столь популярном сейчас в мире. Книга состоит из трех разделов: "Вино в культуре", "Вино в природе" и "Вино на нашем столе". Рассказывая об истории виноделия и разных сортах вина, автор приводит примеры из многочисленных источников, начиная от Нового Завета и Песни Песней и заканчивая произведениями Рабле, Марциала, Кохановского и Ивашкевича. Издание богато иллюстрировано репродукциями картин Караваджо, Рубенса, Брейгеля, Ван Гога и других знаменитых художников.

Франция

Виват, Версаль!

Версаль, 6 октября 1789 года. Садясь в карету, чтобы отправиться в Париж, Людовик XVI сказал на прощание безутешному месье Делатуру Дюпену: "Оставляю вас за хозяина. Позаботьтесь о бедном Версале. Сохраните его".

Как ни парадоксально это звучит, но наибольшая угроза знаменитому шедевру архитектуры исходила от самого Людовика XVI. Едва взойдя на трон, он задумал практически полностью перестроить королевскую резиденцию. К счастью, на "модернизацию" сначала не хватило средств, а затем грянула революция...

10 июня 1793 года Конвент принял указ об организации аукционов, на которых было выставлено имущество, находящееся на территории резиденции, которая утратила, с точки зрения ре-

волюционных властей, свою историческую значимость. Распродажа сокровищ началась 15 августа и продолжалась почти год. Однако нашлись люди, которые сумели оказать противодействие этому варварскому замыслу. Всем тем, кому нынешние поколения обязаны сохранением Версаля, исследователь Франк Ферран посвятил книгу "Они спасли Версаль. Хроника событий с 1789 года до наших дней" (издательство "Перрэн").

Самым предприимчивым спасателем оказался Антуан Ришар, старый садовник Марии Антуанетты, самым эффективным — министр внутренних дел Бензеш, который в 1796 году открыл в замке музей и школу и тем самым уберег дворец от дальнейшего разрушения. Защитники Версаля не дрогнули и тогда, когда Директория разрешила торговать в королевском саду прохладительными напитками и давать публичные балы во дворце Трианон. Малый замок Марии Антуанетты был превращен в гостиницу, и англичане отчаянно торговались с русскими за право переночевать в королевских покоях. Несколько участков земли было продано.

После прихода к власти Наполеона Версаль опять вернулся под императорскую корону. Однако Наполеон его невзлюбил, находя архитектуру XVII и XVIII веков чересчур пышной. "Надо было давно покончить с этим грехом Людовика XIV, за который мне теперь приходится расплачиваться", — заявил он. Впрочем, во времена его правления Версаль содержался в образцовом порядке, были даже проведены реставрационные работы и отремонтированы здания, пострадавшие в ходе революции. Луи Филипп отдал замок под музей, в котором предполагалось собрать реликвии, "составляющие славу Франции" и являющиеся ее национальным достоянием. В очередной раз тучи над Версалем нависли в период Второй империи. Но и тогда нашелся спаситель — Пьер де Ноль-як. О своей деятельности он рассказал в книге "Возрождение Версаля. Воспоминания хранителя музея. 1887—1920 годы".

В годы Первой мировой войны Версаль вновь пришел в запустение. Необходимо было срочно изыскать средства на ремонт дворца. На призыв министра Леона Берара откликнулся Джон Рокфеллер, который и предоставил необходимую финансовую помощь. В не менее тяжелом положении Версаль оказался и после окончания Второй мировой войны.

Дабы предотвратить катастрофу, хранитель музея Шарль Моришо-Бопре и архитектор Андре Жапи организовали кампанию по спасению шедевра зодчества, которую поддержали средства массовой информации, а также политики и писатели. Общими усилиями Версаль вновь обрел свой блеск и величие.

Франция—Италия

Визитная карточка Артюра Рембо

Артюра Рембо принято считать воплощением независимости и бунтарства, отказа от всех и всяческих условностей. Любопытно, что при этом он имел собственную визитную карточку — символ респектабельности и буржуазного благополучия. По свидетельству друга детства Рембо и его первого биографа Эрнеста Делайе, визитные карточки, отпечатанные в Штутгарте, понадобились поэту для того, чтобы выглядеть более солидно в глазах некоего зажиточного семейства, которое искало учителя французского и английского языков для своих детей.

На карточке, помимо имени обладателя, значится также итальянский адрес Рембо, выведенный рукой самого поэта: Милан, пьяцца дель Дуомо, дом 39, третий этаж. Сейчас здания уже не существует. По воспоминаниям Делайе, на пьяцце дель Дуомо обитала некая загадочная вдова, давшая поэту приют. Имя таинственной благодетельницы попытался установить итальянский исследователь Пьеро Бораджина, который после долгих архивных разысканий посвятил этой теме целую статью. Однако его открытия вызвали такую бурю страстей, что Пьеро Бораджина вскоре пожалел о том, что решился выяснить подноготную взаимоотношений знаменитого поэта с загадочной незнакомкой. Ведь даже после того, как все элементы мозаики, казалось бы, встали на место, у специалистов все равно остались сомнения: а вдруг визитная карточка Рембо с его миланским адресом всего лишь поздняя мистификация?

По материалам газет "Паис" [Испания], "Интернэшнл геральд трибюн" [США], еженедельников "Фигаро литтерер" [Франция], "Стампа-туттолибри" [Италия].

Авторы номера

Евгений Абрамович Бунимович [р. 1954]. Поэт, эссеист. Лауреат премии Москвы в области литературы и искусства [2002], премии Союза журналистов России [1998], кавалер Ордена академической пальмовой ветви [Франция].

Автор книг стихов *Просто нет такого города Парижа* [1989], *Потому что живу* [1992], *Стихи* [1994], *Естественный отбор* [2001], *Зал ожидания / La salle d'attente* [2002], сборников статей и эссе *Уроки и перемены* [1999], *Вверх по лестнице, которой нет* [2001] и др.

Мириам Ван хее
Miriam Van hee
Фламандская поэтесса, славист. Лауреат премии Фламандской общины Бельгии.

Автор поэтических сборников *Скромная трапеза* [*Het karige maal*, 1978], *Занесенные снегом* [*Ingesneeuwd*, 1984], *Деньги на дорогу* [*Reisgeld*, 1992], *За горами* [*Achter de bergen*, 1996] и др. Ее стихи публиковались в *ИЛ* [2002, № 11]. Публикуемые стихи взяты из книги *Связь меж днями* [*Het verband tussen de dagen*. Amsterdam, De bezige bij, 1998].

Меир Визельтир
Meir Wieselter
[р. 1941]. Израильский поэт, преподаватель литературы. Лауреат многих литературных премий, в том числе премии Израиля [2000].

Автор двенадцати поэтических сборников.
Публикуемое стихотворение взято из сборника *Склад* [Тель-Авив, А-киббуц а-меухад, 1994].

Сибилла Петлевски
Sybila Petlevski
Хорватская поэтэсса, прозаик, автор научных и критических работ, переводчик. Лауреат нескольких национальных премий.

Автор многочисленных книг, в частности сборников стихов *Кристаллы* [*Kristali*, 1988], *Прыжок с места* [*Skok s mjesta*, 1990], *Сто александрийских эпиграмм* [*Sto aleksandrijskih epigrama*, 1993], романов *Французская сюита* [*Francuska suita*, 1996], *Хореография страдания* [*Koreografija patnje*, 2002], труда по политологии *Большая Европа – малые народы* [*Velika Evropa – mali narodi*, 1994], работ о театре *Симптомы модернитета* [*Simptomi moderniteta*, 2000] и *Театр совместной игры* [*Kazalište suigre*, 2001; премия им. П. Бречича].
Публикуемое стихотворение взято из книги *Хореография страдания* [*Koreografja patnje*. Zagreb, Konzor, 2002].

Жан-Эрик Риопель
Jean-Eric Riopel
[р. 1971]. Французский поэт, критик, журналист, главный редактор поэтического журнала *Эстюэр*. Лауреат литературной премии Эмиля Неллигана [1999].

Автор четырех книг стихов, в том числе *Десять вещиц, которые необходимо взять с собой в случае конца света* [*Dix petites choses a emporter avec soi en cas de fin du monde*, 1998], *В пробеле* [*Dans le blanc*, 2001], *Танцующее такси* [*Taxi dancer*, 2003].
Публикуемое стихотворение напечатано в журнале *Exit* [2000, № 20].

Эдвард Фостер
Edward Foster
[р. 1942]. Американский поэт, критик, профессор

Автор ряда поэтических сборников, в том числе *Пространство между ее кроватью и будильником* [*The Space Between Her Bed and Clock*, 1993], *Понимание* [*The Understanding*, 1994], *Все жесты – суть лишь жесты* [*All*

Стивенсовского института технологии, основатель издательства Талисман, печатающего современную поэзию и эссеистику, содиректор ряда культурных проектов.

Acts Are Simply Acts, 1995], *Эдриан как песня* [*Adrian as Song*, 1996], *Сатурналии* [*Saturnalia*, 2000], *Ангелический колокол* [*The Angelus Bell*, 2001] и др.; книг литературной критики *Цивилизованная дикость* [*The Civilized Wilderness*, 1975], *Джошиа Грег и Люис Гектор Гаррард* [*Josiah Gregg and Lewis Hector Garrard*, 1977], *Уильям Сароян* [*William Saroyan*, 1984], *Битники. Опыт постижения* [*Understanding the Beats*, 1992; рус. перев. 1993] и др. На русском языке его стихи печатались в *Антологии современной американской поэзии* [1996].
Публикуемое стихотворение взято из сборника *Ангельский колокол* [*The Angelus Bell.* New York, Spuyten Duyvil, 2001].

Юкио Мисима
Yukio Mishima
[псевдоним; настоящее имя ХИРАОКА КИМИТАКЭ]
[1925–1970]. Японский писатель и драматург.

Автор романов *Исповедь Маски* [*Камэн но кокухаку*, 1949; рус. перев. 1999], *Золотой Храм* [*Кинкаку-дзи*, 1956; рус. перев. *ИЛ*, 1989, № 5] и др., пьес *Маркиза де Сад* [*Садо косяку фудзин*, 1965, рус. перев. 2000], *Мой друг Гитлер* [*Вага Томо Хиттора*, 1968, рус. перев. 2000] и др., эссе *Патриотизм* [*Юкоку*, 1960], *Солнце и Сталь* [*Таё то Тэцу*, 1965; рус. перев. 1999] и многочисленных новелл.
Публикуемая пьеса взята из альманаха *Синтё* [1954].

Мануэль Пуиг
Manuel Puig
[1932–1990]. Аргентинский прозаик, драматург и киносценарист.

Автор романов *Предательство Риты Хейворт* [*La traición de Rita Hayworth*, 1968, рус. перев. 1991], *Любовь в Буэнос-Айресе* [*The Buenos Aires Affair*, 1973; рус. перев. 1993], *Ангельский пол* [*Pubis angelical*, 1979], *Будь проклят навеки тот, кто прочтет эти страницы* [*Maldición eterna a quien lea estas páginas*, 1980], *Падает тропическая ночь* [*Cae la noche tropical*, 1988], а также нескольких пьес, сценариев, статей о литературе и кино. В *ИЛ* [2003, № 6] был опубликован его роман *Поцелуй женщины-паука* [*El beso de la mujer araña*].
Роман печатается по изданию *Boquitas pintadas* [Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1969].

Азиз Дераман
Aziz Deraman
[р. 1948]. Малайзийский поэт. Лауреат ряда престижных премий, в том числе премии ЮНЕСКО [1983].

Автор трех поэтических сборников.
Публикуемые стихотворения взяты из сборников *Ты и Я* [*Kau dan Aku.* Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994] и *Ковчег жизни* [*Bahtera Madani.* Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001].

Доминик де Вильпен
Domenique de Villepin
[р. 1953]. Министр иностранных дел Франции.

Автор книги *Сто дней или дух самопожертвования* [*Les Cent-Jours ou l'esprit de sacrifice*, 2001].
Публикуемые главы взяты из книги *Le cri de la Gargouille* [Paris, Éditions Albin Michel, 2002].

Жак Дюпен
Jacques Dupin
[р. 1927]. Французский поэт, лауреат Национальной поэтической премии [1988].

Автор сборников лирики *Карабкаться* [*Gravir*, 1963], *Снаружи* [*Déhors*, 1976], *Наподобие отдушины* [*Une apparence de soupirail*, 1982], *Еще ничего и уже всё* [*Rien encore, tout déjà*, 1991], *Промежуток* [*Ecart*, 2000], книг о творчестве Ж. Миро, А. Джакометти, А. Тапиеса. В *ИЛ* печатались его заметки о живописи Анри Мишо [1997, № 6].
Публикуемое эссе взято из сборника *Пространство другими словами* [*L'espace autrement dit.* Paris, Editions Galilée, 1982].

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга назавтра* [Радио России].

Переводчики

Дмитрий Владимирович Сильвестров
[р. 1945]. Переводчик.

В его переводе публиковались стихи немецких, английских, американских, голландских и фламандских поэтов XVII—XX вв., а также философские работы *Осень Средневековья* и *Homo ludens* Й. Хейзинги. В *ИЛ* публиковались его переводы стихов В. Рогхемана [1996, № 12] и Мириам Ван хее [2002, № 11].

Гали-Дана Зингер
Поэт, переводчик с иврита и на иврит. Лауреат нескольких израильских литературных премий, в том числе премии Я. Цабана [1997] и премии Главы правительства [2003].

Автор трех книг стихов на русском языке и двух книг на иврите. Русские стихи публиковались также в журналах *22*, *Солнечное сплетение*, *Стетоскоп*, *Камера хранения*, *Арион* и др.

Григорий Михайлович Кружков
[р. 1945]. Поэт, переводчик, литературовед.

Автор стихотворного сборника *Бумеранг* [1998], книг переводов *Джон Донн. Избранное* [1994], *У. Б. Йейтс. Избранные стихотворения* [1993], *Роберт Фрост. Другая дорога* [1999], *Книга нонсенса. Английская поэзия абсурда* [2000], *Лекарство от Фортуны. Поэты при дворе Генриха VIII, Елизаветы Английской и короля Иакова* [2002] и др. В *ИЛ* печатались его переводы стихов Д. Энрайта [1994, № 3], У. Б. Йейтса [1995, № 2], У. Стивенса [1998, № 10], У. Дж. Смита [2002, № 10], Ш. Хини [1991, № 4, 2003, № 5] и др.

Михаил Давидович Яснов
[р. 1946]. Поэт, переводчик классической и современной французской поэзии.

Автор пяти книг лирики, сборников стихов для детей, а также статей о русской и французской поэзии. Составитель и комментатор сборников произведений С. де Бержерака, П. Верлена, Г. Аполлинера, П. Валери, Ж. Превера, Ж. Кокто, Э. Ионеско и др. В *ИЛ* в его переводах печатались стихи Ж. Шарпантро и Ж.-Л. Моро [1994, № 12], Г. Аполлинера [1998, № 4], Ж. Рубо [1999, № 8], М. Уэльбека [2003, № 3].

Вадим Геннадьевич Месяц
[р. 1964]. Поэт, прозаик, переводчик. Лауреат нескольких премий.

Автор поэтических сборников *Календарь вспоминальщика* [1992], *Выход к морю* [1996], *Високосный день* [1996], *Час приземления птиц* [2000], книги переводов *В деревенском сне. Из Дилана Томаса* [1997], а также романа *Лечение электричеством* [2002], повести *Когда нам станет весело и светло* [1994], сборника рассказов *Ветер с конфетной фабрики* [1993].

Елена Михайловна Байбикова
Переводчик с японского.

В 2002 году в ее переводе вышла книга рассказов японской писательницы Бананы Ёсимото *Ящерица*. В *ИЛ* публикуется впервые.

Александр Израилевич Казачков
[р. 1954]. Переводчик с испанского.

В его переводах выходили произведения М. Пуига, Х. Л. Борхеса и Б. Касареса. В *ИЛ* публикуется впервые.

Виктор Александрович Погадаев
[р. 1946]. Переводчик, преподаватель малайского и индонезийского языков.

В его переводе в Малайзии опубликованы *Сказка о рыбаке и рыбке* и *Барышня-крестьянка* А. Пушкина, *Хаджи Мурат* Л. Толстого, стихи Б. Ахмадулиной, М. Матусовского и др. На русский язык переводил поэзию малайзийских поэтов Кемалы, Баха Заина, Рахимидина Захари, прозу Анвара Ридвана. В *ИЛ* публикуется впервые.

Нина Федоровна Кулиш
Переводчик с французского и итальянского языков.

В ее переводе публиковались романы *Изнанка мюзик-холла* и *Дуэт* Г. С. Колетт, *Из волшебного леса* Дж. Бонавири, повести *Антимоний* Л. Шаши, *Осеннее равноденствие* Дж. Конте, сборник эссе П. Клоделя *Глаз слушает* и др. Ее переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Борис Владимирович Дубин
[р. 1946]. Социолог, литературовед, переводчик. Лауреат премий *ИЛ* [1992], *ИЛлюминатор* [1994], им. Анатоля Леруа-Больё [1996], им. Мориса Вакс-махера [1998].

Автор статей по социологии культуры и книги *Слово — письмо — литература* [М., 2001]. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Портрет в зеркалах* [1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 9, 12; 2000, № 1; 2003, № 10].

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В формлении обложки
использован фрагмент картины
французского художника
(род. в Нидерландах)
Кеса Ван Донгена
[1877–1968]
Танго [1923–1935].

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Расимя Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный
дайджест журнала
находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал
можно приобрести в редакции.

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство
№ 066632 выдано 23.08.1999 г.
ГК РФ по печати

Подписано в печать 20.1.2004
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 162.
Тираж 8500 экз.
Отпечатано с готовых
диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

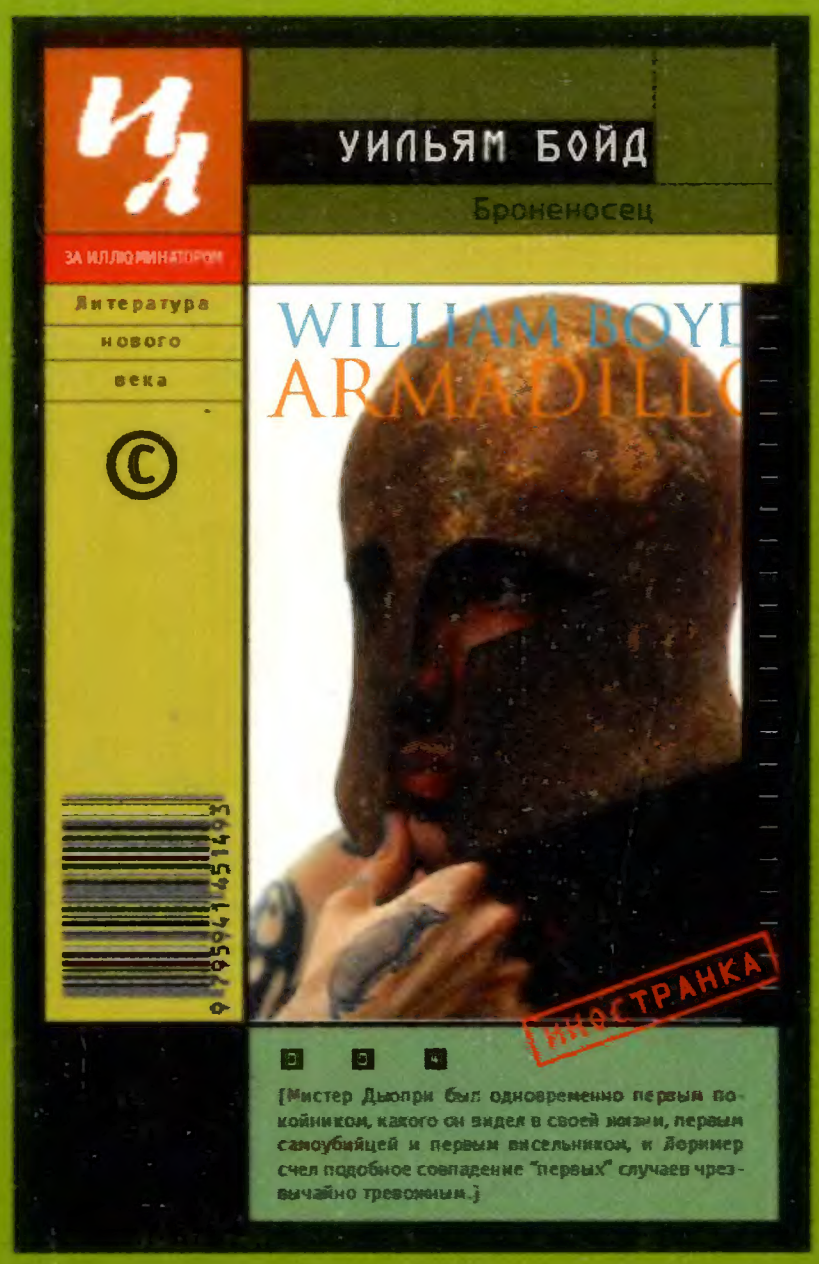
[3] 2004

РОМАН ОРХАНА ПАМУКА “БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ” / СТИХИ ЖАКА РУБО / БОРА ЧОСИЧ: “СЛОВАРЬ ПОПА ТЕОДОРА” / ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ КЛАУДИО МАГРИСА “ДУНАЙ” / “ДЖОН И ЙОКО” ИЗ КНИГИ ФРАНСИН ПРОУЗ “ЖИЗНЬ МУЗ” / “ЛОНДОН: ВОКРУГ БУКЕРА” МАРИИ КАРП В РУБРИКЕ “ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА” /

Новая серия издательства "Иностранка"

"За иллюминатором"

"ИЛЛЮМИНАТОР" НОВОГО ВЕКА



По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284;
в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2004, №2, 1-288